Сочиненія
Ѳ.М.Достоевскаго

UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00008799 9

Presented to the
LIBRARY *of the*
UNIVERSITY OF TORONTO
by
ESTATE OF THE LATE
JOHN B. C. WATKINS

Ѳ. М. Достоевскій

Собраніе сочиненій

Всемірная библіотека.

Собранія сочиненій знаменитыхъ
русскихъ и иностранныхъ писателей.

Въ эту серію входятъ слѣдующія
собранія сочиненій:

I серія.

А. В. Амфитеатрова, подъ наблюденіемъ *автора*,
Л. Н. Андреева, съ вступительной статьей проф. *А. М. Рейснера;*
Ѳ. М. Достоевскаго, съ многочисл. приложеніями;
В. Г. Тана, подъ наблюденіемъ *автора;*
Г. А. Мачтета, подъ редакціей *Л. П. Сильчевскаго;*
Б. В. Муйжеля, подъ наблюденіемъ *автора;*
Д. Я. Айзмана, подъ наблюденіемъ *автора;*
Б. А. Лазаревскаго, подъ наблюденіемъ *автора;*
Ольги Шапиръ, подъ наблюденіемъ *автора;*
Шолома Аша, подъ наблюденіемъ *автора.*

II серія.

С. Т. Аксакова, подъ редакціей *А. Г. Горнфельда:*
Н. В. Гоголя, подъ редакціей *В. В. Каллаша;*
Н. А. Добролюбова, подъ редакціей *В. П. Кранихфельда;*
А. В. Кольцова, подъ редакціей *Арс. Ив. Введенскаго;*
И. А. Крылова, подъ редакціей *В. В. Каллаша;*
А. И. Левитова, со вступ. статьей *А. А. Измайлова;*
М. Ю. Лермонтова, подъ ред. *Арс. И. Введенскаго;*
С. В. Максимова, со вступ. статьей *П. В. Быкова;*
П. М. Невѣжина, подъ наблюденіемъ *автора;*
И. С. Никитина, подъ ред. *А. Г. Ѳомина* и *Ю. И. Эйхенвальда;*
А. Н. Островскаго, подъ ред. *М. И. Писарева;*
Н. Г. Помяловскаго, съ біограф. очерк. *Н. А. Благовѣщенскаго,*
А. А. Потѣхина, подъ наблюденіемъ *автора;*
А. С. Пушкина, подъ редакціей *П. О. Морозова* и *В. В. Каллаша;*
Н. Я. Соловьева, съ портретомъ *автора.*

III серія.

Чарльза Диккенса, со вступ. статьей *Д. П. Сильчевскаго;*
Элизы Оржешко, подъ ред. *С. С. Зелинскаго;*
Георга Брандеса, съ предисловіемъ *М. В. Лучицкой;*
Гюи де Мопасана, съ критико-біографич. очерк. *З. А. Венгеровой;*
Эдгара По, съ критико-біографич. очеркомъ *М. А. Энгельгардта;*
Эмиля Зола, подъ редакц. и со вступ. статьями *Ѳ. Д. Батюшкова* и *Е. В. Аничкова.*

С.-Петербургъ.
Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе",
Забалканскій просп., соб. д. № 75.

Полное собраніе сочиненій

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО

Съ многочисленными приложеніями

Томъ пятнадцатый

ПОДРОСТОКЪ

Романъ въ трехъ частяхъ

Части II (оконч.) — III.

С.-Петербургъ.
Типо-литографія Акц. О-ва „Самообразованіе",
Забалканскій пр., д. № 75.

Бумага безъ примѣси древесной массы.

LIBRARY
DEC 8 1965
UNIVERSITY OF TORONTO

1028804

PG
3325
A1
1911
t. 15

Подростокъ.

(Окончаніе.)

Часть вторая.

Глава шестая.

I.

«Разумѣется, ѣхать!» рѣшилъ было я, поспѣшая домой:—«сейчасъ же ѣхать. Весьма вѣроятно, что застану ее дома одну: одну или съ кѣмъ-нибудь — все равно: можно вызвать. Она меня приметъ; удивится, но приметъ. А не приметъ, то я настою, чтобъ приняла, пошлю сказать, что крайне нужно. Она подумаетъ что-нибудь о документѣ, и приметъ. И узнаю все объ Татьянѣ. А тамъ... а тамъ что жъ? Если я неправъ, я ей заслужу, а если я правъ, а она виновата, то вѣдь тогда ужъ конецъ всему! Во всякомъ случаѣ — конецъ всему! Что жъ я проигрываю? Ничего не проигрываю. Ѣхать! Ѣхать!»

И вотъ, никогда не забуду и съ гордостью вспомяну, что *я не* поѣхалъ! Это никому не будетъ извѣстно, такъ и умретъ, но довольно и того, что это мнѣ извѣстно и что я въ такую минуту былъ способенъ на благороднѣйшее мгновеніе! «Это искушеніе, а я пройду мимо его,—рѣшилъ я, наконецъ, одумавшись: — меня пугали фактомъ, а я не повѣрилъ и не потерялъ вѣру въ ея чистоту! И зачѣмъ ѣхать, о чемъ справляться! Почему она такъ непремѣнно должна была вѣрить въ меня,

какъ я въ нее, въ мою «чистоту», не побояться «пылкости» и не заручиться Татьяной? Я еще не заслужилъ этого въ ея глазахъ. Пусть, пусть она не знаетъ, что заслуживаю, что я не соблазняюсь «искушеніями», что я не вѣрю злымъ на нее навѣтамъ: зато я самъ это знаю и буду себя уважать за это. Уважать свое чувство. О да, она допустила меня высказаться при Татьянѣ, она допустила Татьяну, она знала, что тутъ сидитъ и подслушиваетъ Татьяна (потому что та не могла не подслушивать), она знала, что та надо мной смѣется, — это ужасно, ужасно! Но... но вѣдь — если невозможно было этого избѣжать? Что жъ она могла сдѣлать въ давешнемъ положеніи и какъ же ее за это винить? Вѣдь налгалъ же я ей давеча самъ про Крафта, вѣдь обманулъ же и я ее, потому что невозможно было тоже этого избѣжать, и я невольно, невинно налгалъ. Боже мой! — воскликнулъ я вдругъ, мучительно краснѣя: — а самъ-то, самъ-то что̀ я сейчасъ сдѣлалъ; развѣ я не потащилъ ее передъ ту же Татьяну, развѣ я не разсказалъ же сейчасъ все Версилову? Впрочемъ, что жъ я? Тутъ — разница. Тутъ было только о документѣ; я, въ сущности, сообщилъ Версилову лишь о документѣ, потому что и не было больше о чемъ сообщить, и не могло быть. Не я ли первый предувѣдомилъ его и кричалъ, что «не могло быть»?. Это — человѣкъ понимающій. Гм... Но какая же, однако, ненависть въ его сердцѣ къ этой женщинѣ даже доселѣ! И какая же, должно быть, драма произошла тогда между ними и изъ-за чего? Конечно, изъ самолюбія! *Версиловъ ни къ какому чувству, кромѣ безграничнаго самолюбія, и не можетъ быть способенъ!*

Да, эта послѣдняя мысль вырвалась у меня тогда, и я даже не замѣтилъ ея. Вотъ какія мысли, послѣдовательно одна за другой, пронеслись тогда въ моей головѣ, и я былъ чистосердеченъ тогда съ собой: я не лукавилъ, не обманывалъ самъ себя; и если чего не осмыслилъ тогда въ ту минуту, то потому лишь, что ума не достало, а не изъ іезуитства предъ самимъ собой.

Я воротился домой въ ужасно веселомъ состояніи духа, хотя въ очень смутномъ. Но я боялся анализировать и всѣми силами старался развлечься. Тотчасъ же я пошелъ къ хозяйкѣ: дѣйствительно, между мужемъ и ею шелъ страшный разрывъ. Это была очень чахоточная чиновница, можетъ быть, и добрая, но, какъ всѣ чахоточныя, чрезвычайно капризная. Я тотчасъ ихъ началъ мирить, сходилъ къ жильцу, очень грубому, рябому дураку, чрезвычайно самолюбивому чиновнику, служившему въ одномъ банкѣ, Червякову, котораго я очень самъ не любилъ, но съ которымъ жилъ, однакоже, ладно, потому что имѣлъ низость часто подтрунивать вмѣстѣ съ нимъ надъ Петромъ Ипполитовичемъ. Я тотчасъ уговорилъ его не переѣзжать, да онъ и самъ не рѣшился бы, въ самомъ-то дѣлѣ, переѣхать. Кончилось тѣмъ, что хозяйку я успокоилъ окончательно и, сверхъ того, сумѣлъ отлично поправить ей подъ головой подушку: «Никогда-то вотъ не сумѣлъ этакъ Петръ Ипполитовичъ», злорадно заключила она. Затѣмъ возился въ кухнѣ съ ея горчичниками и собственноручно изготовилъ ей два превосходныхъ горчичника. Бѣдный Петръ Ипполитовичъ только смотрѣлъ на меня и завидовалъ, но я ему не далъ и прикоснуться и былъ награжденъ буквально слеза-

ми ея благодарности. И вотъ, помню, мнѣ вдругъ это все надоѣло, и я вдругъ догадался, что я вовсе не по добротѣ души ухаживалъ за больной, а такъ, почему-то, почему-то совсѣмъ другому.

Я нервно ждалъ Матвѣя: въ этотъ вечеръ я рѣшилъ въ послѣдній разъ испытать счастье и... и, кромѣ счастья, ощущалъ ужасную потребность играть; иначе бы было невыносимо. Если бъ никуда не ѣхать, я бы, можетъ быть, не утерпѣлъ и поѣхалъ къ ней. Матвѣй долженъ былъ скоро явиться, но вдругъ отворилась дверь и вошла неожиданная гостья, Дарья Онисимовна. Я поморщился и удивился. Она знала мою квартиру потому, что разъ когда-то, по порученію мамы, заходила ко мнѣ. Я ее посадилъ и сталъ глядѣть на нее вопросительно. Она ничего не говорила, смотрѣла мнѣ прямо въ глаза и приниженно улыбалась.

— Вы не отъ Лизы ли? — вздумалось мнѣ спросить.

— Нѣтъ, я такъ-съ.

Я предупредилъ ее, что сейчасъ ѣду; она опять отвѣтила, что «она такъ» и сейчасъ сама уйдетъ. Мнѣ стало почему-то вдругъ ее жалко. Замѣчу, что отъ всѣхъ насъ, отъ мамы и особенно отъ Татьяны Павловны, она видѣла много участья, но, пристроивъ ее у Столбѣевой, всѣ наши какъ-то стали ее забывать, кромѣ развѣ Лизы, часто навѣщавшей ее. Причиной тому, кажется, была она сама, потому что обладала способностью отдалять-ся и стушевываться, несмотря на всю свою приниженность и заискивающія улыбки. Мнѣ же лично очень не нравились эти улыбки ея и то, что она всегда видимо поддѣлывала лицо, и я даже подумалъ о ней однажды, что недолго же она погру-

стила о своей Олѣ. Но въ этотъ разъ мнѣ почему-то стало жалко ее.

И вотъ, вдругъ она, ни слова не говоря, нагнулась, потупилась и вдругъ, бросивъ обѣ руки впередъ, обхватила меня за талью, а лицомъ наклонилась къ моимъ колѣнямъ. Она схватила мою руку, я думалъ было что цѣловать, но она приложила ее къ глазамъ, и горячія слезы струей полились на нее. Она вся тряслась отъ рыданій, но плакала тихо. У меня защемило сердце, несмотря на то, что мнѣ стало какъ бы и досадно. Но она совершенно довѣрчиво обнимала меня, нисколько не боясь, что я разсержусь, несмотря на то, что сейчасъ же предъ симъ такъ боязливо и раболѣпно мнѣ улыбалась. Я ее началъ просить успокоиться.

— Батюшка, голубчикъ, не знаю, что̀ дѣлать съ собой. Какъ сумерки, такъ я и не выношу; какъ сумерки, такъ и перестаю выносить, такъ меня и потянетъ на улицу, въ мракъ. И тянетъ, главное, мечтаніе. Мечта такая зародилась въ умѣ, что—вотъ-вотъ я какъ выйду, такъ вдругъ и встрѣчу ее на улицѣ. Хожу и какъ будто вижу ее. То есть, это другіе ходятъ, а я сзади нарочно иду, да и думаю: не она ли, вотъ-вотъ, думаю, это Оля моя и есть? И думаю, и думаю. Одурѣла подъ конецъ, только о народъ толкаюсь, тошно. Точно пьяная толкаюсь, иные бранятся. Я ужъ таю про себя и ни къ кому не хожу. Да и куда придешь — еще тошнѣй. Проходила сейчасъ мимо васъ, подумала: «Дай зайду къ нему; онъ всѣхъ добрѣе, и тогда былъ при томъ». Батюшка, простите вы меня безполезную; я уйду сейчасъ и пойду . . .

Она вдругъ поднялась и заторопилась. Тутъ какъ разъ прибылъ Матвѣй; я посадилъ ее съ со-

бой въ сани и по дорогѣ завезъ ее къ ней домой, на квартиру Столбѣевой.

II.

Въ самое послѣднее время я сталъ ѣздить на рулетку Зерщикова. До того же времени ѣздилъ дома въ три, все съ княземъ, который «вводилъ» меня въ эти мѣста. Въ одномъ изъ этихъ домовъ преимущественно шелъ банкъ и играли на очень значительныя деньги. Но тамъ я не полюбилъ: я видѣлъ, что тамъ хорошо при большихъ деньгахъ и, кромѣ того, туда слишкомъ много пріѣзжало нахальныхъ людей и «гремящей» молодежи изъ высшаго свѣта. Это-то князь и любилъ; любилъ онъ и играть, но любилъ и якшаться съ этими сорванцами. Я замѣтилъ, что на этихъ вечерахъ онъ, хоть и входилъ иногда со мной вмѣстѣ рядомъ, но отъ меня какъ-то, въ теченіе вечера, отдалялся и ни съ кѣмъ «изъ своихъ» меня не знакомилъ. Я же смотрѣлъ совершеннымъ дикаремъ и даже иногда до того, что, случалось, обращалъ на себя тѣмъ вниманіе. За игорнымъ столомъ приходилось даже иногда говорить кой съ кѣмъ; но разъ я попробовалъ на другой день, тутъ же въ комнатахъ, раскланяться съ однимъ господчикомъ, съ которымъ не только говорилъ, но даже и смѣялся наканунѣ, сидя рядомъ, и даже двѣ карты ему угадалъ, и что жъ — онъ совершенно не узналъ меня. То есть хуже: посмотрѣлъ какъ бы съ выдѣланнымъ недоумѣніемъ и прошелъ мимо, улыбнувшись. Такимъ образомъ, я скоро тамъ бросилъ и пристрастился ѣздить въ одинъ клоакъ — иначе не умѣю назвать. Это была рулетка, до-

вольно ничтожная, мелкая, содержимая одной содержанкой, хотя та въ залу сама и не являлась. Тамъ было ужасно нараспашку, и хотя бывали и офицеры, и богачи купцы, но все происходило съ грязнотцой, что̀ многихъ, впрочемъ, и привлекало. Кромѣ того, тамъ мнѣ часто везло. Но я и тутъ бросилъ послѣ одной омерзительной исторіи, случившейся разъ въ самомъ разгарѣ игры и окончившейся дракой какихъ-то двухъ игроковъ, и сталъ ѣздить къ Зерщикову, къ которому, опять-таки, ввелъ меня князь. Это былъ отставной штабсъ-ротмистръ, и тонъ на его вечерахъ былъ весьма сносный, военный, щекотливо раздражительный къ соблюденію формъ чести, краткій и дѣловой. Шутниковъ, напримѣръ, и большихъ кутилъ тамъ не появлялось. Кромѣ того, отвѣтный банкъ былъ очень даже нешуточный. Играли же въ банкъ и въ рулетку. До сего вечера, пятнадцатаго ноября, я побывалъ тамъ всего раза два, и Зерщиковъ, кажется, уже зналъ меня въ лицо; но знакомыхъ я еще никого не имѣлъ. Какъ нарочно, и князь съ Дарзаномъ явился въ этотъ вечеръ уже около полуночи, воротясь съ того банка свѣтскихъ сорванцовъ, который я бросилъ: такимъ образомъ, въ этотъ вечеръ я былъ какъ незнакомый въ чужой толпѣ.

Если бъ у меня былъ читатель и прочелъ все то, что̀ я уже написалъ о моихъ приключеніяхъ, то, нѣтъ сомнѣнія, ему нечего было бы объяснять, что я рѣшительно не созданъ для какого бы то ни было общества. Главное, я никакъ не умѣю держать себя въ обществѣ. Когда я куда вхожу, гдѣ много народу, мнѣ всегда чувствуется, что всѣ взгляды меня электризуютъ. Меня рѣшительно начинаетъ

коробить, коробить физически, даже въ такихъ мѣстахъ, какъ въ театрѣ, а ужъ не говорю въ частныхъ домахъ. На всѣхъ этихъ рулеткахъ и сборищахъ я рѣшительно не умѣлъ пріобрѣсти себѣ никакой осанки: то сижу и упрекаю себя за излишнюю мягкость и вѣжливость, то вдругъ встану и сдѣлаю какую-нибудь грубость. А, между тѣмъ, какіе негодяи, сравнительно со мной, умѣли тамъ держать себя съ удивительной осанкой — и вотъ это-то и бѣсило меня пуще всего, такъ что я все больше и больше терялъ хладнокровіе. Скажу прямо, не только теперь, но и тогда уже мнѣ все это общество, да и самый выигрышъ, если ужъ все говорить — стало, наконецъ, отвратительно и мучительно. Рѣшительно — мучительно. Я, конечно, испытывалъ наслажденіе чрезвычайное, но наслажденіе это проходило чрезъ мученіе; все это, то есть эти люди, игра, и, главное, я самъ вмѣстѣ съ ними, казалось мнѣ страшно грязнымъ. «Только что выиграю и тотчасъ на все плюну!» каждый разъ говорилъ я себѣ, засыпая на разсвѣтѣ у себя на квартирѣ послѣ ночной игры. И опять-таки этотъ выигрышъ: взять ужъ то, что я вовсе не любилъ деньги. То есть, я не стану повторять гнусной казенщины, обыкновенной въ этихъ объясненіяхъ, что я игралъ, дескать, для игры, для ощущеній, для наслажденій, риска, азарта и проч., а вовсе не для барыша. Мнѣ деньги были нужны ужасно, и хоть это былъ и не мой путь, не моя идея, но такъ или этакъ, а я тогда все-таки рѣшилъ попробовать, въ видѣ опыта, и этимъ путемъ. Тутъ все сбивала меня одна сильная мысль: «Вѣдь ужъ ты вывелъ, что милліонщикомъ можешь стать непремѣнно, лишь имѣя соотвѣтствен-

но сильный характеръ; вѣдь ужъ ты пробы дѣлалъ характеру; такъ покажи себя и здѣсь: неужели у рулетки нужно больше характеру, чѣмъ для твоей идеи?» — вотъ что̀ я повторялъ себѣ. А такъ какъ я и до сихъ поръ держусь убѣжденія, что въ азартной игрѣ, при полномъ спокойствіи характера, при которомъ сохранилась бы вся тонкость ума и разсчета, невозможно не одолѣть грубость слѣпаго случая и не выиграть — то естественно, я долженъ былъ тогда все болѣе и болѣе раздражаться, видя, что поминутно не выдерживаю характера и увлекаюсь, какъ совершенный мальчишка. «Я, могшій выдержать голодъ, я не могу выдержать себя на такой глупости!» — вотъ что̀ дразнило меня. Къ тому же, сознаніе, что у меня, во мнѣ, какъ бы я ни казался смѣшонъ и униженъ, лежитъ то сокровище силы, которое заставитъ ихъ всѣхъ когда-нибудь измѣнить обо мнѣ мнѣніе, это сознаніе — уже съ самыхъ почти дѣтскихъ униженныхъ лѣтъ моихъ — составляло тогда единственный источникъ жизни моей, мой свѣтъ и мое достоинство, мое оружіе и мое утѣшеніе, иначе я бы, можетъ быть, убилъ себя еще ребенкомъ. А потому, могъ ли я не быть раздраженъ на себя, видя въ какое жалкое существо обращаюсь я за игорнымъ столомъ? Вотъ почему я ужъ и не могъ отстать отъ игры: теперь я все это ясно вижу. Кромѣ этого, главнаго, страдало и мелочное самолюбіе: проигрышъ унижалъ меня передъ княземъ, передъ Версиловымъ, хотя тотъ ничего не удостаивалъ говорить, передъ всѣми, даже передъ Татьяной — такъ, мнѣ казалось, чувствовалось. Наконецъ, сдѣлаю и еще признаніе: я уже тогда развратился; мнѣ уже трудно было отказаться отъ

обѣда въ семь блюдъ въ ресторанѣ, отъ Матвѣя, отъ англійскаго магазина, отъ мнѣнія моего парфюмера, ну и отъ всего этого. Я сознавалъ это и тогда, но только отмахивался рукой; теперь же, записывая, краснѣю.

III.

Прибывъ одинъ и очутившись въ незнакомой толпѣ, я сначала пристроился въ уголкѣ стола и началъ ставить мелкими кушами и такъ просидѣлъ часа два, не шевельнувшись. Въ эти два часа шла страшная бурда — ни то ни се. Я пропускалъ удивительные шансы и старался не злиться, а взять хладнокровіемъ и увѣренностью. Кончилось тѣмъ, что за всѣ два часа я не проигралъ и не выигралъ: изъ трехсотъ рублей проигралъ рублей десять-пятнадцать. Этотъ ничтожный результатъ обозлилъ меня, и къ тому же случилась пренепріятная гадость. Я знаю, что за этими рулетками случаются иногда воры, то есть не то что съ улицы, а просто изъ извѣстныхъ игроковъ. Я, напримѣръ, увѣренъ, что извѣстный игрокъ Аферловъ — воръ; онъ и теперь фигурируетъ по городу: я еще недавно встрѣтилъ его на парѣ собственныхъ пони, но онъ воръ и укралъ у меня. Но объ этомъ исторія еще впереди: въ этотъ же вечеръ случилась лишь прелюдія: я сидѣлъ всѣ эти два часа на углу стола, а подлѣ меня, слѣва, помѣщался все время одинъ гниленькій франтикъ, я думаю, изъ жидковъ; онъ, впрочемъ, гдѣ-то участвуетъ, что-то даже пишетъ и печатаетъ. Въ самую послѣднюю минуту я вдругъ выигралъ двадцать рублей. Двѣ красныя кредитки лежали передо мной, и вдругъ, я вижу, этотъ жиденокъ про-

тягиваетъ руку и преспокойно тащитъ одну мою кредитку. Я было остановилъ его, но онъ съ самымъ наглымъ видомъ и, нисколько не возвышая голоса, вдругъ объявляетъ мнѣ, что это — его выигрышъ, что онъ сейчасъ самъ поставилъ и взялъ; онъ даже не захотѣлъ и продолжать разговора и отвернулся. Какъ нарочно, я былъ въ ту секунду въ преглупомъ состояніи духа: я замыслилъ большую идею и, плюнувъ, быстро всталъ и отошелъ, не захотѣвъ даже спорить и подаривъ ему красненькую. Да ужъ и трудно было бы вести эту исторію съ наглымъ воришкой, потому что было упущено время; игра уже шла впередъ. И вотъ это-то и было моей огромной ошибкой, которая и отразилась въ послѣдствіяхъ: три-четыре игрока подлѣ насъ замѣтили наше препинаніе, и увидя, что я такъ легко отступился, вѣроятно, приняли меня самого за такого. Было ровно двѣнадцать часовъ; я прошелъ въ слѣдующую комнату, подумалъ, сообразилъ о новомъ планѣ и, воротясь, размѣнялъ у банка мои кредитки на полуимперіалы. У меня очутилось ихъ сорокъ слишкомъ штукъ. Я раздѣлилъ ихъ на десять частей и рѣшилъ поставить десять ставокъ сряду на zéro, каждую въ четыре полуимперіала, одну за другой. «Выиграю — мое счастье, проставлю — тѣмъ лучше; никогда уже болѣе не буду играть». Замѣчу, что во всѣ эти два часа zéro ни разу не выходило, такъ что подъ конецъ никто уже на zéro и не ставилъ.

Я ставилъ стоя, молча нахмурясь и стиснувъ зубы. На третьей же ставкѣ Зерщиковъ громко объявилъ zéro, не выходившее весь день. Мнѣ отсчитали сто сорокъ полуимперіаловъ золотомъ. У меня оставалось еще семь ставокъ, и я сталъ

продолжать, а между тѣмъ, все кругомъ меня завертѣлось и заплясало.

— Переходите сюда! — крикнулъ я черезъ весь столъ одному игроку, съ которымъ давеча сидѣлъ рядомъ, одному сѣдому усачу, съ багровымъ лицомъ и во фракѣ, который уже нѣсколько часовъ съ невыразимымъ терпѣніемъ ставилъ маленькими кушами и проигрывалъ ставку за ставкой: — переходите сюда! Здѣсь счастье!

— Вы это мнѣ?—съ какимъ-то угрожающимъ удивленіемъ откликнулся усачъ съ конца стола.

— Да, вамъ! Тамъ до тла проиграетесь!

— Не ваше это дѣло и прошу мнѣ не мѣшать!

Но я уже никакъ не могъ выдержать. Напротивъ меня, черезъ столъ, сидѣлъ одинъ пожилой офицеръ. Глядя на мой кушъ, онъ пробормоталъ своему сосѣду:

— Странно, zéro. Нѣтъ, я на zéro не рѣшусь.

— Рѣшайтесь, полковникъ!—крикнулъ я, ставя новый кушъ.

— Прошу оставить и меня въ покоѣ-съ, безъ вашихъ совѣтовъ, — рѣзко отрѣзалъ онъ мнѣ. — Вы очень здѣсь кричите.

— Я вамъ добрый же совѣтъ подаю; ну, хотите пари, что сейчасъ же выйдетъ опять zéro: десять золотыхъ — вотъ, я ставлю, угодно?

И я выставилъ десять полуимперіаловъ.

— Десять золотыхъ, пари? Это я могу, — промолвилъ онъ сухо и строго. — Держу противъ васъ, что не выйдетъ zéro.

— Десять луидоровъ, полковникъ.

— Какихъ же десять луидоровъ?

— Десять полуимперіаловъ, а въ высокомъ слогѣ — луидоровъ.

— Такъ вы такъ и говорите, что полуимперіаловъ, и не извольте шутить со мной.

Я, разумѣется, не надѣялся выиграть пари: было тридцать шесть шансовъ противъ одного, что zéro не выйдетъ; но я предложилъ, во-первыхъ, потому, что форсилъ, а во-вторыхъ — потому, что хотѣлось чѣмъ-то всѣхъ привлечь къ себѣ. Я слишкомъ видѣлъ, что меня никто здѣсъ почему-то не любитъ и что мнѣ съ особеннымъ удовольствіемъ даютъ это знать. Рулетка завертѣлась, — и каково же было всеобщее изумленіе, когда вышло опять zéro! Даже всеобщій крикъ раздался. Тутъ слава выигрыша совершенно меня отуманила. Мнѣ опять отсчитали сто сорокъ полуимперіаловъ. Зерщиковъ спросилъ меня, не хочу ли я получить кредитками, но я что-то промычалъ ему, потому что буквально уже не могъ спокойно и обстоятельно изъясняться. Голова у меня кружилась, и ноги слабѣли. Я вдругъ почувствовалъ, что страшно сейчасъ пойду рисковать; кромѣ того, мнѣ хотѣлось еще что-нибудь предпринять, предложить еще какое-нибудь пари, отсчитать кому-нибудь нѣсколько тысячъ. Машинально сгребалъ я ладонью мою кучку кредитокъ и золотыхъ и не могъ собраться ихъ сосчитать. Въ эту минуту я вдругъ замѣтилъ сзади меня князя и Дарзана: они только что вернулись съ своего банка и, какъ узналъ я послѣ, проигравшись тамъ въ пухъ.

— А, Дарзанъ, — крикнулъ я ему: — вотъ гдѣ счастье! Ставьте на zéro!

— Проигрался, нѣтъ денегъ, — отвѣтилъ онъ сухо; князь же рѣшительно какъ будто не замѣтилъ и не узналъ меня.

— Вотъ деньги! — крикнулъ я, показывая на свою золотую кучу: — сколько надо?

— Чертъ возьми! — крикнулъ Дарзанъ, весь покраснѣвъ: — я, кажется, не просилъ у васъ денегъ.

— Васъ зовутъ, — дернулъ меня за рукавъ Зерщиковъ.

Звалъ меня уже нѣсколько разъ и почти съ бранью полковникъ, проигравшій мнѣ пари десять имперіаловъ.

— Извольте принять! — крикнулъ онъ весь багровый отъ гнѣва: — я не обязанъ стоять надъ вами: а то послѣ скажете, что не получили. Сосчитайте.

— Вѣрю, вѣрю, полковникъ, вѣрю безъ счета; только, пожалуйста, такъ на меня не кричите и не сердитесь, — и я сгребъ кучку его золота рукой.

— Милостивый государь, я васъ прошу, суйтесь съ вашими восторгами къ кому другому, а не ко мнѣ, — рѣзко закричалъ полковникъ. — Я съ вами вмѣстѣ свиней не пасъ!

— Странно пускать такихъ, — кто такой? — юноша какой-то, — раздавались вполголоса восклицанія.

Но я не слушалъ, я ставилъ зря и уже не на zéro. Я поставилъ цѣлую пачку радужныхъ на восемнадцать первыхъ.

— Ѣдемъ, Дарзанъ, — послышался сзади голосъ князя.

— Домой? — обернулся я къ нимъ. — Постойте меня: вмѣстѣ выйдемъ, я — шабашъ.

Моя ставка выиграла; это былъ крупный выигрышъ. — Баста! — крикнулъ я и дрожащими руками началъ загребать и сыпать золото въ карманы, не считая и какъ-то нелѣпо уминая пальцами кучки кредитокъ, которыя всѣ вмѣстѣ хотѣлъ

засунуть въ боковой карманъ. Вдругъ пухлая рука съ перстнемъ Афердова, сидѣвшаго сейчасъ отъ меня направо и тоже ставившаго на большіе куши, легла на три радужныхъ мои кредитныхъ и накрыла ихъ ладонью.

— Позвольте-съ, это — не ваше, — строго и раздѣльно отчеканилъ онъ, довольно, впрочемъ, мягкимъ голосомъ.

Вотъ это-то и была та прелюдія, которой потомъ, черезъ нѣсколько дней, суждено было имѣть такія послѣдствія. Теперь же, честью клянусь, что эти три сторублевыя были мои, но, къ моей злой судьбѣ, тогда, я хоть и былъ увѣренъ въ томъ, что онѣ мои, но все же у меня оставалась одна десятая доля и сомнѣнія, а для честнаго человѣка это — все; а я — честный человѣкъ. Главное, я тогда еще не зналъ навѣрно, что Афердовъ — воръ; я тогда еще и фамилію его не зналъ, такъ что въ ту минуту, дѣйствительно, могъ подумать, что я ошибся и что эти три сторублевыя не были въ числѣ тѣхъ, которыя мнѣ сейчасъ отсчитали. Я все время не считалъ мою кучу денегъ и только пригребалъ руками, а передъ Афердовымъ тоже все время лежали деньги, и какъ разъ сейчасъ подлѣ моихъ, но въ порядкѣ, и сосчитанныя. Наконецъ, Афердова здѣсь знали, его считали за богача, къ нему обращались съ уваженіемъ: все это и на меня повліяло, и я опять не протестовалъ. Ужасная ошибка! Главное свинство заключалось въ томъ, что я былъ въ восторгѣ.

— Чрезвычайно жаль, что я навѣрно не помню; но мнѣ ужасно кажется, что это — мои, — проговорилъ я съ дрожащими отъ негодованія губами. Слова эти тотчасъ же вызвали ропотъ.

— Чтобъ говорить такія вещи, то надо *навѣрно* помнить, а вы сами изволили провозгласить, что помните *не* навѣрно, — проговорилъ нестерпимо свысока Афердовъ.

— Да кто такой? — Да какъ позволить это?— раздалось было нѣсколько восклицаній.

— Это съ ними не въ первый разъ; давеча тамъ съ Рехбергомъ вышла тоже исторія изъ-за десятирублевой, — раздался подлѣ чей-то подленькій голосъ.

— Ну, довольно же, довольно! — восклицалъ я: — я не протестую, берите! Князь... гдѣ же князь и Дарзанъ? Ушли? Господа, вы не видали, куда ушли князь и Дарзанъ? И, подхвативъ, наконецъ, всѣ мои деньги, а нѣсколько полуимперіаловъ такъ и не успѣвъ засунуть въ карманъ и держа въ горсти, я пустился догонять князя и Дарзана. Читатель, кажется, видитъ, что я не щажу себя и припоминаю въ эту минуту всего себя тогдашняго, до послѣдней гадости, чтобъ было понятно, что̀ потомъ могло выйти.

Князь и Дарзанъ уже спустились съ лѣстницы, не обращая ни малѣйшаго вниманія на мой зовъ и крики. Я уже догналъ ихъ, но остановился на секунду передъ швейцаромъ и сунулъ ему въ руку три полуимперіала, чертъ знаетъ зачѣмъ; онъ поглядѣлъ на меня съ недоумѣніемъ и даже не поблагодарилъ. Но мнѣ было все равно, и, если бы тутъ былъ и Матвѣй, то я навѣрно бы отвалилъ ему цѣлую горсть золотыхъ; да такъ и хотѣлось, кажется, сдѣлать, но, выбѣжавъ на крыльцо, вдругъ вспомнилъ, что я его еще давеча отпустилъ домой. Въ эту минуту князю подали его рысака, и онъ сѣлъ въ сани.

— Я съ вами, князь, и къ вамъ! — крикнулъ я, схватилъ полость и отмахнулъ ее, чтобъ влѣзть въ его сани; но вдругъ, мимо меня, въ сани вскочилъ Дарзанъ, и кучеръ, вырвавъ у меня полость, запахнулъ господъ.

— Чертъ возьми! — крикнулъ я въ изступленіи. Выходило, что будто бы я для Дарзана и отстегивалъ полость, какъ лакей.

— Домой! — крикнулъ князь.

— Стой! — заревѣлъ я, хватаясь за сани, но лошадь дернула, и я покатился въ снѣгъ. Мнѣ показалось даже, что они засмѣялись. Вскочивъ, я мигомъ схватилъ подвернувшагося извозчика и полетѣлъ къ князю, понукая каждую секунду мою клячу.

IV.

Какъ нарочно, кляча тащила нестественно долго, хоть я и обѣщалъ цѣлый рубль. Извозчикъ только стегалъ и, конечно, настегалъ ее на рубль. Сердце мое замирало: я начиналъ что-то заговаривать съ извозчикомъ, но у меня даже не выговаривались слова, и я бормоталъ какой-то вздоръ. Вотъ въ какомъ положеніи я вбѣжалъ къ князю! Онъ только что воротился; онъ завезъ Дарзана и былъ одинъ. Блѣдный и злой шагалъ онъ по кабинету. Повторяю еще разъ: онъ страшно проигрался. На меня онъ посмотрѣлъ съ какимъ-то разсѣяннымъ недоумѣніемъ.

— Вы опять! — проговорилъ онъ, нахмурившись.

— А чтобъ съ вами покончить, сударь! — проговорилъ я, задыхаясь. — Какъ вы смѣли со мной такъ поступить?

Онъ глядѣлъ вопросительно.

— Если вы ѣхали съ Дарзаномъ, то могли мнѣ такъ и отвѣтить, что ѣдете съ Дарзаномъ, а вы дернули лошадь, и я...

— Ахъ да, вы, кажется, упали въ снѣгъ, — и онъ засмѣялся мнѣ въ глаза.

— На это отвѣчаютъ вызовомъ а потому мы сначала кончимъ счеты...

И я дрожащею рукой пустился вынимать мои деньги и класть на диванъ, на мраморный столикъ и даже въ какую-то раскрытую книгу, кучками, пригоршнями, пачками; нѣсколько монетъ покатилось на коверъ.

— Ахъ да, вы, кажется, выиграли?.. То-то и замѣтно по вашему тону.

Никогда еще не говорилъ онъ такъ со мной дерзко. Я былъ очень блѣденъ.

— Тутъ... я не знаю сколько... надо бы сосчитать. Я вамъ долженъ до трехъ тысячъ... или сколько?... Больше или меньше?

— Я васъ, кажется, не вынуждаю платить.

— Нѣтъ-съ, я самъ хочу заплатить, и вы должны знать почему. Я знаю, что въ этой пачкѣ радужныхъ — тысяча рублей, вотъ! И я сталъ было дрожащими руками считать, но бросилъ. — Все равно, я знаю, что тысяча. Ну, такъ вотъ эту тысячу я беру себѣ, а все остальное, вотъ эти кучи возьмите за долгъ, за честь долга: тутъ, я думаю, до двухъ тысячъ, или, пожалуй, больше!

— А тысячу-то все-таки себѣ оставляете? — оскалился князь.

— А вамъ надо? Въ такомъ случаѣ... я хотѣлъ было... я думалъ было, что вы не захотите... но, если надо — то вотъ...

— Нѣтъ, не надо, — презрительно отвернулся онъ отъ меня и опять зашагалъ по комнатѣ.

— И чертъ знаетъ, что вамъ вздумалось отдавать? — повернулся онъ вдругъ ко мнѣ съ страшнымъ вызовомъ въ лицѣ.

— Я отдаю, чтобъ потребовать у васъ отчета! — завопилъ я въ свою очередь.

— Убирайтесь вы прочь съ вашими вѣчными словами и жестами! — затопалъ онъ вдругъ на меня какъ бы въ изступленіи. — Я васъ обоихъ давно хотѣлъ выгнать: васъ и вашего Версилова.

— Вы съ ума сошли! — крикнулъ я. Да и было похоже на то.

— Вы меня измучили оба трескучими вашими фразами и все фразами, фразами, фразами! Объ чести, напримѣръ! Тьфу! Я давно хотѣлъ порвать... Я радъ, радъ, что пришла минута. Я считалъ себя связаннымъ и краснѣлъ, что принужденъ принимать васъ . . . обоихъ! А теперь не считаю себя связаннымъ ничѣмъ, ничѣмъ, знайте это! Вашъ Версиловъ подбивалъ меня напасть на Ахмакову и осрамить ее . . . Не смѣйте же, послѣ того, говорить у меня о чести. Потому что вы — люди безчестные . . . оба, оба; а вы развѣ не стыдились у меня брать мои деньги?

Въ глазахъ моихъ потемнѣло.

— Я бралъ у васъ какъ товарищъ, — началъ я ужасно тихо: — вы предлагали сами, и я повѣрилъ вашему расположенію . . .

— Я вамъ — не товарищъ! Я вамъ давалъ, да не для того, а вы сами знаете для чего.

— Я бралъ въ зачетъ Версиловскихъ; конечно, это глупо, но я . . .

— Вы не могли брать въ зачетъ Версиловскихъ

безъ позволенія, и я не могъ вамъ давать его деньги безъ его позволенія... Я вамъ свои давалъ; и вы знали; знали и брали; а я терпѣлъ ненавистную комедію въ своемъ домѣ!

— Что̀ такое я зналъ? Какая комедія? За что же вы мнѣ давали?

— Pour vos beaux yeux, mon cousin! — захохоталъ онъ мнѣ прямо въ глаза.

— Къ черту! — завопилъ я: — возьмите все, вотъ вамъ и эта тысяча! Теперь — квиты, и завтра...

И я бросилъ въ него этой пачкой радужныхъ, которую оставилъ было себѣ для разживы. Пачка попала ему прямо въ жилетъ и шлепнулась на полъ. Онъ быстро, огромными тремя шагами, подступилъ ко мнѣ въ упоръ:

— Посмѣете ли вы сказать, — свирѣпо и раздѣльно, какъ по складамъ, проговорилъ онъ: — что, бравъ мои деньги весь мѣсяцъ, вы не знали, что ваша сестра отъ меня беременна?

— Что̀? Какъ! — вскричалъ я, и вдругъ мои ноги ослабѣли, и я безсильно опустился на диванъ. Онъ мнѣ самъ говорилъ потомъ, что я поблѣднѣлъ буквально какъ платокъ. Умъ замѣшался во мнѣ. Помню, мы все смотрѣли молча другъ другу въ лицо. Какъ будто испугъ прошелъ по его лицу; онъ вдругъ наклонился, схватилъ меня за плечи и сталъ меня поддерживать. Я слишкомъ помню его неподвижную улыбку; въ ней была недовѣрчивость и удивленіе. Да, онъ никакъ не ожидалъ такого эффекта своихъ словъ, потому что былъ убѣжденъ въ моей виновности.

Кончилось обморокомъ, но на одну лишь минуту; я опомнился; приподнялся на ноги, глядѣлъ

на него и соображалъ—и вдругъ вся истина открылась столь долго спавшему уму моему! Если бъ мнѣ сказали заранѣе и спросили: «что бы я сдѣлалъ съ нимъ въ ту минуту», я бы навѣрно отвѣтилъ, что растерзалъ бы его на части. Но вышло совсѣмъ иное и совсѣмъ не по моей волѣ: я вдругъ закрылъ лицо обѣими руками и горько, навзрыдъ, заплакалъ. Само такъ вышло! Въ молодомъ человѣкѣ сказался вдругъ маленькій ребенокъ. Маленькій ребенокъ, значитъ, жилъ еще тогда въ душѣ моей на цѣлую половину. Я упалъ на диванъ и всхлипывалъ. «Лиза! Лиза! Бѣдная, несчастная!» Князь вдругъ и совершенно повѣрилъ.

— Боже, какъ я виноватъ передъ вами! — вскричалъ онъ съ глубокою горестью. — О, какъ гнусно я думалъ объ васъ въ моей мнительности . . . Простите меня, Аркадій Макаровичъ!

Я вдругъ вскочилъ, хотѣлъ ему что-то сказать, сталъ передъ нимъ, но, не сказавъ ничего, выбѣжалъ изъ комнаты и изъ квартиры. Я прибрелъ домой пѣшкомъ и едва помню путь. Я бросился на мою кровать лицомъ въ подушку, въ темнотѣ и думалъ-думалъ. Въ такія минуты строго и послѣдовательно никогда не думается. Умъ и воображеніе мое какъ бы срывались съ нитки, и, помню, я начиналъ даже мечтать о совершенно постороннемъ и даже Богъ знаетъ объ чемъ. Но горе и бѣда вдругъ опять припоминались съ болью и съ нытьемъ, и я опять ломалъ руки и восклицалъ: «Лиза, Лиза!» и опять плакалъ. Не помню, какъ заснулъ, но спалъ крѣпко, сладко.

Глава седьмая.

I.

Я проснулся утромъ часовъ въ восемь, мигомъ заперъ мою дверь, сѣлъ къ окну и сталъ думать. Такъ просидѣлъ до десяти часовъ. Служанка два раза стучалась ко мнѣ, но я прогналъ ее. Наконецъ, уже въ одиннадцатомъ часу, опять постучались. Я было закричалъ опять, но это была Лиза. Съ нею вошла и служанка, принесла мнѣ кофей и расположилась затоплять печку. Прогнать служанку было невозможно, и все время, пока Ѳекла накладывала дровъ и раздувала огонь, я все ходилъ большими шагами по моей маленькой комнатѣ, не начиная разговора и даже стараясь не глядѣть на Лизу. Служанка дѣйствовала съ невыразимою медленностью, и это нарочно, какъ всѣ служанки въ такихъ случаяхъ, когда примѣтятъ, что они господамъ мѣшаютъ при нихъ говорить. Лиза сѣла на стулъ у окна и слѣдила за мною.

— У тебя кофей простынетъ, — сказала она вдругъ.

Я поглядѣлъ на нее: ни малѣйшаго смущенія, полное спокойствіе, а на губахъ такъ даже улыбка.

— Вотъ женщины! — не вытерпѣлъ я и вскинулъ плечами. Наконецъ, служанка затопила печ-

ку и принялась было прибирать, но я съ жаромъ выгналъ ее и, наконецъ-то, заперъ дверь.

— Скажи мнѣ, пожалуйста, зачѣмъ ты опять заперъ дверь? — спросила Лиза.

Я сталъ передъ нею:

— Лиза, могъ ли я подумать, что ты такъ обманешь меня! — воскликнулъ я вдругъ, совсѣмъ даже не думая, что такъ начну, и не слезы на этотъ разъ, а почти злобное какое-то чувство укололо вдругъ мое сердце, такъ что я даже не ожидалъ того самъ. Лиза покраснѣла, но не отвѣтила, только продолжала смотрѣть мнѣ прямо въ глаза.

— Постой, Лиза, постой, о, какъ я былъ глупъ! Но глупъ ли? Всѣ намеки сошлись только вчера въ одну кучу, а до тѣхъ поръ откуда я могъ узнать? Изъ того, что ты ходила къ Столбѣевой и къ этой... Дарьѣ Онисимовнѣ? Но я тебя за солнце считалъ, Лиза, и какъ могло бы мнѣ придти что-нибудь въ голову? Помнишь, какъ я тебя встрѣтилъ тогда, два мѣсяца назадъ, у *него* на квартирѣ, и какъ мы съ тобой шли тогда по солнцу и радовались... тогда уже было? Было?

Она отвѣтила утвердительнымъ наклоненіемъ головы.

— Такъ ты ужъ и тогда меня обманывала! Тутъ не отъ глупости моей, Лиза, тутъ скорѣе мой эгоизмъ, а не глупость причиною, мой эгоизмъ сердца и — и, пожалуй, увѣренность въ святость. О, я всегда былъ увѣренъ, что всѣ вы безконечно выше меня и — вотъ! Наконецъ, вчера, въ одинъ день сроку, я не успѣлъ и сообразить, несмотря на всѣ намеки... Да и не тѣмъ совсѣмъ я былъ вчера занятъ!

Тутъ я вдругъ вспомнилъ о Катеринѣ Николаев-

нѣ, и что-то опять мучительно, какъ булавкой, кольнуло меня въ сердце, и я весь покраснѣлъ. Я естественно не могъ быть въ эту минуту добрымъ.

— Да въ чемъ ты оправдываешься? Ты, Аркадій, кажется, въ чемъ-то спѣшишь оправдаться, такъ въ чемъ же? — тихо и кротко спросила Лиза, но очень твердымъ и убѣжденнымъ голосомъ.

— Какъ въ чемъ? — Да мнѣ что теперь дѣлать? — вотъ хоть бы этотъ вопросъ! А ты говоришь: «въ чемъ же?» Я не знаю, какъ поступить! Я не знаю, какъ въ этихъ случаяхъ поступаютъ братья... Я знаю, что заставляютъ жениться съ пистолетомъ въ рукѣ... Поступлю, какъ надо честному человѣку! А я вотъ и не знаю, какъ тутъ надо поступить честному человѣку!.. Почему? Потому что мы — не дворяне, а онъ — князь и дѣлаетъ тамъ свою карьеру: онъ насъ, честныхъ-то людей, и слушать не станетъ. Мы — даже и не братья съ тобой, а незаконнорожденные какіе-то, безъ фамиліи, дѣти дворовaго; а князья развѣ женятся на дворовыхъ? О, гадость! И, сверхъ того, ты сидишь и на меня теперь удивляешься.

— Я вѣрю, что ты мучаешься, — покраснѣла опять Лиза: — но ты торопишься и самъ себя мучаешь.

— Торопишься? Да неужели же я недостаточно опоздалъ, по-твоему! Тебѣ ли, тебѣ ли, Лиза, мнѣ такъ говорить? — увлекся я, наконецъ, полнымъ негодованіемъ. — А сколько я вынесъ позору и какъ этотъ князь долженъ былъ меня презирать! О, мнѣ теперь все ясно и вся эта картина передо мной: онъ вполнѣ вообразилъ, что я уже давно догадался о его связи съ тобой, но молчу или

даже подымаю носъ и похваляюсь «честью» — вотъ что онъ даже могъ обо мнѣ подумать! И за сестру, за позоръ сестры беру деньги! Вотъ что ему было омерзительно видѣть, и я его оправдываю вполнѣ; каждый день видать и принимать подлеца, потому что онъ — ей братъ, да еще говоритъ о чести . . . это сердце изсохнетъ, хоть бы и его сердце! И ты все это допустила, ты не предупредила меня! Онъ до того презиралъ меня, что говорилъ обо мнѣ Стебелькову и самъ сказалъ мнѣ вчера, что хотѣлъ насъ обоихъ съ Версиловымъ выгнать. А Стебельковъ-то! «Анна Андреевна вѣдь — такая же вамъ сестрица, какъ и Лизавета Макаровна», да еще кричитъ мнѣ вслѣдъ: «Мои деньги лучше». А я-то, я-то нахально разваливался у *него* на диванахъ и лѣзъ, какъ родня, къ его знакомымъ, чертъ бы ихъ взялъ! И ты все это допустила! Пожалуй, и Дарзанъ теперь знаетъ, судя, по крайней мѣрѣ, по тону его вчера вечеромъ . . . Всѣ, всѣ знаютъ, кромѣ меня!

— Никто ничего не знаетъ, никому изъ знакомыхъ онъ не говорилъ и *не могъ* сказать, — прервала меня Лиза, — а про Стебелькова этого я знаю только, что Стебельковъ его мучаетъ и что Стебельковъ этотъ могъ развѣ лишь догадаться . . . А о тебѣ я ему нѣсколько разъ говорила, и онъ вполнѣ мнѣ вѣрилъ, что тебѣ ничего неизвѣстно, и вотъ только не знаю, почему и какъ это у васъ вчера вышло.

— О, по крайней мѣрѣ, я съ нимъ вчера расплатился и хоть это съ сердца долой! Лиза, знаетъ мама? Да какъ не знать: вчера-то, вчера-то она поднялась на меня! . . Ахъ, Лиза! Да неужто ты рѣшительно во всемъ себя считаешь правой, такъ-таки ни капли не винишь себя? Я не знаю, какъ

это судятъ по-теперешнему и какихъ ты мыслей, то есть насчетъ меня, мамы, брата, отца... Знаетъ Версиловъ?

— Мама ему ничего не говорила: онъ не спрашиваетъ, вѣрно, не хочетъ спрашивать.

— Знаетъ, да не хочетъ знать, это — такъ, это на него похоже! Ну, пусть ты осмѣиваешь роль брата, глупаго брата, когда онъ говоритъ о пистолетахъ, но мать, мать? Неужели ты не подумала, Лиза, что это — мамѣ укоръ? Я всю ночь объ этомъ промучился; первая мысль мамы теперь «это — потому, что я тоже была виновата, а какова мать — такова и дочь!»

— О, какъ это злобно и жестоко ты сказалъ! — вскричала Лиза съ прорвавшимися изъ глазъ слезами, встала и быстро пошла къ двери.

— Стой, стой! — обхватилъ я ее, посадилъ опять и сѣлъ подлѣ нея, не отнимая руки.

— Я такъ и думала, что все такъ и будетъ, когда шла сюда, и тебѣ непремѣнно понадобится, чтобъ я непремѣнно сама повинилась. Изволь, винюсь. Я только изъ гордости сейчасъ молчала, не говорила, а васъ и маму мнѣ гораздо больше, чѣмъ себя самое жаль... — Она не договорила и вдругъ горячо заплакала.

— Полно, Лиза, не надо, ничего не надо. Я — тебѣ не судья. Лиза, что мама? Скажи, давно она знаетъ?

— Я думаю, что давно; но я сама сказала ей недавно, когда *это* случилось, — тихо проговорила она, опустивъ глаза.

— Что жъ она?

— Она сказала: «носи!» — еще тише проговорила Лиза.

— Ахъ, Лиза, да, «носи»! Не сдѣлай чего надъ собой, упаси тебя Боже!

— Не сдѣлаю, — твердо отвѣтила она и вновь подняла на меня глаза. — Будь спокоенъ, — прибавила она, — тутъ совсѣмъ не то.

— Лиза, милая, я вижу только, что я тутъ ничего не знаю, но зато теперь только узналъ, какъ тебя люблю. Одного только не понимаю, Лиза: все мнѣ тутъ ясно, одного только совсѣмъ не пойму: за что ты его полюбила? Какъ ты могла такого полюбить? Вотъ вопросъ!

— И, вѣрно, тоже объ этомъ мучился ночью?— тихо улыбнулась Лиза.

— Стой, Лиза, это — глупый вопросъ, и ты смѣешься; смѣйся, но вѣдь невозможно же не удивляться: ты и *онъ* — вы такія противоположности! Онъ — я его изучилъ — онъ мрачный, мнительный, можетъ быть, онъ очень добрый, пусть его, но зато въ высшей степени склонный прежде всего во всемъ видѣть злое (въ этомъ, впрочемъ, совершенно какъ я!). Онъ страстно уважаетъ благородство — это я допускаю, это вижу, но только, кажется, въ идеалѣ. О, онъ склоненъ къ раскаянію, онъ всю жизнь безпрерывно клянетъ себя и раскаивается, но зато никогда не исправляется, впрочемъ, это тоже, можетъ быть, какъ я. Тысяча предразсудковъ и ложныхъ мыслей и — никакихъ мыслей! Ищетъ большого подвига и пакоститъ по мелочамъ. Прости, Лиза, я, впрочемъ — дуракъ: говоря это, я тебя обижаю и знаю это; я это понимаю . . .

— Портретъ бы вѣренъ, — улыбнулась Лиза,— но ты слишкомъ на него золъ за меня, а потому и ничего невѣрно. Онъ съ самаго начала былъ къ

тебѣ недовѣрчивъ и ты не могъ его видѣть, а со мной еще съ Луги... Онъ только и видѣлъ одну меня, съ самой Луги. Да, онъ мнительный и болѣзненный, и безъ меня съ ума бы сошелъ; и если меня оставитъ, то сойдетъ съ ума или застрѣлится; кажется, онъ это понялъ и знаетъ, — прибавила Лиза какъ бы про себя и задумчиво. — Да, онъ слабъ безпрерывно, но этакіе-то слабые способны когда-нибудь и на чрезвычайно сильное дѣло... Какъ ты странно сказалъ про пистолетъ, Аркадій: ничего тутъ этого не надо, и я знаю сама, что будетъ. Не я за нимъ хожу, а онъ за мною ходитъ. Мама плачетъ, говоритъ: «если за него выйдешь, несчастна будешь, любить перестанетъ». Я этому не вѣрю, несчастна, можетъ, буду, а любить онъ не перестанетъ. Я не потому все не давала ему согласія, а по другой причинѣ. Я ему уже два мѣсяца не даю согласія, но сегодня я сказала ему: *да,* выйду за тебя. Аркаша, знаешь, онъ вчера — (глаза ея сіяли, и она вдругъ обхватила мнѣ руками шею) — онъ вчера пріѣхалъ къ Аннѣ Андреевнѣ и прямо, со всей откровенностью сказалъ ей, что не можетъ любить ее... Да, онъ объяснился совсѣмъ, и эта мысль теперь кончена! Онъ никогда въ этой мысли не участвовалъ, это все намечталъ князь Николай Ивановичъ, да напирали на него эти мучители, Стебельковъ и другой одинъ... Вотъ я и сказала ему за это сегодня: да. Милый Аркадій, онъ очень зоветъ тебя, и не обижайся послѣ вчерашняго: онъ сегодня не такъ здоровъ и весь день дома. Онъ взаправду нездоровъ, Аркадій: не подумай, что отговорка. Онъ меня нарочно прислалъ и просилъ передать, что «нуждается» въ тебѣ, что ему много надо сказать тебѣ, а у тебя здѣсь, на

этой квартирѣ будетъ неловко. Ну, прощай! Ахъ, Аркадій, стыдно мнѣ только говорить, а я шла сюда и ужасно боялась, что ты меня разлюбилъ, все крестилась дорогою, а ты — такой добрый, милый! Не забуду тебѣ этого никогда! Я къ мамѣ. А ты его полюби хоть немножко, а?

Я горячо ее обнялъ и сказалъ ей:

— Я, Лиза, думаю, что ты — крѣпкій характеръ. Да, я вѣрю, что не ты за нимъ ходишь, а онъ за тобой ходитъ, только все-таки . .

— Только все-таки «за что ты его полюбила— вотъ вопросъ!» — подхватила, вдругъ усмѣхнувшись шаловливо, какъ прежде, Лиза и ужасно похоже на меня произнесла: «вотъ вопросъ!» И при этомъ, совершенно какъ я дѣлаю при этой фразѣ, подняла указательный палецъ передъ глазами. Мы расцѣловались, но, когда она вышла, у меня опять защемило сердце.

II.

Замѣчу здѣсь лишь для себя: были, напримѣръ, мгновенія, по уходѣ Лизы, когда самыя неожиданныя мысли цѣлой толпой приходили мнѣ въ голову, и я даже былъ ими очень доволенъ. «Ну, что я хлопочу, думалъ я: мнѣ-то что? У всѣхъ такъ или почти. Что жъ такое, что съ Лизой это случилось? Что я «честь семейства», что ли, долженъ спасти?» Отмѣчаю всѣ эти подробности, чтобъ показать, до какой степени я еще не укрѣпленъ былъ въ разумѣніи зла и добра. Спасало лишь чувство: я зналъ, что Лиза несчастна, что мама несчастна, и зналъ это чувствомъ, когда вспоминалъ про нихъ, и потому и чувствовалъ, что все, что случилось, должно быть, — нехорошо.

Теперь предупрежу, что событія съ этого дня до самой катастрофы, моей болѣзни, пустились съ такою быстротой, что мнѣ, припоминая теперь, даже самому удивительно, какъ могъ я устоять передъ ними, какъ не задавила меня судьба. Они обезсилили мой умъ и даже чувства, и если бъ я подъ конецъ, не устоявъ, совершилъ преступленіе -— (а преступленіе чуть-чуть не совершилось), то присяжные, весьма можетъ быть, оправдали бы меня. Но постараюсь описать въ строгомъ порядкѣ, хотя предупреждаю, что тогда въ мысляхъ моихъ мало было порядка. Событія налегли, какъ вѣтеръ, и мысли мои закрутились въ умѣ, какъ осенніе сухіе листья. Такъ какъ я весь состоялъ изъ чужихъ мыслей, то гдѣ мнѣ было взять своихъ, когда онѣ потребовались для самостоятельнаго рѣшенія? Руководителя же совсѣмъ не было.

Къ князю я рѣшилъ пойти вечеромъ, чтобы обо всемъ переговорить на полной свободѣ, а до вечера оставался дома. Но въ сумерки получилъ по городской почтѣ опять записку отъ Стебелькова, въ три строки, съ настоятельною и «убѣдительнѣйшею» просьбою посѣтить его завтра утромъ, часовъ въ одиннадцать, для «самоважнѣйшихъ дѣлъ, и сами увидите, что за дѣломъ». Обдумавъ, я рѣшилъ поступить судя по обстоятельствамъ, такъ какъ до завтра было еще далеко.

Было уже восемь часовъ; я бы давно пошелъ, но все поджидалъ Версилова: хотѣлось ему многое выразить, и сердце у меня горѣло. Но Версиловъ не приходилъ и не пришелъ. Къ мамѣ и къ Лизѣ мнѣ показываться пока нельзя было, да и Версилова, чувствовалось мнѣ, навѣрно весь день тамъ не было. Я пошелъ пѣшкомъ, и мнѣ уже на

пути пришло въ голову заглянуть во вчерашній трактиръ на канавѣ. Какъ разъ Версиловъ сидѣлъ на вчерашнемъ своемъ мѣстѣ.

— Я такъ и думалъ, что ты сюда придешь, — странно улыбнувшись и странно посмотрѣвъ на меня, сказалъ онъ. Улыбка его было недобрая, и такой я уже давно не видалъ на его лицѣ.

Я присѣлъ къ столику и разсказалъ ему сначала все фактами о князѣ и о Лизѣ, и о вчерашней сценѣ моей у князя послѣ рулетки; не забылъ и о выигрышѣ на рулеткѣ. Онъ выслушалъ очень внимательно и переспросилъ о рѣшеніи князя жениться на Лизѣ.

— Pauvre enfant, можетъ быть, она ничего тѣмъ не выиграетъ. Но, вѣроятно, не состоится... хотя онъ способенъ...

— Скажите мнѣ, какъ другу: вѣдь вы это знали, предчувствовали?

— Другъ мой, что я тутъ могъ? Все это — дѣло чувства и чужой совѣсти, хотя бы и со стороны этой бѣдненькой дѣвочки. Повторю тебѣ: я достаточно въ оно время вскакивалъ въ совѣсть другихъ — самый неудобный маневръ! Въ несчастьѣ помочь не откажусь, насколько силъ хватитъ и если самъ разберу, а ты, мой милый, ты таки все время ничего и не подозрѣвалъ?

— Но какъ могли вы, — вскричалъ я, весь вспыхнувъ: — какъ могли вы, подозрѣвая даже хоть на каплю, что я знаю о связи Лизы съ княземъ, и видя, что я въ то же время беру у князя деньги, — какъ могли вы говорить со мной, сидѣть со мной, протягивать мнѣ руку, — мнѣ, котораго вы же должны были считать за подлеца, потому что, бьюсь объ закладъ, вы навѣрно подо-

зрѣвали, что я знаю все и беру у князя за сестру деньги зазнамо!

— Опять-таки — дѣло совѣсти, — усмѣхнулся онъ. — И почему ты знаешь, — съ какимъ-то загадочнымъ чувствомъ внятно прибавилъ онъ, — почему ты знаешь, не боялся ли я, какъ ты вчера при другомъ случаѣ, свой «идеалъ» потерять и, вмѣсто моего пылкаго и честнаго мальчика, негодяя встрѣтить? Опасаясь, отдалялъ минуту. Почему не предположить во мнѣ, вмѣсто лѣности или коварства, чего-нибудь болѣе невиннаго, ну хоть глупаго, но поблагороднѣе. Que diable! Я слишкомъ часто бываю глупъ и безъ благородства. Что бы пользы мнѣ въ тебѣ, если бъ у тебя ужъ такія наклонности были? Уговаривать и исправлять въ такихъ случаяхъ низко; ты бы потерялъ въ моихъ глазахъ всякую цѣну, хотя бы и исправленный . . .

— А Лизу жалѣете, жалѣете?

— Очень жалѣю, мой милый. Съ чего ты взялъ, что я такъ безчувственъ? . . Напротивъ, постараюсь всѣми силами . . . Ну, а ты *какъ*, какъ *твои* дѣла?

— Оставимъ мои дѣла; у меня теперь нѣтъ *моихъ* дѣлъ. Слушайте, почему вы сомнѣваетесь, что онъ женится? Онъ вчера былъ у Анны Андреевны и положительно отказался . . . ну, то есть отъ той глупой мысли . . . вотъ что зародилась у князя Николая Ивановича — сосватать ихъ. Онъ отказался положительно.

— Да? Когда же это было? И отъ кого ты именно слышалъ? — съ любопытствомъ освѣдомился онъ. Я разсказалъ все, что зналъ.

— Гмъ . . . — произнесъ онъ раздумчиво и какъ бы соображая про себя: — стало быть, это

происходило ровно за какой-нибудь часъ... до одного другого объясненія. Гмъ... ну, да, конечно, подобное объясненіе могло у нихъ произойти... хотя мнѣ, однако, извѣстно, что тамъ до сихъ поръ ничего никогда не было сказано или сдѣлано ни съ той, ни съ другой стороны... Да, конечно, достаточно двухъ словъ, чтобъ объясниться. Но, вотъ что, — странно усмѣхнулся онъ вдругъ: — я тебя, конечно, заинтересую сейчасъ однимъ чрезвычайнымъ даже извѣстіемъ: если бъ твой князь и сдѣлалъ вчера свое предложеніе Аннѣ Андреевнѣ (чего я, подозрѣвая о Лизѣ, всѣми бы силами моими не допустилъ, entre nous soit dit), то Анна Андреевна навѣрно и во всякомъ случаѣ ему тотчасъ бы отказала. Ты, кажется, очень любишь Анну Андреевну, уважаешь и цѣнишь ее? Это очень мило съ твоей стороны, а потому, вѣроятно, и порадуешься за нее: она, мой милый, выходитъ замужъ, и, судя по ея характеру, кажется выйдетъ навѣрно, а я — ну, я ужъ, конечно, благословлю.

— Замужъ выходитъ? За кого же? — вскричалъ я, ужасно удивленный.

— А угадай. Мучить не буду: за князя Николая Ивановича, за твоего милаго старичка.

Я глядѣлъ во всѣ глаза.

— Должно быть, она давно эту идею питала, и ужъ, конечно, художественно обработала ее со всѣхъ сторонъ, — лѣниво и раздѣльно продолжалъ онъ. — Я полагаю, это произошло ровно часъ спустя послѣ посѣщенія «князя Сережи». (Вотъ вѣдь некстати-то разскакался!) Она просто пришла къ князю Николаю Ивановичу и сдѣлала ему предложеніе.

— Какъ «сдѣлала ему предложеніе»? То есть онъ сдѣлалъ ей предложеніе?

— Ну, гдѣ ему! Она, она сама, то-то и есть, что онъ въ полномъ восторгѣ. Онъ, говорятъ, теперь все сидитъ и удивляется, какъ это ему самому не пришло въ голову. Я слышалъ, онъ даже прихворнулъ . . . тоже отъ восторга, должно быть.

— Послушайте, вы такъ насмѣшливо говорите . . . Я почти не могу повѣрить. Да и какъ она могла предложить? Что она сказала?

— Будь увѣренъ, мой другъ, что я искренно радуюсь, — отвѣтилъ онъ, вдругъ принявъ удивительно серьезную мину, — онъ старъ, конечно, но жениться можетъ, по всѣмъ законамъ и обычаямъ, а она — тутъ опять-таки дѣло чужой совѣсти, то, что уже я тебѣ повторилъ, мой другъ. Впрочемъ, она слишкомъ компетентна, чтобъ имѣть свой взглядъ и свое рѣшеніе. А собственно о подробностяхъ и какими словами она выражалась, то не сумѣю тебѣ передать, мой другъ. Но ужъ, конечно, она-то сумѣла, да такъ, можетъ быть, какъ мы съ тобою и не придумали бы. Лучше всего во всемъ этомъ то, что тутъ никакого скандала, все très comme il faut въ глазахъ свѣта. Конечно, слишкомъ ясно, что она захотѣла себѣ положенія въ свѣтѣ, но вѣдь она же и стоитъ того. Все это, другъ мой, — совершенно свѣтская вещь. А предложила она, должно быть, великолѣпно и изящно. Это — строгій типъ, мой другъ, дѣвушка-монашенка, какъ ты ее разъ опредѣлилъ; «спокойная дѣвица», какъ я ее давно уже называю. Она вѣдь— почти что его воспитанница, ты знаешь, и уже не разъ видѣла его доброту къ себѣ. Она увѣряла меня уже давно, что его «такъ уважаетъ и такъ

цѣнитъ, такъ жалѣетъ и симпатизируетъ ему», ну, и все прочее, такъ что я даже отчасти былъ подготовленъ. Мнѣ о всемъ этомъ сообщилъ сегодня утромъ, отъ ея лица и по ея просьбѣ, сынъ мой, а ея братъ Андрей Андреевичъ, съ которымъ ты, кажется, не знакомъ и съ которымъ я вижусь аккуратно разъ въ полгода. Онъ почтительно апробуетъ шагъ ея.

— Такъ это уже гласно? Боже, какъ я изумленъ!

— Нѣтъ, это совсѣмъ еще негласно, до нѣкотораго времени... я тамъ не знаю, вообще я въ сторонѣ совершенно. Но все это вѣрно.

— Но теперь Катерина Николаевна... Какъ вы думаете, эта закуска Бьорингу не понравится?

— Этого я ужъ не знаю... что собственно тутъ ему не понравится; но повѣрь, что Анна Андреевна и въ этомъ смыслѣ — въ высшей степени порядочный человѣкъ. А каково, однако, Анна-то Андреевна! Какъ-разъ справилась передъ тѣмъ у меня вчера утромъ: «люблю ли я или нѣтъ госпожу вдову Ахмакову?» Помнишь, я тебѣ съ удивленіемъ вчера передавалъ: нельзя же бы ей выйти за отца, если бъ я женился на дочери? Понимаешь теперь?

— Ахъ, въ самомъ дѣлѣ! — вскричалъ я. — Но неужто же, въ самомъ дѣлѣ, Анна Андреевна могла предположить, что вы... могли бы желать жениться на Катеринѣ Николаевнѣ?

— Видно, что такъ, мой другъ, а, впрочемъ... а, впрочемъ тебѣ, кажется, пора туда, куда ты идешь. У меня, видишь ли, все голова болитъ. Прикажу Лючіо. Я люблю торжественность скуки, а, впрочемъ, я уже говорилъ тебѣ это... Повто

ряюсь непростительно . . . Впрочемъ, можетъ быть, и уйду отсюда. Я люблю тебя, мой милый, но прощай; когда у меня голова болитъ или зубы, я всегда жажду уединенія.

На лицѣ его показалась какая-то мучительная складка; вѣрю теперь, что у него болѣла тогда голова, особенно голова . . .

— До завтра, — сказалъ я.

— Что такое до завтра и что будетъ завтра?— криво усмѣхнулся онъ.

— Приду къ вамъ, или вы ко мнѣ.

— Нѣтъ, я къ тебѣ не приду, а ты ко мнѣ прибѣжишь . . .

Въ лицѣ его было что-то слишкомъ ужъ недоброе, но мнѣ было даже не до него: такое происшествіе!

III.

Князь былъ, дѣйствительно, нездоровъ и сидѣлъ дома одинъ съ обвязанной мокрымъ полотенцемъ головой. Онъ очень ждалъ меня; но не голова одна у него болѣла, а скорѣе онъ весь былъ боленъ нравственно. Предупреждаю опять: во все это послѣднее время, и вплоть до катастрофы, мнѣ какъ-то пришлось встрѣчаться сплошь съ людьми, до того возбужденными, что всѣ они были чуть не помѣшанные, такъ что я самъ поневолѣ долженъ былъ какъ бы заразиться. Я, признаюсь, пришелъ съ дурными чувствами, да и стыдно мнѣ было очень того, что я вчера передъ нимъ расплакался. Да и все-таки они такъ ловко съ Лизой сумѣли меня обмануть, что я не могъ же не видѣть въ себѣ глупца. Словомъ, когда я вошелъ къ нему, въ душѣ моей звучали фальшивыя струны. Но все это напускное

и фальшивое соскочило быстро. Я долженъ отдать ему справедливость: какъ скоро падала и разбивалась его мнительность, то онъ уже отдавался окончательно; въ немъ сказывались черты почти младенческой ласковости, довѣрчивости и любви. Онъ со слезами поцѣловалъ меня и тотчасъ же началъ говорить о дѣлѣ . . . Да, я, дѣйствительно, былъ ему очень нуженъ: въ словахъ его и въ теченіи идей было чрезвычайно много безпорядка.

Онъ совершенно твердо заявилъ мнѣ о своемъ намѣреніи жениться на Лизѣ и какъ можно скорѣй. — То, что она не дворянка, повѣрьте, не смущало меня ни минуты,—сказалъ онъ мнѣ: — мой дѣдъ женатъ былъ на дворовой дѣвушкѣ, пѣвицѣ на собственномъ крѣпостномъ театрѣ одного сосѣда-помѣщика. Конечно, мое семейство питало насчетъ меня своего рода надежды, но имъ придется теперь уступить, да и борьбы никакой не будетъ. Я хочу разорвать, разорвать со всѣмъ теперешнимъ окончательно! Все другое, все по-новому! Я не понимаю, за что меня полюбила ваша сестра; но ужъ, конечно, я безъ нея, можетъ быть, не жилъ бы теперь на свѣтѣ. Клянусь вамъ отъ глубины души, что я смотрю теперь на встрѣчу мою съ ней въ Лугѣ, какъ на перстъ Провидѣнія. Я думаю, она полюбила меня за «безпредѣльность моего паденія» . . . впрочемъ, поймете ли вы это, Аркадій Макаровичъ?

— Совершенно! — произнесъ я, въ высшей степени убѣжденнымъ голосомъ. Я сидѣлъ въ креслахъ передъ столомъ, а онъ ходилъ по комнатѣ.

— Я долженъ вамъ разсказать весь этотъ фактъ нашей встрѣчи, безъ утайки. Началось съ моей душевной тайны, которую она одна только

и узнала, потому что одной только ей я и рѣшился повѣрить. И никто до сихъ поръ не знаетъ. Въ Лугу тогда я попалъ съ отчаяніемъ въ душѣ, и жилъ у Столбѣевой, не знаю зачѣмъ, можетъ быть, искалъ полнѣйшаго уединенія. Я тогда только что оставилъ службу въ —мъ полку. Въ полкъ этотъ я поступилъ, воротясь изъ-за границы, послѣ той встрѣчи за границей съ Андреемъ Петровичемъ. У меня были тогда деньги, я въ полку моталъ, жилъ открыто; но офицеры-товарищи меня не любили, хотя я старался не оскорблять. И признаюсь вамъ, что меня никто никогда не любилъ. Тамъ былъ одинъ корнетъ, Степановъ какой-то, признаюсь вамъ, чрезвычайно пустой, ничтожный и даже какъ бы забитый, однимъ словомъ, ничѣмъ не отличавшійся. Безспорно, впрочемъ, честный. Онъ ко мнѣ повадился, я съ нимъ не церемонился, онъ просиживалъ у меня въ углу молча по цѣлымъ днямъ, но съ достоинствомъ, хотя не мѣшалъ мнѣ вовсе. Разъ я разсказалъ ему одинъ текущій анекдотъ, въ который приплелъ много вздору, о томъ, что дочь полковника ко мнѣ неравнодушна и что полковникъ, расчитывая на меня, конечно, сдѣлаетъ все, что я пожелаю . . . Однимъ словомъ, я опускаю подробности, но изъ всего этого вышла потомъ пресложная и прегнусная сплетня. Вышла не отъ Степанова, а отъ моего денщика, который все подслушалъ и запомнилъ, потому что тутъ былъ одинъ смѣшной анекдотъ, компрометировавшій молодую особу. Вотъ этотъ денщикъ и указалъ на допросѣ у офицеровъ, когда вышла сплетня, на Степанова: то есть, что я этому Степанову разсказывалъ. Степановъ былъ поставленъ въ такое положеніе, что никакъ не могъ отречься,

что слышалъ; это было дѣломъ чести. А такъ какъ я на двѣ трети въ анекдотѣ этомъ налгалъ, то офицеры были возмущены, а полковой командиръ, собравъ насъ къ себѣ, вынужденъ былъ объясниться. Вотъ тутъ-то и былъ заданъ при всѣхъ Степанову вопросъ: слышалъ онъ или нѣтъ? И тотъ показалъ всю правду. Ну-съ, что же я тогда сдѣлалъ, я, тысячелѣтній князь? Я отрекся и въ глаза Степанову сказалъ, что онъ солгалъ, учтивымъ образомъ, то есть, въ томъ смыслѣ, что онъ «не такъ понялъ», и проч. . . Я опять-таки опускаю подробности, но выгода моего положенія была та, что такъ какъ Степановъ ко мнѣ учащалъ, то я, не безъ нѣкотораго вѣроятія, могъ выставить дѣло въ такомъ видѣ, что онъ, будто бы, стакнулся съ моимъ денщикомъ изъ нѣкоторыхъ выгодъ. Степановъ только молча поглядѣлъ на меня и пожалъ плечами. Я помню его взглядъ и никогда не забуду. Затѣмъ онъ немедленно подалъ было въ отставку, но какъ вы думаете, что вышло? Офицеры, всѣ до единаго, разомъ, сдѣлали ему визитъ и уговорили его не подавать. Черезъ двѣ недѣли вышелъ и я изъ полка: меня никто не выгонялъ, никто не приглашалъ выйти, я выставилъ семейный предлогъ для отставки. Тѣмъ дѣло и кончилось. Сначала я былъ совершенно ничего и даже на нихъ сердился; жилъ въ Лугѣ, познакомился съ Лизаветой Макаровной, но потомъ, еще мѣсяцъ спустя, я уже смотрѣлъ на мой револьверъ и подумывалъ о смерти. Я смотрю на каждое дѣло мрачно, Аркадій Макаровичъ. Я приготовилъ письмо въ полкъ командиру и товарищамъ, съ полнымъ сознаніемъ во лжи моей, возстановляя честь Степанова. Написавъ письмо, я задалъ себѣ задачу: «послать и жить,

или послать и умереть?» Я бы не разрѣшилъ этого вопроса. Случай, слѣпой случай, послѣ одного быстраго и страннаго разговора съ Лизаветой Макаровной, вдругъ сблизилъ меня съ нею. А до того она ходила къ Столбѣевой; мы встрѣчались, раскланивались и даже рѣдко говорили. Я вдругъ все открылъ ей. Вотъ тогда-то она и подала мнѣ руку.

— Какъ же она рѣшила вопросъ?

— Я не послалъ письма. Она рѣшила не посылать. Она мотивировала такъ: если пошлю письмо, то, конечно, сдѣлаю благородный поступокъ, достаточный, чтобъ смыть всю грязь и даже гораздо больше, но вынесу ли его самъ? Ея мнѣніе было то, что и никто бы не вынесъ, потому что будущность тогда погибла и уже воскресеніе къ новой жизни невозможно. И къ тому же, добро бы пострадалъ Степановъ; но вѣдь онъ же былъ оправданъ обществомъ офицеровъ и безъ того. Однимъ словомъ — парадоксъ; но она удержала меня, и я ей отдался вполнѣ.

— Она рѣшила по-іезуитски, но по-женски! — вскричалъ я: — она уже тогда васъ любила!

— Это-то и возродило меня къ новой жизни. Я далъ себѣ слово передѣлать себя, переломить жизнь, заслужить передъ собой и передъ нею, и — вотъ у насъ чѣмъ кончилось! Кончилось тѣмъ, что мы съ вами ѣздили здѣсь на рулетки, играли въ банкъ; я не выдержалъ передъ наслѣдствомъ, обрадовался карьерѣ, всѣмъ этимъ людямъ, рысакамъ... я мучилъ Лизу — позоръ!

Онъ потеръ себѣ лобъ рукой и прошелся по комнатѣ.

— Насъ съ вами постигла обоюдная русская судьба, Аркадій Макаровичъ: вы не знаете, что дѣ-

лать, и я не знаю, что дѣлать. Выскочи русскій человѣкъ чуть-чуть изъ казенной, узаконенной для него обычаемъ колеи — и онъ сейчасъ же не знаетъ, что дѣлать. Въ колеѣ все ясно: доходъ, чинъ, положеніе въ свѣтѣ, экипажъ, визиты, служба, жена — а чуть что и — что я такое? Листъ, гонимый вѣтромъ. Я не знаю, что дѣлать! Эти два мѣсяца я стремился удержаться въ колеѣ, полюбилъ колею, втянулся въ колею. Вы еще не знаете глубины моего здѣшняго паденія: я любилъ Лизу, искренно любилъ и въ то же время думалъ объ Ахмаковой!

— Неужели? — съ болью вскричалъ я. — Кстати, князь, что вы сказали мнѣ вчера про Версилова, что онъ подбивалъ васъ на какую-то подлость противъ Катерины Николаевны.

— Я, можетъ быть, преувеличилъ и такъ же виноватъ въ моей мнительности передъ нимъ, какъ и передъ вами. Оставьте это. Что, неужели вы думаете, что во все это время, съ самой Луги, можетъ быть, я не питалъ высокаго идеала жизни? Клянусь вамъ, онъ не покидалъ меня и былъ передо мной постоянно, не потерявъ нисколько въ душѣ моей своей красоты. Я помнилъ клятву, данную Лизаветѣ Макаровнѣ, возродиться. Андрей Петровичъ, говоря вчера здѣсь о дворянствѣ, не сказалъ мнѣ ничего новаго, будьте увѣрены. Мой идеалъ поставленъ твердо: нѣсколько десятковъ десятинъ земли (и только нѣсколько десятковъ, потому что у меня не остается уже почти ничего отъ наслѣдства); затѣмъ полный, полнѣйшій разрывъ со свѣтомъ и съ карьерой; сельскій домъ, семья и самъ — пахарь или въ родѣ того. О, въ нашемъ родѣ это — не новость: братъ моего отца

пахалъ собственноручно, дѣдъ тоже. Мы — всего только тысячелѣтіе князья и благородны, какъ Роганы, но мы — нищіе. И вотъ этому я бы и научилъ и моихъ дѣтей: «Помни всегда всю жизнь, что ты — дворянинъ, что въ жилахъ твоихъ течетъ святая кровь русскихъ князей, но не стыдись того, что отецъ твой самъ пахалъ землю: это онъ дѣлалъ *по-княжески*». Я бы не оставилъ имъ состоянія, кромѣ этого клочка земли, но зато бы далъ высшее образованіе, это ужъ взялъ бы обязанностью. О, тутъ помогла бы Лиза, дѣти, работа, о, какъ мы мечтали обо всемъ этомъ съ нею, здѣсь мечтали, вотъ тутъ въ этихъ комнатахъ, и что же? Я въ то же время думалъ объ Ахмаковой, не любя этой особы вовсе, и о возможности свѣтскаго, богатаго брака! И только послѣ извѣстія, привезеннаго вчера Нащокинымъ, объ этомъ Бьорингѣ, я и рѣшилъ отправиться къ Аннѣ Андреевнѣ.

— Но вѣдь вы же ѣздили отказаться? Вѣдь вотъ уже честный поступокъ, я думаю?

— Вы думаете? — остановился онъ передо мной: — нѣтъ, вы еще не знаете моей природы! Или . . . или я тутъ самъ не знаю чего-нибудь: потому что тутъ, должно быть, не одна природа. Я васъ искренно люблю, Аркадій Макаровичъ, и кромѣ того я глубоко виноватъ передъ вами за всѣ эти два мѣсяца, а потому я хочу, чтобы вы, какъ братъ Лизы, все это узнали: я ѣздилъ къ Аннѣ Андреевнѣ съ тѣмъ, чтобъ сдѣлать ей предложеніе, а не отказываться.

— Можетъ ли быть? Но Лиза говорила . . .

— Я обманулъ Лизу.

— Позвольте: вы сдѣлали формальное предло-

женіе, и Анна Андреевна отказала вамъ? Такъ ли? Такъ ли? Подробности для меня чрезвычайно важны, князь.

— Нѣтъ, я предложенія не дѣлалъ совсѣмъ, но лишь потому, что не успѣлъ; она сама предупредила меня, — не въ прямыхъ, конечно, словахъ, но, однакоже, въ слишкомъ прозрачныхъ и ясныхъ дала мнѣ «деликатно» понять, что идея эта впредь невозможна.

— Значитъ, все равно что не дѣлали предложенія, и гордость ваша не пострадала!

— Неужели вы можете такъ разсуждать! А судъ собственной совѣсти, а Лиза, которую я обманулъ и . . . хотѣлъ бросить, стало быть? А обѣтъ, данный себѣ и всему роду моихъ предковъ — возродиться и выкупить всѣ прежнія подлости! Умоляю васъ, не говорите ей про это. Можетъ быть, она этого одного не въ состояніи была бы простить мнѣ! Я со вчерашняго боленъ. А главное, кажется, теперь уже все кончено, и послѣдній изъ князей Сокольскихъ отправится въ каторгу. Бѣдная Лиза! Я очень ждалъ васъ весь день, Аркадій Макаровичъ, чтобъ открыть вамъ, какъ брату Лизы, то, чего она еще не знаетъ. Я — уголовный преступникъ и участвую въ поддѣлкѣ фальшивыхъ акцій —ской желѣзной дороги.

— Это что еще! Какъ въ каторгу? — вскочилъ я, въ ужасѣ смотря на него. Лицо его выражало глубочайшую, мрачную, безысходную горесть.

— Сядьте, — сказалъ онъ, и самъ сѣлъ въ кресла напротивъ. — Во-первыхъ, узнайте фактъ: годъ слишкомъ назадъ, вотъ въ то самое лѣто Эмса, Лидіи и Катерины Николаевны и потомъ Па-

рижа, именно въ то время, когда я отправился на два мѣсяца въ Парижъ, въ Парижѣ мнѣ не достало, разумѣется, денегъ. Тутъ какъ разъ подвернулся Стебельковъ, котораго я, впрочемъ, и прежде зналъ. Онъ далъ мнѣ денегъ и обѣщалъ еще дать, но просилъ и съ своей стороны помочь ему: ему нуженъ былъ артистъ, рисовальщикъ, граверъ, литографъ и прочее, химикъ и техникъ, и — съ извѣстными цѣлями. О цѣляхъ онъ высказался даже съ перваго раза довольно прозрачно. И что жъ? Онъ зналъ мой характеръ, — меня все это только разсмѣшило. Дѣло въ томъ, что мнѣ еще со школьной скамьи былъ знакомъ одинъ, въ настоящее время русскій эмигрантъ, не русскаго, впрочемъ, происхожденія и проживающій гдѣ-то въ Гамбургѣ. Въ Россіи онъ разъ уже былъ замѣшанъ въ одной исторіи по поддѣлкѣ бумагъ. Вотъ на этого-то человѣка и расчитывалъ Стебельковъ, но потребовалась къ нему рекомендація, и онъ обратился ко мнѣ. Я далъ ему двѣ строки и тотчасъ забылъ о нихъ. Потомъ онъ еще и еще разъ встрѣчался со мной, и я получилъ отъ него тогда всего до трехъ тысячъ. Обо всемъ этомъ дѣлѣ я буквально забылъ. Здѣсь я бралъ все время у него деньги подъ векселя и залоги, и онъ извивался передо мною какъ рабъ, и вдругъ вчера я узнаю отъ него въ первый разъ, что я — уголовный преступникъ.

— Когда, вчера?

— А вотъ вчера, когда мы утромъ кричали съ нимъ въ кабинетѣ передъ пріѣздомъ Нащокина. Онъ въ первый разъ и совершенно уже ясно осмѣлился заговорить со мной объ Аннѣ Андреевнѣ. Я поднялъ руку, чтобъ ударить его, но онъ вдругъ

всталъ и объявилъ мнѣ, что я съ нимъ солидаренъ, и чтобъ я помнилъ, что я — его участникъ и такой же мошенникъ, какъ онъ, — однимъ словомъ, хоть не эти слова, но эта мысль.

— Вздоръ какой, но вѣдь это мечта?

— Нѣтъ, это — не мечта. Онъ былъ у меня сегодня и объяснилъ подробнѣе. Акціи эти давно въ ходу и еще будутъ пущены въ ходъ, но, кажется, гдѣ-то ужъ начали попадаться. Конечно, я въ сторонѣ, но «вѣдь, однакоже, вы тогда изволили дать это письмецо-съ», — вотъ что мнѣ сказалъ Стебельковъ.

— Такъ вѣдь вы же не знали для чего, или знали?

— Зналъ, — отвѣчалъ тихо князь и потупилъ глаза. — То есть, видите ли, и зналъ, и не зналъ. Я смѣялся, мнѣ было весело. Я ни о чемъ тогда не думалъ, тѣмъ болѣе, что мнѣ было совсѣмъ не надо фальшивыхъ акцій и что я не собирался ихъ дѣлать. Но, однакоже, эти три тысячи, которыя онъ мнѣ тогда далъ, онъ даже ихъ и на счетъ потомъ не поставилъ, а я допустилъ это. А, впрочемъ, почемъ вы знаете, можетъ быть, и я былъ фальшивый монетчикъ? Я не могъ не знать, я — не маленькій; я зналъ, но мнѣ было весело, и я помогъ подлецамъ каторжникамъ... и помогъ за деньги! Стало быть, и я фальшивый монетчикъ!

— О, вы преувеличиваете; вы виноваты, но вы преувеличиваете!

— Тутъ, главное, есть одинъ Жибельскій, еще молодой человѣкъ, по судейской части, нѣчто въ родѣ помощника аблакатишки. Въ этихъ акціяхъ онъ тутъ — тоже какой-то участникъ, ѣздилъ потомъ отъ того господина въ Гамбургѣ ко мнѣ, съ

пустяками, разумѣется, и я даже самъ не зналъ для чего, объ акціяхъ и помину не было... Но, однакоже, у него уцѣлѣло моей руки два документа, все записки по двѣ строчки, и ужъ, конечно, онѣ тоже свидѣтельствуютъ; это я сегодня хорошо понялъ. Стебельковъ объясняетъ, что этотъ Жибельскій мѣшаетъ всему: онъ что-то тамъ укралъ, чьи-то деньги, казенныя, кажется, но намѣренъ еще украсть и затѣмъ эмигрировать; такъ вотъ ему надобно восемь тысячъ не меньше въ видѣ вспомоществованія на эмиграцію. Моя часть изъ наслѣдства удовлетворяетъ Стебелькова, но Стебельковъ говоритъ, что надо удовлетворить и Жибельскаго... Однимъ словомъ, отказаться отъ моей части въ наслѣдствѣ и еще десять тысячъ — вотъ ихъ послѣднее слово. И тогда мнѣ воротятъ мои двѣ записки. Они — сообща, это ясно.

— Явная нелѣпость! Вѣдь если они донесутъ на васъ, то себя предадутъ! Они ни за что не донесутъ.

— Понимаю. Они совсѣмъ и не грозятъ донести; они говорятъ только: «мы, конечно, не донесемъ, но, въ случаѣ, если дѣло откроется, то...»; вотъ что они говорятъ, и все, но я думаю, что это довольно! Дѣло не въ томъ: что бы тамъ ни вышло, хотя бы эти записки были у меня теперь же въ карманѣ, но быть солидарнымъ съ этими мошенниками, быть ихъ товарищемъ вѣчно, вѣчно! Лгать Россіи, лгать дѣтямъ, лгать Лизѣ, лгать своей совѣсти!..

— Лиза знаетъ?

— Нѣтъ, всего она не знаетъ. Она не перенесла бы въ своемъ положеніи. Я теперь ношу мундиръ моего полка и при встрѣчѣ съ каждымъ солда-

томъ моего полка, каждую секунду, сознаю въ себѣ, что я не смѣю носить этотъ мундиръ.

— Слушайте, — вскричалъ я вдругъ, — тутъ нечего разговаривать; у васъ одинъ, единственный путь спасенія; идите къ князю Николаю Ивановичу, возьмите у него десять тысячъ, попросите, не открывая ничего, призовите потомъ этихъ двухъ мошенниковъ, раздѣлайтесь окончательно и выкупите назадъ ваши записки . . . и дѣло съ концомъ! Все дѣло съ концомъ, и ступайте пахать! Прочь фантазія и довѣрьтесь жизни!

— Я объ этомъ думалъ, — сказалъ онъ твердо. — Я весь день сегодня рѣшался и, наконецъ, рѣшилъ. Я ждалъ только васъ; я поѣду. Знаете ли, что я никогда въ моей жизни не бралъ ни копейки у князя Николая Ивановича. Онъ добръ къ нашему семейству и даже . . . принималъ участіе, но собственно я, я лично, я никогда не бралъ денегъ. Но теперь я рѣшился . . . Замѣтьте, нашъ родъ Сокольскихъ старше, чѣмъ родъ князя Николая Ивановича: они — младшая линія, даже побочная, почти спорная . . . Наши предки были во враждѣ. Въ началѣ петровской реформы мой прапрадѣдъ, тоже Петръ, былъ и остался раскольникомъ и скитался въ костромскихъ лѣсахъ. Этотъ князь Петръ во второй разъ тоже на недворянкѣ былъ женатъ . . . Вотъ тогда-то и выдвинулись эти другіе Сокольскіе, но я . . . о чемъ же я это говорю.

Онъ былъ очень утомленъ, почти какъ бы заговаривался.

— Успокойтесь же, — всталъ я, захватывая шляпу, — ляжте спать, это — первое. А князь Николай Ивановичъ ни за что не откажетъ, особенно теперь, на радостяхъ. Вы знаете тамошнюю-то

исторію? Неужто нѣтъ? Я слышалъ дикую вещь, что онъ женится; это — секретъ, но не отъ васъ, разумѣется.

И я все разсказалъ ему, уже стоя со шляпой въ рукѣ. Онъ ничего не зналъ. Онъ быстро освѣдомился о подробностяхъ, преимущественно времени, мѣста и о степени достовѣрности. Я, конечно, не скрылъ, что это, по разсказамъ, произошло тотчасъ вслѣдъ за его вчерашнимъ визитомъ къ Аннѣ Андреевнѣ. Не могу выразить, какое болѣзненное впечатлѣніе произвело на него это извѣстіе; лицо его исказилось, какъ бы перекосилось, кривая улыбка судорожно стянула его губы; подъ конецъ онъ ужасно поблѣднѣлъ и глубоко задумался, потупивъ глаза. Я вдругъ слишкомъ ясно увидѣлъ, что самолюбіе его было страшно поражено вчерашнимъ отказомъ Анны Андреевны. Можетъ быть, ему слишкомъ ужъ ярко, при болѣзненномъ настроеніи его, представилась въ эту минуту вчерашняя смѣшная и унизительная роль его передъ этой дѣвицей, въ согласіи которой, какъ оказывалось теперь, онъ былъ все время такъ спокойно увѣренъ. И, наконецъ, можетъ быть, мысль, что сдѣлалъ такую подлость передъ Лизой и такъ задаромъ! Любопытно то, за кого эти свѣтскіе франты почитаютъ другъ друга и на какихъ это основаніяхъ могутъ они уважать другъ друга; вѣдь этотъ князь могъ же предположить, что Анна Андреевна уже знаетъ о связи его съ Лизой, въ сущности, съ ея сестрой, а если не знаетъ, то когда-нибудь ужъ навѣрно узнаетъ; и вотъ онъ «не сомнѣвался въ ея рѣшеніи!»

— И неужели же вы могли подумать, — гордо и заносчиво вскинулъ онъ вдругъ на меня глаза, —

что я, я способенъ ѣхать теперь, послѣ такого сообщенія, къ князю Николаю Ивановичу и у него просить денегъ! У него, жениха той невѣсты, которая мнѣ только что отказала, — какое нищенство, какое лакейство! Нѣтъ, теперь все погибло, и если помощь этого старика была моей послѣдней надеждой, то пусть гибнетъ и эта надежда!

Я съ нимъ про себя въ душѣ моей согласился; но на дѣйствительность надо было смотрѣть все-таки шире: старикъ-князь развѣ былъ человѣкъ, женихъ? У меня закипѣло нѣсколько идей въ головѣ. Я и безъ того, впрочемъ, рѣшилъ давеча, что завтра непремѣнно навѣщу старика. Теперь же я постарался смягчить впечатлѣніе и уложить бѣднаго князя спать! «Выспитесь, и идеи будутъ свѣтлѣе, сами увидите!» Онъ горячо пожалъ мою руку, но уже не цѣловался. Я далъ ему слово, что приду къ нему завтра вечеромъ, и «поговоримъ, поговоримъ: слишкомъ много накопилось объ чемъ поговорить». На эти слова мои онъ какъ-то фатально улыбнулся.

Глава восьмая.

I.

Всю ту ночь снилась мнѣ рулетка, игра, золото, разсчеты. Я все что-то разсчитывалъ, будто бы за игорнымъ столомъ какую-то ставку, какой-то шансъ, и это давило меня какъ кошмаръ всю ночь. Скажу правду, что и весь предыдущій день, несмотря на всѣ чрезвычайныя впечатлѣнія мои, я поминутно вспоминалъ о выигрышѣ у Зерщикова. Я подавлялъ мысль, но впечатлѣніе не могъ подавить и вздрагивалъ при одномъ воспоминаніи. Этотъ выигрышъ укусилъ мое сердце. Неужели я рожденъ игрокомъ? По крайней мѣрѣ — навѣрное, что съ качествами игрока. Даже и теперь, когда все это пишу, я минутами люблю думать объ игрѣ! Мнѣ случается цѣлые часы проводить иногда, сидя молча, въ игорныхъ разсчетахъ въ умѣ и въ мечтахъ о томъ, какъ это все идетъ, какъ я ставлю и беру. Да, во мнѣ много разныхъ «качествъ» и душа у меня неспокойная.

Въ десять часовъ я намѣревался отправиться къ Стебелькову и пѣшкомъ. Матвѣя я отправилъ домой, только что тотъ явился. Пока пилъ кофе, старался обдуматься. Почему-то я былъ доволенъ; главное тѣмъ, что «буду сегодня въ домѣ князя Ни-

колая Ивановича». Но день этотъ въ жизни моей былъ роковой и неожиданный и какъ разъ начался сюрпризомъ.

Ровно въ десять часовъ отворилась наотмашь моя дверь, и влетѣла — Татьяна Павловна. Я всего могъ ожидать, только не ея посѣщенія, и вскочилъ передъ ней въ испугѣ. Лицо ея было свирѣпо, жесты безпорядочны и, спросить ее, она бы сама, можетъ не сказала: зачѣмъ вбѣжала ко мнѣ? Предупрежу заранѣе: она только что получила одно чрезвычайное, подавившее ее извѣстіе и была подъ самымъ первымъ впечатлѣніемъ. А извѣстіе задѣвало и меня. Впрочемъ, она пробыла у меня полминуты, ну, положимъ всю минуту, только ужъ не болѣе. Она такъ и вцѣпилась въ меня.

— Такъ ты вотъ какъ! — стала она передо мной, вся изогнувшись впередъ. — Ахъ ты, пащенокъ! Что ты это надѣлалъ? Аль еще не знаешь? Кофей пьетъ! Ахъ ты, болтушка, ахъ ты, мельница, ахъ ты, любовникъ изъ бумажки . . . да такихъ розгами сѣкутъ, розгами, розгами!

— Татьяна Павловна, что случилось? Что сдѣлалось? Мама? . .

— Узнаешь! — грозно вскричала она и выбѣжала изъ комнаты, — только я ее и видѣлъ. Я, конечно бы, погнался за ней, но меня остановила одна мысль, и не мысль, а какое-то темное безпокойство: я предчувствовалъ, что «любовникъ изъ бумажки» было въ крикахъ ея главнымъ словомъ. Конечно, я бы ничего не угадалъ самъ, но я быстро вышелъ, чтобъ, поскорѣе кончивъ съ Стебелькомъ, направиться къ князю Николаю Ивановичу. «Тамъ — всему ключъ!» — подумалъ я инстинктивно.

Удивительно какимъ образомъ, но Стебельковъ уже все зналъ объ Аннѣ Андреевнѣ и даже въ подробностяхъ; не описываю его разговора и жестовъ, но онъ былъ въ восторгѣ, въ изступленіи восторга отъ «художественности подвига».

— Вотъ это — особа-съ! Нѣтъ-съ, вотъ это — такъ особа! — воскликнулъ онъ.—Нѣтъ-съ, это не по-нашему; мы вотъ сидимъ да и ничего, а тутъ захотѣлось испить водицы въ настоящемъ источникѣ — и испила. Это . . . это — древняя статуя! Это — древняя статуя Минервы-съ, только ходитъ и современное платье носитъ!

Я попросилъ его перейти къ дѣлу; все дѣло, какъ я и предугадалъ вполнѣ, заключалось лишь въ томъ, чтобы склонить и уговорить князя ѣхать просить окончательной помощи у князя Николая Ивановича. «Не то вѣдь ему очень, очень плохо можетъ быть, и не по моей ужъ волѣ; такъ иль не такъ?»

Онъ заглядывалъ мнѣ въ глаза, но, кажется, не предполагалъ, что мнѣ что-нибудь болѣе вчерашняго извѣстно. Да и не могъ предположить: само собою разумѣется, что я ни словомъ, ни намекомъ не выдалъ, что знаю «объ акціяхъ». Объяснялись мы недолго, онъ тотчасъ же сталъ обѣщать мнѣ денегъ, и «значительно-съ, значительно-съ, только способствуйте, чтобъ князь поѣхалъ. Дѣло спѣшное, очень спѣшное, въ томъ-то и сила, что слишкомъ ужъ спѣшное!»

Спорить и пререкаться съ нимъ, какъ вчера, я не захотѣлъ и всталъ выходить, на всякій случай бросивъ ему, что я «постараюсь». Но вдругъ онъ меня удивилъ невыразимо: я уже направлялся къ двери, какъ онъ, внезапно, ласково обхвативъ

мою талію рукой, началъ говорить мнѣ... самыя непонятныя вещи.

Опускаю подробности и не привожу всю нить разговора, чтобъ не утомлять. Смыслъ въ томъ, что онъ сдѣлалъ мнѣ предложеніе «познакомить его съ господиномъ Дергачевымъ, такъ какъ вы тамъ бываете!»

Я мгновенно притихъ, всѣми силами стараясь не выдать себя какимъ-нибудь жестомъ. Тотчасъ, впрочемъ, отвѣтилъ, что вовсе тамъ незнакомъ, а если былъ, то всего одинъ разъ случайно.

— Но если были *допущены* разъ, то уже можете придти и въ другой, такъ или не такъ?

Я прямо, но очень хладнокровно спросилъ его, для чего ему это нужно? И вотъ до сихъ поръ не могу понять, какимъ образомъ до такой степени можетъ доходить наивность иного человѣка, повидимому, неглупаго и «дѣлового», какъ опредѣлилъ его Васинъ? Онъ совершенно прямо объяснилъ мнѣ, что у Дергачева, по подозрѣніямъ его, «навѣрно, что-нибудь изъ запрещеннаго, изъ запрещеннаго строго, а потому, изслѣдовавъ, я бы могъ составить тѣмъ для себя нѣкоторую выгоду». И онъ, улыбаясь, подмигнулъ мнѣ лѣвымъ глазомъ.

Я ничего ровно не отвѣтилъ утвердительно, но прикинулся, что обдумываю, и «обѣщалъ подумать», а затѣмъ поскорѣе ушелъ. Дѣла усложнялись: я полетѣлъ къ Васину и какъ разъ засталъ его дома.

— А, и вы — тоже! — загадочно проговорилъ онъ, завидѣвъ меня.

Не подымая его фразы, я прямо приступилъ къ дѣлу и разсказалъ. Онъ былъ видимо пора-

женъ, хотя нисколько не потерялъ хладнокровія. Онъ все подробно переспросилъ.

— Очень могло быть, что вы не такъ поняли?

— Нѣтъ, ужъ понялъ вѣрно, смыслъ совершенно прямой.

— Во всякомъ случаѣ, я вамъ чрезвычайно благодаренъ, — прибавилъ онъ искренно. — Да, дѣйствительно, если такъ все было, то онъ полагалъ, что вы не можете устоять противъ извѣстной суммы.

— И къ тому же ему слишкомъ извѣстно мое положеніе: я все игралъ, я велъ себя дурно, Васинъ.

— Я объ этомъ слышалъ.

— Всего загадочнѣе для меня то, что онъ знаетъ же про васъ, что и вы тамъ бываете, — рискнулъ я спросить.

— Онъ слишкомъ знаетъ, — совершенно просто отвѣтилъ Васинъ, — что я тамъ ни при чемъ. Да и вся эта молодежь больше болтуны — и ничего больше; вы, впрочемъ, сами лучше всѣхъ это можете помнить.

Мнѣ показалось, что онъ какъ будто мнѣ въ чемъ-то не довѣрялъ.

— Во всякомъ случаѣ, я вамъ чрезвычайно благодаренъ.

— Я слышалъ, что дѣла г. Стебелькова нѣсколько поразстроились, — попробовалъ я еще спросить: — по крайней мѣрѣ, я слышалъ про однѣ акціи...

— Про какія акціи вы слышали?

Я нарочно замѣтилъ объ «акціяхъ», но ужъ, разумѣется, не для того, чтобъ разсказать ему вчерашній секретъ князя. Мнѣ только захотѣлось

сдѣлать намекъ и посмотрѣть по лицу, по глазамъ, знаетъ ли онъ что-нибудь про акціи? Я достигъ цѣли: по неуловимому и мгновенному движенію въ лицѣ его я догадался, что ему, можетъ быть, и тутъ кое-что извѣстно. Я не отвѣтилъ на его вопросъ: «какія акціи», а промолчалъ; а онъ, любопытно это, такъ и не продолжалъ объ этомъ.

— Какъ здоровье Лизаветы Макаровны? — освѣдомился онъ съ участіемъ.

— Она здорова. Сестра моя всегда васъ уважала...

Удовольствіе блеснуло въ его глазахъ: я давно уже угадалъ, что онъ неравнодушенъ къ Лизѣ.

— У меня на дняхъ былъ князь Сергѣй Петровичъ, — вдругъ сообщилъ онъ.

— Когда? — вскричалъ я.

— Ровно четыре дня тому.

— Не вчера?

— Нѣтъ, не вчера. — Онъ вопросительно посмотрѣлъ на меня.

— Потомъ я, можетъ быть, вамъ сообщу подробнѣе объ этой нашей встрѣчѣ, но теперь нахожу нужнымъ предупредить васъ (загадочно проговорилъ Васинъ), что онъ показался мнѣ тогда какъ бы въ ненормальномъ состояніи духа и... ума даже. Впрочемъ, я и еще имѣлъ одинъ визитъ, — вдругъ улыбнулся онъ: — сейчасъ передъ вами, и тоже принужденъ былъ заключить объ не совсѣмъ нормальномъ состояніи посѣтителя.

— Князь былъ сейчасъ?

— Нѣтъ, не князь, я теперь не про князя. У меня былъ сейчасъ Андрей Петровичъ Версиловъ и... вы ничего не знаете? Не случилось съ нимъ ничего такого?

— Можетъ быть, и случилось, но что̀ именно у васъ-то съ нимъ произошло? — торопливо спросилъ я.

— Конечно, я долженъ бы былъ тутъ сохранить секретъ . . . Мы какъ-то странно разговариваемъ съ вами, слишкомъ секретно, — опять улыбнулся онъ. — Андрей Петровичъ, впрочемъ, не заказывалъ мнѣ секрета. Но вы его сынъ, и такъ какъ я знаю ваши къ нему чувства, то на этотъ разъ даже, кажется, хорошо сдѣлаю, если васъ предупрежу. Вообразите, онъ приходилъ ко мнѣ съ вопросомъ: «Если на случай, на-дняхъ, очень скоро, ему бы потребовалось драться на дуэли, то согласился ль бы я взять роль его секунданта?» Я, разумѣется, вполнѣ отказалъ ему.

Я былъ безконечно изумленъ; эта новость была всѣхъ безпокойнѣе: что-то вышло, что-то произошло, что-то непремѣнно случилось, чего я еще не знаю! Я вдругъ мелькомъ вспомнилъ, какъ Версиловъ промолвилъ мнѣ вчера: «Не я къ тебѣ приду, а ты ко мнѣ прибѣжишь». Я полетѣлъ къ князю Николаю Ивановичу, еще болѣе предчувствуя, что тамъ разгадка. Васинъ, прощаясь, еще разъ поблагодарилъ меня.

II.

Старикъ князь сидѣлъ передъ каминомъ, окутавъ пледомъ свои ноги. Онъ встрѣтилъ меня какимъ-то даже вопросительнымъ взглядомъ, точно удивившись, что я пришелъ, а между тѣмъ, самъ же, чуть не каждый день, присылалъ звать меня. Впрочемъ, поздоровался ласково, но на первые вопросы мои отвѣчалъ какъ бы нѣсколько брезгливо и ужасно какъ-то разсѣянно. По временамъ, какъ

бы что-то соображалъ и пристально вглядывался въ меня, какъ бы что-то забывъ и припоминая нѣчто такое, что несомнѣнно долженствовало относиться ко мнѣ. Я прямо сказалъ, что слышалъ уже все, и очень радъ. Привѣтливая и добрая улыбка тотчасъ показалась на губахъ его, и онъ оживился; осторожность и недовѣрчивость его разомъ соскочили, точно онъ и забылъ о нихъ. Да и, конечно, забылъ.

— Другъ ты мой милый, я такъ и зналъ, что первый придешь, и, знаешь, я вчера еще это про тебя подумалъ: «Кто обрадуется? Онъ обрадуется». Ну, а больше-то и никто: но это ничего. Люди — злые языки, но это ничтожно... Cher enfant, все это такъ возвышенно и такъ прелестно... Но вѣдь ты ее знаешь самъ слишкомъ хорошо. А объ тебѣ Анна Андреевна даже высокихъ мыслей. Это, это строгое и прелестное лицо изъ англійскаго кипсека. Это — прелестнѣйшая англійская гравюра, какая только можетъ быть... Третьяго года у меня была цѣлая коллекція этихъ гравюръ... Я всегда, всегда имѣлъ это намѣреніе, всегда; я удивляюсь только, какъ я объ этомъ никогда не думалъ.

— Вы, сколько я помню, всегда такъ любили и отличали Анну Андреевну.

— Другъ мой, мы никому не хотимъ вредить. Жизнь съ друзьями, съ родными, съ милыми сердцу — это рай. Всѣ — поэты... Однимъ словомъ, еще съ доисторическихъ временъ это извѣстно. Знаешь, мы лѣтомъ сначала въ Соденъ, а потомъ въ Бад-Гаштейнъ. Но какъ ты давно, однакоже, не былъ, мой другъ; да что съ тобой? Я тебя ожидалъ. И не правда ли, какъ много-много прошло

съ тѣхъ поръ. Жаль только, что я неспокоенъ: какъ только остаюсь одинъ, то и неспокоенъ. Вотъ потому-то мнѣ и нельзя одному оставаться, не правда ли? Это — вѣдь дважды-два. Я это тотчасъ же понялъ съ первыхъ же словъ ея. О, другъ мой, она сказала всего только два слова, но это . . . это было въ родѣ великолѣпнѣйшаго стихотворенія. А, впрочемъ, вѣдь ты ей — братъ, почти братъ, не правда ли? Мой милый, недаромъ же я такъ любилъ тебя! Клянусь, я все это предчувствовалъ. Я поцѣловалъ у нея ручку и заплакалъ.

Онъ вынулъ платокъ, какъ бы опять собираясь заплакать. Онъ былъ сильно потрясенъ, и, кажется, въ одномъ изъ самыхъ своихъ дурныхъ «состояній», въ какихъ я могъ его запомнить за все время нашего знакомства. Обыкновенно и даже почти всегда онъ бывалъ несравненно свѣжѣе и добрѣе.

— Я бы всѣхъ простилъ, другъ мой, — лепеталъ онъ далѣе. — Мнѣ хочется всѣхъ простить, и я давно уже ни на кого не сержусь. Искусство, la poésie dans la vie, вспоможеніе несчастнымъ и она, библейская красота. Quelle charmante personne, a? Les chants de Salomon . . . non, ce n'est pas Salomon, c'est David qui mettait une jeune belle dans son lit pour se chauffer dans sa vieillesse. Enfin David, Salomon, все это кружится у меня въ головѣ — кавардакъ какой-то. Всякая вещь, cher enfant, можетъ быть и величественна, и въ то же время смѣшна. Cette jeune belle de la vieillesse de David — c'est tout un poème, а у Поль-де-Кока вышла бы изъ этого какая-нибудь scène de bassinoire, и мы бы всѣ смѣялись. У Поль-де-Кока нѣтъ ни мѣры, ни вкуса, хотя онъ съ талантомъ . . . Катерина Николаевна улыбается . . . Я сказалъ, что

мы не будемъ мѣшать. Мы начали нашъ романъ, и пусть намъ дадутъ его докончить. Пусть это — мечта, но пусть не отымаютъ у насъ эту мечту.

— То есть, какъ же мечта, князь?

— Мечта? Какъ мечта? Ну, пусть мечта, только пусть дадутъ умереть съ этой мечтой.

— О, князь, къ чему умирать? Жить, теперь только и жить!

— А я что же говорю? Я только это и твержу. Я рѣшительно не знаю, для чего жизнь такъ коротка. Чтобъ не наскучить, конечно, ибо жизнь есть тоже художественное произведеніе самого Творца, въ окончательной и безукоризненой формѣ Пушкинскаго стихотворенія. Краткость есть первое условіе художественности. Но если кому нескучно, тѣмъ бы и дать пожить подольше.

— Скажите, князь, это уже гласно?

— Нѣтъ, мой милый, отнюдь нѣтъ. Мы всѣ такъ и уговорились. Это семейно, семейно и семейно. Пока, я лишь открылся вполнѣ Катеринѣ Николаевнѣ, потому что считаю себя передъ нею виновнымъ. О, Катерина Николаевна — ангелъ, она ангелъ!

— Да, да!

— Да? И ты да? А я думалъ, что ты ей-то и врагъ. Ахъ, да, кстати, она вѣдь просила не принимать тебя болѣе. И представь себѣ, когда ты вошелъ, я это вдругъ позабылъ.

— Что вы говорите? — вскочилъ я: — за что? Когда?

(Предчувствіе не обмануло меня; да, я именно въ этомъ родѣ предчувствовалъ съ самой Татьяны!)

— Вчера, мой милый, вчера, я даже не понимаю, какъ ты теперь прошелъ, ибо приняты мѣры. Какъ ты вошелъ?

— Я просто вошелъ.

— Вѣроятнѣе всего. Если бъ ты съ хитростью вошелъ, они бы, навѣрно, тебя изловили, а такъ какъ ты просто вошелъ, то они тебя и пропустили. Простота, mon cher, это въ сущности высочайшая хитрость.

— Я ничего не понимаю: стало быть, и вы рѣшили не принимать меня?

— Нѣтъ, мой другъ, я сказалъ, что я въ сторонѣ... То есть я далъ полное согласіе. И будь увѣренъ, мой милый мальчикъ, что я тебя слишкомъ люблю. Но Катерина Николаевна слишкомъ-слишкомъ настоятельно потребовала... А, да вотъ!

Въ эту минуту вдругъ показалась въ дверяхъ Катерина Николаевна. Она была одѣта какъ для выѣзда и, какъ и прежде это бывало, зашла къ отцу поцѣловать его. Увидя меня, она остановилась, смутилась, быстро повернулась и вышла.

— Voilà! — вскричалъ пораженный и ужасно взволнованный князь.

— Это недоразумѣніе! — вскричалъ я: — это какая-то одна минута... Я... я сейчасъ къ вамъ, князь!

И я выбѣжалъ вслѣдъ за Катериной Николаевной.

Затѣмъ все, что̀ послѣдовало, совершилось такъ быстро, что я не только не могъ сообразиться, но даже и чуть-чуть приготовиться какъ вести себя. Если бъ я могъ приготовиться, я бы, конечно, велъ себя иначе, но я потерялся, какъ маленькій мальчикъ. Я было бросился въ ея комнаты, но лакей на дорогѣ сказалъ мнѣ, что Катерина Николаевна уже вышла и садится въ карету. Я бросился,

сломя голову, на парадную лѣстницу. Катерина Николаевна сходила внизъ, въ своей шубѣ, и рядомъ съ ней шелъ, или, лучше сказать, велъ ее высокій стройный офицеръ, въ формѣ, безъ шинели, съ саблей; шинель несъ за нимъ лакей. Это былъ баронъ, полковникъ, лѣтъ тридцати пяти, щеголеватый типъ офицера, сухощавый, съ немного слишкомъ продолговатымъ лицомъ, съ рыжеватыми усами и даже рѣсницами. Лицо его было хоть и совсѣмъ некрасиво, но съ рѣзкой и вызывающей физіономіей. Я описываю наскоро, какъ замѣтилъ въ ту минуту. Предъ тѣмъ же я его никогда не видалъ. Я бѣжалъ за ними по лѣстницѣ безъ шляпы и безъ шубы. Катерина Николаевна меня замѣтила первая и быстро прошептала ему что-то. Онъ повернулъ было голову, но тотчасъ же кивнулъ слугѣ и швейцару. Слуга шагнулъ было ко мнѣ у самой уже выходной двери, но я отвелъ его рукой и выскочилъ вслѣдъ за ними на крыльцо. Бьорингъ усаживалъ Катерину Николаевну въ карету.

— Катерина Николаевна! Катерина Николаевна! — восклицалъ я безсмысленно (какъ дуракъ! Какъ дуракъ! О, я все припоминаю; я былъ безъ шляпы!).

Бьорингъ свирѣпо повернулся было опять къ слугѣ и что-то крикнулъ ему громко, одно или два слова, я не разобралъ. Я почувствовалъ, что кто-то схватилъ было меня за локоть. Въ эту минуту карета тронулась; я крикнулъ было опять и бросился за каретой. Катерина Николаевна, я видѣлъ это, выглядывала въ окно кареты, и, кажется, была въ большомъ безпокойствѣ. Но въ быстромъ движеніи моемъ, когда я бросился, я вдругъ сильно

толкнулъ, совсѣмъ о томъ не думая, Бьоринга и, кажется, очень больно наступилъ ему на ногу. Онъ слегка вскрикнулъ, скрежетнулъ зубами, и, сильною рукою схвативъ меня за плечо, злобно оттолкнулъ, такъ что я отлетѣлъ шага на три. Въ это мгновеніе ему подали шинель, онъ накинулъ, сѣлъ въ сани и изъ саней еще разъ грозно крикнулъ, указывая на меня лакеямъ и швейцару. Тутъ они схватили и удержали: одинъ слуга набросилъ на меня шубу, другой подалъ шляпу и — я ужъ не помню, что̀ они тутъ говорили; они что-то говорили, а я стоялъ и ихъ слушалъ, ничего не понимая. Но вдругъ бросилъ ихъ и побѣжалъ.

III.

Ничего не разбирая и наталкиваясь на народъ, добѣжалъ я, наконецъ, до квартиры Татьяны Павловны, даже не догадавшись нанять дорогой извозчика. Бьорингъ оттолкнулъ меня при ней! Конечно, я отдавилъ ему ногу, и онъ инстинктивно оттолкнулъ меня, какъ человѣкъ, которому наступили на мозоль (а, можетъ, я и впрямь раздавилъ ему мозоль!) Но она видѣла, и видѣла, что меня хватаютъ слуги, и это все при ней, при ней! Когда я вбѣжалъ къ Татьянѣ Павловнѣ, то въ первую минуту не могъ ничего говорить, и нижняя челюсть моя тряслась какъ въ лихорадкѣ. Да, я былъ въ лихорадкѣ и, сверхъ того, плакалъ . . . О, я былъ такъ оскорбленъ!

— А! Что̀? Вытолкали? И подѣломъ, и подѣломъ! — проговорила Татьяна Павловна; я молча опустился на диванъ и глядѣлъ на нее.

— Да что съ нимъ? — оглядѣла она меня при-

стально. — На, выпей стаканъ, выпей воду, выпей! Говори, что ты тамъ еще накуралесилъ?

Я пробормоталъ, что меня выгнали, а Бьорингъ толкнулъ на улицѣ.

— Понимать-то можешь что-нибудь, али еще нѣтъ? На, вотъ прочти, полюбуйся. И, взявъ со стола записку, она подала ее мнѣ, а сама стала передо мной въ ожиданіи. Я сейчасъ узналъ руку Версилова, было всего нѣсколько строкъ: это была записка къ Катеринѣ Николаевнѣ. Я вздрогнулъ, и пониманіе мгновенно воротилось ко мнѣ во всей силѣ. Вотъ содержаніе той ужасной, безобразной, нелѣпой, разбойнической записки слово въ слово:

«Милостивая государыня,
«Катерина Николаевна».

«Какъ вы ни развратны, по природѣ вашей и по искусству вашему, но все же я думалъ, что вы сдержите ваши страсти и не посягнете, по крайней мѣрѣ, на дѣтей. Но вы и этого не устыдились. Увѣдомляю васъ, что извѣстный вамъ документъ навѣрно не сожженъ на свѣчкѣ и никогда не былъ у Крафта, такъ что вы ничего тутъ не выиграете. А потому и не развращайте напрасно юношу. Пощадите его, онъ еще несовершеннолѣтній, почти мальчикъ, не развитъ и умственно и физически, что жъ вамъ въ немъ проку? Я беру въ немъ участіе, а потому и рискнулъ написать вамъ, хоть и не надѣюсь на успѣхъ. Честь имѣю предупредить, что копію съ сего одновременно посылаю къ барону Бьорингу.

А. Версиловъ».

Я блѣднѣлъ, читая, но потомъ вдругъ вспыхнулъ, и губы мои затряслись отъ негодованія.

— Это онъ про меня! Это про то, что я открылъ ему третьяго дня! — вскричалъ я въ ярости.

— То-то и есть, что открылъ! — вырвала у меня записку Татьяна Павловна.

— Но . . .я не то, совсѣмъ не то говорилъ! О, Боже, что она можетъ обо мнѣ теперь подумать! Но вѣдь это сумасшедшій? Вѣдь онъ сумасшедшій... Я вчера его видѣлъ. Когда письмо было послано?

— Вчера днемъ послано, вечеромъ пришло, а сегодня она мнѣ передала лично.

— Но я его видѣлъ вчера самъ, онъ сумасшедшій! Такъ не могъ написать Версиловъ, это писалъ сумасшедшій! Кто можетъ написать такъ женщинѣ?

— А вотъ такіе сумасшедшіе въ ярости и пишутъ, когда отъ ревности да отъ злобы ослѣпнутъ и оглохнутъ, а кровь въ ядъ-мышьякъ обратится... А ты еще не зналъ про него, каковъ онъ есть! Вотъ его и прихлопнутъ теперь за это, такъ что только мокренько будетъ. Самъ подъ сѣкиру лѣзетъ! Да лучше поди ночью на Николаевскую дорогу, положи голову на рельсы, вотъ и оттяпали бы ее ему, коли тяжело стало носить! Тебя-то что дернуло говорить ему! Тебя-то что дергало его дразнить? Похвалиться вздумалъ?

— Но какая же ненависть! Какая ненависть! — хлопнулъ я себя по головѣ рукой: — и за что, за что? Къ женщинѣ! Что она ему такое сдѣлала? Что такое у нихъ за сношенія были, что такія письма можно писать?

— Не-на-висть! — съ яростной насмѣшкой передразнила меня Татьяна Павловна.

Кровь ударила мнѣ опять въ лицо: я вдругъ

какъ бы что-то понялъ совсѣмъ уже новое; я глядѣлъ на нее вопросительно изо всѣхъ силъ.

— Убирайся ты отъ меня! — взвизгнула она, быстро повернувшись и махнувъ на меня рукой. — Довольно я съ вами со всѣми возилась! Полно теперь! Хоть провалитесь вы всѣ сквозь землю!.. Только твою мать одну еще жалко...

Я, разумѣется, побѣжалъ къ Версилову. Но такое коварство! Такое коварство!

IV.

Версиловъ былъ не одинъ. Объясняю заранѣе: отославъ вчера такое письмо къ Катеринѣ Николаевнѣ и дѣйствительно (одинъ только Богъ знаетъ зачѣмъ) пославъ копію съ него барону Бьорингу, онъ естественно сегодня же, въ теченіе дня, долженъ былъ ожидать и извѣстныхъ «послѣдствій» своего поступка, а потому и принялъ своего рода мѣры; съ утра еще онъ перевелъ маму и Лизу (которая, какъ я узналъ потомъ, воротившись еще утромъ, расхворалась и лежала въ постели), наверхъ, «въ гробъ», а комнаты, и особенно наша гостиная, были усиленно прибраны и выметены. И дѣйствительно, въ два часа пополудни пожаловалъ къ нему одинъ баронъ Р., полковникъ, военный, господинъ лѣтъ сорока, нѣмецкаго происхожденія, высокій, сухой и съ виду очень сильный физически человѣкъ, тоже рыжеватый, какъ и Бьорингъ, и немного только плѣшивый. Это былъ одинъ изъ тѣхъ бароновъ Р., которыхъ очень много въ русской военной службѣ, все людей съ сильнѣйшимъ баронскимъ гоноромъ, совершенно безъ состоянія, живущихъ однимъ жалованьемъ и чрезвычайныхъ

служакъ и фрунтовиковъ. Я не засталъ начала ихъ объясненія; оба были очень оживлены, да и какъ не быть. Версиловъ сидѣлъ на диванѣ передъ столомъ, а баронъ въ креслахъ сбоку. Версиловъ былъ блѣденъ, но говорилъ сдержанно и цѣдя слова, баронъ же возвышалъ голосъ и видимо наклоненъ былъ къ порывистымъ жестамъ, сдерживался черезъ силу, но смотрѣлъ строго, высокомѣрно и даже презрительно, хотя и не безъ нѣкотораго удивленія. Завидѣвъ меня, онъ нахмурился, но Версиловъ почти мнѣ обрадовался:

— Здравствуй, мой милый. Баронъ, это вотъ и есть тотъ самый очень молодой человѣкъ, объ которомъ упомянуто было въ запискѣ, и, повѣрьте, онъ не помѣшаетъ, а даже можетъ понадобиться. (Баронъ презрительно оглядѣлъ меня.) — Милый мой, — прибавилъ мнѣ Версиловъ: — я даже радъ, что ты пришелъ, а потому посиди въ углу, прошу тебя, пока мы кончимъ съ барономъ. Не безпокойтесь, баронъ, онъ только посидитъ въ углу.

Мнѣ было все равно, потому что я рѣшился, и кромѣ того, все это меня поражало; я сѣлъ молча въ уголъ, какъ можно болѣе въ уголъ, и просидѣлъ, не смигнувъ и не пошевельнувшись, до конца объясненія...

— Еще разъ вамъ повторяю, баронъ, — твердо отчеканивая слова, говорилъ Версиловъ, — что Катерину Николаевну Ахмакову, которой я написалъ это недостойное и болѣзненное письмо, я считаю не только наиблагороднѣйшимъ существомъ, но и верхомъ всѣхъ совершенствъ!

— Такое опроверженіе своихъ же словъ, какъ я уже вамъ замѣтилъ, похоже на подтвержденіе ихъ вновь, — промычалъ баронъ. — Ваши слова рѣшительно непочтительны.

— И, однако, всего будетъ вѣрнѣе, если вы ихъ примете въ точномъ смыслѣ. Я, видите ли, страдаю припадками и... разными разстройствами, и даже лѣчусь, а потому и случилось, что въ одну изъ подобныхъ минутъ...

— Эти объясненія никакъ не могутъ входить. Еще и еще разъ говорю вамъ, что вы упорно продолжаете ошибаться, можетъ быть, хотите нарочно ошибаться. Я уже предупредилъ васъ съ самаго начала, что весь вопросъ относительно этой дамы, то есть о письмѣ вашемъ собственно къ генеральшѣ Ахмаковой, долженствуетъ, при нашемъ теперешнемъ объясненіи, быть устраненъ окончательно; вы же все возвращаетесь. Баронъ Бьорингъ просилъ меня и поручилъ мнѣ особенно привести въ ясность собственно лишь то, что тутъ до одного лишь его касается, то есть ваше дерзкое сообщеніе этой «копіи», а потомъ вашу приписку, что «вы готовы отвѣчать за это чѣмъ и какъ угодно».

— Но, кажется, послѣднее уже ясно безъ разъясненій.

— Понимаю, слышалъ. Вы даже не просите извиненія, а продолжаете лишь настаивать, что «готовы отвѣчать чѣмъ и какъ угодно». Но это слишкомъ будетъ дешево. А потому я уже теперь нахожу себя въ правѣ, въ видахъ оборота, который вы упорно хотите придать объясненію, высказать вамъ съ своей стороны все уже безъ стѣсненія, то есть я пришелъ къ заключенію, что барону Бьорингу ни-ка-кимъ образомъ нельзя имѣть съ вами дѣла... на равныхъ основаніяхъ.

— Такое рѣшеніе, конечно, одно изъ самыхъ выгодныхъ для друга вашего, барона Бьоринга, и,

признаюсь, вы меня нисколько не удивили: я ожидалъ того.

Замѣчу въ скобкахъ: мнѣ слишкомъ было видно съ первыхъ словъ, съ перваго взгляда, что Версиловъ даже ищетъ взрыва, вызываетъ и дразнитъ этого раздражительнаго барона и слишкомъ, можетъ быть, испытываетъ его терпѣніе. Барона покоробило.

— Я слышалъ, что вы можете быть остроумнымъ, но остроуміе еще не умъ.

— Чрезвычайно глубокое замѣчаніе, полковникъ.

— Я не спрашивалъ похвалъ вашихъ, — вскрикнулъ баронъ, — не переливать изъ пустого пріѣхалъ! Извольте выслушать: баронъ Бьорингъ былъ въ большомъ сомнѣніи, получивъ письмо ваше, потому что оно свидѣтельствовало о сумасшедшемъ домѣ. И, конечно, могли быть тотчасъ же найдены средства, чтобъ васъ... успокоить. Но для васъ, по нѣкоторымъ особымъ соображеніямъ, было сдѣлано снисхожденіе и объ васъ были наведены справки: оказалось, что хотя вы и принадлежали къ хорошему обществу и когда-то служили въ гвардіи, но изъ общества исключены и репутація ваша болѣе чѣмъ сомнительна. Однако, несмотря и на это, я прибылъ сюда, чтобъ удостовѣриться лично, и вотъ сверхъ всего, вы еще позволяете себѣ играть словами и сами засвидѣтельствовали о себѣ, что подвержены припадкамъ. Довольно! Положеніе барона Бьоринга и его репутація не могутъ снисходить въ этомъ дѣлѣ... Однимъ словомъ, милостивый государь, я уполномоченъ вамъ объявить, что если за симъ послѣдуетъ повтореніе или хоть что-нибудь похожее на прежній поступокъ, то

найдены будутъ немедленно средства васъ усмирить, весьма скорыя и вѣрныя, могу васъ увѣрить. Мы живемъ не въ лѣсу, а въ благоустроенномъ государствѣ!

— Вы такъ въ этомъ увѣрены, мой добрый баронъ Р.?

— Чертъ возьми,—вдругъ всталъ баронъ:—вы меня слишкомъ испытываете доказать вамъ сейчасъ, что я не очень-то «добрый вашъ баронъ Р.».

— Ахъ, еще разъ, предупреждаю васъ, — поднялся и Версиловъ: — что здѣсь недалеко моя жена и дочь . . . а потому я бы васъ просилъ говорить не столь громко, потому что ваши крики до нихъ долетаютъ.

— Ваша жена . . . чертъ . . Если я сидѣлъ и говорилъ теперь съ вами, то единственно съ цѣлью разъяснить это гнусное дѣло, — съ прежнимъ гнѣвомъ и нисколько не понижая голоса продолжалъ баронъ. — Довольно! — вскричалъ онъ яростно:— вы не только исключены изъ круга порядочныхъ людей, но вы — маньякъ, настоящій помѣшанный маньякъ, и такъ васъ аттестовали! Вы снисхожденія недостойны, и объявляю вамъ, что сегодня же насчетъ васъ будутъ приняты мѣры и васъ позовутъ въ одно такое мѣсто, гдѣ вамъ сумѣютъ возвратить разсудокъ . . . и вывезутъ изъ города!

Онъ быстрыми и большими шагами вышелъ изъ комнаты. Версиловъ не провожалъ его. Онъ стоялъ, глядѣлъ на меня разсѣянно и какъ бы меня не замѣчая; вдругъ онъ улыбнулся, тряхнулъ волосами и, взявъ шляпу, направился тоже къ дверямъ. Я схватилъ его за руку.

— Ахъ, да и ты тутъ? Ты . . . слышалъ? — остановился онъ предо мной.

— Какъ могли вы это сдѣлать! Какъ могли вы такъ исказить, такъ опозорить!.. Съ такимъ коварствомъ!

Онъ смотрѣлъ пристально, но улыбка его раздвигалась все болѣе и болѣе и рѣшительно переходила въ смѣхъ.

— Да вѣдь меня же опозорили... при ней! При ней! Меня осмѣяли въ ея глазахъ, а онъ... толкнулъ меня! — вскричалъ я внѣ себя.

— Неужели? Ахъ, бѣдный мальчикъ, какъ мнѣ тебя жаль... Такъ тебя тамъ ос-мѣ-яли!

— Вы смѣетесь, вы смѣетесь надо мной! Вамъ смѣшно!

Онъ быстро вырвалъ изъ моей руки свою руку, надѣлъ шляпу и, смѣясь, смѣясь уже настоящимъ смѣхомъ, вышелъ изъ квартиры. Что мнѣ было догонять его, зачѣмъ? Я все понялъ и — все потерялъ въ одну минуту! Вдругъ я увидѣлъ маму; она сошла сверху и робко оглядывалась.

— Ушелъ?

Я молча обнялъ ее, а она меня крѣпко-крѣпко, такъ и прижалась ко мнѣ.

— Мама, родная, неужто вамъ можно оставаться? Пойдемте сейчасъ, я васъ укрою, я буду работать для васъ, какъ каторжный, для васъ и для Лизы... Бросимте ихъ всѣхъ, всѣхъ, и уйдемъ. Будемъ одни. Мама, помните, какъ вы ко мнѣ къ Тушару приходили и какъ я васъ признать не хотѣлъ?

— Помню, родной; я всю жизнь передъ тобой виновата, я тебя родила, а тебя не знала.

— Онъ виноватъ въ этомъ, мама, это онъ во всемъ виноватъ; онъ насъ никогда не любилъ.

— Нѣтъ, любилъ.

— Пойдемте, мама.

— Куда я отъ него пойду, что онъ счастливъ, что ли?

— Гдѣ Лиза?

— Лежитъ; пришла — прихворнула; боюсь я. Что они очень на него тамъ сердятся? Что съ нимъ теперь сдѣлаютъ? Куда онъ пошелъ? Что этотъ офицеръ тутъ грозилъ?

— Ничего ему не будетъ, мама, никогда ему ничего не бываетъ, никогда ничего съ нимъ не случится и не можетъ случиться. Это такой человѣкъ! Вотъ Татьяна Павловна, ее спросите, коли не вѣрите, вотъ она. (Татьяна Павловна вдругъ вошла въ комнату.) Прощайте, мама. Я къ вамъ сейчасъ, и когда приду, опять спрошу то же самое...

Я выбѣжалъ; я не могъ видѣть кого бы то ни было, не только Татьяну Павловну, а мама меня мучила. Я хотѣлъ быть одинъ, одинъ.

V.

Но я не прошелъ и улицы, какъ почувствовалъ, что не могу ходить, безсмысленно наталкиваясь на этотъ народъ, чужой и безучастный; но куда же дѣться? Кому я нуженъ и — что мнѣ теперь нужно? Я машинально прибрелъ къ князю Сергѣю Петровичу, вовсе о немъ не думая. Его не было дома. Я сказалъ Петру (человѣку его), что буду ждать въ кабинетѣ (какъ и множество разъ это дѣлалось). Кабинетъ его была большая, очень высокая комната, загроможденная мебелью. Я забрелъ въ самый темный уголъ, сѣлъ на диванъ и, положивъ локти на столъ, подперъ обѣими руками голову.

Да, вотъ вопросъ: «что мнѣ теперь нужно?» Если я и могъ тогда формулировать этотъ вопросъ, то всего менѣе могъ на него отвѣтить.

Но я не могъ ни думать толкомъ, ни спрашивать. Я уже предувѣдомилъ выше, что, подъ конецъ этихъ дней, я былъ «раздавленъ событіями»; я теперь сидѣлъ и все какъ хаосъ вертѣлось въ умѣ моемъ. «Да, я въ немъ все проглядѣлъ, и ничего не уразумѣлъ», мерещилось мнѣ минутами. «Онъ засмѣялся сейчасъ мнѣ въ глаза: это не надо мной: тутъ все Бьорингъ, а не я. Третьяго дня за обѣдомъ ужъ онъ все зналъ и былъ мраченъ. Онъ подхватилъ у меня мою глупую исповѣдь въ трактирѣ и исказилъ все насчетъ всякой правды, только зачѣмъ ему было правды? Онъ ни полслову самъ не вѣритъ изъ того, что ей написалъ. Ему надо было только оскорбить, безсмысленно оскорбить, не зная даже для чего, придравшись къ предлогу, а предлогъ далъ я... Поступокъ бѣшеной собаки! Убить, что ли, онъ теперь хочетъ Бьоринга? Для чего? Его сердце знаетъ для чего! А я ничего не знаю, что въ его сердцѣ... Нѣтъ, нѣтъ, и теперь не знаю. Неужели до такой страсти ее любитъ? Или до такой страсти ее ненавидитъ? Я не знаю, а знаетъ ли онъ самъ-то? Что это я сказалъ мамѣ, что съ нимъ «ничего не можетъ сдѣлаться»; что я этимъ хотѣлъ сказать? Потерялъ я его или не потерялъ?»

...«Она видѣла, какъ меня толкали... Она тоже смѣялась или нѣтъ? Я бы смѣялся! Шпіона били, шпіона!..»

«Что значитъ (мелькнуло мнѣ вдругъ), что значитъ, что онъ включилъ въ это гадкое письмо, что документъ вовсе не сожженъ, а существуетъ?..»

«Онъ не убьетъ Бьоринга, а навѣрно теперь въ трактирѣ сидитъ и слушаетъ Лючію! А, можетъ, послѣ Лючіи пойдетъ и убьетъ Бьоринга. Бьорингъ толкнулъ меня, вѣдь почти ударилъ; ударилъ ли? Бьорингъ даже и съ Версиловымъ драться брезгаетъ, такъ развѣ пойдетъ со мной? «Можетъ быть, мнѣ надо будетъ убить его завтра изъ револьвера, выждавъ на улицѣ» . . . И вотъ эту мысль провелъ я въ умѣ совсѣмъ машинально, не останавливаясь на ней нисколько.

Минутами мнѣ какъ бы мечталось, что вотъ сейчасъ отворится дверь, войдетъ Катерина Николаевна, подастъ мнѣ руку, и мы оба разсмѣемся . . . О, студентъ, мой милый! Это мнѣ мерещилось, то есть, желалось, ужъ когда очень стемнѣло въ комнатѣ. «Да давно ли это было, что я стоялъ передъ ней, прощался съ ней, а она подавала мнѣ руку и смѣялась? Какъ могло случиться, что въ такое короткое время вышло такое ужасное разстояніе! Просто пойти къ ней и объясниться сейчасъ же, сію минуту, просто, просто! Господи, какъ это такъ вдругъ совсѣмъ новый міръ начался! Да, новый міръ, совсѣмъ, совсѣмъ новый . . . А Лиза, а князь, это еще старые . . . Вотъ я здѣсь теперь у князя. И мама, — какъ могла она жить съ нимъ, коли такъ? Я бы могъ, я все смогу, но она? Теперь что же будетъ?» И вотъ, какъ въ вихрѣ, фигуры Лизы, Анны Андреевны, Стебелькова, князя, Афердова, всѣхъ, безслѣдно замелькали въ моемъ больномъ мозгу. Но мысли становились все безформеннѣе и неуловимѣе; я радъ былъ, когда удавалось осмыслить какую-нибудь и ухватиться за нее.

«У меня есть «идея»! подумалъ было я вдругъ:— да такъ ли? Не наизусть ли я затвердилъ? Моя

идея — это мракъ и уединеніе, а развѣ теперь уже возможно уползти назадъ въ прежній мракъ? Ахъ, Боже мой, я вѣдь не сжегъ «документъ»? Я такъ и забылъ его сжечь третьяго дня. Ворочусь и сожгу на свѣчкѣ, именно на свѣчкѣ; не знаю только, то ли я теперь думаю . . .»

Давно смерклось, и Петръ принесъ свѣчи. Онъ постоялъ надо мной и спросилъ: Кушалъ ли я? Я только махнулъ рукой. Однако, спустя часъ онъ принесъ мнѣ чаю, и я съ жадностью выпилъ большую чашку. Потомъ я освѣдомился, который часъ? Было половина девятаго, и я даже не удивился, что сижу уже пять часовъ.

— Я къ вамъ уже раза три входилъ, — сказалъ Петръ, — да вы, кажется, спали.

Я же не помнилъ, что онъ входилъ. Не знаю почему, но вдругъ ужасно испугавшись, что я «спалъ», я всталъ и началъ ходить по комнатѣ, чтобъ опять не «заснуть». Наконецъ, сильно начала болѣть голова. Ровно въ десять часовъ вошелъ князь, и я удивился тому, что я ждалъ его: я о немъ совсѣмъ забылъ, совсѣмъ.

— Вы здѣсь, а я заѣзжалъ къ вамъ, за вами,— сказалъ онъ мнѣ. Лицо его было мрачно и строго, ни малѣйшей улыбки. Въ глазахъ неподвижная идея.

— Я бился весь день и употребилъ всѣ мѣры,— продолжалъ онъ сосредоточенно, — все рушилось, а въ будущемъ ужасъ . . . (NB. Онъ такъ и не былъ у князя Николая Ивановича.) Я видѣлъ Жибельскаго, это человѣкъ невозможный. Видите: сначала надо имѣть деньги, а потомъ мы увидимъ. А если и съ деньгами не удастся, тогда . . . Но я сегодня рѣшился объ этомъ не думать. Добудемъ

сегодня только деньги, а завтра все увидимъ. Вашъ третьягоднишній выигрышъ еще цѣлъ до копейки. Тамъ безъ трехъ рублей три тысячи. За вычетомъ вашего долга, вамъ остается сдачи триста сорокъ рублей. Возьмите ихъ и еще семьсотъ, чтобъ была тысяча, а я возьму остальныя двѣ. Затѣмъ сядемъ у Зерщикова на двухъ разныхъ концахъ и попробуемъ выиграть десять тысячъ — можетъ, что-нибудь сдѣлаемъ, не выиграемъ — тогда . . . Впрочемъ, только это и остается.

Онъ фатально посмотрѣлъ на меня.

— Да, да! — вскричалъ я вдругъ, точно воскресая: — ѣдемъ. Я только васъ и ждалъ . . .

Замѣчу, что я ни одного мгновенія не думалъ въ эти часы о рулеткѣ.

— А подлость? А низость поступка? — спросилъ вдругъ князь.

— Это, что мы на рулетку-то! Да это все! — вскричалъ я, — деньги все! Это только мы съ вами святые, а Бьорингъ продалъ же себя. Анна Андреевна продала же себя, а Версиловъ — слышали бы, что Версиловъ маньякъ? Маньякъ! Маньякъ!

— Вы здоровы, Аркадій Макаровичъ? У васъ какіе-то странные глаза.

— Это вы, чтобъ безъ меня уѣхать? Да я отъ васъ теперь не отстану. Недаромъ мнѣ всю ночь игра снилась. Ѣдемъ, ѣдемъ! — вскричалъ я, точно вдругъ нашелъ всему разгадку.

— Ну, такъ ѣдемъ, хоть вы и въ лихорадкѣ, а тамъ . . .

Онъ не договорилъ. Тяжелое, ужасное было у него лицо. Мы уже выходили.

— Знаете ли, — сказалъ онъ вдругъ, пріоста-

новившись въ дверяхъ, — что есть и еще одинъ выходъ изъ бѣды, кромѣ игры?

— Какой?

— Княжескій!

— Что же? Что же?

— Потомъ узнаете что. Знайте только, что я уже его недостоинъ, потому что опоздалъ. Ѣдемъ, а вы попомните мое слово. Попробуемъ выходъ лакейскій . . . И развѣ я не знаю, что я сознательно, съ полной волей ѣду и дѣйствую, какъ лакей!

VI.

Я полетѣлъ на рулетку, какъ будто въ ней сосредоточилось все мое спасеніе, весь выходъ, а, между тѣмъ, какъ сказалъ уже, до пріѣзда князя я объ ней и не думалъ. Да и играть ѣхалъ я не для себя, а на деньги князя для князя же; осмыслить не могу, что влекло меня, но влекло непреоборимо. О, никогда эти люди, эти лица, эти круперы, эти игорные крики, вся эта подлая зала у Зерщикова, никогда не казалось мнѣ это все такъ омерзительно, такъ мрачно, такъ грубо и грустно, какъ въ этотъ разъ! Я слишкомъ помню скорбь и грусть, по временамъ хватавшую меня за сердце во всѣ эти часы у стола. Но для чего я не уѣзжалъ? Для чего выносилъ, точно принялъ на себя жребій, жертву, подвигъ? Скажу лишь одно: врядъ ли я могу сказать про себя тогдашняго, что былъ въ здравомъ разсудкѣ. А между тѣмъ, никогда еще не игралъ я такъ разумно, какъ въ этотъ вечеръ. Я былъ молчаливъ и сосредоточенъ, внимателенъ и разсчетливъ ужасно; я былъ терпѣливъ и скупъ и въ то же время рѣшителенъ въ рѣшительныя ми-

нуты. Я помѣстился опять у zéro, то есть, опять между Зерщиковымъ и Афердовымъ, который всегда усаживался подлѣ Зерщикова справа; мнѣ претило это мѣсто, но мнѣ непремѣнно хотѣлось ставить на zéro, а всѣ остальныя мѣста у zéro были заняты. Мы играли уже слишкомъ часъ; наконецъ, я увидѣлъ съ своего мѣста, что князь вдругъ всталъ и, блѣдный, перешелъ къ намъ и остановился передо мной напротивъ, черезъ столъ: онъ все проигралъ и молча смотрѣлъ на мою игру, впрочемъ, вѣроятно, ничего въ ней не понимая и даже не думая уже объ игрѣ. Къ этому времени я только что сталъ выигрывать, и Зерщиковъ отсчиталъ мнѣ деньги. Вдругъ Афердовъ, молча, въ моихъ глазахъ, самымъ наглымъ образомъ взялъ и присоединилъ къ своей, лежавшей передъ нимъ кучѣ денегъ, одну изъ моихъ сторублевыхъ. Я вскрикнулъ и схватилъ его за руку. Тутъ со мной произошло нѣчто мною неожиданное: я точно сорвался съ цѣпи; точно всѣ ужасы и обиды этого дня вдругъ сосредоточились въ этомъ одномъ мгновеніи, въ этомъ исчезновеніи сторублевой. Точно все накопившееся и сдавленное во мнѣ ждало только этого мига, чтобы прорваться.

— Это — воръ: онъ укралъ у меня сейчасъ сторублевую! — восклицалъ я, озираясь кругомъ внѣ себя.

Не описываю поднявшейся суматохи; такая исторія была здѣсь совершенною новостью. У Зерщикова вели себя пристойно, и игра у него тѣмъ славилась. Но я не помнилъ себя. Среди шума и криковъ вдругъ послышался голосъ Зерщикова:

— И, однакоже, денегъ нѣтъ, а они здѣсь лежали! Четыреста рублей!

Разомъ вышла и другая исторія: пропали деньги въ банкѣ, подъ носомъ у Зерщикова, пачка въ четыреста рублей. Зерщиковъ указывалъ мѣсто, гдѣ онѣ лежали, «сейчасъ только лежали», и это мѣсто оказывалось прямо подлѣ меня, соприкасалось со мной, съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ лежали мои деньги, то есть гораздо, значитъ, ближе ко мнѣ, чѣмъ къ Афердову.

— Воръ здѣсь! Это онъ опять укралъ, обыщите его! — восклицалъ я, указывая на Афердова.

— Это — все потому, — раздался чей-то громовый и внушительный голосъ среди общихъ криковъ, — что входятъ неизвѣстно какіе. Пускаютъ нерекомендованныхъ! Кто его ввелъ? Кто онъ такой?

— Долгорукій какой-то.

— Князь Долгорукій?

— Его князь Сокольскій ввелъ, — закричалъ кто-то.

— Слышите, князь, — вопилъ я ему черезъ столъ въ изступленіи, — они меня же воромъ считаютъ, тогда какъ меня же здѣсь сейчасъ обокрали! Скажите же имъ, скажите имъ обо мнѣ!

И вотъ тутъ произошло нѣчто самое ужасное изо всего, что случилось во весь этотъ день... даже изъ всей моей жизни: князь отрекся. Я видѣлъ, какъ онъ пожалъ плечами и въ отвѣтъ на сыпавшіеся вопросы рѣзко и ясно выговорилъ:

— Я ни за кого не отвѣчаю. Прошу оставить меня въ покоѣ.

Между тѣмъ Афердовъ стоялъ среди толпы и громко требовалъ, чтобъ его обыскали. Онъ выворачивалъ самъ свои карманы. Но на требованіе его отвѣчали криками: «Нѣтъ, нѣтъ, воръ извѣ-

стень!» Два призванные лакея схватили меня сзади за руки.

— Я не дамъ себя обыскивать, не позволю! — кричалъ я, вырываясь.

Но меня увлекли въ сосѣднюю комнату, тамъ, среди толпы, меня обыскали всего до послѣдней складки. Я кричалъ и рвался.

— Сбросилъ, должно быть, надо на полу искать, — рѣшилъ кто-то.

— Гдѣ жъ теперь искать на полу?

— Подъ столъ, должно быть, какъ-нибудь успѣлъ забросить!

— Конечно, слѣдъ простылъ . . .

Меня вывели, но я какъ-то успѣлъ стать въ дверяхъ и съ безсмысленной яростью прокричалъ на всю залу:

— Рулетка запрещена полиціей. Сегодня же донесу на всѣхъ васъ!

Меня свели внизъ, одѣли и . . . отворили передо мной дверь на улицу.

Глава девятая.

I.

День закончился катастрофой, но оставалась ночь, и вотъ что я запомнилъ изъ этой ночи.

Я думаю, былъ первый часъ въ началѣ, когда я очутился на улицѣ. Ночь была ясная, тихая и морозная. Я почти бѣжалъ, страшно торопился, но— совсѣмъ не домой. «Зачѣмъ домой? Развѣ теперь можетъ быть домъ? Въ домѣ живутъ, я завтра проснусь, чтобы жить, — а развѣ это теперь возможно? Жизнь кончена, жить теперь уже совсѣмъ нельзя». И вотъ, я брелъ по улицамъ, совсѣмъ не разбирая куда иду, да и не знаю, хотѣлъ ли куда добѣжать? Мнѣ было очень жарко, и я поминутно распахивалъ тяжелую енотовую мою шубу. «Теперь уже никакое дѣйствіе, казалось мнѣ въ ту минуту, не можетъ имѣть никакой цѣли». И странно: мнѣ все казалось, что все кругомъ, даже воздухъ, которымъ я дышу, былъ какъ будто съ иной планеты, точно я вдругъ очутился на лунѣ. Все это — городъ, прохожіе, тротуаръ, по которому я бѣжалъ — все это было уже *не мое*. «Вотъ это — Дворцовая площадь, вотъ это — Исаакій», мерещилось мнѣ, «но теперь мнѣ до нихъ никакого дѣла»; все какъ-то отчудилось, все это стало вдругъ

не мое. «У меня мама, Лиза — ну, что жъ, что мнѣ теперь Лиза и мать? Все кончилось, все разомъ кончилось, кромѣ одного: того, что я — воръ навѣчно».

«Чѣмъ доказать, что я — не воръ? Развѣ это теперь возможно? Уѣхать въ Америку? Ну, что жъ этимъ докажешь? Версиловъ первый повѣритъ, что я укралъ! «Идея»? Какая «идея»? Что теперь «идея»? Черезъ пятьдесятъ лѣтъ, черезъ сто лѣтъ, я буду идти, и всегда найдется человѣкъ, который скажетъ, указывая на меня: «вотъ это — воръ». Онъ началъ съ того «свою идею», что укралъ деньги съ рулетки» . . .

Была ли во мнѣ злоба? Не знаю, можетъ быть, была. Странно во мнѣ всегда была и, можетъ быть, съ самаго перваго дѣтства, такая черта: коли ужъ мнѣ сдѣлали зло, восполнили его окончательно, оскорбили до послѣднихъ предѣловъ, то всегда тутъ же являлось у меня неутолимое желаніе пассивно подчиниться оскорбленію и даже пойти впередъ желаніямъ обидчика: «На-те, вы унизили меня, такъ я еще пуще самъ унижусь, вотъ смотрите, любуйтесь!» Тушаръ билъ меня и хотѣлъ показать, что я — лакей, а не сенаторскій сынъ, и вотъ я тотчасъ же самъ вошелъ тогда въ роль лакея. Я не только подавалъ ему одѣваться, но я самъ схватывалъ щетку и начиналъ счищать съ него послѣднія пылинки, вовсе ужъ безъ его просьбы или приказанія, самъ гнался иногда за нимъ со щеткой, въ пылу лакейскаго усердія, чтобъ смахнуть какую-нибудь послѣднюю соринку съ его фрака, такъ что онъ самъ уже останавливалъ меня иногда: «Довольно, довольно, Аркадій, довольно». Онъ придетъ, бывало, сниметъ верхнее платье, — а я его вычищу,

бережно сложу и накрою клѣтчатымъ шелковымъ платочкомъ. Я знаю, что товарищи смѣются и презираютъ меня за это, отлично знаю, но это-то и любо: «Коли захотѣли, чтобъ я былъ лакей — ну, такъ вотъ я и лакей, хамъ — такъ хамъ и есть». Пассивную ненависть и подпольную злобу въ этомъ родѣ я могъ продолжать годами. И что же? У Зерщикова я крикнулъ на всю залу, въ совершенномъ изступленіи: «Донесу на всѣхъ, рулетка запрещена полиціей!» И вотъ клянусь, что и тутъ было нѣчто какъ бы подобное: меня унизили, обыскали, огласили воромъ, убили, — «ну, такъ знайте же всѣ, что вы угадали, я — не только воръ, но я и доносчикъ!» Припоминая теперь, я именно такъ подвожу и объясняю; тогда же было вовсе не до анализа; крикнулъ я тогда безъ намѣренія, даже за секунду не зналъ, что такъ крикну, само крикнулось, — ужъ *черта* такая въ душѣ была.

Когда я бѣжалъ, несомнѣнно, начинался уже бредъ, но я очень вспоминаю, что дѣйствовалъ сознательно. А, между тѣмъ, твердо говорю, что цѣлый циклъ идей и заключеній былъ для меня тогда уже невозможенъ; я даже и въ тѣ минуты чувствовалъ про себя самъ, что «однѣ мысли я могу имѣть, а другихъ я уже никакъ не могу имѣть». Равно и нѣкоторыя рѣшенія мои, хотя и при ясномъ сознаніи, могли не имѣть въ себѣ тогда ни малѣйшей логики. Мало того, я очень хорошо помню, что я могъ въ иныя минуты вполнѣ сознавать нелѣпость своего рѣшенія, и въ то же время съ полнымъ сознаніемъ тутъ же приступить къ его исполненію. Да, преступленіе навертывалось въ ту ночь, и только случайно не совершилось.

Мнѣ мелькнуло вдругъ тогда словцо Татьяны Павловны о Версиловѣ: «Пошелъ бы на Николаевскую дорогу и положилъ бы голову на рельсы: тамъ бы ему ее оттяпали». Эта мысль на мгновеніе овладѣла всѣми моими чувствами, но я мигомъ и съ болью прогналъ ее: «Положить голову на рельсы и умереть, а завтра скажутъ: это оттого онъ сдѣлалъ, что укралъ, сдѣлалъ отъ стыда, — нѣтъ, ни за что!» И вотъ, въ это мгновеніе, помню, я ощутилъ вдругъ одинъ мигъ страшной злобы. «Что жъ? — пронеслось въ умѣ моемъ, — оправдаться ужъ никакъ нельзя, начать новую жизнь тоже невозможно, а потому — покориться, стать лакеемъ, собакой, козявкой, доносчикомъ, настоящимъ уже доносчикомъ, а самому потихоньку приготовляться и когда-нибудь взорвать на воздухъ, все уничтожить, всѣхъ, виноватыхъ и невиноватыхъ, и тутъ вдругъ всѣ узнаютъ, что это — тотъ самый, котораго назвали воромъ . . . а тамъ ужъ и убить себя».

Не помню, какъ я забѣжалъ въ переулокъ, гдѣ-то близко отъ Конногвардейскаго бульвара. Въ переулкѣ этомъ съ обѣихъ сторонъ, почти на сотню шаговъ, шли высокія каменныя стѣны, — заборы заднихъ дворовъ. За одной стѣной слѣва я увидѣлъ огромный складъ дровъ, длинный складъ, точно на дровяномъ дворѣ, и слишкомъ на сажень превышающій стѣну. Я вдругъ остановился и началъ обдумывать. Въ карманѣ со мной были восковыя спички въ маленькой серебряной спичечницѣ. Повторяю, я вполнѣ отчетливо сознавалъ тогда то, что обдумывалъ и что хотѣлъ сдѣлать, и такъ припоминаю и теперь, но для чего я хотѣлъ это сдѣлать — не знаю, совсѣмъ не знаю. Помню

только, что мнѣ очень вдругъ захотѣлось. «Взлѣсть на заборъ очень можно», разсуждалъ я; какъ разъ тутъ въ двухъ шагахъ очутились въ стѣнѣ ворота, должно быть, наглухо запертыя по цѣлымъ мѣсяцамъ. «Ставъ на уступъ внизу, раздумывалъ я далѣе, можно, схватившись за верхъ воротъ, взлѣсть на самую стѣну — и никто не примѣтитъ, никого нѣтъ, тишина! А тамъ я усядусь на верху стѣны и отлично зажгу дрова, даже не сходя внизъ можно, потому что дрова почти соприкасаются со стѣной. Отъ холода еще сильнѣе будутъ горѣть, стоитъ только рукой достать одно березовое полѣно... да и не за чѣмъ совсѣмъ доставать полѣно: можно прямо, сидя на стѣнѣ, содрать рукой съ березоваго полѣна бересту и на спичкѣ зажечь ее, зажечь и пропихнуть въ дрова — вотъ и пожаръ. А я соскочу внизъ и уйду; даже и бѣжать не надо, потому что долго еще не замѣтятъ»... Такъ я это все разсудилъ и — вдругъ совсѣмъ рѣшился. Я ощутилъ чрезвычайное удовольствіе, наслажденіе, и полѣзъ. Я лазить умѣлъ отлично: гимнастика была моею спеціальностью еще въ гимназіи, но я былъ въ калошахъ, и дѣло оказалось труднѣе. Однакожъ, я успѣлъ таки уцѣпиться рукой за одинъ едва ощущаемый выступъ вверху и приподнялся, другую руку замахнулъ было, чтобъ ухватиться уже за верхъ стѣны, но тутъ вдругъ оборвался и навзничь полетѣлъ внизъ. Полагаю, что я стукнулся о землю затылкомъ, и, должно быть, минуту или двѣ пролежалъ безъ сознанія. Очнувшись, я машинально запахнулъ себѣ шубу, вдругъ ощутивъ нестерпимый холодъ, и, еще плохо сознавая, что дѣлаю, поползъ въ уголъ воротъ и тамъ присѣлъ, съежившись и скорчившись, въ углубленіи

между воротами и выступомъ стѣны. Мысли мои мѣшались, и, вѣроятно, я очень быстро задремалъ. Какъ сквозь сонъ теперь вспоминаю, что вдругъ раздался въ ушахъ моихъ густой, тяжелый, колокольный звонъ, и я съ наслажденіемъ сталъ къ нему прислушиваться.

II.

Колоколъ ударялъ твердо и опредѣленно по одному разу въ двѣ или даже въ три секунды, но это былъ не набатъ, а какой-то пріятный, плавный звонъ, и я вдругъ различилъ, что это вѣдь звонъ знакомый, что звонятъ у Николы, въ красной церкви напротивъ Тушара, — въ старинной московской церкви, которую я помню, выстроенной еще при Алексѣѣ Михайловичѣ, узорчатой, многоглавой и «въ столпахъ», — и что теперь только что минула Святая недѣля и на тощихъ березкахъ въ палисадникѣ Тушаровскаго дома уже трепещутъ новорожденные зеленые листочки. Яркое предвечернее солнце льетъ косые свои лучи въ нашу классную комнату, а у меня, въ моей маленькой комнаткѣ налѣво, куда Тушаръ отвелъ меня еще годъ назадъ отъ «графскихъ и сенаторскихъ дѣтей», сидитъ гостья. Да, у меня, безроднаго, вдругъ очутилась гостья — въ первый разъ съ того момента, какъ я у Тушара. Я тотчасъ узналъ эту гостью, какъ только она вошла: это была мама, хотя съ того времени какъ она меня причащала въ деревенскомъ храмѣ, а голубокъ пролетѣлъ черезъ куполъ, я не видалъ ужъ ее ни разу. Мы сидѣли вдвоемъ, и я странно къ ней приглядывался. Потомъ, уже спустя много лѣтъ, я узналъ, что она тогда, оставшись безъ Версилова, уѣхавшаго вдругъ

за границу, прибыла въ Москву на свои жалкія средства *самовольно,* почти украдкой отъ тѣхъ, которымъ поручено было тогда о ней попеченіе, и это единственно чтобъ со мной повидаться. Странно было и то, что, войдя и поговоривъ съ Тушаромъ, она ни слова не сказала мнѣ самому, что она — моя мать. Она сидѣла подлѣ меня, и, помню, я даже удивлялся, что она мало такъ говоритъ. Съ ней былъ узелокъ, и она развязала его: въ немъ оказалось шесть апельсиновъ, нѣсколько пряниковъ и два обыкновенныхъ французскихъ хлѣба. Я обидѣлся на французскіе хлѣбы и съ ущемленнымъ видомъ отвѣтилъ, что здѣсь у насъ «пища» очень хорошая и намъ каждый день даютъ къ чаю по цѣлой французской булкѣ.

— Все равно, голубчикъ, я вѣдь такъ по простотѣ подумала: «можетъ ихъ тамъ, въ школѣ-то, худо кормятъ», не взыщи, родной.

— И Антонинѣ Васильевнѣ (женѣ Тушара) обидно станетъ-съ. Товарищи тоже будутъ надо мною смѣяться . . .

— Не примешь, что ли; можетъ, и скушаешь?

— Пожалуй, оставьте-съ . . .

А къ гостинцамъ я даже не притронулся; апельсины и пряники лежали передо мной на столикѣ, а я сидѣлъ, потупивъ глаза, но съ большимъ видомъ собственнаго достоинства. Кто знаетъ, можетъ быть, мнѣ очень хотѣлось тоже не скрыть отъ нея, что визитъ ея меня даже передъ товарищами стыдитъ; хоть капельку показать ей это, чтобъ поняла: «Вотъ, дескать, ты меня срамишь и даже сама не понимаешь того». О, я уже тогда бѣгалъ со щеткой за Тушаромъ смахивать съ него пылинки! Представлялъ я тоже себѣ, сколько перенесу я отъ

мальчишекъ насмѣшекъ, только что она уйдетъ, а, можетъ, и отъ самого Тушара, — и ни малѣйшаго добраго чувства не было къ ней въ моемъ сердцѣ. Искоса только я оглядывалъ ея темненькое, старенькое платьице, довольно грубыя, почти рабочія руки, совсѣмъ ужъ грубые ея башмаки и сильно похудѣвшее лицо; морщинки уже прорѣзывались у нея на лбу, хотя Антонина Васильевна и сказала мнѣ потомъ, вечеромъ, по ея уходѣ: «должно быть, ваша maman была когда-то очень недурна собой».

Такъ мы сидѣли, и вдругъ Агафья вошла съ подносомъ, на которомъ была чашка кофею. Было время послѣобѣденное и Тушары всегда въ этотъ часъ пили у себя въ своей гостиной кофей. Но мама поблагодарила и чашку не взяла: какъ узналъ я послѣ, она совсѣмъ тогда не пила кофею, производившаго у ней сердцебіеніе. Дѣло въ томъ, что визитъ ея и дозволеніе ей меня видѣть Тушары внутри себя считали чрезвычайнымъ съ ихъ стороны снисхожденіемъ, такъ что посланная мамѣ чашка кофею была, такъ сказать, уже подвигомъ гуманности, сравнительно говоря, приносившимъ чрезвычайную честь ихъ цивилизованнымъ чувствамъ и европейскимъ понятіямъ. А мама-то, какъ нарочно, и отказалась.

Меня позвали къ Тушару, и онъ велѣлъ мнѣ взять всѣ мои тетрадки и книги и показать мамѣ: «чтобъ она видѣла, сколько успѣли вы пріобрѣсти въ моемъ заведеніи». Тутъ Антонина Васильевна, съежившись губки обидчиво и насмѣшливо, процѣдила мнѣ съ своей стороны:

— Кажется, вашей maman не понравился нашъ кофей.

Я набралъ тетрадокъ и понесъ ихъ къ дожидав-

шей мамѣ, мимо столпившихся въ классной и поглядывавшихъ на насъ съ мамой «графскихъ и сенаторскихъ дѣтей». И вотъ, мнѣ даже понравилось исполнить приказаніе Тушара въ буквальной точности. «Вотъ это — уроки изъ французской грамматики, вотъ это — упражненіе подъ диктантъ, вотъ тутъ спряженіе вспомогательныхъ глаголовъ avoir и être, вотъ тутъ по географіи, описаніе главныхъ городовъ Европы и всѣхъ частей свѣта», и т. д., и т. д. Я съ полчаса или больше объяснялъ ровнымъ маленькимъ голоскомъ, благонравно потупивъ глазки. Я зналъ, что мама ничего не понимаетъ въ наукахъ, можетъ быть, даже писать не умѣетъ, но тутъ-то моя роль мнѣ и нравилась. Но утомить ее я не смогъ: она все слушала, не прерывая меня, съ чрезвычайнымъ вниманіемъ и даже съ благоговѣніемъ, такъ что мнѣ самому, наконецъ, наскучило, и я пересталъ; взглядъ ея былъ, впрочемъ, грустный, и что-то жалкое было въ ея лицѣ.

Она поднялась, наконецъ, уходить; вдругъ вошелъ самъ Тушаръ и съ дурацки-важнымъ видомъ спросилъ ее: «довольна ли она успѣхами своего сына?». Мама начала безсвязно бормотать и благодарить; подошла и Антонина Васильевна. Мама стала просить ихъ обоихъ «не оставить сиротки, все равно онъ что сиротка теперь, окажите благодѣяніе ваше» . . . и она со слезами на глазахъ поклонилась имъ обоимъ, каждому раздѣльно, каждому глубокимъ поклономъ, именно какъ кланяются «изъ простыхъ», когда приходятъ просить о чемъ-нибудь важныхъ господъ. Тушары этого даже не ожидали, а Антонина Васильевна видимо была смягчена и, конечно, тутъ же измѣнила свое

заключеніе насчетъ чашки кофею. Тушаръ, съ усиленною важностью, гуманно отвѣтилъ, что онъ «дѣтей не рознитъ, что всѣ здѣсь — его дѣти, а онъ — ихъ отецъ, что я у него почти на одной ногѣ съ сенаторскими и графскими дѣтьми, и что это надо цѣнить», и проч., и проч. Мама только кланялась, но, впрочемъ, конфузилась, наконецъ, обернулась ко мнѣ и со слезами, блеснувшими на глазахъ, проговорила: «прощай, голубчикъ!»

И поцѣловала меня, то есть я позволилъ себя поцѣловать. Ей видимо хотѣлось бы еще и еще поцѣловать меня, обнять, прижать, но совѣстно ли стало ей самой при людяхъ, али отъ чего-то другого горько, али ужъ догадалась она, что я ее устыдился, но только она, поспѣшно поклонившись еще разъ Тушарамъ, направилась выходить. Я стоялъ.

— Mais suivez donc votre mère, — проговорила Антонина Васильевна, — il n'a pas de coeur cet enfant!

Тушаръ въ отвѣтъ ей пожалъ плечами, что, конечно, означало: «недаромъ же, дескать, я третирую его какъ лакея».

Я послушно спустился за мамой; мы вышли на крыльцо. Я зналъ, что они всѣ тамъ смотрятъ теперь изъ окошка. Мама повернулась къ церкви и три раза глубоко на нее перекрестилась, губы ея вздрагивали, густой колоколъ звучно и мѣрно гудѣлъ съ колокольни. Она повернулась ко мнѣ и — не выдержала, положила мнѣ обѣ руки на голову и заплакала надъ моей головой.

— Маменька, полноте-съ . . . стыдно . . . вѣдь они изъ окошка теперь это видятъ-съ . . .

Она вскинулась и заторопилась:

— Ну, Господи . . . ну, Господь съ тобой . . .

ну, храни тебя ангелы небесные, Пречестная Мать, Николай угодникъ... Господи, Господи! — скороговоркой повторяла она, все крестя меня, все стараясь чаще и побольше положить крестовъ, — голубчикъ ты мой, милый ты мой! Да постой, голубчикъ...

Она поспѣшно сунула руку въ карманъ и вынула платочекъ, синенькій, клѣтчатый платочекъ съ крѣпко завязаннымъ на кончикѣ узелочкомъ и стала развязывать узелокъ... но онъ не развязывался...

— Ну, все равно, возьми и съ платочкомъ: чистенькій, пригодится, можетъ, четыре двугривенныхъ тутъ, можетъ, понадобятся, прости, голубчикъ, больше-то какъ разъ сама не имѣю... прости, голубчикъ.

Я принялъ платочекъ, хотѣлъ было замѣтить, что намъ «отъ господина Тушара и Антонины Васильевны очень хорошее положено содержаніе и мы ни въ чемъ не нуждаемся», но удержался и взялъ платочекъ.

Еще разъ перекрестила, еще разъ прошептала какую-то молитву и вдругъ — и вдругъ поклонилась и мнѣ точно такъ же, какъ наверху Тушарамъ — глубокимъ, медленнымъ, длиннымъ поклономъ, — никогда не забуду я этого! Такъ я и вздрогнулъ и самъ не зналъ отчего. Что она хотѣла сказать этимъ поклономъ: «вину ли свою передо мной признала?» какъ придумалось мнѣ разъ уже очень долго спустя — не знаю. Но тогда мнѣ тотчасъ же еще пуще стало стыдно, что «сверху они оттудова смотрятъ, а Ламбертъ такъ, пожалуй, и бить начнетъ».

Она, наконецъ, ушла. Апельсины и пряники

поѣли еще до моего прихода сенаторскія и графскія дѣти, а четыре двугривенныхъ у меня тотчасъ же отнялъ Ламбертъ; на нихъ накупили они въ кондитерской пирожковъ и шоколаду и даже меня не поподчевали.

Прошли цѣлые полгода, и наступилъ уже вѣтреный и ненастный октябрь. Я про маму совсѣмъ забылъ. О, тогда ненависть, глухая ненависть ко всему уже проникла въ мое сердце, совсѣмъ напитала его; я хоть и обчищалъ щеткой Тушара попрежнему, но уже ненавидѣлъ его изъ всѣхъ силъ и каждый день все больше и больше. И вотъ тогда какъ-то разъ въ грустныя вечернія сумерки, сталъ я, однажды, перебирать для чего-то въ моемъ ящикѣ и вдругъ, въ уголку, увидалъ синенькій батистовый платочекъ ея; онъ такъ и лежалъ съ тѣхъ поръ, какъ я его тогда сунулъ. Я вынулъ его и осмотрѣлъ даже съ нѣкоторымъ любопытствомъ; кончикъ платка сохранялъ еще вполнѣ слѣдъ бывшаго узелка и даже ясно отпечатавшійся кругленькій оттискъ монетки; я, впрочемъ, положилъ платокъ на мѣсто и задвинулъ ящикъ. Это было подъ праздникъ, и загудѣлъ колоколъ ко всенощной. Воспитанники уже съ послѣ обѣда разъѣхались по домамъ, но на этотъ разъ Ламбертъ остался на воскресенье, не знаю почему за нимъ не прислали. Онъ хоть и продолжалъ меня тогда бить, какъ и прежде, но уже очень много мнѣ сообщалъ и во мнѣ нуждался. Мы проговорили весь вечеръ о лепажевскихъ пистолетахъ, которыхъ ни тотъ, ни другой изъ насъ не видалъ, о черкесскихъ шашкахъ и о томъ, какъ онѣ рубятъ, о томъ, какъ хорошо было бы завести шайку разбойниковъ, и подъ конецъ Ламбертъ перешелъ къ любимымъ своимъ

разговорамъ на извѣстную гадкую тему, и, хоть я и дивился про себя, но очень любилъ слушать. Этотъ же разъ мнѣ стало вдругъ нестерпимо, и я сказалъ ему, что у меня болитъ голова. Въ десять часовъ мы легли спать; я завернулся съ головой въ одѣяло и изъ-подъ подушки вытянулъ синенькій платочекъ: я для чего-то опять сходилъ, часъ тому назадъ, за нимъ въ ящикъ и, только-что постлали наши постели, сунулъ его подъ подушку. Я тотчасъ прижалъ его къ моему лицу и вдругъ сталъ его цѣловать: «Мама, мама», — шепталъ я, вспоминая, и всю грудь мою сжимало, какъ въ тискахъ. Я закрылъ глаза и видѣлъ ея лицо съ дрожащими губами, когда она крестилась на церковь, крестила потомъ меня, а я говорилъ ей: «стыдно, смотрятъ». «Мамочка, мама, разъ-то въ жизни была ты у меня... Мамочка, гдѣ ты теперь, гостья ты моя далекая? Помнишь ли ты теперь своего бѣднаго мальчика, къ которому приходила... Покажись ты мнѣ хоть разочекъ теперь, приснись ты мнѣ хоть во снѣ только, чтобъ я сказалъ тебѣ, какъ люблю тебя, только обнять мнѣ тебя и поцѣловать твои синенькіе глазки, сказать тебѣ, что я совсѣмъ тебя ужъ теперь не стыжусь, и что я тебя и тогда любилъ, и что сердце мое ныло тогда, а я только сидѣлъ, какъ лакей. Не узнаешь ты, мама, никогда, какъ я тебя тогда любилъ! Мамочка, гдѣ ты теперь? Слышишь ли ты меня? Мама, мама, а помнишь голубочка, въ деревнѣ?»..

— Ахъ, чертъ... Чего онъ! — ворчитъ съ своей кровати Ламбертъ, — постой, я тебѣ! Спать не даетъ... Онъ вскакиваетъ, наконецъ, съ постели, подбѣгаетъ ко мнѣ и начинаетъ рвать съ ме-

ня одѣяло, но я крѣпко-крѣпко держусь за одѣяло, въ которое укутался съ головой.

— Хнычешь, чего ты хнычешь, дуракъ, духгакъ! Вотъ тебѣ! — и онъ бьетъ меня, онъ больно ударяетъ меня кулакомъ въ спину, въ бокъ, все больнѣй и больнѣй и... и я вдругъ открываю глаза...

Уже сильно разсвѣтаетъ, иглистый морозъ сверкаетъ на снѣгу, на стѣнѣ... Я сижу, скорчившись, еле живой, окоченѣвъ въ моей шубѣ, а кто-то стоитъ надо мной, будитъ меня, громко ругая и больно ударяя въ бокъ носкомъ правой ноги. Приподымаюсь, смотрю: человѣкъ въ богатой медвѣжьей шубѣ, въ собольей шапкѣ, съ черными глазами, съ черными, какъ смоль, щегольскими бакенами, съ горбатымъ носомъ, съ бѣлыми оскаленными на меня зубами, бѣлый, румяный, лицо, какъ маска... Онъ очень близко наклонился ко мнѣ, и морозный паръ вылетаетъ изъ его рта съ каждымъ его дыханіемъ:

— Замерзла, пьяная харя, духгакъ! Какъ собака замерзнешь, вставай! Вставай!

— Ламбертъ! — кричу я.

— Кто ты такой?

— Долгорукій!

— Какой такой, чертъ, Долгорукій?

— *Просто* Долгорукій!.. Тушаръ... Вотъ тотъ, которому ты вилку въ бокъ въ трактирѣ всадилъ!..

— Га-а-а! — вскрикиваетъ онъ, улыбаясь какой-то длинной, вспоминающей улыбкой (да неужто же онъ позабылъ меня!) — Га! Такъ это ты, ты!

Онъ поднимаетъ меня, ставитъ на ноги; я еле стою, еле двигаюсь, онъ ведетъ меня, придерживая

рукой. Онъ заглядываетъ мнѣ въ глаза, какъ бы соображая и припоминая и слушая меня изо всѣхъ силъ, а я лепечу тоже изо всѣхъ силъ, безпрерывно, безъ умолку, и такъ радъ, такъ радъ, что говорю, и радъ тому, что это — Ламбертъ. Показался ли онъ почему-нибудь мнѣ «спасеніемъ» моимъ, или потому я бросился къ нему въ ту минуту, что принялъ его за человѣка совсѣмъ изъ другого міра, — не знаю, — не разсуждалъ я тогда — но я бросился къ нему не разсуждая. Что̀ говорилъ я тогда, я совсѣмъ не помню, и врядъ ли складно хоть сколько-нибудь, врядъ ли даже слова выговаривалъ ясно; но онъ очень слушалъ. Онъ схватилъ перваго попавшагося извозчика, и черезъ нѣсколько минутъ я сидѣлъ уже въ теплѣ, въ его комнатѣ.

III.

У всякаго человѣка, кто бы онъ ни былъ, навѣрно сохраняется какое-нибудь воспоминаніе о чемъ-нибудь такомъ, съ нимъ случившемся, на что̀ онъ смотритъ или наклоненъ смотрѣть какъ на нѣчто фантастическое, необычайное, выходящее изъ ряда, почти чудесное, будетъ ли то — сонъ, встрѣча, гаданіе, предчувствіе или что-нибудь въ этомъ родѣ. Я до сихъ поръ наклоненъ смотрѣть на эту встрѣчу мою съ Ламбертомъ какъ на нѣчто даже пророческое... судя, по крайней мѣрѣ, по обстоятельствамъ и послѣдствіямъ встрѣчи. Все это произошло, впрочемъ, по крайней мѣрѣ, съ одной стороны, въ высшей степени натурально: онъ просто возвращался съ одного ночного своего занятія (какого—объяснится потомъ) полупьяный, и въ переулкѣ, остановясь у воротъ на одну минуту, уви-

дѣлъ меня. Былъ же онъ въ Петербургѣ всего только еще нѣсколько дней.

Комната, въ которой я очутился, была небольшая, весьма нехитро меблированный нумеръ обыкновеннаго петербургскаго шамбръ-гарни средней руки. Самъ Ламбертъ былъ, впрочемъ, превосходно и богато одѣтъ. На полу валялись два чемодана, на половину лишь разобранные. Уголъ комнаты былъ загороженъ ширмами, закрывавшими кровать.

— Alphonsine! — крикнулъ Ламбертъ.

— Présente! — откликнулся изъ-за ширмы дребезжащій женскій голосъ съ парижскимъ акцентомъ, и не болѣе какъ черезъ двѣ минуты выскочила m-lle Alphonsine, наскоро одѣтая, въ распашенкѣ, только что съ постели, — странное какое-то существо, высокаго роста и сухощавая, какъ щепка, дѣвица, брюнетка, съ длинной таліей, съ длиннымъ лицомъ, съ прыгающими глазами и съ ввалившимися щеками, — страшно износившееся существо!

— Скорѣй! (Я перевожу, а онъ ей говорилъ по-французски.) У нихъ тамъ ужъ долженъ быть самоваръ; живо кипятку, краснаго вина и сахару, стаканъ сюда, скорѣй, онъ замерзъ, это — мой пріятель . . . проспалъ ночь на снѣгу.

— Malheureux! — вскричала было она, съ театральнымъ жестомъ всплеснувъ руками.

— Но-но! — прикрикнулъ на нее Ламбертъ словно на собаченку и пригрозилъ пальцемъ; она тотчасъ остановила жесты и побѣжала исполнять приказаніе.

Онъ меня осмотрѣлъ и ощупалъ; попробовалъ мой пульсъ, пощупалъ лобъ, виски. — «Странно,— ворчалъ онъ, — какъ ты не замерзъ . . . Впрочемъ,

ты весь былъ закрытъ шубой, съ головой, какъ въ мѣховой норѣ сидѣлъ...»

Горячій стаканъ явился, я выхлебнулъ его съ жадностью, и онъ оживилъ меня тотчасъ же; я опять залепеталъ; я полулежалъ въ углу на диванѣ и все говорилъ, — я захлебывался, говоря, — но что̀ именно и какъ я разсказывалъ, опять-таки совсѣмъ почти не помню, мгновеніями и даже цѣлыми промежутками совсѣмъ забылъ. Повторяю: понялъ ли онъ что̀ тогда изъ моихъ разсказовъ — не знаю; но объ одномъ я догадался потомъ уже ясно, а именно: онъ успѣлъ понять меня ровно настолько, чтобъ вывести заключеніе, что со встрѣчей со мной ему пренебрегать не слѣдуетъ... Погомъ объясню въ своемъ мѣстѣ, какой онъ могъ имѣть тутъ разсчетъ.

Я не только былъ оживленъ ужасно, но, минутами, кажется, веселъ. Припоминаю солнце, вдругъ освѣтившее комнату, когда подняли шторы, и затрещавшую печку, которую кто-то затопилъ— кто и какъ — не запомню. Памятна мнѣ тоже черная крошечная болонка, которую держала m-lle Alphonsine въ рукахъ, кокетливо прижимая ее къ своему сердцу. Эта болонка какъ-то ужъ очень меня развлекала, такъ даже, что я переставалъ разсказывать и раза два потянулся къ ней, но Ламбертъ махнулъ рукой, и Альфонсина съ своей болонкой мигомъ стушевалась за ширмы.

Самъ онъ очень молчалъ, сидѣлъ напротивъ меня и, сильно наклонившись ко мнѣ, слушалъ, не отрываясь; порой улыбался длинной, долгой улыбкой, скалилъ зубы и прищуривалъ глаза, какъ бы усиленно соображая и желая угадать. Я сохранилъ ясно воспоминаніе лишь о томъ, что когда

разсказывалъ ему о «документѣ», то никакъ не могъ понятливо выразиться и толкомъ связать разсказъ, и по лицу его слишкомъ видѣлъ, что онъ никакъ не можетъ понять меня, но что ему очень бы хотѣлось понять, такъ что даже онъ рискнулъ остановить меня вопросомъ, что̀ было опасно, потому что я тотчасъ, чуть перебивали меня, самъ перебивалъ тему и забывалъ, о чемъ говорилъ. Сколько времени мы просидѣли и проговорили такъ — я не знаю и даже сообразить не могу. Онъ вдругъ всталъ и позвалъ Альфонсину.

— Ему надо покой; можетъ, надо будетъ доктора. Что̀ спроситъ — все исполнять, то есть . . . vous comprenez, ma fille? Vous avez l'argent, нѣтъ? Вотъ! — И онъ вынулъ ей десятирублевую. Онъ сталъ съ ней шептаться: vous comprenez! Vous comprenez! — повторялъ онъ ей, грозя пальцемъ и строго хмуря брови. Я видѣлъ, что она страшно передъ нимъ трепетала.

— Я приду, а ты всего лучше выспись, — улыбнулся онъ мнѣ и взялъ шапку.

— Mais vous n'avez pas dormi du tout, Maurice! — патетически прокричала было Альфонсина.

— Taisez vous, je dormirai après, — и онъ вышелъ.

— Sauvée! — патетически прошептала она, показавъ мнѣ вслѣдъ ему рукой.

— M-r, m-r! — задекламировала она тотчасъ же, ставъ въ позу среди комнаты: — jamais homme ne fut si cruel, si Bismark, que cet être, qui regarde une femme comme une saleté de hazard. Une femme, qu'est-ce que ça dans notre époque? «Tue la!» voilà le dernier mot de l'Académie française! . .

Я выпучилъ на нее глаза; у меня въ глазахъ двоилось, мнѣ мерещились уже двѣ Альфонсины... Вдругъ я замѣтилъ, что она плачетъ, вздрогнулъ и сообразилъ, что она уже очень давно мнѣ говоритъ, а я, стало быть, въ это время спалъ или былъ безъ памяти.

— ... Hélas! de quoi m'aurait servi de le découvrir plutôt, — восклицала она, — et n'aurais-je pas autant gagné à tenir ma honte cachée toute ma vie? Peut-être, n'est-il pas honnête à une demoiselle de s'expliquer si librement devant m-r, mais enfin je vous avoue, que s'il m'était permis de vouloir quelque chose, oh, ce serait de lui plonger au coeur mon couteau, mais en détournant les yeux, de peur que son regard execrable ne fit trembler mon bras et ne glaçât mon courage! Il a assassiné ce pope russe, m-r, il lui arracha sa barbe rousse pour la vendre à un artiste en cheveux au pont des Maréchaux, tout près de la Maison de m-r Andrieux — hautes nouveautés, articles de Paris, linge, chemises, vous savez, n'est ce pas?.. Oh, m-r, quand l'amitié rassemble à table épouse, enfants, soeurs, amis, quand une vive allegresse enflamme mon coeur, je vous le demande, m-r: est-il bonheur préférable à celui dont tout jouit? Mais il rit, m-r, ce monstre execrable et inconcévable et si ce n'était pas par l'entremise de m-r Andrieux, jamais, oh, jamais je ne serais... Mais quoi, m-r, qu'avez vous, m-r?

Она бросилась ко мнѣ: со мной, кажется, былъ ознобъ, а, можетъ, и обморокъ. Не могу выразить, какое тяжелое, болѣзненное впечатлѣніе производило на меня это полусумасшедшее существо. Можетъ быть, она вообразила, что ей велѣно развлекать меня: по крайней мѣрѣ, она не отходила отъ

меня ни на мигъ. Можетъ быть, она когда-нибудь была на сценѣ; она страшно декламировала, вертѣлась, говорила безъ умолку, а я уже давно молчалъ. Все, что̀ я могъ понять изъ ея разсказовъ, было то, что она какъ-то тѣсно связана съ какимъ-то «la Maison de m-r Andrieux — hautes nouveautés, articles de Paris, etc.», и даже произошла, можетъ быть, изъ la Maison de m-r Andrieux; но она была какъ-то отторгнута навѣки отъ m-r Andrieux par ce monstre furieux et inconcévable, и вотъ въ томъ-то и заключалась трагедія . . . Она рыдала, но мнѣ казалось, что это только такъ, для порядка, и что она вовсе не плачетъ; порой мнѣ чудилось, что она вдругъ вся, какъ скелетъ, разсыплется; она выговаривала слова какимъ-то раздавленнымъ, дребезжащимъ голосомъ; слово préférable, напримѣръ, она произносила préfér-a-able и на слогѣ *a* словно блеяла, какъ овца. Разъ, очнувшись, я увидѣлъ, что она дѣлаетъ среди комнаты пируэтъ, но она не танцовала, а относился этотъ пируэтъ какъ-то тоже къ разсказу, а она только изображала въ лицахъ. Вдругъ она бросилась и раскрыла маленькое, старенькое разстроенное фортепьянце, бывшее въ комнатѣ, забренчала и запѣла. Кажется, я минутъ на десять или болѣе забылся совсѣмъ, заснулъ, но взвизгнула болонка, и я очнулся: сознаніе вдругъ на мгновеніе воротилось ко мнѣ вполнѣ и освѣтило меня всѣмъ своимъ свѣтомъ; я вскочилъ въ ужасѣ:

— «Ламбертъ, я у Ламберта!» подумалъ я и, схвативъ шапку, бросился къ моей шубѣ.

— Ou allez-vous, m-r? — прокричала зоркая Альфонсина.

— Я хочу прочь, я хочу выйти! Пустите меня, не держите меня . . .

— Oui, m-r! — изо всѣхъ силъ подтвердила Альфонсина и бросилась сама отворить мнѣ дверь въ коридоръ. — Mais ce n'est pas loin, m-r, c'est pas loin du tout, ça ne vaut pas la peine de mettre voutre choubà, c'est-ici près, m-r! — восклицала она на весь коридоръ. Выбѣжавъ изъ комнаты, я повернулъ направо.

— Par ici, m-r, c'est par ici! — восклицала она изо всѣхъ силъ, уцѣпившись за мою шубу своими длинными, костлявыми пальцами, а другой рукой указывая мнѣ налѣво по коридору куда-то, куда я вовсе не хотѣлъ идти. Я вырвался и побѣжалъ къ выходнымъ дверямъ на лѣстницу.

— Il s'en va, il s'en va! — гналась за мною Альфонсина, крича своимъ разорваннымъ голосомъ: — mais il me tuera, m-r, il me tuera! Но я уже выскочилъ на лѣстницу и, несмотря на то, что она даже и по лѣстницѣ гналась за мной, успѣлъ-таки отворить выходную дверь, выскочить на улицу и броситься на перваго извозчика. Я далъ адресъ мамы . . .

IV.

Но сознаніе, блеснувъ на мигъ, быстро потухло. Я еще помню чуть-чуть, какъ довезли меня и ввели къ мамѣ, но тамъ я почти тотчасъ же впалъ въ совершенное уже безпамятство. На другой день, какъ разсказывали мнѣ потомъ (да и самъ я это, впрочемъ, запомнилъ), разсудокъ мой опять-было на мгновеніе прояснился. Я запомнилъ себя въ комнатѣ Версилова, на его диванѣ; помню вокругъ меня лица Версилова, мамы, Лизы, помню очень, какъ Версиловъ говорилъ мнѣ о Зерщиковѣ, о князѣ, показывалъ мнѣ какое-то письмо, успокаи-

валъ меня. Они разсказывали потомъ, что я съ ужасомъ все спрашивалъ про какого-то Ламберта и все слышалъ лай какой-то болонки. Но слабый свѣтъ сознанія скоро померкъ: къ вечеру этого второго дня я уже былъ въ полной горячкѣ. Но предупрежу событія и объясню впередъ:

Когда я въ тотъ вечеръ выбѣжалъ отъ Зерщикова и когда тамъ все нѣсколько успокоилось, Зерщиковъ, приступивъ къ игрѣ, вдругъ заявилъ громогласно, что произошла печальная ошибка: пропавшія деньги, четыреста рублей, отыскались въ кучѣ другихъ денегъ, и счеты банка оказались совершенно вѣрными. Тогда князь, остававшійся въ залѣ, приступилъ къ Зерщикову и потребовалъ настоятельно, чтобъ тотъ заявилъ публично о моей невинности и, кромѣ того, принесъ бы мнѣ извиненіе въ формѣ письма. Зерщиковъ, съ своей стороны, нашелъ требованіе достойнымъ уваженія и далъ слово, при всѣхъ, завтра же отправить мнѣ объяснительное и извинительное письмо. Князь сообщилъ ему адресъ Версилова, и, дѣйствительно, Версиловъ на другой же день получилъ лично отъ Зерщикова письмо на мое имя и слишкомъ тысячу триста рублей, принадлежавшихъ мнѣ и забытыхъ мною на рулеткѣ денегъ. Такимъ образомъ, дѣло у Зерщикова было покончено; радостное это извѣстіе сильно способствовало моему выздоровленію, когда я очнулся отъ безпамятства.

Князь, воротившись съ игры, написалъ въ ту же ночь два письма: — одно мнѣ, а другое въ тотъ прежній его полкъ, въ которомъ была у него исторія съ корнетомъ Степановымъ. Оба письма онъ отправилъ въ слѣдующее же утро. Засимъ написалъ рапортъ по начальству и съ этимъ рапор-

томъ въ рукахъ, рано утромъ, явился самъ къ командиру своего полка и заявилъ ему, что онъ, «уголовный преступникъ, участникъ въ поддѣлкѣ —хъ акцій, отдается въ руки правосудія и проситъ надъ собою суда». При семъ вручилъ и рапортъ, въ которомъ все это изложено было письменно. Его арестовали.

Вотъ то письмо его ко мнѣ, которое онъ написалъ въ ту ночь, слово въ слово:

«Безцѣнный Аркадій Макаровичъ!

«Испробовавъ «выходъ» лакейскій, я потерялъ тѣмъ самымъ право утѣшить хоть сколько-нибудь мою душу мыслью, что смогъ и я, наконецъ, рѣшиться на подвигъ справедливый. Я виновенъ передъ отечествомъ и передъ родомъ моимъ и за это самъ, послѣдній въ родѣ, казню себя. Не понимаю, какъ могъ я схватиться за низкую мысль о самосохраненіи и нѣкоторое время мечтать откупиться отъ нихъ деньгами? Все же самъ передъ своею совѣстью я оставался бы навѣки преступникомъ. Люди же эти, если бъ и возвратили мнѣ компрометирующія меня записки, не оставили бы меня ни за что̀ на всю жизнь! Что̀ же оставалось: жить съ ними, быть съ ними заодно во всю жизнь — вотъ участь, меня ожидавшая! Я не могъ принять ея и нашелъ въ себѣ, наконецъ, настолько твердости или, можетъ быть, лишь отчаянія, чтобы поступить такъ, какъ поступаю теперь.

«Я написалъ письмо въ прежній полкъ къ прежнимъ товарищамъ и оправдалъ Степанова. Въ поступкѣ этомъ нѣтъ и не можетъ быть никакого искупительнаго подвига: это — все лишь предсмерт-

ное завѣщаніе завтрашняго мертвеца. Такъ надо смотрѣть.

«Простите мнѣ, что я отвернулся отъ васъ въ игорномъ домѣ; это — потому, что въ ту минуту я былъ въ васъ не увѣренъ. Теперь, когда я — уже человѣкъ мертвый, я могу дѣлать даже такія признанія... съ того свѣта.

«Бѣдная Лиза! Она ничего не знала объ этомъ рѣшеніи; пусть не клянетъ меня, а обсудитъ сама. Я же не могу оправдываться и даже не нахожу словъ, чтобъ объяснить ей хоть что-нибудь. Узнайте тоже, Аркадій Макаровичъ, что вчера, поутру, когда она приходила ко мнѣ въ послѣдній разъ, я открылъ ей мой обманъ и признался, что ѣздилъ къ Аннѣ Андреевнѣ съ намѣреніемъ сдѣлать той предложеніе. Я не могъ оставить это на моей совѣсти передъ послѣднимъ, задуманнымъ уже рѣшеніемъ, видя ея любовь, и открылъ ей. Она простила, все простила, но я не повѣрилъ ей; это — не прощеніе; на ея мѣстѣ я бы не могъ простить.

«Попомните меня.

«Вашъ несчастный послѣдній
князь Сокольскій».

* * *

Я пролежалъ въ безпамятствѣ ровно девять дней.

Часть третья.

Глава первая

I.

Теперь — совсѣмъ о другомъ.

Я все возвѣщаю: «о другомъ, о другомъ», а самъ все продолжаю строчить объ одномъ себѣ. Между тѣмъ, я уже тысячу разъ объявлялъ, что вовсе не хочу себя описывать; да и твердо не хотѣлъ, начиная записки: я слишкомъ понимаю, что я нисколько не надобенъ читателю. Я описываю и хочу описать другихъ, а не себя, а если все самъ подвертываюсь, то это — только грустная ошибка, потому что никакъ нельзя миновать, какъ бы я ни желалъ того. Главное, мнѣ то досадно, что, описывая съ такимъ жаромъ свои собственныя приключенія, я тѣмъ самымъ даю поводъ думать, что я и теперь такой же, какимъ былъ тогда. Читатель помнитъ, впрочемъ, что я уже не разъ восклицалъ: «О, если бъ можно было перемѣнить прежнее и начать совершенно вновь!» Не могъ бы я такъ восклицать, если бъ не перемѣнился теперь радикально и не сталъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Это слишкомъ очевидно и если бъ только представить кто могъ, какъ надоѣли мнѣ всѣ эти извиненія и предисловія, которыя я вынужденъ втискивать поминутно даже въ самую середину моихъ записокъ!

Къ дѣлу.

Послѣ девятидневнаго безпамятства, я очнулся тогда возрожденный, но не исправленный; возрожденіе мое было, впрочемъ, глупое, разумѣется, если брать въ обширномъ смыслѣ, и, можетъ быть, если бъ это теперь, то было бы не такъ. Идея, т. е. чувство, состояло опять лишь въ томъ (какъ и тысячу разъ прежде), чтобъ уйти отъ нихъ совсѣмъ, но уже непремѣнно уйти, а не такъ, какъ прежде, когда я тысячу разъ задавалъ себѣ эту же тему и все не могъ исполнить. Мстить я не хотѣлъ никому, и даю въ томъ честное слово, — хотя былъ всѣми обиженъ. Уходить я собирался безъ отвращенія, безъ проклятій, но я хотѣлъ собственной силы, и уже настоящей, независимой ни отъ кого изъ нихъ и въ цѣломъ мірѣ; а я-то уже чуть было не примирился со всѣмъ на свѣтѣ! Записываю эту тогдашнюю грезу мою не какъ мысль, а какъ неотразимое тогдашнее ощущеніе. Я его еще не хотѣлъ формулировать, пока былъ въ постели. Больной и безъ силъ, лежа въ Версиловской комнатѣ, которую они отвели для меня, я съ болью сознавалъ, на какой низкой ступени безсилія я находился: валялась на постели какая-то соломинка, а не человѣкъ, и не по болѣзни только, — и какъ мнѣ это было обидно! И вотъ, изъ самой глубины существа моего, изъ всѣхъ силъ сталъ подыматься протестъ, и я задыхался отъ какого-то чувства безконечно преувеличенной надменности и вызова. Я не помню даже времени въ цѣлой жизни мой, когда бы я былъ полонъ болѣе надменныхъ ощущеній, какъ въ тѣ первые дни моего выздоровленія, т. е. когда валялась соломинка на постели.

Но пока я молчалъ и даже рѣшился ничего не

обдумывать! Я все заглядывалъ въ ихъ лица, стараясь по нимъ угадать все, что̀ мнѣ надо было. Видно было, что и они не желали ни разспрашивать, ни любопытствовать, а говорили со мной совсѣмъ о постороннемъ. Мнѣ это нравилось и, въ то же время, огорчало меня; не буду объяснять это противорѣчіе. Лизу я видѣлъ рѣже, чѣмъ маму, хотя она заходила ко мнѣ каждый день, даже по два раза. Изъ отрывковъ ихъ разговора и изъ всего ихъ вида я заключилъ, что у Лизы накопилось страшно много хлопотъ и что она даже часто дома не бываетъ изъ-за своихъ дѣлъ: уже въ одной этой идеѣ о возможности «своихъ дѣлъ» какъ бы заключалось для меня нѣчто обидное; впрочемъ, все это были лишь больныя, чисто физіологическія ощущенія, которыя не стоитъ описывать. Татьяна Павловна тоже приходила ко мнѣ чуть не ежедневно, и хоть была вовсе не нѣжна со мной, но, по крайней мѣрѣ, не ругалась попрежнему, что̀ до крайности меня раздосадовало, такъ что я ей просто высказывалъ: «Вы, Татьяна Павловна, когда не ругаетесь, — прескучная». — «Ну, такъ и не приду къ тебѣ», оторвала она и ушла. А я былъ радъ, что хоть одну прогналъ.

Всего больше я мучилъ маму и на нее раздражался. У меня явился страшный аппетитъ, и я очень ворчалъ, что опаздывало кушанье (а оно никогда не опаздывало). Мама не знала, какъ угодить. Разъ она принесла мнѣ супу и стала, по обыкновенію, сама кормить меня, а я все ворчалъ, пока ѣлъ. И вдругъ мнѣ стало досадно, что я ворчу: «ее-то одну, можетъ быть, я и люблю, а ее же и мучаю». Но злость не унималась, и я отъ злости вдругъ расплакался, а она, бѣдненькая, подумала,

что я отъ умиленія заплакалъ, нагнулась ко мнѣ и стала цѣловать. Я скрѣпился и кое-какъ вытерпѣлъ и, дѣйствительно, въ ту секунду ее ненавидѣлъ. Но маму я всегда любилъ, и тогда любилъ, и вовсе не ненавидѣлъ, а было то, что̀ всегда бываетъ: кого больше любишь, того перваго и оскорбляешь.

Ненавидѣлъ же я въ тѣ первые дни только одного доктора. Докторъ этотъ былъ молодой человѣкъ и съ заносчивымъ видомъ говорившій рѣзко и даже невѣжливо. Точно они всѣ въ наукѣ, вчера только и вдругъ, узнали что-то особенное, тогда какъ вчера ничего особеннаго не случилось: но такова всегда «средина» и «улица». Я долго терпѣлъ, но, наконецъ, вдругъ прорвался и заявилъ ему при всѣхъ нашихъ, что онъ напрасно таскается, что я вылѣчусь совсѣмъ безъ него, что онъ, имѣя видъ реалиста, самъ весь исполненъ однихъ предразсудковъ и не понимаетъ, что медицина еще никогда никого не вылѣчила, — что, наконецъ, по всей вѣроятности, онъ грубо необразованъ, «какъ и всѣ теперь у насъ техники и спеціалисты, которые въ послѣднее время такъ подняли у насъ носъ». Докторъ очень обидѣлся (ужъ этимъ однимъ доказалъ, что онъ такое), однакоже продолжалъ бывать. Я заявилъ, наконецъ, Версилову, что если докторъ не перестанетъ ходить, то я наговорю ему что-нибудь уже въ десять разъ непріятнѣе. Версиловъ замѣтилъ только, что и вдвое непріятнѣе нельзя уже было сказать противъ того, что̀ было высказано, а не то что въ десять разъ. Я былъ радъ, что онъ это замѣтилъ.

Вотъ человѣкъ, однако! Я говорю про Версилова. Онъ, онъ только и былъ всему причиной — и что

же: на него одного я тогда не злился. Не одна его манера со мной меня подкупила. Я думаю, мы тогда взаимно почувствовали, что обязаны другъ другу многими объясненіями... и что именно потому всего лучше никогда не объясняться. Чрезвычайно пріятно, когда въ подобныхъ положеніяхъ жизни натолкнешься на умнаго человѣка! Я уже сообщалъ во второй части моего разсказа, забѣгая впередъ, что онъ очень кратко и ясно передалъ мнѣ о письмѣ ко мнѣ арестованнаго князя, о Зерщиковѣ, о его объясненіи въ мою пользу и проч., и проч. Такъ какъ я рѣшился молчать, то сдѣлалъ ему, со всею сухостью, лишь два-три самыхъ краткихъ вопроса; онъ отвѣтилъ на нихъ ясно и точно, но совершенно безъ лишнихъ словъ и, что всего лучше, безъ лишнихъ чувствъ. Лишнихъ-то чувствъ я тогда и боялся.

О Ламбертѣ я молчу, но читатель, конечно, догадался, что я о немъ слишкомъ думалъ. Въ бреду я нѣсколько разъ говорилъ о Ламбертѣ; но очнувшись отъ бреда и приглядываясь, я скоро сообразилъ, что о Ламбертѣ все осталось въ тайнѣ и что они ничего не знаютъ, не исключая и Версилова. Тогда я обрадовался, и страхъ мой прошелъ, но я ошибался, какъ и узналъ потомъ, къ моему удивленію: онъ во время моей болѣзни уже заходилъ, но Версиловъ умолчалъ мнѣ объ этомъ, и я заключилъ, что для Ламберта я уже канулъ въ вѣчность. Тѣмъ не менѣе, я часто думалъ о немъ, мало того: думалъ не только безъ отвращенія, не только съ любопытствомъ, но даже съ участіемъ, какъ бы предчувствуя тутъ что-то новое и выходное, соотвѣтствующее зарождавшимся во мнѣ новымъ чувствамъ и планамъ. Однимъ словомъ, я положилъ

обдумать Ламберта прежде всего, когда рѣшусь начать думать. Внесу одну странность: я совершенно забылъ, гдѣ онъ живетъ и въ какой все это улицѣ тогда происходило. Комнату, Альфонсину, собаченку, коридоръ — все запомнилъ; хоть сейчасъ нарисовать; а гдѣ это все происходило, то есть въ какой улицѣ и въ какомъ домѣ — совершенно забылъ. И что страннѣе всего, догадался о томъ лишь на третій или на четвертый день моего полнаго сознанія, когда давно уже началъ заботиться о Ламбертѣ.

Итакъ, вотъ каковы были мои первыя ощущенія по воскресеніи моемъ. Я отмѣтилъ лишь самое поверхностное, и вѣроятнѣе всего, что не умѣлъ отмѣтить главнаго. Въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть, все главное именно тогда-то и опредѣлилось и сформулировалось въ моемъ сердцѣ; вѣдь не все же я досадовалъ и злился за то только, что мнѣ не несутъ бульону. О, я помню, какъ бывало мнѣ тогда грустно и какъ я тосковалъ иногда въ тѣ минуты, особенно когда оставался подолгу одинъ. Они же, какъ нарочно, скоро поняли, что мнѣ тяжело съ ними, что ихъ участіе меня раздражаетъ, и стали оставлять меня все чаще и чаще одного: излишняя тонкость догадливости.

II.

На четвертый день моего сознанія, я лежалъ, въ третьемъ часу пополудни, на моей постели и никого со мной не было. День былъ ясный, и я зналъ, что въ четвертомъ часу, когда солнце будетъ закатываться, то косой, красный лучъ его ударитъ прямо въ уголъ моей стѣны и яркимъ пят-

номъ освѣтитъ это мѣсто. Я зналъ это по прежнимъ днямъ, и то, что это непремѣнно сбудется черезъ часъ, а главное то, что я зналъ объ этомъ впередъ, какъ дважды-два, разозлило меня до злобы. Я судорожно повернулся всѣмъ тѣломъ и вдругъ среди глубокой тишины ясно услышалъ слова: «Господи, Іисусе Христе, Боже нашъ, помилуй насъ». Слова произнеслись полушепотомъ, за ними слѣдовалъ глубокій вздохъ всею грудью, и затѣмъ все опять совершенно стихло. Я быстро приподнялъ голову.

Я уже и прежде, т. е. наканунѣ, и даже еще съ третьяго дня, сталъ замѣчать что-то такое особенное въ этихъ нашихъ трехъ комнатахъ внизу. Въ той комнаткѣ, черезъ залу, гдѣ прежде помѣщались мама и Лиза, очевидно, былъ теперь кто-то другой. Я уже не разъ слышалъ какіе-то звуки и днемъ, и по ночамъ, но все лишь мгновеніями, самыми краткими, и тишина возстановлялась тотчасъ же полная, на нѣсколько часовъ, такъ что я и не обращалъ вниманія. Наканунѣ мнѣ пришла было мысль, что тамъ Версиловъ, тѣмъ болѣе, что онъ скоро затѣмъ вошелъ ко мнѣ, хотя я зналъ при томъ навѣрно, изъ ихъ же разговоровъ, что Версиловъ на время моей болѣзни переѣхалъ куда-то въ другую квартиру, въ которой и ночуетъ. Про маму же съ Лизой мнѣ давно уже стало извѣстно, что онѣ обѣ (для моего же спокойствія, думалъ я) перебрались наверхъ, въ бывшій мой «гробъ», и даже подумалъ разъ про себя: «какъ это могли онѣ тамъ вдвоемъ помѣститься?» И вдругъ теперь оказывается, что въ ихней прежней комнатѣ живетъ какой-то человѣкъ и что человѣкъ этотъ — совсѣмъ не Версиловъ. Съ легкостью,

которую я и не предполагалъ въ себѣ (воображая до сихъ поръ, что я совершенно безсиленъ), спустилъ я съ постели ноги, сунулъ ихъ въ туфли, накинулъ сѣрый, мерлушечій халатъ, лежавшій подлѣ (и пожертвованный для меня Версиловымъ), и отправился черезъ нашу гостиную въ бывшую спальню мамы. То, что я тамъ увидѣлъ, сбило меня совсѣмъ съ толку: я никакъ не предполагалъ ничего подобнаго и остановился, какъ вкопаный, на порогѣ.

Тамъ сидѣлъ сѣдой-пресѣдой старикъ, съ большой, ужасно бѣлой бородой, и ясно было, что онъ давно уже тамъ сидитъ. Онъ сидѣлъ не на постели, а на маминой скамеечкѣ и только спиной опирался на кровать. Впрочемъ, онъ до того держалъ себя прямо, что, казалось, ему и не надо совсѣмъ никакой опоры, хотя, очевидно, былъ боленъ. На немъ былъ сверхъ рубашки крытый мѣховой тулупчикъ, колѣна же его были прикрыты маминымъ пледомъ, а ноги въ туфляхъ. Росту онъ, какъ угадывалось, былъ большого, широкоплечъ, очень бодраго вида, несмотря на болѣзнь, хотя нѣсколько блѣденъ и худъ, съ продолговатымъ лицомъ, съ густѣйшими волосами, но не очень длинными, лѣтъ же ему, казалось, за семьдесятъ. Подлѣ него на столикѣ, рукой достать, лежали три или четыре книги и серебряные очки.

У меня хоть и ни малѣйшей мысли не было его встрѣтить, но я въ тотъ же мигъ угадалъ, кто отъ такой, только все еще сообразить не могъ, какимъ это образомъ онъ просидѣлъ эти всѣ дни, почти рядомъ со мной, такъ тихо, что я до сихъ поръ ничего не разслышалъ.

Онъ не шевельнулся, меня увидѣвъ, но пристально и молча глядѣлъ на меня, такъ же, какъ я

на него, съ тою разницею, что я глядѣлъ съ непомѣрнымъ удивленіемъ, а онъ безъ малѣйшаго. Напротивъ, какъ бы разсмотрѣвъ меня всего, до послѣдней черты, въ эти пять или десять секундъ молчанія, онъ вдругъ улыбнулся и даже тихо и неслышно засмѣялся, и хотя смѣхъ прошелъ скоро, но свѣтлый, веселый слѣдъ его остался въ его лицѣ и, главное, въ глазахъ, очень голубыхъ, лучистыхъ, большихъ, но съ опустившимися и припухшими отъ старости вѣками и окруженныхъ безчисленными крошечными морщинками. Этотъ смѣхъ его всего болѣе на меня подѣйствовалъ.

Я такъ думаю, что когда смѣется человѣкъ, то, въ большинствѣ случаевъ, на него становится противно смотрѣть. Чаще всего въ смѣхѣ людей обнаруживается нѣчто пошлое, нѣчто какъ бы унижающее смѣющагося, хотя самъ смѣющійся почти всегда ничего не знаетъ о впечатлѣніи, которое производитъ. Точно такъ же не знаетъ, какъ и вообще всѣ не знаютъ, каково у нихъ лицо, когда они спятъ. У иного спящаго лицо и во снѣ умное, а у другого, даже и умнаго, во снѣ лицо становится очень глупымъ и потому смѣшнымъ. Я не знаю, отчего это происходитъ: я хочу только сказать, что смѣющійся, какъ и спящій, большею частью ничего не знаетъ про свое лицо. Чрезвычайное множество людей не умѣютъ совсѣмъ смѣяться. Впрочемъ, тутъ умѣть нечего: это — даръ и его не выдѣлаешь. Выдѣлаешь развѣ лишь тѣмъ, что перевоспитаешь себя, разовьешь себя къ лучшему и поборешь дурные инстинкты своего характера: тогда и смѣхъ такого человѣка, весьма вѣроятно, могъ бы перемѣниться къ лучшему. Смѣхомъ иной человѣкъ себя совсѣмъ выдаетъ, и вы вдругъ

узнаете всю его подноготную. Даже безспорно умный смѣхъ бываетъ иногда отвратителенъ. Смѣхъ требуетъ прежде всего искренности, а гдѣ въ людяхъ искренность? Смѣхъ требуетъ беззлобія, а люди всего чаще смѣются злобно. Искренній и беззлобный смѣхъ это — веселость, а гдѣ въ людяхъ въ нашъ вѣкъ веселость и умѣютъ ли люди веселиться? (О веселости въ нашъ вѣкъ — это замѣчаніе Версилова, и я его запомнилъ.) Веселость человѣка, это — самая выдающая человѣка черта, съ ногами и руками. Иной характеръ долго не раскусите, а разсмѣется человѣкъ какънибудь очень искренно, и весь характеръ его вдругъ окажется какъ на ладони. Только съ самымъ высшимъ и съ самымъ счастливымъ развитіемъ человѣкъ умѣетъ веселиться сообщительно, то есть неотразимо и добродушно. Я не про умственное его развитіе говорю, а про характеръ, про цѣлое человѣка. Итакъ, если захотите разсмотрѣть человѣка и узнать его душу, то вникайте не въ то, какъ онъ молчитъ, или какъ онъ говоритъ, или какъ онъ плачетъ, или даже какъ онъ волнуется благороднѣйшими идеями, а вы смотрите его лучше, когда онъ смѣется. Хорошо смѣется человѣкъ — значитъ, хорошій человѣкъ. Примѣчайте притомъ всѣ оттѣнки: надо, напримѣръ, чтобы смѣхъ человѣка ни въ какомъ случаѣ не показался вамъ глупымъ, какъ бы ни былъ онъ веселъ и простодушенъ. Чуть замѣтите малѣйшую черту глуповатости въ смѣхѣ, значитъ, несомнѣнно, тотъ человѣкъ ограниченъ умомъ, хотя бы только и дѣлалъ, что сыпалъ идеями. Если и не глупъ его смѣхъ, но самъ человѣкъ, разсмѣявшись, сталъ вдругъ почему-то для васъ смѣшнымъ, хотя бы даже не-

много, — то знайте, что въ человѣкѣ томъ нѣтъ настоящаго собственнаго достоинства, по крайней мѣрѣ, вполнѣ. Или, наконецъ, если смѣхъ этотъ хоть и сообщителенъ, а все-таки почему-то вамъ покажется пошловатымъ, то знайте, что и натура того человѣка пошловата, и все благородное и возвышенное, что вы замѣтили въ немъ прежде — или съ умысломъ напускное, или безсознательно заимствованное, и что этотъ человѣкъ непремѣнно впослѣдствіи измѣнится къ худшему, займется «полезнымъ», а благородныя идеи отброситъ безъ сожалѣнія, какъ заблужденія и увлеченія молодости.

Эту длинную тираду о смѣхѣ я помѣщаю здѣсь съ умысломъ, даже жертвуя теченіемъ разсказа, ибо считаю ее однимъ изъ серьезнѣйшихъ выводовъ моихъ изъ жизни. И особенно рекомендую ее тѣмъ дѣвушкамъ-невѣстамъ, которыя ужъ и готовы выйти за избраннаго человѣка, но все еще приглядываются къ нему съ раздумьемъ и недовѣрчивостью и не рѣшаются окончательно. И пусть не смѣются надъ жалкимъ подросткомъ за то, что онъ суется съ своими нравоученіями въ брачное дѣло, въ которомъ ни строчки не понимаетъ. Но я понимаю лишь то, что смѣхъ есть самая вѣрная проба души. Взгляните на ребенка: одни дѣти умѣютъ смѣяться въ совершенствѣ хорошо — отъ того-то они и обольстительны. Плачущій ребенокъ для меня отвратителенъ, а смѣющійся и веселящійся, это — лучъ изъ рая, это — откровеніе изъ будущаго, когда человѣкъ станетъ, наконецъ, такъ же чистъ и простодушенъ, какъ дитя. И вотъ что-то дѣтское и до невѣроятности привлекательное мелькнуло и въ мимолетномъ смѣхѣ этого старика. Я тотчасъ же подошелъ къ нему.

III.

— Садись, присядь, ноги-то небось не стоятъ еще — привѣтливо пригласилъ онъ меня, указавъ мнѣ на мѣсто подлѣ себя и все продолжая смотрѣть мнѣ въ лицо тѣмъ же лучистымъ взглядомъ. Я сѣлъ подлѣ него и сказалъ:

— Я васъ знаю, вы — Макаръ Ивановичъ.

— Такъ, голубчикъ. Вотъ и прекрасно, что всталъ. Ты — юноша, прекрасно тебѣ. Старцу къ могилѣ, а юношѣ жить.

— А вы больны?

— Боленъ, другъ, ногами пуще; до порога еще донесли ноженьки, а какъ вотъ тутъ сѣлъ—и распухли. Это у меня съ прошлаго самаго четверга, какъ стали градусы (NB. т. е. сталъ морозъ). Мазалъ я ихъ доселѣ мазью, видишь: третьяго года мнѣ Лихтенъ, докторъ, Едмундъ Карлычъ, въ Москвѣ прописалъ, и помогала мазь, ухъ, помогала; ну, а вотъ теперь помогать перестала. Да и грудь тоже заложило. А вотъ со вчерашняго и спина, ажно собаки ѣдятъ . . . По ночамъ-то и не сплю.

— Какъ это васъ здѣсь совсѣмъ не слышно?— перебилъ я. Онъ посмотрѣлъ на меня, какъ бы что-то соображая.

— Только ты мать не буди, — прибавилъ онъ, какъ бы вдругъ что-то припомнивъ. — Она тутъ всю ночь подлѣ суетилась, да не слышно такъ, словно муха; а теперь, я знаю, прилегла. Охъ, худо больному старцу, — вздохнулъ онъ, — за что, кажись, только душа зацѣпилась, а все держится, а все свѣту рада; и, кажись, если бъ всю-то жизнь опять сызнова начинать, и того бы, пожалуй, неубоялась душа; хотя, можетъ, и грѣховна такая мысль.

— Почему грѣховна?

— Мечта она, эта мысль, а старцу надо отходить благолѣпно. Опять, оно если съ ропотомъ, али съ недовольствомъ встрѣчаешь смерть, то сіе есть великій грѣхъ. Ну, а если отъ веселія духовнаго жизнь возлюбилъ, то полагаю, и Богъ проститъ, хоша бы и старцу. Трудно человѣку знать про всякій грѣхъ, что̀ грѣшно, а что̀ нѣтъ: тайна тутъ, превосходящая умъ человѣческій. Старецъ же долженъ быть доволенъ во всякое время, а умирать долженъ въ полномъ цвѣтѣ ума своего, блаженно и благолѣпно, насытившись днями, воздыхая на послѣдній часъ свой и радуясь, отходя, какъ колосъ къ снопу и восполнивши тайну свою.

— Вы все говорите «тайну»; что такое «восполнивши тайну свою»? — спросилъ я и оглянулся на дверь. Я радъ былъ, что мы одни и что кругомъ стояла невозмутимая тишина. Солнце ярко свѣтило въ окно передъ закатомъ. Онъ говорилъ нѣсколько высокопарно и неточно, но очень искренно и съ какимъ-то сильнымъ возбужденіемъ, точно и въ самомъ дѣлѣ былъ такъ радъ моему приходу. Но я замѣтилъ въ немъ несомнѣнно лихорадочное состояніе и даже сильное. Я тоже былъ больной, тоже въ лихорадкѣ, съ той минуты, какъ вошелъ къ нему.

— Тайна что̀? Все есть тайна, другъ, во всемъ тайна Божія. Въ каждомъ деревѣ, въ каждой былинкѣ эта самая тайна заключена. Птичка ли малая поетъ, али звѣзды всѣмъ сонмомъ на небѣ блещутъ въ ночи — все одна эта тайна, одинаковая. А всѣхъ бо̀льшая тайна — въ томъ, что̀ душу человѣка на томъ свѣтѣ ожидаетъ. Вотъ такъ-то, другъ!

— Я не знаю, въ какомъ вы смыслѣ . . . Я, ко-

нечно, не для того, чтобъ васъ дразнить, и, повѣрьте, что въ Бога вѣрую; но всѣ эти тайны давно открыты умомъ, а что еще не открыто, то будетъ открыто все, совершенно навѣрно и, можетъ быть, въ самый короткій срокъ. Ботаника совершенно знаетъ, какъ растетъ дерево, физіологъ и анатомъ знаютъ даже, почему поетъ птица, или скоро узнаютъ, а что до звѣздъ, то онѣ не только всѣ сосчитаны, но всякое движеніе ихъ вычислено съ самою минутною точностью, такъ что можно предсказать, даже за тысячу лѣтъ впередъ, минута въ минуту, появленіе какой-нибудь кометы . . . а теперь такъ даже и составъ отдаленнѣйшихъ звѣздъ сталъ извѣстенъ. Вы возьмите микроскопъ, это— такое стекло увеличительное, что увеличиваетъ предметы въ милліонъ разъ — и разсмотрите въ него каплю воды, и вы увидите тамъ цѣлый новый міръ, цѣлую жизнь живыхъ существъ, а, между тѣмъ, это тоже была тайна, а вотъ открыли же.

— Слышалъ я про это, голубчикъ, неоднократно слышалъ отъ людей. Что говорить, дѣло великое и славное; все предано человѣку волею Божіею; недаромъ Богъ вдунулъ въ него дыханіе жизни: «Живи и познай».

— Ну, это — общія мѣста. Однако, вы — не врагъ науки, не клерикалъ? То есть, я не знаю, поймете ли вы . . .

— Нѣтъ, голубчикъ, сызмлада науку почиталъ, и хоть самъ несмысленъ, но на то не ропщу: не мнѣ, такъ другому досталось. Оно тѣмъ, можетъ, и лучше, потому что всякому свое. Потому, другъ милый, что не всякому и наука въ прокъ. Всѣ-то невоздержаны, всякій-то хочетъ всю вселенную удивить, а я-то, можетъ, и пуще всѣхъ, коли бъ

былъ искусенъ. А будучи теперь весьма неискусенъ, какъ могу превозноситься, когда самъ ничего не знаю? Ты же младъ и востеръ, и таковъ удѣлъ тебѣ вышелъ, ты и учись. Все познай, чтобы, когда повстрѣчаешь безбожника, али озорника, чтобъ ты могъ передъ нимъ отвѣтить, а онъ чтобъ тебя неистовыми словесами не забросалъ и мысли твои незрѣлыя чтобы не смутилъ. А стекло это я еще и не такъ давно видѣлъ.

Онъ перевелъ духъ и вздохнулъ. Рѣшительно, я доставилъ ему чрезвычайное удовольствіе моимъ приходомъ. Жажда сообщительности была болѣзненная. Кромѣ того, я рѣшительно не ошибусь, утверждая, что онъ смотрѣлъ на меня минутами съ какою-то необыкновенною даже любовью: онъ ласкательно клалъ ладонь на мою руку, гладилъ меня по плечу . . . ну, а минутами, надо признаться, совсѣмъ какъ бы забывалъ обо мнѣ, точно одинъ сидѣлъ, и хотя съ жаромъ продолжалъ говорить, но какъ бы куда-то на воздухъ.

— Есть, другъ, — продолжалъ онъ, — въ Геннадіевой Пустыни одинъ великаго ума человѣкъ. Роду онъ благороднаго и чиномъ подполковникъ, и великое богатство имѣетъ. Въ мірѣ живши, обязаться бракомъ не захотѣлъ; заключился же отъ свѣту вотъ уже десятый годъ, возлюбивъ тихія и безмолвныя пристанища и чувства свои отъ мірскихъ суетъ успокоивъ. Соблюдаетъ весь уставъ монастырскій, а постричься не хочетъ. И книгъ, другъ мой, у него столько, что я и не видывалъ еще столько ни у кого, — самъ говорилъ мнѣ, что на восемь тысячъ рублей. Петромъ Валерьянычемъ звать. Много онъ меня въ разное время поучалъ, а любилъ я его слушать чрезмѣрно. Говорю это я

ему разъ: «Какъ это вы, сударь, да при такомъ великомъ вашемъ умѣ, и проживая вотъ уже десять лѣтъ въ монастырскомъ послушаніи и въ совершенномъ отсѣченіи воли своей — какъ это вы честнаго постриженія не примете, чтобъ ужъ быть еще совершеннѣе?» А онъ мнѣ на то: — «Что ты, старикъ, объ умѣ моемъ говоришь; а, можетъ, умъ мой меня же заполонилъ, а не я его остепенилъ. И что о послушаніи моемъ разсуждаешь: можетъ, я давно уже мѣру себѣ потерялъ. И что объ отсѣченіи воли моей толкуешь? Я вотъ денегъ моихъ сей же часъ рѣшусь, и чины отдамъ, и кавалерію всю сей же часъ на столъ сложу, а отъ трубки табаку, вотъ уже десятый годъ бьюсь, отстать не могу. Какой же я послѣ этого инокъ, и какое же отсѣченіе воли во мнѣ прославляешь?» И удивился я тогда смиренію сему. Ну, такъ вотъ прошлаго лѣта, въ Петровки, зашелъ я опять въ ту пустынь, — привелъ Господь, — и вижу въ келіи его стоитъ эта самая вещь — микроскопъ, — за большія деньги изъ-за границы выписалъ. «Постой, говоритъ, старикъ, покажу я тебѣ дѣло удивительное, потому ты сего еще никогда не видывалъ. Видишь каплю воды, какъ слеза чиста: ну, такъ посмотри, что въ ней есть, и увидишь, что механики скоро всѣ тайны Божіи разыщутъ, ни одной намъ съ тобой не оставятъ», — такъ и сказалъ это, запомнилъ я. А я въ этотъ микроскопъ еще тридцать пять лѣтъ передъ тѣмъ смотрѣлъ у Александра Владиміровича Малгасова, господина нашего, дядюшки Андрея Петровичева по матери, отъ котораго вотчина и отошла потомъ, по смерти его, къ Андрею Петровичу. Баринъ былъ важный, большой генералъ, и большую псовую охоту содержалъ,

и я многіе годы при немъ выжилъ тогда въ ловчихъ. Вотъ тогда и поставилъ онъ тоже этотъ микроскопъ, тоже привезъ съ собой, и повелѣлъ всей дворнѣ одному за другимъ подходить, какъ мужскому, такъ и женскому полу, и смотрѣть, и тоже показывали блоху и вошь, и конецъ иголки, и волосокъ, и каплю воды. И ужъ потѣха была: подходить боятся, да и барина боятся — вспыльчивъ былъ. Одни такъ и смотрѣть-то не умѣютъ, щурятъ глазъ, а ничего не видятъ; другіе страшатся и кричатъ, а староста Савинъ Макаровъ глаза обѣими руками закрылъ, да и кричитъ: «что хошь со мной дѣлайте — нейду!» Пустого смѣху тутъ много вышло. Петру Валерьянычу я, однако, не признался, что еще допрежь сего, слишкомъ тридцать пять лѣтъ тому, это самое чудо видѣлъ, потому вижу отъ великаго удовольствія показываетъ человѣкъ, и сталъ я, напротивъ, дивиться и ужасаться. Далъ онъ мнѣ срокъ и спрашиваетъ: «Ну что, старикъ, теперь скажешь?» А я воскликнился и говорю ему: «Рече Господь: да будетъ свѣтъ, и бысть свѣтъ», а онъ вдругъ мнѣ на то: «А не бысть ли тьма?» И такъ странно сказалъ сіе, даже не усмѣхнулся. Удивился я на него тогда, а онъ словно даже осердился, примолкъ.

— Просто-за-просто, вашъ Петръ Валерьянычъ въ монастырѣ ѣстъ кутью и кладетъ поклоны, а въ Бога не вѣруетъ, и вы подъ такую минуту попали — вотъ и все, — сказалъ я: — и, сверхъ того, человѣкъ довольно смѣшной: вѣдь, ужъ навѣрно онъ разъ десять прежде того микроскопъ видѣлъ, что жъ онъ такъ съ ума сошелъ въ одиннадцатый-то разъ? Впечатлительность какая-то нервная... въ монастырѣ выработалъ.

— Человѣкъ чистый и ума высокаго, — внушительно произнесъ старикъ, — и не безбожникъ онъ. Въ ёмъ ума гущина, а сердце неспокойное. Таковыхъ людей очень много теперь пошло изъ господскаго и изъ ученаго званія. И вотъ что еще скажу, самъ казнитъ себя человѣкъ. А ты ихъ обходи и имъ не досаждай, а передъ ночнымъ сномъ поминай на молитвѣ, ибо таковые Бога ищутъ. Ты молишься ли передъ сномъ-то?

— Нѣтъ, считаю это пустою обрядностью. Я долженъ вамъ, впрочемъ, признаться, что мнѣ вашъ Петръ Валерьянычъ нравится: не сѣно, по крайней мѣрѣ, а все же человѣкъ, нѣсколько похожій на одного близкаго намъ обоимъ человѣка, котораго мы оба знаемъ.

Старикъ обратилъ вниманіе лишь на первую фразу моего отвѣта:

— Напрасно, другъ, не молишься; хорошо оно, сердцу весело, и предъ сномъ, и возставъ отъ сна, и пробудясь въ ночи. Это я тебѣ скажу. Лѣтомъ же, въ іюлѣ мѣсяцѣ, поспѣшали мы въ Богородскій монастырь къ празднику. Чѣмъ ближе подходили къ мѣсту, тѣмъ пуще приставалъ народъ, и сошлось, наконецъ, насъ чуть не два ста человѣкъ, все спѣшившихъ лобызать святыя и цѣлокупныя мощи великихъ обоихъ чудотворцевъ Аникія и Григорія. Заночевали, брате, мы въ полѣ, и проснулся я заутра рано, еще всѣ спали, и даже солнышко изъ-за лѣса не выглянуло. Восклонился я, милый, главой, обвелъ кругомъ взоръ и вздохнулъ! Красота вездѣ неизрѣченная! Тихо все, воздухъ легкій; травка растетъ — расти травка Божія, ребеночекъ у женщины на рукахъ пискнулъ — Господь съ тобой, маленькій человѣчекъ, расти на

счастье, младенчикъ! И вотъ точно я въ первый разъ тогда, съ самой жизни моей, все сіе въ себѣ заключилъ... Склонился я опять, заснулъ таково легко. Хорошо на свѣтѣ, милый! Я вотъ, кабы полегчало, опять бы по веснѣ пошелъ. А что тайна, то оно тѣмъ даже и лучше: страшно оно сердцу и дивно; и страхъ сей къ веселью: «Все въ тебѣ, Господи, и я самъ въ Тебѣ, и пріими меня!» Не ропщи, вьюношъ: тѣмъ еще прекраснѣй оно, что тайна, — прибавилъ онъ умиленно.

— «Тѣмъ даже прекраснѣй оно что тайна»... Это я запомню, эти слова. Вы ужасно неточно выражаетесь, но я понимаю... Меня поражаетъ, что вы гораздо болѣе знаете и понимаете, чѣмъ можете выразить; только вы какъ будто въ бреду... — вырвалось у меня, смотря на его лихорадочные глаза и на поблѣднѣвшее лицо. Но онъ, кажется, и не слышалъ моихъ словъ.

— Знаешь ли ты, милый вьюношъ, — началъ онъ опять, какъ бы продолжая прежнюю рѣчь: — знаешь ли ты, что есть предѣлъ памяти человѣка на сей землѣ? Предѣлъ памяти человѣку положенъ лишь во сто лѣтъ. Сто лѣтъ по смерти его еще могутъ запомнить дѣти его, али внуки его, еще видѣвшіе лицо его, а затѣмъ хоть и можетъ продолжаться память его, но лишь устная, мысленная, ибо прейдутъ всѣ, видѣвшіе живой ликъ его. И зарастетъ его могилка на кладбищѣ травкой, облупится на ней бѣлъ-камушекъ, и забудутъ его всѣ люди и самое потомство его, забудутъ потомъ самое имя его, ибо лишь немногіе въ памяти людей остаются — ну и пусть! И пусть забудутъ, милые, а я васъ и изъ могилки люблю. Слышу, дѣточки, голоса ваши веселые, слышу шаги ваши на род-

ныхъ отчихъ могилкахъ въ родительскій день; живите пока на солнышкѣ, радуйтесь, а я за васъ Бога помолю, въ сонномъ видѣніи къ вамъ сойду... все равно — и по смерти любовь!..

Главное, я самъ былъ въ такой же, какъ и онъ, лихорадкѣ; вмѣсто того, чтобъ уйти или уговорить его успокоиться, а, можетъ, и положить его на кровать, потому что онъ былъ совсѣмъ какъ въ бреду, я вдругъ схватилъ его за руку и, нагнувшись къ нему и сжимая его руку, проговорилъ взволнованнымъ шепотомъ и со слезами въ душѣ:

— Я вамъ радъ. Я, можетъ быть, васъ давно ожидалъ. Я ихъ никого не люблю: у нихъ нѣтъ благообразія... Я за ними не пойду, я не знаю, куда я пойду, я съ вами пойду...

Но, къ счастью, вдругъ вошла мама, а то бы я не знаю, чѣмъ кончилъ. Она вошла съ только что проснувшимся и встревоженнымъ лицомъ; въ рукахъ у ней была склянка и столовая ложка; увидя насъ, она воскликнула:

— Такъ и знала! Хинное-то лѣкарство и опоздала дать во-время, весь въ лихорадкѣ! Проспала я, Макаръ Ивановичъ, голубчикъ!

Я всталъ и вышелъ. Она все-таки дала ему лѣкарство и уложила въ постель. Я тоже улегся въ свою, но въ большомъ волненіи. Я воротился съ великимъ любопытствомъ и изо всѣхъ силъ думалъ объ этой встрѣчѣ. Чего я тогда ждалъ отъ нея — не знаю. Конечно, я разсуждалъ безсвязно, и въ умѣ моемъ мелькали не мысли, а лишь обрывки мыслей. Я лежалъ лицомъ къ стѣнѣ и вдругъ въ углу увидѣлъ яркое свѣтлое пятно, которое я съ такимъ проклятіемъ ожидалъ давеча, и вотъ, помню, вся душа моя какъ бы взыграла, и какъ бы

новый свѣтъ проникъ въ мое сердце. Помню эту сладкую минуту и не хочу забыть. Это былъ лишь мигъ новой надежды и новой силы... Я тогда выздоравливалъ, а, стало быть, такіе порывы могли быть неминуемымъ слѣдствіемъ состоянія моихъ нервовъ; но въ ту самую свѣтлую надежду я вѣрю и теперь — вотъ что я хотѣлъ теперь записать и припомнить. Конечно, я и тогда твердо зналъ, что не пойду странствовать съ Макаромъ Ивановичемъ и что самъ не знаю, въ чемъ состояло это новое стремленіе, меня захватившее, но одно слово я уже произнесъ, хотя и въ бреду: «Въ нихъ нѣтъ благообразія!» «Конечно, думалъ я въ изступленіи, съ этой минуты я ищу «благообразія», а у нихъ его нѣтъ, и за то я оставлю ихъ».

Что-то зашелестило сзади меня, я обернулся: стояла мама, склонясь надо мной и съ робкимъ любопытствомъ заглядывая мнѣ въ глаза. Я вдругъ взялъ ее за руку:

— А что же вы, мама, мнѣ про нашего дорогого гостя ничего не сказали? — спросилъ я вдругъ, самъ почти не ожидая, что такъ скажу. Все безпокойство разомъ исчезло съ лица ея, на немъ вспыхнула какъ бы радость, но она мнѣ ничего не отвѣтила, кромѣ одного только слова:

— Лизу тоже не забудь, Лизу; ты Лизу забылъ.

Она выговорила это скороговоркой, покраснѣвъ, и хотѣла было поскорѣе уйти, потому что тоже страхъ какъ не любила размазывать чувства, и на этотъ счетъ была вся въ меня, т. е. застѣнчива и цѣломудренна; къ тому же, разумѣется, не хотѣла бы начинать со мной на тему о Макарѣ Ивановичѣ; довольно было и того, что мы могли сказать, об-

мѣнявшись взглядами. Но я, именно ненавидѣвшій всякую размазню чувствъ, я-то и остановилъ ее насильно за руку: я сладко глядѣлъ ей въ глаза, тихо и нѣжно смѣялся, а другой ладонью гладилъ ея милое лицо, ея впалыя щеки. Она пригнулась и прижалась своимъ лбомъ къ моему:

— Ну, Христосъ съ тобой, — сказала она вдругъ, восклонившись и вся сіяя: — выздоравливай. Зачту это тебѣ. Боленъ онъ, очень боленъ... Въ жизни воленъ Богъ... Ахъ, что это я сказала, да быть же того не можетъ!..

Она ушла. Очень ужъ почитала она всю жизнь свою, во страхѣ и трепетѣ, и благоговѣніи, законнаго мужа своего и странника Макара Ивановича, великодушно и разъ навсегда ее простившаго.

Глава вторая.

I.

А Лизу я «не забылъ», мама ошиблась. Чуткая мать видѣла, что между братомъ и сестрой какъ бы охлажденіе, но дѣло было не въ нелюбви, а скорѣе въ ревности. Объясню, въ виду дальнѣйшаго, въ двухъ словахъ.

Въ бѣдной Лизѣ, съ самаго ареста князя, явилась какая-то заносчивая гордость, какое-то недоступное высокомѣріе, почти нестерпимое; но всякій въ домѣ понялъ истину и то, какъ она старадала, а если дулся и хмурился вначалѣ я на ея манеру съ нами, то единственно по моей мелочной раздражительности, въ десять разъ усиленной болѣзнью, — вотъ какъ я думаю объ этомъ теперь. Любить же Лизу я не переставалъ вовсе, а, напротивъ, любилъ еще болѣе, только не хотѣлъ подходить первый, понимая впрочемъ, что и сама она не подойдетъ первая ни за что.

Дѣло въ томъ, что, какъ только обнаружилось все о князѣ, тотчасъ послѣ его ареста, то Лиза первымъ дѣломъ поспѣшила стать въ такое положеніе относительно насъ и всѣхъ, кого угодно, что какъ будто и мысли не хотѣла допустить, что ее можно сожалѣть или въ чемъ-нибудь утѣшать, а

князя оправдывать. Напротивъ, — стараясь нисколько не объясняться и ни съ кѣмъ не спорить,— она какъ будто безпрерывно гордилась поступкомъ своего несчастнаго жениха, какъ высшимъ геройствомъ. Она какъ будто говорила всѣмъ намъ поминутно (повторяю: не произнося ни слова): «вѣдь вы никто такъ не сдѣлаете, — вѣдь вы не предадите себя изъ-за требованій чести и долга, вѣдь у васъ ни у кого нѣтъ такой чуткой и чистой совѣсти? А что до его поступковъ, то у кого нѣтъ дурныхъ поступковъ на душѣ? Только всѣ ихъ прячутъ, а этотъ человѣкъ пожелалъ скорѣе погубить себя, чѣмъ оставаться недостойнымъ въ собственныхъ глазахъ своихъ». Вотъ что выражалъ, повидимому, каждый жестъ ея. Не знаю, но я точно бы такъ же поступилъ на ея мѣстѣ. Не знаю тоже, тѣ же ли мысли были у нея на душѣ, то есть про себя; подозрѣваю, что нѣтъ. Другой, ясной половиной своего разсудка она непремѣнно должна была прозрѣвать всю ничтожность своего «героя», ибо кто жъ не согласится теперь, что этотъ несчастный и даже великодушный человѣкъ въ своемъ родѣ былъ въ то же время въ высшей степени ничтожнымъ человѣкомъ? Даже самая эта заносчивость и какъ бы накидчивость ея на всѣхъ насъ, эта безпрерывная подозрительность ея, что мы думаемъ объ немъ иначе, — давала отчасти угадывать, что въ тайникахъ ея сердца могло сложиться и другое сужденіе о несчастномъ ея другѣ. Но спѣшу прибавить, однакоже, отъ себя, что, на мой взглядъ, она была хоть на половину да права; ей даже было простительнѣе всѣхъ насъ колебаться въ окончательномъ выводѣ. Я самъ признаюсь отъ всей души моей, что и до сихъ поръ, когда

уже все прошло, совершенно не знаю, какъ и во что окончательно оцѣнить этого несчастнаго, задавшаго намъ всѣмъ такую задачу.

Тѣмъ не менѣе, въ домѣ отъ нея начался было чуть не маленькій адъ. Лиза, столь сильно любившая, должна была очень страдать. По характеру своему она предпочла страдать молча. Характеръ ея былъ похожъ на мой, т. е. самовластный и гордый, и я всегда думалъ, и тогда, и теперь, что она полюбила князя изъ самовластія именно за то, что въ немъ не было характера, и что онъ вполнѣ, съ перваго слова и часа, подчинился ей. Это какъ-то само собою въ сердцѣ дѣлается, безъ всякаго предварительнаго расчета; но такая любовь, сильная къ слабому, бываетъ иногда несравненно сильнѣе и мучительнѣе, чѣмъ любовь равныхъ характеровъ, потому что невольно берешь на себя отвѣтственность за своего слабаго друга. Я, по крайней мѣрѣ, такъ думаю. Всѣ наши, съ самаго начала, окружили ее самыми нѣжными заботами, особенно мама; но она не смягчилась, не откликнулась на участіе и какъ бы отвергла всякую помощь. Съ мамой еще говорила вначалѣ, но съ каждымъ днемъ становилась скупѣе на слова, отрывистѣе и даже жестче. Съ Версиловымъ сначала совѣтовалась, но вскорѣ избрала въ совѣтники Васина, какъ съ удивленіемъ узналъ я послѣ . . . Она ходила къ Васину каждый день, ходила тоже по судамъ, по начальству князя, ходила къ адвокатамъ, къ прокурору; подъ конецъ ее почти совсѣмъ не бывало по цѣлымъ днямъ дома. Разумѣется, каждый день, раза по два, посѣщала и князя, который былъ заключенъ въ тюрьмѣ, въ дворянскомъ отдѣленіи, но свиданія эти, какъ я вполнѣ убѣдился впослѣдствіи,

бывали очень для Лизы тягостны. Разумѣется, кто жъ третій можетъ вполнѣ узнать дѣла двухъ любящихся? Но мнѣ извѣстно, что князь глубоко оскорблялъ ее поминутно и чѣмъ, напримѣръ? Странное дѣло: безпрерывною ревностью. Впрочемъ, объ этомъ впослѣдствіи; но прибавлю къ этому одну мысль: трудно рѣшить, кто изъ нихъ кого мучилъ болѣе? Гордившаяся между нами своимъ героемъ, Лиза относилась, можетъ быть, совершенно иначе къ нему глазъ-на-глазъ, какъ я подозрѣваю твердо, по нѣкоторымъ даннымъ, о которыхъ, впрочемъ, тоже впослѣдствіи.

Итакъ, что до чувствъ и отношеній моихъ къ Лизѣ, то все, что было наружу, была лишь напускная, ревнивая ложь съ обѣихъ сторонъ, но никогда мы оба не любили другъ друга сильнѣе, какъ въ то время. Прибавлю еще, что къ Макару Ивановичу, съ самаго появленія его у насъ, Лиза, послѣ перваго удивленія и любопытства, стала почему-то относиться почти пренебрежительно, даже высокомѣрно. Она какъ бы нарочно не обращала на него ни малѣйшаго вниманія.

Давъ себѣ слово «молчать», какъ объяснилъ я въ предыдущей главѣ, я, конечно, въ теоріи, то есть въ мечтахъ моихъ, думалъ сдержать мое слово. О, съ Версиловымъ я, напримѣръ, скорѣе бы заговорилъ о зоологіи или о римскихъ императорахъ, чѣмъ, напримѣръ, объ *ней* или объ той, напримѣръ, важнѣйшей строчкѣ въ письмѣ его къ ней, гдѣ онъ увѣдомлялъ ее, что «документъ не сожженъ, а живъ и явится», — строчкѣ, о которой я немедленно началъ про себя опять думать, только что успѣлъ опомниться и придти въ разсудокъ послѣ горячки. Но увы! Съ первыхъ шаговъ на прак-

тикѣ, и почти еще до шаговъ, я догадался, до какой степени трудно и невозможно удерживать себя въ подобныхъ предрѣшеніяхъ: на другой же день послѣ перваго знакомства моего съ Макаромъ Ивановичемъ, я былъ страшно взволнованъ однимъ неожиданнымъ обстоятельствомъ.

II.

Взволнованъ я былъ неожиданнымъ посѣщеніемъ Дарьи Онисимовны, матери покойной Оли. Отъ мамы я уже слышалъ, что она раза два заходила во время моей болѣзни и что очень интересовалась моимъ здоровьемъ. Для меня ли собственно заходила эта «добрая женщина», какъ выражалась всегда о ней мама, или просто посѣщала маму, по заведенному прежде порядку, — я не спросилъ. Мама разсказывала мнѣ всегда обо всемъ домашнемъ, обыкновенно когда приходила съ супомъ кормить меня (когда я еще не могъ самъ ѣсть), — чтобы развлечь меня: я же при этомъ упорно старался показать каждый разъ, что мало интересуюсь всѣми этими свѣдѣніями, а потому и про Дарью Онисимовну не разспросилъ подробнѣе, даже промолчалъ совсѣмъ.

Это было часовъ около одиннадцати; я только что хотѣлъ было встать съ кровати и перейти въ кресло къ столу, какъ она вошла. Я нарочно остался въ постели. Мама чѣмъ-то очень была занята наверху и не сошла при ея приходѣ, такъ что мы вдругъ очутились съ нею наединѣ. Она усѣлась противъ меня, у стѣнки на стулѣ, улыбаясь и не говоря ни слова. Я предчувствовалъ молчанку; да и вообще приходъ ея произвелъ на меня самое

раздражительное впечатлѣніе. Я даже не кивнулъ ей головой и прямо смотрѣлъ ей въ глаза; но она тоже прямо смотрѣла на меня.

— Вамъ теперь на квартирѣ, послѣ князя, одной-то скучно? — спросилъ я вдругъ, потерявъ терпѣніе.

— Нѣтъ-съ, я теперь не на той квартирѣ. Я теперь черезъ Анну Андреевну за ребеночкомъ ихнимъ надзираю.

— За чьимъ ребеночкомъ?

— За Андреемъ Петровичевымъ, — произнесла она конфиденціальнымъ шепотомъ, оглянувшись на дверь.

— Да вѣдь тамъ Татьяна Павловна . . .

— И Татьяна Павловна, и Анна Андреевна, онѣ обѣ-съ, и Лизавета Макаровна тоже, и маменька ваша . . . всѣ-съ. Всѣ принимаютъ участіе. Татьяна Павловна и Анна Андреевна въ большой теперь дружбѣ къ другъ-дружкѣ-съ.

Новость. Она очень оживилась говоря. Я съ ненавистью глядѣлъ на нее.

— Вы очень оживились послѣ послѣдняго разу, какъ ко мнѣ приходили.

— Ахъ, да-съ.

— Потолстѣли, кажется?

Она поглядѣла странно:

— Я ихъ очень полюбила-съ, очень-съ.

— Кого это?

— Да Анну Андреевну. Очень-съ. Такая благородная дѣвица и при такомъ разсудкѣ . . .

— Вотъ какъ. Что жъ она, какъ теперь?

— Онѣ очень спокойны-съ, очень.

— Она и всегда была спокойна.

— Всегда-съ.

— Если вы съ сплетнями, — вскричалъ я вдругъ, не вытерпѣвъ, — то знайте, что я ни во что̀ не мѣшаюсь, я рѣшился бросить . . . все, всѣхъ, мнѣ все равно — я уйду! . .

Я замолчалъ, потому что опомнился. Мнѣ унизительно стало какъ бы объяснить ей мои новыя цѣли. Она же выслушала меня безъ удивленія и безъ волненія, но послѣдовалъ опять молчокъ. Вдругъ она встала, подошла къ дверямъ и выглянула въ сосѣднюю комнату. Убѣдившись, что тамъ нѣтъ никого и что мы одни, она преспокойно воротилась и сѣла на прежнее мѣсто.

— Это вы хорошо! — засмѣялся я вдругъ.

— Вы вашу-то квартиру, у чиновниковъ, за собой оставите-съ? — спросила она вдругъ, немного ко мнѣ нагнувшись и понизивъ голосъ, точно это былъ самый главный вопросъ, за которымъ она и пришла.

— Квартиру? Не знаю. Можетъ, и съѣду . . . Почемъ я знаю?

— А хозяева такъ очень ждутъ васъ; чиновникъ тотъ въ большомъ нетерпѣніи и супруга его. Андрей Петровичъ удостовѣрилъ ихъ, что вы навѣрно воротитесь.

— Да вамъ зачѣмъ?

— Анна Андреевна тоже желала узнать; очень были довольны узнамши, что вы остаетесь.

— А она почему такъ навѣрно знаетъ, что я на той квартирѣ непремѣнно останусь?

Я хотѣлъ было прибавить: «И зачѣмъ это ей?» — но удержался разспрашивать изъ гордости!

— Да и г. Ламбертъ то же самое имъ подтвердили.

— Что-о-о?

— Г. Ламбертъ-съ. Они Андрею Петровичу тоже изо всѣхъ силъ подтверждали, что вы останетесь, и Анну Андреевну въ томъ удостовѣрили.

Меня какъ бы всего сотрясло. Что за чудеса! Такъ Ламбертъ уже знаетъ Версилова, Ламбертъ проникъ до Версилова, — Ламбертъ и Анна Адреевна, онъ проникъ и до нея! Жаръ охватилъ меня, но я промолчалъ. Страшный приливъ гордости залилъ всю мою душу, гордости или не знаю чего. Но я какъ бы сказалъ себѣ вдругъ въ ту минуту: «Если спрошу хоть одно слово въ объясненіе, то опять ввяжусь въ этотъ міръ и никогда не порѣшу съ нимъ». Ненависть загорѣлась въ моемъ сердцѣ. Я изо всѣхъ силъ рѣшился молчать и лежалъ неподвижно; она тоже примолкла на цѣлую минуту.

— Что князь Николай Ивановичъ? — спросилъ я вдругъ, какъ бы потерявъ разсудокъ. Дѣло въ томъ, что я спросилъ рѣшительно, чтобы перебить тему, и вновь, нечаянно, сдѣлалъ самый капитальный вопросъ, самъ, какъ сумасшедшій, возвращаясь опять въ тотъ міръ, изъ котораго съ такою судорогой только что рѣшился бѣжать.

— Они въ Царскомъ Селѣ-съ. Захворали немного, а въ городѣ эти теперешнія горячки пошли; всѣ и посовѣтовали имъ переѣхать въ Царское, въ собственный ихній тамошній домъ, для хорошаго воздуху-съ.

Я не отвѣтилъ.

— Анна Андреевна и генеральша ихъ каждые три дня навѣщаютъ, вмѣстѣ и ѣздятъ-съ.

Анна Андреевна и генеральша (то есть *она*) — пріятельницы! Вмѣстѣ ѣздятъ! Я молчалъ.

— Такъ дружны они обѣ стали-съ, и Анна

Андреевна о Катеринѣ Николаевнѣ до того хорошо отзываются...

Я все молчалъ.

— А Катерина Николаевна опять въ свѣтъ «ударилась», праздникъ за праздникомъ, совсѣмъ блистаетъ; говорятъ, всѣ даже придворные влюблены въ нее... а съ г. Бьорингомъ все совсѣмъ оставили, и не бывать свадьбѣ; всѣ про то утверждаютъ... съ того самаго будто бы разу.

То есть съ письма Версилова. Я весь задрожалъ, но не проговорилъ ни слова.

— Анна Андреевна ужъ такъ сожалѣютъ про князя Сергѣя Петровича, и Катерина Николаевна тоже-съ, а всѣ про него говорятъ, что его оправдаютъ, а того, Стебелькова, осудятъ...

Я ненавистно поглядѣлъ на нее. Она встала и вдругъ нагнулась ко мнѣ:

— Анна Андреевна особенно приказала узнать про ваше здоровье,—проговорила она совсѣмъ шепотомъ: — и очень приказали просить побывать къ ней, только что вы выходить начнете. Прощайте-съ. Выздоравливайте-съ, а я такъ и скажу...

Она ушла. Я присѣлъ на кровати, холодный потъ выступилъ у меня на лбу, но я чувствовалъ не испугъ: непостижимое для меня и безобразное извѣстіе о Ламбертѣ и его происках вовсе, напримѣръ, не наполнило меня ужасомъ, судя по страху, можетъ быть, безотчетному, съ которымъ я вспоминалъ и въ болѣзни, и въ первые дни выздоровленія, о моей съ нимъ встрѣчѣ въ тогдашнюю ночь. Напротивъ, въ то смутное первое мгновеніе на кровати, сейчасъ по уходѣ Дарьи Онисимовны, я даже и не останавливался на Ламбертѣ, но... меня захватила пуще всего вѣсть о *ней*, о разрывѣ ея съ

Бьорингомъ, и о счастьѣ ея въ свѣтѣ, о праздникахъ, объ успѣхѣ, о «блескѣ». «Блестятъ-съ», слышалось мнѣ словцо Дарьи Онисимовны. И я вдругъ почувствовалъ, что не могъ съ моими силами отбиться отъ этого круговорота; вотъ и я сумѣлъ скрѣпиться, молчать и не разспрашивать Дарью Онисимовну послѣ ея чудныхъ разсказовъ! Непомѣрная жажда этой жизни, *ихъ* жизнь захватила весь мой духъ и... и еще какая-то другая сладостная жажда, которую я ощущалъ до счастья и до мучительной боли. Мысли же мои какъ-то вертѣлись, но я давалъ имъ вертѣться. «Что тутъ разсуждать!» чувствовалось мнѣ. «Однако, даже мама смолчала мнѣ, что Ламбертъ приходилъ», думалъ я безсвязными отрывками, «это Версиловъ велѣлъ молчать... Умру, а не спрошу Версилова о Ламбертѣ!» — «Версиловъ», — мелькало у меня опять, «Версиловъ и Ламбертъ, о, сколько у нихъ новаго! Молодецъ Версиловъ! Напугалъ нѣмца — Бьоринга тѣмъ письмомъ; онъ оклеветалъ ее, la calomnie... il en reste toujours quelque chose, и придворный нѣмецъ испугался скандала — ха-ха... вотъ ей и урокъ!» «Ламбертъ... ужъ не проникъ ли и къ ней Ламбертъ? Еще бы! Отчего жъ ей и съ нимъ не «связаться»?»

Тутъ вдругъ я бросилъ думать всю эту безсмыслицу и въ отчаяніи упалъ головой на подушку. «Да не будетъ же!» — воскликнулъ я съ внезапною рѣшимостью, вскочилъ съ постели, надѣлъ туфли, халатъ и прямо отправился въ комнату Макара Ивановича, точно тамъ былъ отводъ всѣмъ навожденіямъ, спасеніе, якорь, на которомъ я удержусь.

Въ самомъ дѣлѣ, могло быть, что я эту мысль

тогда почувствовалъ всѣми силами моей души; для чего же иначе было мнѣ тогда такъ неудержимо и вдругъ вскочить съ мѣста и въ такомъ нравственномъ состояніи кинуться къ Макару Ивановичу?

III.

Но у Макара Ивановича я, совсѣмъ не ожидая того, засталъ людей, — маму и доктора. Такъ какъ я почему-то непремѣнно представилъ себѣ идя, что застану старика одного, какъ и вчера, то и остановился на порогѣ въ тупомъ недоумѣніи. Но не успѣлъ я нахмуриться, какъ тотчасъ же подошелъ и Версиловъ, а за нимъ вдругъ и Лиза . . . Всѣ, значитъ, собирались зачѣмъ-то у Макара Ивановича и «какъ разъ когда не надо!»

— О здоровьѣ вашемъ пришелъ узнать, — проговорилъ я, прямо подходя къ Макару Ивановичу.

— Спасибо, милый, ждалъ тебя: зналъ, что придешь! Ночкой-то о тебѣ думалъ.

Онъ ласково смотрѣлъ мнѣ въ глаза, и мнѣ видимо было, что онъ меня чуть не лучше всѣхъ любитъ, но я мигомъ замѣтилъ, что лицо его хоть и было веселое, но что болѣзнь сдѣлала таки въ ночь успѣхи. Докторъ передъ тѣмъ только что весьма серьезно осмотрѣлъ его. Я узналъ потомъ, что этотъ докторъ (вотъ тотъ самый молодой человѣкъ, съ которымъ я поссорился и который съ самаго прибытія Макара Ивановича лѣчилъ его) весьма внимательно относился къ паціенту и, — не умѣю я только говорить ихъ медицинскимъ языкомъ, — предполагалъ въ немъ цѣлое осложненіе разныхъ болѣзней. Макаръ Иавновичъ, какъ я съ перваго взгляда замѣтилъ, состоялъ уже съ нимъ въ тѣснѣй-

шихъ пріятельскихъ отношеніяхъ; мнѣ это въ тотъ же мигъ не понравилось; а впрочемъ, и я, конечно, былъ очень скверенъ въ ту минуту.

— Въ самомъ дѣлѣ, Александръ Семеновичъ, какъ сегодня нашъ дорогой больной? — освѣдомился Версиловъ. Если бъ я не былъ такъ потрясенъ, то мнѣ первымъ дѣломъ было бы ужасно любопытно прослѣдить и за отношеніемъ Версилова къ этому старику, о чемъ я уже вчера думалъ. Меня всего болѣе поразило теперь чрезвычайно мягкое и пріятное выраженіе въ лицѣ Версилова; въ немъ было что-то совершенно искреннее. Я какъ-то ужъ замѣтилъ, кажется, что у Версилова лицо становилось удивительно прекраснымъ, когда онъ чуть-чуть только становился простодушнымъ.

— Да вотъ мы все ссоримся, — отвѣтилъ докторъ.

— Съ Макаромъ-то Ивановичемъ? Не повѣрю: съ нимъ нельзя ссориться.

— Да не слушается: по ночамъ не спитъ . . .

— Да перестань ужъ ты, Александръ Семеновичъ, полно браниться, — разсмѣялся Макаръ Ивановичъ. — Ну, что, батюшка, Андрей Петровичъ, какъ съ нашей барышней поступили? Вотъ она цѣлое утро клокчетъ, безпокоится, — прибавилъ онъ, показывая на маму.

— Ахъ, Андрей Петровичъ, — воскликнула, дѣйствительно, съ чрезвычайнымъ безпокойствомъ мама, — разскажи ужъ поскорѣй, не томи, чѣмъ ее бѣдную порѣшили?

— Осудили нашу барышню!

— Ахъ! — вскрикнула мама.

— Да не въ Сибирь, успокойся, — къ пятнадцати рублямъ штрафу всего; комедія вышла!

Онъ сѣлъ, сѣлъ и докторъ. Это они говорили про Татьяну Павловну, и я еще совсѣмъ не зналъ ничего объ этой исторіи. Я сидѣлъ налѣво отъ Макара Иавновича, а Лиза усѣлась напротивъ меня направо; у ней видимо было какое-то свое, особое, сегодняшнее горе, съ которымъ она и пришла къ мамѣ; выраженіе лица ея было безпокойное и раздраженное. Въ ту минуту мы какъ-то переглянулись, и я вдругъ подумалъ про себя: «Оба мы опозоренные, и мнѣ надо сдѣлать къ ней первый шагъ». Сердце мое вдругъ къ ней смягчилось. Версиловъ, между тѣмъ, началъ разсказывать объ утреннемъ приключеніи.

Дѣло въ томъ, что у Татьяны Павловны былъ въ то утро въ мировомъ судѣ процессъ съ ея кухаркою. Дѣло въ высшей степени пустое; я упоминалъ уже о томъ, что злобная чухонка иногда, озлясь, молчала даже по недѣлямъ, не отвѣчая ни слова своей барынѣ на ея вопросы; упоминалъ тоже и о слабости къ ней Татьяны Павловны, все отъ нея переносившей и ни за что не хотѣвшей прогнать ее разъ навсегда. Всѣ эти психологическіе капризы старыхъ дѣвъ и барынь на мои глаза въ высшей степени достойны презрѣнія, а отнюдь не вниманія, и если я рѣшаюсь упоминать здѣсь объ этой исторіи, то единственно потому, что этой кухаркѣ потомъ, въ дальнѣйшемъ теченіи моего разсказа, суждено сыграть нѣкоторую немаловажную и роковую роль. И вотъ, выйдя, наконецъ, изъ терпѣнія передъ упрямой чухонкой, не отвѣчавшей ей ничего уже нѣсколько дней, Татьяна Павловна вдругъ ее, наконецъ, ударила, чего прежде никогда не случалось. Чухонка и тутъ не произнесла даже ни малѣйшаго звука, но въ тотъ же день вошла

въ сообщеніе съ жившимъ по той же черной лѣстницѣ, гдѣ-то въ углу внизу, отставнымъ мичманомъ Осетровымъ, занимавшимся хожденіемъ по разнаго рода дѣламъ и, разумѣется, возбужденіемъ подобнаго рода дѣлъ въ судахъ, изъ борьбы за существованіе. Кончилось тѣмъ, что Татьяну Павловну позвали къ мировому судьѣ, а Версилову пришлось почему-то показывать при разбирательствѣ дѣла въ качествѣ свидѣтеля.

Разсказалъ все это Версиловъ необыкновенно весело и шутливо, такъ что даже мама разсмѣялась; онъ представилъ въ лицахъ и Татьяну Павловну, и мичмана, и кухарку. Кухарка съ самаго начала объявила суду, что хочетъ штрафъ деньгами, «а то барыню какъ посадятъ, кому жъ я готовить-то буду?» На вопросы судьи, Татьяна Павловна отвѣчала съ великимъ высокомѣріемъ, не удостаивая даже оправдываться; напротивъ, заключила словами: «Прибила и еще прибью», за что немедленно была оштрафована за дерзкіе отвѣты суду тремя рублями. Мичманъ, долговязый и худощавый молодой человѣкъ, началъ было длинную рѣчь въ защиту своей кліентки, но позорно сбился и насмѣшилъ всю залу. Разбирательство кончилось скоро, и Татьяну Павловну присудили заплатить обиженной Марьѣ пятнадцать рублей. Та, не откладывая, тутъ же вынула портмонэ и стала отдавать деньги, при чемъ тотчасъ подвернулся мичманъ и протянулъ было руку получить, но Татьяна Павловна почти ударомъ отбила его руку въ сторону и обратилась къ Марьѣ. «Полноте, барыня, стоитъ безпокоиться, припишите-съ къ счету, а я ужъ съ этимъ сама расплачусь». — «Видишь, Марья, какого долговязаго взяла себѣ!» по-

казала Татьяна Павловна на мичмана, страшно обрадовавшись, что Марья, наконецъ, заговорила. «А ужъ и впрямь долговязый, барыня, — лукаво отвѣтила Марья, — котлетки-то съ горошкомъ сегодня приказывали, давеча не дослышала, сюда торопилась?» — «Ахъ нѣтъ, съ капустой, Марья, да пожалуйста, не сожги, какъ вчера». — «Да ужъ постараюсь сегодня особо, сударыня; пожалуйте ручку-съ», — и поцѣловала въ знакъ примиренія барынѣ ручку. Однимъ словомъ, развеселила всю залу.

— Экая вѣдь какая! — покачала головой мама, очень довольная и свѣдѣніемъ, и разсказомъ Андрея Петровича, но украдкой съ безпокойствомъ поглядывая на Лизу.

— Характерная барышня сызмлада была, — усмѣхнулся Макаръ Ивановичъ.

— Желчь и праздность, — отозвался докторъ.

— Это я-то характерная, это я-то желчь и праздность? — вошла вдругъ къ намъ Татьяна Павловна, повидимому, очень довольная собой, — ужъ тебѣ-то, Александръ Семеновичъ, не говорить бы вздору; еще десяти лѣтъ отроду былъ, меня зналъ, какова я праздная, а отъ желчи самъ цѣлый годъ лѣчишь, вылѣчить не можешь, такъ это тебѣ же въ стыдъ. Ну, довольно вамъ надо мной издѣваться; спасибо, Андрей Петровичъ, что потрудился въ судъ придти. Ну, что ты, Макарушка, тебя только зашла провѣдать, не этого (она указала на меня, но тутъ же дружелюбно ударила меня по плечу ручкой; я никогда еще не видывалъ ее въ такомъ веселѣйшемъ расположеніи духа).

— Ну, что? — заключила она, вдругъ обратившись къ доктору и озабоченно нахмурившись.

— Да вотъ не хочетъ лечь въ постель, а такъ, сидя, только себя изнуряетъ.

— Да я только такъ посижу маненько, съ людьми-то, — пробормоталъ Макаръ Ивановичъ съ просящимъ, какъ у ребенка, лицомъ.

— Да ужъ любимъ мы это, любимъ; любимъ въ кружкѣ поболтать, когда около насъ соберутся; знаю Макарушку, — сказала Татьяна Павловна.

— Да и прыткій, ухъ какой, — улыбнулся опять старикъ, обращаясь къ доктору; — и въ рѣчь не даешься; ты погоди, дай сказать: лягу, голубчикъ, слышалъ, а по-нашему это вотъ что: «Коли ляжешь такъ, пожалуй, ужъ и не встанешь», вотъ что, другъ, у меня за хребтомъ стоитъ.

— Ну да, такъ я и зналъ, народные предразсудки: «лягу, дескать, да, чего добраго, ужъ и не встану», — вотъ чего очень часто боятся въ народѣ и предпочитаютъ лучше проходить болѣзнь на ногахъ, чѣмъ лечь въ больницу. А васъ, Макаръ Ивановичъ, просто тоска беретъ, тоска по волюшкѣ да по большой дорожкѣ — вотъ и вся болѣзнь: отвыкли подолгу на мѣстѣ жить. Вѣдь вы — такъ называемый странникъ? Ну, а бродяжество въ нашемъ народѣ почти обращается въ страсть. Это я не разъ замѣтилъ за народомъ. Нашъ народъ — бродяга по преимуществу.

— Такъ Макаръ — бродяга по твоему? — подхватила Татьяна Павловна.

— О, я не въ томъ смыслѣ; я употребилъ слово въ его общемъ смыслѣ. Ну, тамъ религіозный бродяга, ну, набожный, а все-таки бродяга. Въ хорошемъ, почтенномъ смыслѣ, но бродяга... Я съ медицинской точки...

— Увѣряю васъ, — обратился я вдругъ къ док-

тору, — что бродяги — скорѣе мы съ вами, и всѣ, сколько здѣсь ни есть, а не этотъ старикъ, у котораго намъ съ вами еще поучиться, потому что у него есть твердое въ жизни, а у насъ, сколько насъ ни есть, ничего твердаго въ жизни... Впрочемъ, гдѣ вамъ это понять.

Я, видно, рѣзко проговорилъ, но я съ тѣмъ и пришелъ. Я собственно не знаю, для чего продолжалъ сидѣть и былъ какъ въ безуміи.

— Ты чего? — подозрительно глянула на меня Татьяна Павловна, — что, ты какъ его нашелъ, Макаръ Иавновичъ? — указала она на меня пальцемъ.

— Благослови его Богъ, востеръ, — проговорилъ старикъ съ серьезнымъ видомъ, — но при словѣ «востеръ» почти всѣ разсмѣялись. Я кое-какъ скрѣпился; всѣхъ же пуще смѣялся докторъ. Довольно худо было то, что я не зналъ тогда объ ихъ предварительномъ уговорѣ. Версиловъ, докторъ и Татьяна Павловна еще дня за три уговорились всѣми силами отвлекать маму отъ дурныхъ предчувствій и опасеній за Макара Ивановича, который былъ гораздо больнѣе и безнадежнѣе, чѣмъ я тогда подозрѣвалъ. Вотъ почему всѣ шутили и старались смѣяться. Только докторъ былъ глупъ и, естественно, не умѣлъ шутить: отъ того все потомъ и вышло. Если бъ я тоже зналъ объ ихъ уговорѣ, то не надѣлалъ бы того, что вышло. Лиза тоже ничего не знала.

Я сидѣлъ и слушалъ краемъ уха; они говорили и смѣялись, а у меня въ головѣ была Дарья Онисимовна съ ея извѣстіями, и я не могъ отъ нея отмахнуться; мнѣ все представлялось, какъ она сидитъ и смотритъ, осторожно встаетъ и загляды-

ваетъ въ другую комнату. Наконецъ, они всѣ вдругъ разсмѣялись: Татьяна Павловна, совсѣмъ не знаю по какому поводу, вдругъ назвала доктора безбожникомъ: «Ну, ужъ всѣ вы, докторишки — безбожники!..»

— Макаръ Ивановичъ! — вскричалъ докторъ, преглупо притворяясь, что обиженъ и ищетъ суда, — безбожникъ я или нѣтъ?

— Ты-то безбожникъ? Нѣтъ, ты — не безбожникъ, — степенно отвѣчалъ старикъ, пристально посмотрѣвъ на него, — нѣтъ, слава Богу! — покачалъ онъ головой, — ты — человѣкъ веселый.

— А кто веселъ, тотъ ужъ не безбожникъ? — иронически замѣтилъ докторъ.

— Это въ своемъ родѣ — мысль, — замѣтилъ Версиловъ, но совсѣмъ не смѣясь.

— Это сильная мысль! — воскликнулъ я невольно, поразившись идеей. Докторъ же оглядывался вопросительно.

— Ученыхъ людей этихъ, профессоровъ этихъ самыхъ (вѣроятно, передъ тѣмъ говорили что-нибудь о профессорахъ), — началъ Макаръ Ивановичъ, слегка потупившись, — я сначала, ухъ, боялся; не смѣлъ я предъ ними, ибо паче всего опасался безбожника. Душа во мнѣ, мыслю, едина; ежели ее погублю, то сыскать другой не могу; ну, а потомъ ободрился: «Что же, думаю, не боги же они, а такіе, какъ и мы, подобострастные намъ человѣки». Да и любопытство было большое: «Узнаю, что, молъ, есть такое безбожіе? Только, другъ, потомъ и самое любопытство это прошло.

Онъ примолкъ, но намѣреваясь продолжать все съ тою же тихою и степенною улыбкою. Есть

простодушіе, которое довѣряется всѣмъ и каждому, не подозрѣвая насмѣшки. Такіе люди всегда ограничены, ибо готовы выложить изъ сердца все самое драгоцѣнное предъ первымъ встрѣчнымъ. Но въ Макарѣ Ивановичѣ, мнѣ казалось, было что-то другое и что-то другое движетъ его говорить, а не одна только невинность простодушія: какъ бы выглядывалъ пропагандистъ. Я съ удовольствіемъ поймалъ нѣкоторую, какъ бы даже лукавую усмѣшку, обращенную имъ къ доктору, а можетъ быть, и къ Версилову. Разговоръ былъ, очевидно, продолженіемъ ихъ прежнихъ споровъ за недѣлю, но въ немъ, къ несчастью, проскочило опять то самое роковое словцо, которое такъ наэлектризовало меня вчера и свело меня на одну выходку, о которой я до сихъ поръ сожалѣю.

— Безбожника-человѣка, — сосредоточенно продолжалъ старикъ, — я, можетъ, и теперь побоюсь; только вотъ что, другъ, Александръ Семеновичъ, безбожника-то я совсѣмъ не стрѣчалъ ни разу, а стрѣчалъ замѣсто его суетливаго — вотъ какъ лучше объявить его надо. Всякіе это люди; не сообразишь какіе люди; и большіе, и малые, и глупые и ученые, и даже изъ самаго простого званія бываютъ, и все суета. Ибо читаютъ и толкуютъ весь свой вѣкъ, насытившись сладости книжной, а сами все въ недоумѣніи пребываютъ и ничего разрѣшить не могутъ. Иной весь раскидался, самого себя пересталъ замѣчать. Иной паче камене ожесточенъ, а въ сердцѣ его бродятъ мечты; а другой — безчувственъ и легкомысленъ и лишь бы ему насмѣшку свою отсмѣять. Иной изъ книгъ выбралъ одни лишь цвѣточки, да и то по своему мнѣнію; самъ же суетливъ и въ немъ предрѣшенія

нѣтъ. Вотъ что скажу опять: скуки много. Малый человѣкъ и нуждается, хлѣбца нѣтъ, ребятокъ сохранить нечѣмъ, на вострой соломкѣ спитъ, а все въ немъ сердце веселое, легкое; и грѣшитъ и грубитъ, а все сердце легкое. А большой человѣкъ опивается, объѣдается, на золотой кучѣ сидитъ, а все въ сердцѣ у него одна тоска. Иной всѣ науки прошелъ — и все тоска. И мыслю такъ, что чѣмъ больше ума прибываетъ, тѣмъ больше и скуки. Да и то взять: учатъ съ тѣхъ поръ, какъ міръ стоитъ, а чему же они научили доброму, чтобы міръ былъ самое прекрасное и веселое и всякой радости преисполненное жилище? И еще скажу: благообразія не имѣютъ, даже не хотятъ сего; всѣ погибли, только каждый хвалитъ свою погибель, а обратиться къ единой Истинѣ не помыслитъ; а жить безъ Бога — одна лишь мука. И выходитъ, что чѣмъ освѣщаемся, то самое и проклинаемъ, а и сами того не вѣдаемъ. Да и что толку: невозможно и быть человѣку, чтобы не преклониться; не снесетъ себя такой человѣкъ, да и никакой человѣкъ. И Бога отвергнетъ, такъ идолу поклонится — деревянному, али златому, аль мысленному. Идолопоклонники это все, а не безбожники, вотъ какъ объявить ихъ слѣдуетъ. — Ну, а и безбожнику какъ не быть? Есть такіе, что и впрямь безбожники, только тѣ много пострашнѣй этихъ будутъ, потому что съ именемъ Божіимъ на устахъ приходятъ. Слышалъ неоднократно, но не встрѣчалъ я ихъ вовсе. Есть, другъ, такіе, и такъ думаю, что и должны быть они.

— Есть, Макаръ Ивановичъ, — вдругъ подтвердилъ Версиловъ, — есть такіе и «должны быть они».

— Непремѣнно есть и «должны быть они!» — вырвалось у меня неудержимое и съ жаромъ, не знаю почему; но меня увлекъ тонъ Версилова и плѣнила какъ бы какая-то идея въ словѣ: «должны быть они». Разговоръ этотъ былъ для меня совсѣмъ неожиданностью. Но въ эту минуту вдругъ случилось нѣчто тоже совсѣмъ неожиданное.

IV.

День былъ чрезвычайно ясный; штору у Макара Ивановича не поднимали обыкновенно весь день, по приказанію доктора; но на окнѣ была не штора, а занавѣска, такъ что самый верхъ окна былъ все-таки не закрытъ; это потому, что старикъ тяготился, не видя совсѣмъ при прежней шторѣ солнца. И вотъ какъ разъ мы досидѣли до того момента, когда солнечный лучъ вдругъ прямо ударилъ въ лицо Макара Ивановича. За разговоромъ онъ не обратилъ сначала вниманія, но машинально, во время рѣчи, нѣсколько разъ отклонялъ въ сторону голову, потому что яркій лучъ сильно безпокоилъ и раздражалъ его больные глаза. Мама, стоявшая подлѣ него, уже нѣсколько разъ взглядывала на окно съ безпокойствомъ; просто надо бы было чѣмъ-нибудь заслонить окно совсѣмъ, но, чтобъ не помѣшать разговору, она вздумала попробовать оттащить скамеечку, на которой сидѣлъ Макаръ Ивановичъ, вправо въ сторону: всего-то надо было подвинуть вершка на три, много на четверть. Она уже нѣсколько разъ наклонялась и схватывалась за скамейку, но оттащить не могла; скамейка, съ сидящимъ на ней Макаромъ Ивановичемъ, не трогалась. Чувствуя ея усилія, но въ жару разговора,

совсѣмъ безсознательно, Макаръ Ивановичъ нѣсколько разъ пробовалъ было приподняться, но ноги его не слушались. Мама, однако, все-таки продолжала напрягаться и дергать, и вотъ, наконецъ, все это ужасно озлило Лизу. Мнѣ запомнилось нѣсколько ея сверкающихъ, раздраженныхъ взглядовъ, но только я, въ первое мгновеніе, не зналъ чему приписать ихъ, да вдобавокъ былъ отвлеченъ разговоромъ. И вотъ вдругъ рѣзко послышался ея почти окрикъ на Макара Ивановича:

— Да приподымитесь хоть немножко: видите, какъ трудно мамѣ!

Старикъ быстро взглянулъ на нее, разомъ вникнулъ и мигомъ поспѣшилъ было приподняться, но ничего не вышло: приподнялся вершка на два и опять упалъ на скамейку.

— Не могу, голубчикъ, — отвѣтилъ онъ какъ бы жалобно Лизѣ, и какъ-то весь послушно смотря на нее.

— Разсказывать по цѣлой книгѣ можете, а пошевелиться не въ силахъ?

— Лиза! — крикнула было Татьяна Павловна. Макаръ Ивановичъ сдѣлалъ опять чрезвычайное усиліе.

— Возьмите костыль, подлѣ лежитъ, съ костылемъ приподымитесь! — еще разъ отрѣзала Лиза.

— А и впрямь, — сказалъ старикъ и тотчасъ же поспѣшно схватился за костыль.

— Просто надо приподнять его! — всталъ Версиловъ; двинулся и докторъ, вскочила и Татьяна Павловна, но они не успѣли и подойти, какъ Макаръ Ивановичъ, изо всѣхъ силъ опершись на костыль, вдругъ приподнялся и съ радостнымъ торжествомъ сталъ на мѣстѣ, озираясь кругомъ:

— А и поднялся! — проговорилъ онъ чуть не съ гордостью, радостно усмѣхаясь, — вотъ и спасибо, милая, научила уму, а я-то думалъ, что совсѣмъ ужъ не служатъ ноженки...

Но онъ простоялъ недолго, не успѣлъ и проговорить, какъ вдругъ костыль его, на который онъ упирался всею тяжестью тѣла, какъ-то скользнулъ по ковру, и такъ какъ «ноженки» почти совсѣмъ не держали его, то и грохнулся онъ со всей высоты на полъ. Это почти ужасно было видѣть, я помню. Всѣ ахнули и бросились его поднимать, но, слава Богу, онъ не разбился; онъ только грузно, со звукомъ стукнулся объ полъ обоими колѣнями, но успѣлъ таки уставить передъ собою правую руку и на ней удержаться. Его подняли и посадили на кровать. Онъ очень поблѣднѣлъ не отъ испуга, а отъ сотрясенія. (Докторъ находилъ въ немъ, сверхъ всего другого, и болѣзнь сердца.) Мама же была внѣ себя отъ испуга. И вдругъ Макаръ Ивановичъ, все еще блѣдный, съ трясущимся тѣломъ и какъ бы еще не опомнившись, повернулся къ Лизѣ и почти нѣжнымъ, тихимъ голосомъ проговорилъ ей:

— Нѣтъ, милая, знать и впрямь не стоятъ ноженки!

Не могу выразить моего тогдашняго впечатлѣнія. Дѣло въ томъ, что въ словахъ бѣднаго старика не прозвучало ни малѣйшей жалобы или укора; напротивъ, прямо видно было, что онъ рѣшительно не замѣтилъ, съ самаго начала, ничего злобнаго въ словахъ Лизы, а окрикъ ея на себя принялъ какъ за нѣчто должное, то есть, что такъ и слѣдовало его «распечь» за вину его. Все это ужасно подѣйствовало и на Лизу. Въ минуту па-

денія, она вскочила, какъ и всѣ, и стояла вся помертвѣвъ и, конечно, страдая, потому что была всему причиною, но, услышавъ такія слова, она вдругъ, почти въ мгновеніе, вся вспыхнула краской стыда и раскаянія.

— Довольно! — скомандовала вдругъ Татьяна Павловна, — все отъ разговоровъ! Пора по мѣстамъ; чему быть доброму, когда самъ докторъ болтовню завелъ!

— Именно, — подхватилъ Александръ Семеновичъ, суетившійся около больного. — Виноватъ, Татьяна Павловна, ему надо покой!

Но Татьяна Павловна не слушала: она съ полминуты молча и въ упоръ наблюдала Лизу.

— Поди сюда, Лиза, и поцѣлуй меня, старую дуру, если только хочешь, — проговорила она неожиданно.

И она поцѣловала ее, не знаю, за что, но именно такъ надо было сдѣлать; такъ что я чуть не бросился самъ цѣловать Татьяну Павловну. Именно не давить надо было Лизу укоромъ, а встрѣтить радостью и поздравленіемъ новое прекрасное чувство, которое несомнѣнно должно было въ ней зародиться. Но вмѣсто всѣхъ этихъ чувствъ, я вдругъ всталъ и началъ, твердо отчеканивая слова:

— Макаръ Ивановичъ, вы опять употребили слово: «благообразіе», а я какъ разъ вчера и всѣ дни этимъ словомъ мучился... да и всю жизнь мою мучился, только прежде не зналъ, о чемъ. Это совпаденіе словъ я считаю роковымъ, почти чудеснымъ... Объявляю это въ вашемъ присутствіи...

Но меня мигомъ остановили. Повторяю: я не зналъ объ ихъ уговорѣ насчетъ мамы и Макара Ивановича; меня же по прежнимъ дѣламъ ужъ, ко-

нечно, считали способнымъ на всякій скандалъ въ этомъ родѣ.

— Унять, унять его! — озвѣрѣла совсѣмъ Татьяна Павловна. Мама затрепетала. Макаръ Ивановичъ, видя всеобщій испугъ, тоже испугался.

— Аркадій, полно! — строго крикнулъ Версиловъ.

— Для меня, господа, — возвысилъ я еще пуще голосъ, — для меня видѣть васъ всѣхъ подлѣ этого младенца (я указалъ на Макара) — есть безобразіе. Тутъ одна лишь святая — это мама, но и она . . .

— Вы его испугаете! — настойчиво проговорилъ докторъ.

— Я знаю, что я — врагъ всему міру, — пролепеталъ было я (или что-то въ этомъ родѣ), но, оглянувшись еще разъ, я съ вызовомъ посмотрѣлъ на Версилова.

— Акардій! — крикнулъ онъ опять, — такая же точно сцена уже была однажды здѣсь между нами. Умоляю тебя, воздержись теперь!

Не могу выразить того, съ какимъ сильнымъ чувствомъ онъ выговорилъ это. Чрезвычайная грусть, искренняя, полнѣйшая, выразилась въ чертахъ его. Удивительнѣе всего было то, что онъ смотрѣлъ какъ виноватый: я былъ судья, а онъ — преступникъ. Все это доканало меня.

— Да! — вскричалъ я ему въ отвѣтъ, — такая же точно сцена уже была, когда я хоронилъ Версилова и вырвалъ его изъ сердца . . . Но затѣмъ послѣдовало воскресенье изъ мертвыхъ, а теперь . . . теперь уже безъ разсвѣта! Но . . . но вы увидите всѣ здѣсь, на что я способенъ: даже и не ожидаете того, что я могу доказать!

Сказавъ это, я бросился въ мою комнату. Версиловъ побѣжалъ за мной...

V.

Со мной случился рецидивъ болѣзни; произошелъ сильнѣйшій лихорадочный припадокъ, а къ ночи бредъ. Но не все былъ бредъ: были безчисленные сны, цѣлой вереницей и безъ мѣры, изъ которыхъ одинъ сонъ или отрывокъ сна я на всю жизнь запомнилъ. Сообщаю безъ всякихъ объясненій; это было пророчество и пропустить не могу.

Я вдругъ очутился съ какимъ-то великимъ и гордымъ намѣреніемъ въ сердцѣ, въ большой и высокой комнатѣ, но не у Татьяны Павловны: я очень хорошо помню комнату; замѣчаю это, забѣгая впередъ. Но хотя я и одинъ, но безпрерывно чувствую, съ безпокойствомъ и мукой, что я совсѣмъ не одинъ, что меня ждутъ и что ждутъ отъ меня чего-то. Гдѣ-то за дверями сидятъ люди и ждутъ того, что я сдѣлаю. Ощущеніе нестерпимое: «о, если бъ я былъ одинъ!» И вдругъ входитъ *она*. Она смотритъ робко, она ужасно боится, она засматриваетъ въ мои глаза. *Въ рукахъ моихъ документъ*. Она улыбается, чтобъ плѣнить меня, она ластится ко мнѣ; мнѣ жалко, но я начинаю чувствовать отвращеніе. Вдругъ она закрываетъ лицо руками. Я бросаю «документъ» на столъ въ невыразимомъ презрѣніи: «Не просите, на-те, мнѣ отъ васъ ничего не надо! Мщу за все мое поруганіе презрѣніемъ!» Я выхожу изъ комнаты, захлебываясь отъ непомѣрной гордости. Но въ дверяхъ, въ темнотѣ, схватываетъ меня Ламбертъ! «Духгакъ, духгакъ!» шепчетъ онъ изо всѣхъ силъ,

удерживая меня за руку, — «она на Васильевскомъ островѣ благородный пансіонъ для дѣвочекъ должна открывать (NB. то есть, чтобъ прокормиться, если отецъ, узнавъ отъ меня про документъ, лишитъ ее наслѣдства и прогонитъ изъ дому. Я вписываю слова Ламберта буквально, какъ приснилось).

— Аркадій Макаровичъ ищетъ «благообразія», — слышится голосокъ Анны Андреевны, гдѣ-то подлѣ, тутъ же на лѣстницѣ; но не похвала, а нестерпимая насмѣшка прозвучала въ ея словахъ. Я возвращаюсь въ комнату съ Ламбертомъ. Но, увидѣвъ Ламберта, *она* вдругъ начинаетъ хохотать. Первое впечатлѣніе мое — страшный испугъ, такой испугъ, что я останавливаюсь и не хочу подходить. Я смотрю на нее и не вѣрю; точно она вдругъ сняла маску съ лица; тѣ же черты, но какъ будто каждая черточка лица исказилась непомѣрною наглостью. «Выкупъ, барыня, выкупъ!» кричитъ Ламбертъ, и оба еще пуще хохочутъ, а сердце мое замираетъ: «О, неужели эта безстыжая женщина — та самая, отъ одного взгляда которой кипѣло добродѣтельное мое сердце?»

— Вотъ на что они способны, эти гордецы, въ ихнемъ высшемъ свѣтѣ, за деньги! — восклицаетъ Ламбертъ. Но безстыдница не смущается даже этимъ; она хохочетъ именно надъ тѣмъ, что я такъ испуганъ. О, она готова на выкупъ, это я вижу и... и что со мной? Я уже не чувствую ни жалости, ни омерзѣнія; я дрожу, какъ никогда... Меня охватываетъ новое чувство, невыразимое, котораго я еще вовсе не зналъ никогда, и сильнее, какъ весь міръ... О, я уже не въ силахъ уйти теперь ни за что! О, какъ мнѣ нравится, что это

такъ безстыдно! Я схватываю ее за руки, прикосновеніе рукъ ея мучительно сотрясаетъ меня, и я приближаю мои губы къ ея наглымъ, алымъ, дрожащимъ отъ смѣха и зовущимъ меня губамъ.

О, прочь это низкое воспоминаніе! Проклятый сонъ! Клянусь, что до этого мерзостнаго сна не было въ моемъ умѣ даже хоть чего-нибудь похожаго на эту позорную мысль. Даже невольной какой-нибудь въ этомъ родѣ мечты не было (хотя я и хранилъ «документъ» зашитый въ карманѣ и хватался иногда за карманъ съ странной усмѣшкой). Откудова же это все явилось совсѣмъ готовое? Это отъ того, что во мнѣ была душа паука! Это значитъ, что все уже давно зародилось и лежало въ развратномъ сердцѣ моемъ, въ *желаніи* моемъ лежало, но сердце еще стыдилось наяву и умъ не смѣлъ еще представить что-нибудь подобное сознательно. А во снѣ душа сама все представила и выложила, что было въ сердцѣ, въ совершенной точности и въ самой полной картинѣ и— въ пророческой формѣ. И неужели *это* я имъ хотѣлъ *доказать,* выбѣгая поутру отъ Макара Ивановича? Но довольно: до времени ничего объ этомъ! Этотъ сонъ, мнѣ приснившійся, есть одно изъ самыхъ странныхъ приключеній моей жизни.

Глава третья.

I.

Черезъ три дня я всталъ поутру съ постели и вдругъ почувствовалъ, ступивъ на ноги, что больше не слягу. Я всецѣло ощутилъ близость выздоровленія. Всѣ эти мелкія подробности, можетъ быть, и не стоило бы вписывать, но тогда наступило нѣсколько дней, въ которые хотя и не произошло ничего особеннаго, но которые всѣ остались въ моей памяти, какъ нѣчто отрадное и спокойное, а это — рѣдкость въ моихъ воспоминаніяхъ. Душевнаго состоянія моего не буду пока формулировать; если бъ читатель узналъ, въ чемъ оно состояло, то, конечно бы, не повѣрилъ. Лучше потомъ все объяснится изъ фактовъ. А пока лишь скажу одно: пусть читатель помнитъ *душу паука*. И это у того, который хотѣлъ уйти отъ нихъ и отъ всего свѣта во имя «благообразія»! Жажда благообразія была въ высшей мѣрѣ, и ужъ, конечно, такъ, но какимъ образомъ она могла сочетаться съ другими, ужъ Богъ знаетъ какими, жаждами — это для меня тайна. Да и всегда была тайною, и я тысячу разъ дивился на эту способность человѣка (и, кажется, русскаго человѣка по преимуществу) лелѣять въ душѣ своей высочайшій идеалъ рядомъ съ

величайшею подлостью, и все совершенно искренно. Широкость ли это особенная въ русскомъ человѣкѣ, которая его далеко поведетъ, или просто подлость — вотъ вопросъ!

Но оставимъ. Такъ или этакъ, а наступило затишье. Я просто понялъ, что выздоровѣть надо во что бы то ни стало и какъ можно скорѣе, чтобы какъ можно скорѣе начать дѣйствовать, а потому рѣшился жить гигіенически и слушать доктора (кто бы онъ ни былъ), а бурныя намѣренія, съ чрезвычайнымъ благоразуміемъ (плодъ широкости), отжилъ до дня выхода, то есть до выздоровленія. Какимъ образомъ могли сочетаться всѣ мирныя впечатлѣнія и наслажденія затишьемъ съ мучительно-сладкими и тревожными біеніями сердца, при предчувствіи близкихъ бурныхъ рѣшеній, — не знаю, но все опять отношу къ «широкости». Но прежняго недавняго безпокойства во мнѣ уже не было; я отложилъ все до срока, уже не трепеща передъ будущимъ, какъ еще недавно, но какъ богачъ, увѣренный въ своихъ средствахъ и силахъ. Надменности и вызова ожидавшей меня судьбѣ прибывало все больше и больше, и отчасти, полагаю, отъ дѣйствительнаго уже выздоровленія и отъ быстро возвращавшихся жизненныхъ силъ. Вотъ эти-то нѣсколько дней окончательнаго и даже дѣйствительнаго выздоровленія я и вспоминаю теперь съ полнымъ удовольствіемъ.

О, они мнѣ все простили, т. е. выходку, и это — тѣ самые люди, которыхъ я въ глаза обозвалъ безобразными! Это я люблю въ людяхъ, это я называю умомъ сердца; по крайней мѣрѣ, это меня тотчасъ же привлекало, разумѣется, до извѣстной мѣры. Съ Версиловымъ, напримѣръ, мы продол-

жали говорить какъ самые добрые знакомые, но до извѣстной мѣры: чуть слишкомъ проскакивала экспансивность (а она проскакивала), и мы тотчасъ же сдерживались оба, какъ бы капельку стыдясь чего-то. Есть случаи, въ которыхъ побѣдитель не можетъ не стыдиться своего побѣжденнаго, а именно за то, что одержалъ надъ нимъ верхъ. Побѣдитель былъ, очевидно, — я; я и стыдился.

Въ то утро, то есть, когда я всталъ съ постели послѣ рецидива болѣзни, онъ зашелъ ко мнѣ, и тутъ я въ первый разъ узналъ отъ него объ ихъ общемъ тогдашнемъ соглашеніи насчетъ мамы и Макара Ивановича; при чемъ онъ замѣтилъ, что хоть старику и легче, но докторъ за него положительно не отвѣчаетъ. Я отъ всего сердца далъ ему и мое обѣщаніе вести себя впредь осторожнѣе. Когда Версиловъ передавалъ мнѣ все это, я, въ первый разъ тогда, вдругъ замѣтилъ, что онъ и самъ чрезвычайно искренно занятъ этимъ старикомъ, т. е. гораздо болѣе, чѣмъ я бы могъ ожидать отъ человѣка, какъ онъ, и что онъ смотритъ на него, какъ на существо ему и самому почему-то особенно дорогое, а не изъ-за одной только мамы. Меня это сразу заинтересовало, почти удивило, и, признаюсь, безъ Версилова я бы многое пропустилъ безъ вниманія и не оцѣнилъ въ этомъ старикѣ, оставившемъ одно изъ самыхъ прочныхъ и оригинальныхъ воспоминаній въ моемъ сердцѣ.

Версиловъ какъ бы боялся за мои отношенія къ Макару Ивановичу, то есть, не довѣрялъ ни моему уму, ни такту, а потому чрезвычайно былъ доволенъ потомъ, когда разглядѣлъ, что и я умѣю иногда понять, какъ надо отнестись къ человѣку совершенно иныхъ понятій и воззрѣній, однимъ сло-

вомъ, умѣю быть, когда надо, и уступчивымъ, и широкимъ. Признаюсь тоже (не унижая себя, я думаю), что въ этомъ существѣ изъ народа я нашелъ и нѣчто совершенно для меня новое относительно иныхъ чувствъ и воззрѣній, нѣчто мнѣ неизвѣстное, нѣчто гораздо болѣе ясное и утѣшительное, чѣмъ какъ я самъ понималъ эти вещи прежде. Тѣмъ не менѣе, возможности не было не выходить иногда просто изъ себя отъ иныхъ рѣшительныхъ предразсудковъ, которымъ онъ вѣровалъ съ самымъ возмутительнымъ спокойствіемъ и непоколебимостью. Но тутъ, конечно, виною была лишь его необразованность; душа же его была довольно хорошо организована и такъ даже, что я не встрѣчалъ еще въ людяхъ ничего лучшаго въ этомъ родѣ.

II.

Прежде всего, привлекало въ немъ, какъ я уже и замѣтилъ выше, его чрезвычайное чистосердечіе и отсутствіе малѣйшаго самолюбія; предчувствовалась почти безгрѣшное сердце. Было «веселіе» сердца, а потому и «благообразіе». Словцо «веселіе» онъ очень любилъ и часто употреблялъ. Правда, находила иногда на него какая-то какъ бы болѣзненная восторженность, какая-то какъ бы болѣзненность умиленія, — отчасти, полагаю, и отъ того, что лихорадка, по-настоящему говоря, не покидала его во все время; но благообразію это не мѣшало. Были и контрасты: рядомъ съ удивительнымъ простодушіемъ, иногда совершенно не примѣчавшимъ ироніи (часто къ досадѣ моей), уживалась въ немъ и какая-то хитрая тонкость, всего чаще въ полемическихъ ошибкахъ. А полемику

онъ любилъ, но иногда лишь и своеобразно. Видно было, что онъ много исходилъ по Россіи, много переслушалъ, но, повторяю, больше всего онъ любилъ умиленіе, а потому и все на него наводящее, да и самъ любилъ разсказывать умилительныя вещи. Вообще, разсказывать очень любилъ. Много я отъ него переслушалъ и о собственныхъ его странствіяхъ, и разныхъ легендъ изъ жизни самыхъ древнѣйшихъ «подвижниковъ». Незнакомъ я съ этимъ, но, думаю, что онъ много перевиралъ изъ этихъ легендъ, усвоивъ ихъ, бо́льшею частью, изъ изустныхъ же разсказовъ простонародья. Просто невозможно было допустить иныхъ вещей. Но рядомъ съ очевидными передѣлками или просто съ враньемъ, всегда мелькало какое-то удивительное цѣлое, полное народнаго чувства и всегда умилительное . . . Я запомнилъ, напримѣръ, изъ этихъ разсказовъ, одинъ длинный разсказъ — житіе «Маріи Египетской». Объ «житіи» этомъ, да почти и о всѣхъ подобныхъ, я не имѣлъ, до того времени, никакого понятія. Я прямо говорю: это почти нельзя было вынести безъ слезъ, и не отъ умиленія, а отъ какого-то страннаго восторга: чувствовалось что-то необычайное и горячее, какъ та раскаленная песчаная степь со львами, въ которой скиталась святая. Впрочемъ, объ этомъ я не хочу говорить, да и некомпетентенъ.

Кромѣ умиленія, нравились мнѣ въ немъ и нѣкоторыя чрезвычайно оригинальныя иногда воззрѣнія на нѣкоторыя весьма еще спорныя вещи въ современной дѣйствительности. Разсказывалъ онъ разъ, напримѣръ, одну недавнюю исторію объ одномъ отпускномъ солдатѣ; этого происшествія онъ почти былъ свидѣтелемъ. Воротился одинъ

солдатъ на родину со службы, опять къ мужикамъ, и не понравилось ему жить опять съ мужиками, да и самъ онъ мужикамъ не понравился. Сбился человѣкъ, запилъ и ограбилъ гдѣ-то и кого-то; уликъ крѣпкихъ не было, но схватили, однако, и стали судить. Въ судѣ адвокатъ совсѣмъ уже было его оправдалъ — нѣтъ уликъ да и только, какъ вдругъ тотъ слушалъ-слушалъ, да вдругъ всталъ и перервалъ адвоката: «Нѣтъ, ты постой говорить», да все и разсказалъ, «до послѣдней соринки»; повинился во всемъ, съ плачемъ и съ раскаяньемъ. Присяжные пошли, заперлись судить, да вдругъ всѣ и выходятъ: «Нѣтъ, не виновенъ». Всѣ закричали, зарадовались, а солдатъ, какъ стоялъ, такъ ни съ мѣста, точно въ столбъ обратился, не понимаетъ ничего; не понялъ ничего и изъ того, что предсѣдатель сказалъ ему въ увѣщаніе, отпуская на волю. Пошелъ солдатъ опять на волю и все не вѣритъ себѣ. Сталъ тосковать, задумался, не ѣстъ, не пьетъ, съ людьми не говоритъ, а на пятый день взялъ да и повѣсился. «Вотъ каково съ грѣхомъ-то на душѣ жить!» заключилъ Макаръ Ивановичъ. Разсказъ этотъ, конечно, пустой и такихъ бездна теперь во всѣхъ газетахъ, но мнѣ понравился въ немъ тонъ, а пуще всего иныя словечки, рѣшительно съ новою мыслью. Говоря, напримѣръ, о томъ, какъ солдатъ, возвратясь въ деревню, не понравился мужикамъ, Макаръ Ивановичъ выразился: «А солдатъ извѣстно что̀: солдатъ — *мужикъ порченый*». Говоря потомъ объ адвокатѣ, чуть не выигравшемъ дѣло, онъ тоже выразился: «А адвокатъ извѣстно что̀: адвокатъ — *нанятая совѣсть*». Оба эти выраженія онъ высказалъ, совсѣмъ не трудясь надъ ними и себѣ непримѣтно, а

межъ тѣмъ, въ этихъ двухъ выраженіяхъ — цѣлое особое воззрѣніе на оба предмета, и хотя ужъ, конечно, не всего народа, такъ все-таки Макаръ Ивановичево, собственное и не заимствованное! Эти предрѣшенія въ народѣ насчетъ иныхъ темъ поистинѣ иногда чудесны по своей оригинальности.

— А какъ вы, Макаръ Ивановичъ, смотрите на грѣхъ самоубійства? — спросилъ я его по тому же поводу.

— Самоубійство есть самый великій грѣхъ человѣческій, — отвѣтилъ онъ, вздохнувъ, — но судья тутъ — единый Господь, ибо Ему лишь извѣстно все, всякій предѣлъ и всякая мѣра. Намъ же безпремѣнно надо молиться о таковомъ грѣшникѣ. Каждый разъ, какъ услышишь о такомъ грѣхѣ, то, отходя ко сну, помолись за сего грѣшника умиленно; хотя бы только вздохни о немъ къ Богу, даже хотя бы ты и не зналъ его вовсе, — тѣмъ доходнѣе твоя молитва будетъ о немъ.

— А поможетъ ему молитва моя, коли онъ уже осужденъ?

— А почемъ ты знаешь? Многіе, охъ, многіе не вѣруютъ и оглушаютъ симъ людей не свѣдущихъ; ты же не слушай, ибо сами не знаютъ куда бредутъ. Молитва за осужденнаго отъ живущаго еще человѣка воистину доходитъ. Такъ каково же тому, за кого совсѣмъ некому помолиться? Потому, когда станешь на молитву, ко сну отходя, то по окончаніи и прибавь: «Помилуй, Господи Іисусе, и всѣхъ тѣхъ, за кого некому помолиться». Вельми доходна молитва сія и пріятна. Тоже и о всѣхъ грѣшникахъ еще живущихъ: «Господи, ими же Самъ вѣси судьбами спаси всѣхъ нераскаянныхъ», — это тоже молитва хорошая.

Я обѣщалъ ему, что помолюсь, чувствуя, что обѣщаніемъ этимъ доставлю ему чрезмѣрное удовольствіе. И дѣйствительно, радость засіяла въ его лицѣ; но спѣшу прибавить, что въ подобныхъ случаяхъ онъ никогда не относился ко мнѣ свысока, то есть, въ родѣ какъ бы старецъ къ какому-нибудь подростку; напротивъ, весьма часто любилъ самого меня слушать, даже заслушивался, на разныя темы, полагая, что имѣетъ дѣло хоть и съ «вьюношемъ», какъ онъ выражался въ высокомъ слогѣ (онъ очень хорошо зналъ, что надо выговаривать «юноша», а не не «вьюношъ), но понимая вмѣстѣ и то, что этотъ «вьюношъ» безмѣрно выше его по образованію. Любилъ онъ, напримѣръ, очень часто говорить о пустынножительствѣ и ставилъ «пустыню» несравненно выше «странствій». Я горячо возражалъ ему, напирая на эгоизмъ этихъ людей, бросающихъ міръ и пользу, которую бы могли принести человѣчеству, единственно для эгоистической идеи своего спасенія. Онъ сначала не понималъ, подозрѣваю даже, что и совсѣмъ не понялъ; но пустыню очень защищалъ: «Сначала жалко себя, конечно (то есть, когда поселишься въ пустынѣ), — ну, а потомъ каждый день все больше радуешься, а потомъ уже и Бога узришь». — Тутъ я развилъ передъ нимъ полную картину полезной дѣятельности ученаго, медика или вообще друга человѣчества въ мірѣ, и привелъ его въ сущій восторгъ, потому что и самъ говорилъ горячо; онъ поминутно поддакивалъ мнѣ: «такъ, милый, такъ, благослови тебя Богъ, по истинѣ мыслишь»; но когда я кончилъ, онъ все-таки не совсѣмъ согласился: «такъ-то оно такъ, вздохнулъ онъ глубоко: — да много ли такихъ, что выдержатъ и не

развлекутся? Деньги хоть не Богъ, а все жъ полбога — великое искушеніе; а тутъ и женскій полъ, а тутъ и сомнѣніе и зависть. Вотъ дѣло-то великое и забудутъ, а займутся маленькимъ. То ли въ пустынѣ? Въ пустынѣ человѣкъ укрѣпляетъ себя даже на всякій подвигъ. Другъ! Да и что въ мірѣ?» — воскликнулъ онъ съ чрезмѣрнымъ чувствомъ: «Не одна ли токмо мечта? Возьми песочку да посѣй на камушкѣ; когда желтъ песочекъ у тебя на камушкѣ томъ взойдетъ, тогда и мечта твоя въ мірѣ сбудется, — вотъ какъ у насъ говорится. То ли у Христа: «Поди и раздай богатство и стань всѣмъ слуга». И станешь богатъ паче прежняго въ безсчетно разъ; ибо не пищею только, не платьями цѣнными, не гордостью и не завистью счастливъ будешь, а умножившеюся безсчетно любовью. Ужъ не малое богатство, не сто тысячъ, не милліонъ, а цѣлый міръ пріобрѣтешь! Нынѣ безъ сытости собираемъ и съ безумiемъ расточаемъ, а тогда не будетъ ни сиротъ, ни нищихъ, ибо всѣ мои, всѣ родные, всѣхъ пріобрѣлъ, всѣхъ до единаго купилъ! Нынѣ не въ рѣдкость, что и самый богатый и знатный къ числу дней своихъ равнодушенъ, и самъ ужъ не знаетъ, какую забаву выдумать; тогда же дни и часы твои умножатся какъ бы въ тысячу разъ, ибо ни единой минутки потерять не захочешь, а каждую въ веселіи сердца ощутишь. Тогда и премудрость пріобрѣтешь не изъ единыхъ книгъ токмо, а будешь съ самимъ Богомъ лицомъ къ лицу; и возсіяетъ земля паче солнца, и не будетъ ни печали, не воздыханія, а лишь единый безцѣнный рай . . .

Вотъ эти-то восторженныя выходки чрезвычайно, кажется, любилъ Версиловъ. Въ этотъ разъ онъ тутъ же былъ въ комнатѣ.

— Макаръ Ивановичъ! — прервалъ я его вдругъ, самъ разгорячась безъ всякой мѣры (я помню тотъ вечеръ): — да вѣдь вы коммунизмъ, рѣшительный коммунизмъ, коли такъ, проповѣдуете!

И такъ какъ онъ рѣшительно ничего не зналъ про коммунистическое ученіе, да и самое слово въ первый разъ услыхалъ, то я тутъ же сталъ ему излагать все, что̀ зналъ на эту тему. Признаюсь, я зналъ мало и сбивчиво, да и теперь не совсѣмъ компетентенъ; но что̀ зналъ, то изложилъ съ величайшимъ жаромъ, несмотря ни на что̀. До сихъ поръ вспоминаю съ удовольствіемъ о чрезвычайномъ впечатлѣніи, которое я произвелъ на старика. Это было даже не впечатлѣніе, а почти потрясеніе. При семъ онъ страшно интересовался историческими подробностями: «Гдѣ? Какъ? Кто устроилъ? Кто сказалъ?» Кстати, я замѣтилъ, что это — вообще свойство простонародья: онъ не удовольствуется общей идеей, если очень заинтересуется, но непремѣнно начнетъ требовать самыхъ твердыхъ и точныхъ подробностей. Я таки въ подробностяхъ сбивался, и такъ какъ тутъ былъ Версиловъ, то немного стыдился его, а оттого еще пуще горячился. Кончилось тѣмъ, что Макаръ Ивановичъ, въ умиленіи, подъ конецъ только повторялъ къ каждому слову: «Такъ, такъ!» но уже видимо не понимая и потерявъ нитку. Мнѣ стало досадно, но Версиловъ вдругъ прервалъ разговоръ, всталъ и объявилъ, что пора идти спать. Мы тогда всѣ были въ сборѣ и было поздно. Когда онъ черезъ нѣсколько минутъ заглянулъ въ мою комнату, я тотчасъ спросилъ его: какъ онъ глядитъ на Макара Ивановича вообще и что̀ онъ объ немъ

думаетъ? Версиловъ весело усмѣхнулся (но вовсе не надъ моими ошибками въ коммунизмѣ — напротивъ, объ нихъ не упоминалъ). Повторяю опять: онъ рѣшительно какъ бы прилѣпился къ Макару Ивановичу, и я часто ловилъ на лицѣ его чрезвычайно привлекательную улыбку, когда онъ слушалъ старика. Впрочемъ, улыбка вовсе не помѣшала критикѣ.

— Макаръ Ивановичъ, прежде всего — не мужикъ, а дворовый человѣкъ, — произнесъ онъ съ большою охотою, — бывшій дворовый человѣкъ и бывшій слуга, родившійся слугою и отъ слуги. Дворовые и слуги чрезвычайно много раздѣляли интересовъ частной, духовной и умственной жизни своихъ господъ въ былое время. Замѣть, что Макаръ Ивановичъ до сихъ поръ всего больше интересуется событіями изъ городской и высшей жизни. Ты еще не знаешь, до какой степени интересуется онъ иными событіями въ Россіи за послѣднее время. Знаешь ли, что онъ великій политикъ? Его медомъ не корми, а разскажи, гдѣ кто воюетъ и будемъ ли мы воевать. Въ прежнее время я доводилъ его подобными разговорами до блаженства. Науку уважаетъ очень и изъ всѣхъ наукъ любитъ больше астрономію. При всемъ томъ выработалъ въ себѣ нѣчто столь независимое, чего уже ни за что въ немъ не предвинешь. Убѣжденія есть, и твердыя, и довольно ясныя... и истинныя. При совершенномъ невѣжествѣ, онъ вдругъ способенъ изумить неожиданнымъ знакомствомъ съ иными понятіями, которыхъ бы въ немъ и не предполагалъ. Хвалитъ пустыню съ восторгомъ, но ни въ пустыню, ни въ монастырь ни за что̀ не пойдетъ, потому что въ высшей степени «бродяга», какъ мило

назвалъ его Александръ Семеновичъ, на котораго ты напрасно, мимоходомъ сказать, сердишься. Ну, что жъ еще, наконецъ: нѣсколько художникъ, много своихъ словъ, но есть и не свои. Нѣсколько хромъ въ логическомъ изложеніи, подчасъ очень отвлеченъ; съ порывами сентиментальности, но совершенно народной или, лучше сказать, съ порывами того самаго общенароднаго умиленія, которое такъ широко вноситъ народъ нашъ въ свое религіозное чувство. Про чистосердечіе и незлобивость его опускаю: не намъ съ тобой начинать на эту тему . . .

III.

Чтобы закончить съ характеристикой Макара Ивановича, передамъ какой-нибудь изъ его разсказовъ, собственно уже изъ частной жизни. Характеръ этихъ разсказовъ былъ странный: вѣрнѣе то, что не было въ нихъ никакого общаго характера; нравоученія какого-нибудь или общаго направленія нельзя было выжать, развѣ то, что всѣ болѣе или менѣе были умилительны. Но были и не умилительные, были даже совсѣмъ веселые, были даже насмѣшки надъ иными монахами изъ безпутныхъ, такъ что онъ прямо вредилъ своей идеѣ, разсказывая, — о чемъ я и замѣтилъ ему; но онъ не понялъ, что̀ я хотѣлъ сказать. Иногда трудно было сообразить, что̀ его такъ побуждаетъ разсказывать, такъ что я подчасъ даже дивился на такое многоглаголаніе и приписывалъ отчасти старчеству и болѣзненному состоянію.

— Онъ — не то что̀ прежде, — шепнулъ мнѣ разъ Версиловъ, — онъ прежде былъ не совсѣмъ

таковъ. Онъ скоро умретъ, гораздо скорѣе, чѣмъ мы думаемъ, и надо быть готовымъ.

Я забылъ сказать, что у насъ установилось нѣчто въ родѣ «вечеровъ». Кромѣ мамы, не отходившей отъ Макара Ивановича, всегда по вечерамъ въ его комнатку приходилъ Версиловъ; всегда приходилъ я, да и негдѣ мнѣ было и быть; въ послѣдніе дни почти всегда заходила Лиза, хоть и попозже другихъ, и всегда почти сидѣла молча. Бывала и Татьяна Павловна, и, хоть рѣдко, да бывалъ и докторъ. Съ докторомъ я, какъ-то вдругъ такъ вышло, сошелся; не очень, но, по крайней мѣрѣ, прежнихъ выходокъ не было. Мнѣ нравилась его какъ бы простоватость, которую я, наконецъ, разглядѣлъ въ немъ, и нѣкоторая привязанность его къ нашему семейству, такъ что я рѣшился, наконецъ, ему простить его медицинское высокомѣріе и, сверхъ того, научилъ его мыть себѣ руки и чистить ногти, если ужъ онъ не можетъ носить чистаго бѣлья. Я прямо растолковалъ ему, что это вовсе не для франтовства и не для какихъ-нибудь тамъ изящныхъ искусствъ, но что чистоплотность естественно входитъ въ ремесло доктора, и доказалъ ему это. — Подходила, наконецъ, часто къ дверямъ изъ своей кухни Лукерья и, стоя за дверью, слушала, какъ разсказываетъ Макаръ Ивановичъ. Версиловъ вызвалъ ее разъ изъ-за дверей и пригласилъ сѣсть вмѣстѣ съ нами. Мнѣ это понравилось; но съ этого разу она уже перестала подходить къ дверямъ. Свои нравы!

Помѣщаю одинъ изъ разсказовъ, безъ выбору, единственно потому, что онъ мнѣ полнѣе запомнился. Это — одна исторія объ одномъ купцѣ, и я думаю, что такихъ исторій въ нашихъ горо-

дахъ и городишкахъ случается тысячами, лишь бы умѣть смотрѣть. Желающіе могутъ обойти разсказъ, тѣмъ болѣе, что я разсказываю его слогомъ.

IV.

А было у насъ въ городѣ Афимьевскомъ, скажу теперь, вотъ како чудо. Жилъ купецъ, Скотобойниковъ прозывался, Максимъ Ивановичъ, и не было его богаче по всей округѣ. Ситцевую фабрику построилъ и рабочихъ нѣсколько сотъ содержалъ; и возмнилъ о себѣ безмѣрно. И надо такъ сказать, что уже все ходило по его знаку, и само начальство ни въ чемъ не препятствовало, и архимандритъ за ревность благодарилъ: много на монастырь жертвовалъ и, когда стихъ находилъ, очень о душѣ своей воздыхалъ и о будущемъ вѣкѣ озабоченъ было немало. Вдовъ былъ и бездѣтенъ, про супругу-то его былъ слухъ, что усахарилъ онъ ее будто еще на первомъ году и что смолоду ручкамъ любилъ волю давать: только давно ужъ передъ тѣмъ это было; снова же обязаться бракомъ не захотѣлъ. Слабъ былъ тоже и выпить, и когда наступалъ ему срокъ, то хмѣльной по городу бѣжитъ нагишомъ и вопитъ: городъ незнатный, а все зазорно. Когда же переставалъ срокъ, становился сердитъ, и все, что онъ разсудитъ, то и хорошо, и все, что повелитъ, то и прекрасно. А народъ разсчитывалъ произвольно; возьметъ счеты, надѣнетъ очки: «Тебѣ, Ѳома, сколько?» — Съ Рождества не бралъ, Максимъ Ивановичъ, тридцать девять рублевъ моихъ есть. — «Ухъ, сколько денегъ! Это много тебѣ; ты и весь такихъ денегъ не стоишь; совсѣмъ не къ лицу тебѣ будетъ: десять

рублей съ костей долой, а двадцать девять получай». И молчитъ человѣкъ; да и никто не смѣетъ пикнуть, всѣ — молчатъ.

— Я, говоритъ, знаю, сколько ему слѣдуетъ дать. Съ здѣшнимъ народомъ по-другому нельзя. Здѣшній народъ развратенъ; безъ меня бъ они всѣ здѣсь съ голоду перемерли, сколько ихъ тутъ ни есть. Опять сказать, народъ здѣшній — воръ, на что взглянетъ, то и тянетъ, никакого въ немъ мужества нѣтъ. Опять взять и то, что онъ — пьяница; разочти его, онъ въ кабакъ снесетъ, и сидитъ въ кабакѣ нагъ — ни ниточки, выходитъ голешенекъ. Опять же онъ — и подлецъ: сядетъ супротивъ кабака на камушекъ и пошелъ причитать: «матушка моя родимая, и зачѣмъ же ты меня такого горькаго пьяницу на свѣтъ произвела? А и лучше бъ ты меня, такого горькаго пьяницу, на роду придавила!» Такъ развѣ это — человѣкъ? Это — звѣрь, а не человѣкъ; его, перво-на-перво, образить слѣдуетъ, а потомъ ужъ ему деньги давать. Я знаю, когда ему дать.

Вотъ такъ говорилъ Максимъ Ивановичъ объ народѣ Афимьевскомъ; хоть худо онъ это говорилъ, а все жъ и правда была: народъ былъ стомчивый, не выдерживалъ.

Жилъ въ этомъ же городѣ и другой купецъ, да и померъ; человѣкъ былъ молодой и легкомысленный, прогорѣлъ и всего капиталу рѣшился. Бился въ послѣдній годъ какъ рыба на пескѣ, да урокъ житью его приспѣлъ. Съ Максимъ Ивановичемъ все время не ладилъ и кругомъ ему долженъ остался. Въ послѣдній часъ еще Максима Ивановича проклиналъ. И оставилъ по себѣ вдову еще молодую, да съ ней вмѣстѣ и пятерыхъ дѣтей. И оди-

нокой-то вдовицѣ оставаться послѣ супруга подобно какъ безпріютной ластовицѣ, — не малое испытаніе, а не то что съ пятерыми младенцами, которыхъ пропитать нечѣмъ: послѣднее имѣньишко, домъ деревянный, Максимъ Ивановичъ за долгъ отбиралъ. И поставила она ихъ всѣхъ рядкомъ у церковной паперти: старшему мальчику восемь годковъ, а остальные всѣ дѣвочки погодки, всѣ малъмалой меньше; старшенькая четырехъ годковъ, а младшая еще на рукахъ грудь сосетъ. Кончилась обѣдня, вышелъ Максимъ Ивановичъ, и всѣ дѣточки, всѣ-то рядкомъ, стали передъ нимъ на колѣни, — научила она ихъ предъ тѣмъ, и ручки передъ собой ладошками, какъ одинъ сложили, а сама за ними, съ пятымъ ребенкомъ на рукахъ, земно при всѣхъ людяхъ ему поклонилась: «Батюшка, Максимъ Ивановичъ, помилуй сиротъ, не отымай послѣдняго куска, не выгоняй изъ родного гнѣзда!» И всѣ, кто тутъ ни былъ, всѣ прослезились — такъ ужъ хорошо она ихъ научила. Думала: «при людяхъ-то возгордится и проститъ, отдастъ домъ ситотамъ», только не такъ оно вышло. Сталъ Максимъ Ивановичъ: «Ты, говоритъ, молодая вдова, мужа хочешь, а не о сиротахъ плачешь. Покойникъ-то меня на смертномъ одрѣ проклиналъ», и прошелъ мимо и не отдалъ домъ. «Чего ихнимъ дурачествамъ подражать (т. е. поблажать)? Окажи благодѣяніе, еще пуще станутъ костить; все сіе ничтоже успѣваетъ, а лишь паче молва бываетъ». А молва-то ходила и впрямь, что будто онъ къ сей вдовицѣ, еще къ дѣвицѣ, лѣтъ десять передъ тѣмъ подсылалъ и большимъ капиталомъ жертвовалъ (красива ужъ очень была), забывая, что грѣхъ сей, все едино, что храмъ Божій разворить; да ничего тогда

не успѣлъ. А мерзостей этихъ самыхъ, и по городу, и по всей даже губерніи, производилъ не мало и даже всякую мѣру въ семъ случаѣ потерялъ.

Возопила мать со птенцами, выгналъ сиротъ изъ дому, и не по злобѣ токмо, а и самъ не знаетъ иной разъ человѣкъ, по какому побужденію стоитъ на своемъ. Ну, помогали сперва, а потомъ пошла наниматься въ работу. Да только какой у насъ, окромя фабрики, заработокъ; тамъ полы вымоетъ, тамъ въ огородѣ выполетъ, тамъ баньку вытопитъ, да съ ребеночкомъ-то на рукахъ и взвоетъ; а четверо прочихъ тутъ же по улицѣ въ рубашенкахъ бѣгаютъ. Когда на колѣни ихъ у паперти ставила, все еще въ башмаченкахъ были, какихъ ни есть, да въ салопчикахъ, все какъ ни есть, а купецкія дѣти; а тутъ ужъ пошли бѣгать и босенькія: на ребенкѣ одеженка горитъ, извѣстно. Ну, а дѣткамъ что: было бы солнышко, радуются, гибели не чувствуютъ, словно птички, голосочки ихъ что колокольчики. Думаетъ вдова: «Станетъ зима, и куда я васъ тогда подѣваю; хоть бы васъ къ тому сроку Богъ прибралъ!» Только не дождалась зимы. Есть по нашему мѣсту такой на дѣтей кашель, коклюшъ, что съ одного на другого переходитъ. Перво-на-перво, померла грудная дѣвочка, а за ней заболѣли и прочія, и всѣхъ-то четверыхъ дѣвочекъ, въ ту же осень, одну за другой снесла. Одну-то, правда, на улицѣ лошади раздавили. Что же ты думаешь? Похоронила, да и взвыла; то проклинала, а какъ Богъ прибралъ, жалко стало. Материнское сердце!

Остался у ней въ живыхъ одинъ лишь старшенькій мальчикъ, и ужъ не надышитъ она надъ нимъ, трепещетъ. Слабенькій былъ и нѣжный и личикомъ

миловидный, какъ дѣвочка. И свела она его на фабрику, къ крестному его отцу управляющему, а сама въ нянюшки къ чиновнику нанялась. Только бѣгаетъ мальчикъ разъ на дворѣ, а тутъ вдругъ и подъѣхалъ на парѣ Максимъ Ивановичъ, да какъ разъ выпимши; а мальчикъ-то съ лѣстницы прямо на него, невзначай, то есть поскользнулся, да прямо объ него стукнулся, какъ онъ съ дрожекъ сходилъ, и обѣими руками ему прямо въ животъ. Схватилъ онъ его за волосенки, завопилъ: «Чей такой? Лозы! Высѣчь его, говоритъ, тотъ же часъ при мнѣ». Помертвѣлъ мальчикъ! Стали сѣчь, закричалъ. «Такъ ты еще и кричишь? Сѣки жъ его, пока кричать перестанетъ!» Мало ли, много ли сѣкли, не переставъ кричать, пока не омертвѣлъ вовсе. Тутъ и бросили сѣчь, испугались, не дышитъ мальчикъ, лежитъ въ безчувствіи. Сказывали потомъ, что немного и сѣкли, да ужъ пугливъ былъ очень. Испугался было и Максимъ Ивановичъ: «Чей такой?» спросилъ; сказали ему; «ишь вѣдь! Снести его къ матери: чего онъ тутъ на фабрикѣ шляется?» Два дня потомъ молчалъ и опять спросилъ: «А что мальчикъ?» А съ мальчикомъ вышло худо: заболѣлъ, у матери въ углѣ лежитъ, та и мѣсто по тому случаю у чиновника бросила, и вышло у него воспаленіе въ легкихъ. «Ишь вѣдь! произнесъ, и съ чего, кажись? Диви бъ его больно сѣкли: самое лишь малое пристрастіе произвели. Я и надъ всѣми прочими такіе точно побои произносилъ; сходило безъ всякихъ такихъ пустяковъ». Ждалъ было онъ, что мать пойдетъ жаловаться и, возгордясь, молчалъ. Только гдѣ ужъ, не посмѣла мать жаловаться. И послалъ онъ ей тогда отъ себя пятнадцать рублей и лѣкаря отъ себя; и не то,

чтобъ побоявшись чего, а такъ, задумался. А тутъ скоро и срокъ ему подошелъ, запилъ недѣли на три.

Миновала зима, и на самое Свѣтло-Христово Воскресенье, въ самый великій день, спрашиваетъ Максимъ Ивановичъ опять: «А что̀ тотъ самый мальчикъ?» А всю зиму молчалъ, не спрашивалъ. И говорятъ ему: «выздоровѣлъ, у матери, а та все поденно уходитъ». И поѣхалъ Максимъ Ивановичъ того же дня ко вдовѣ, въ домъ не вошелъ, а вызвалъ къ воротамъ; самъ на дрожкахъ сидитъ: «Вотъ что̀, говоритъ, честная вдова, хочу я твоему сыну чтобы истиннымъ благодѣтелемъ быть и безпредѣльныя милости ему оказать: беру его отселѣ къ себѣ, въ самый мой домъ. И ежели вмалѣ мнѣ угодитъ, то достаточный капиталъ ему отпишу: а совсѣмъ ежели угодитъ, то и всего состоянія нашего могу его, по смерти, пріемникомъ утвердить, равно какъ родного бы сына, съ тѣмъ, однако, чтобы ваша милость, окромя великихъ праздниковъ, въ домъ не жаловали. Коли складно по-вашему, такъ завтра утромъ приводи мальчика, не все ему въ бабки играть». И, сказавъ, уѣхалъ, мать оставивъ какъ бы въ безуміи. Прослышали люди, говорятъ ей: «Возрастетъ малый, самъ попрекать тебя станетъ, что лишила его такой судьбы». Ночь-то надъ нимъ поплакала, а поутру отвела дитя. А мальчикъ ни живъ, ни мертвъ.

Одѣлъ его Максимъ Ивановичъ какъ барченка и учителя нанялъ, и съ того самаго часу за книгу засадилъ; и такъ дошло, что и съ глазъ его не спускалъ, все при себѣ. Чуть мальчикъ зазѣвается, онъ ужъ и кричитъ: «За книгу! Учись: я тебя человѣкомъ сдѣлать хочу». А мальчикъ хилый, съ того самаго разу, послѣ побоевъ-то, кашлять сталъ.

«У меня ль не житье! — дивится Максимъ Иванович: — у матери босой бѣгалъ, корки жевалъ, съ чего жъ онъ еще пуще прежняго хилъ?» А учитель и говоритъ: «Всякому мальчику, говоритъ, надо и порѣзвиться, не все учиться; ему моціонъ необходимъ», и вывелъ ему все резономъ. Максимъ Ивановичъ подумалъ: «это ты правду говоришь». А былъ тотъ учитель Петръ Степановичъ, царство ему небесное, какъ бы словно юродивый, пилъ ужъ оченно, такъ даже что и слишкомъ, и потому самому его давно уже отъ всякаго мѣста отставили и жилъ по городу все одно что милостыней, а ума былъ великаго и въ наукахъ твердъ. «Мнѣ бы не здѣсь быть, самъ говорилъ про себя: — мнѣ въ университетѣ профессоромъ только быть, а здѣсь я въ грязи погруженъ и «самыя одежды мои возгнушались мною». Сѣлъ Максимъ Ивановичъ и кричитъ мальчику: «рѣзвись!» — а тотъ передъ нимъ еле дышитъ. И до того дошло, что самаго голосу его ребенокъ не могъ снести, — такъ весь и затрепещется. А Максимъ-то Ивановичъ все пуще удивляется: «Ни онъ такой, ни онъ этакой; я его изъ грязи взялъ, въ драдедамъ одѣлъ; на немъ полсапожки матерчатые, рубашка съ вышивкой, какъ генеральскаго сына держу, чего жъ онъ ко мнѣ не приверженъ? Чего какъ волченокъ молчитъ?» И хоть давно ужъ всѣ перестали удивляться на Максима Ивановича, но тутъ опять задивились: изъ себя вышелъ человѣкъ; къ этакому малому ребенку присталъ, отступиться не можетъ. «Живъ не желаю быть, а характеръ въ немъ искореню. Меня отецъ его, на смертномъ одрѣ, уже святого причастія вкусивъ, проклиналъ; это у него отцовскій характеръ». И вѣдь даже ни разу лозы не употре-

билъ (съ того разу боялся). Запугалъ онъ его, вотъ что. Безъ лозы запугалъ.

И случилось дѣло. Только онъ разъ вышелъ, а мальчикъ вскочилъ изъ-за книги да на стулъ: передъ тѣмъ на шифонерку мячъ забросилъ, такъ чтобъ мячикъ ему достать, да объ фарфоровую лампу на шифонеркѣ рукавомъ и зацѣпилъ; лампа-то грохнулась, да на полъ, да вдребезги, ажно по всему дому зазвенѣло, а вещь дорогая — фарфоръ саксонскій. А тутъ вдругъ Максимъ Ивановичъ изъ третьей комнаты услышалъ и завопилъ. Бросился ребенокъ бѣжать, куда глаза глядятъ съ перепугу, выбѣжалъ на террасу, да черезъ садъ, да задней калиткой прямо на набережную. А по набережной тамъ бульваръ идетъ, старыя ракиты стоятъ, мѣсто веселое. Сбѣжалъ онъ внизъ къ водѣ, люди видѣли, сплеснулъ руками, у самаго того мѣста, гдѣ паромъ пристаетъ, да ужаснулся, что ли, передъ водой — сталъ, какъ вкопаный А мѣсто это широкое, рѣка быстрая, барки проходятъ; на той сторонѣ лавки, площадь, храмъ Божій златыми главами сіяетъ. И какъ разъ тутъ на перевозъ поспѣшала съ дочкой полковница Ферзингъ — полкъ стоялъ пѣхотный. Дочка, тоже ребенокъ лѣтъ восьми, идетъ въ бѣленькомъ платьицѣ, смотритъ на мальчика и смѣется, а въ рукахъ таку малую кошолочку деревенскую несетъ, а въ кошолочкѣ ежика. — «Смотрите, говоритъ, маменька, какъ мальчикъ смотритъ на моего ежика». — «Нѣтъ, говоритъ полковница, а онъ испугался чего-то». — «Чего вы такъ испугались, хорошенькій мальчикъ?» (такъ все это потомъ и разсказывали). «И какой, говоритъ, это хорошенькій мальчикъ, и какъ хорошо одѣтъ; чей вы, говоритъ, мальчикъ?» А онъ

никогда еще ежика не видывалъ, подступилъ и смотритъ, и уже забылъ — дѣтскій возрастъ! «Что это, говоритъ, у васъ такое?» — «А это, говоритъ барышня, у насъ ежикъ, мы сейчасъ у деревенскаго мужика купили: онъ въ лѣсу нашелъ». — «Какъ же это, говоритъ, такой ежикъ?» и ужъ смѣется, и сталъ онъ его тыкать пальчикомъ, а ежикъ-то щетинится, а дѣвочка-то рада на мальчика: «мы, говоритъ, его домой несемъ и хотимъ пріучить».— «Ахъ, говоритъ, подарите мнѣ вашего ежика!» И такъ онъ это ее умильно попросилъ, и только что выговоритъ, какъ вдругъ Максимъ-то Ивановичъ надъ нимъ сверху: «А! Вотъ ты гдѣ! Держи его!» (до того озвѣрѣлъ, что самъ безъ шапки изъ дому погнался за нимъ). Мальчикъ, какъ вспомнилъ про все, вскрикнулъ, бросился къ водѣ, прижалъ себѣ къ обѣимъ грудкамъ по кулачку, посмотрѣлъ въ небеса (видѣли, видѣли!) — да бухъ въ воду! Ну, закричали, бросились съ парома, стали ловить, да водой отнесло, рѣка быстрая, а какъ вытащили, ужъ и захлебнулся, — мертвенькій. Грудкой-то слабъ былъ, не стерпѣлъ воды, да и много ли такому надо? И вотъ на памяти людской еще не было въ тѣхъ мѣстахъ, чтобы такой малый ребеночекъ на свою жизнь посягнулъ! Такой грѣхъ! И что можетъ сія малая душка на томъ свѣтѣ Господу Богу сказать!

Надъ тѣмъ самымъ, съ тѣхъ поръ, Максимъ Ивановичъ и задумался. И перемѣнился человѣкъ, что узнать нельзя. Больно ужъ тогда опечалился. Сталъ было пить, много пилъ, да бросилъ — не помогло. Бросилъ и на фабрику ѣздить, никого не слушаетъ. Говорятъ ему что, — молчитъ, али рукой махнетъ. Такъ проводилъ онъ мѣсяца съ два,

а потомъ сталъ самъ съ собой говорить. Ходитъ и самъ съ обой говоритъ. Сгорѣла подгородная деревнюшка Васькова, выгорѣло девять домовъ; поѣхалъ Максимъ Ивановичъ взглянуть. Обступили его погорѣльцы, взвыли, — обѣщалъ помочь и приказъ отдалъ, а потомъ призвалъ управляющаго и все отмѣнилъ: «Не надо-ть, говоритъ, ничего давать», и не сказалъ за что. «Въ попраніе меня, говоритъ, отдалъ Господь всѣмъ людямъ, яко же нѣкоего изверга, то ужъ пусть такъ и будетъ. Какъ вѣтеръ, говоритъ, развѣялась слава моя». Пріѣхалъ къ нему самъ архимандритъ, старецъ былъ строгій и въ монастырѣ общежитіе ввелъ. — «Ты чего, говоритъ?» строго такъ. — «А я вотъ чего», и раскрылъ ему Максимъ Ивановичъ и указалъ мѣсто:

«А иже аще соблазнитъ единаго малыхъ сихъ вѣрующихъ въ мя, уне есть ему, да обѣсится жерновъ оселскій на выи его, и потонетъ въ пучинѣ морстѣй» (Матѳ. 18, 6).

— Да, — сказалъ архимандритъ, — хоть и не о томъ сіе прямо сказано, а все же соприкасается. Бѣда, коли мѣрку свою потеряетъ человѣкъ — пропадетъ тотъ человѣкъ. А ты возмнилъ.

А Максимъ Ивановичъ сидитъ, словно столбнякъ на него нашелъ. Архимандритъ глядѣлъ-глядѣлъ.

— Слушай,—говоритъ,—и запомни. Сказано: «Слова отчаяннаго летятъ на вѣтеръ». И еще то вспомни, что и ангелы Божіи несовершенны, а совершенъ и безгрѣшенъ токмо единъ Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, Ему же ангелы служатъ. Да и не хотѣлъ же ты смерти сего младенца, а только былъ безразсуденъ. Только вотъ что-то, говоритъ,

мнѣ даже чудесно мало ль ты, говоритъ, еще горшихъ безчинствъ произносилъ, мало ль по міру людей пустилъ, мало ль растлилъ, мало ль погубилъ — все одно какъ бы убіеніемъ? И не его ли сестры еще прежде того всѣ перемерли, всѣ четыре младенчика, почти что на глазахъ твоихъ? Чего жъ тебя такъ сей единый смутилъ? Вѣдь о прежнихъ всѣхъ, полагаю, не то что сожалѣлъ, а и думать забылъ? Почему же такъ устрашился младенца сего, въ коемъ и не весьма повиненъ?

— Во снѣ мнѣ снится, — изрекъ Максимъ Ивановичъ.

— И что же?

Но ничего болѣе не открылъ, сидитъ-молчитъ. Удивился архимандритъ, да съ тѣмъ и отъѣхалъ: ничего ужъ тутъ не подѣлаешь.

И послалъ Максимъ Ивановичъ за учителемъ, за Петромъ Степановичемъ; съ самаго того случая не видались. — Помнишь ты? — говоритъ.

— Помню, — говоритъ.

— Ты, — говоритъ, — здѣсь масляной краской въ трактиръ картины мазалъ и съ архиереева портрета копію снималъ. Можешь ты мнѣ написать краской картину одну?

— Я, — говоритъ, все могу; я, говоритъ, всякій талантъ имѣю — все могу.

— Напиши же ты мнѣ картину самую большую, во всю стѣну, и напиши на ней перво-на-перво рѣку, и спускъ, и перевозъ, и чтобъ всѣ люди, какіе были тогда, всѣ тутъ были. И чтобъ полковница и дѣвочка были, и тотъ самый ежикъ. Да и другой берегъ весь мнѣ спиши, чтобъ виденъ былъ, какъ есть: и церковь, и площадь, и лавки, и гдѣ извозчики стоятъ — все, какъ есть, спиши. И тутъ у

перевоза мальчика, надъ самой рѣкой, на томъ самомъ мѣстѣ, и безпремѣнно, чтобы два кулачка такъ къ груди прижалъ, къ обоимъ сосочкамъ. Безпремѣнно это. И раскрой ты передъ нимъ съ той стороны, надъ церковью небо, и чтобы всѣ ангелы во свѣтѣ небесномъ летѣли стрѣчать его. Можешь потрафить, аль нѣтъ?

— Я все могу.

— Я не то чтобъ такого Трифона, какъ ты, и я первѣйшаго живописца изъ Москвы могу выписать, али хоша бы изъ самаго Лондона, да ты его ликъ помнишь. Если выйдетъ не схожъ, али мало схожъ, то дамъ тебѣ всего пятьдесятъ рублей, а если выйдетъ совсѣмъ похожъ, то дамъ двѣсти рублей. Помни, глазки голубенькіе . . . Да чтобы самая-самая большая картина вышла.

Изготовились; сталъ писать Петръ Степановичъ, да вдругъ и приходитъ:

— Нѣтъ, говоритъ, въ такомъ видѣ нельзя писать.

— Что такъ?

— Потому что грѣхъ сей, самоубійство, есть самый великій изъ всѣхъ грѣховъ. То какъ же ангелы его будутъ стрѣчать послѣ такого грѣха?

— Да вѣдь онъ — младенецъ, ему невмѣнимо.

— Нѣтъ, не младенецъ, а уже отрокъ: восьми уже лѣтъ былъ, когда сіе совершилось. Все же онъ хотя нѣкій отвѣтъ долженъ дать.

Еще пуще ужаснулся Максимъ Ивановичъ.

— А я, — говоритъ, Петръ Степановичъ, вотъ какъ придумалъ: небо открывать не станемъ и ангеловъ писать нечего; а спущу я съ неба, какъ бы въ встрѣчу ему, лучъ, такой одинъ свѣтлый лучъ: все равно, какъ бы нѣчто и выйдетъ.

Такъ и пустили лучъ. И видѣлъ я самъ потомъ, уже спустя, картину сію и этотъ лучъ самый, и рѣку — во всю стѣну вытянулъ, вся синяя, и отрокъ милый тутъ же, обѣ ручки къ грудкамъ прижалъ, и маленькую барышню, и ежика — все потрафилъ. Только Максимъ Ивановичъ тогда никому картину не открылъ, а заперъ ее въ кабинетѣ на ключъ отъ всѣхъ глазъ. А ужъ какъ рвались по городу, чтобъ повидать: всѣхъ гнать велѣлъ. Большой разговоръ пошелъ. А Петръ Степановичъ словно изъ себя тогда вышелъ: «я, говоритъ, теперь уже все могу; мнѣ, говоритъ, только въ Санктпетербургѣ при дворѣ состоять». Любезнѣйшій былъ человѣкъ, а превозноситься любилъ безпримѣрно. И постигла его участь: какъ получилъ всѣ двѣсти рублей, началъ тотчасъ же пить и всѣмъ деньги показывать, похваляясь; и убилъ его пьянаго ночью нашъ мѣщанинъ, съ которымъ и пилъ, и деньги ограбилъ; все сіе на утро и объяснилось.

А кончилось все такъ, что и теперь тамъ напрежь всего вспоминаютъ. Вдругъ пріѣзжаетъ Максимъ Ивановичъ къ той самой вдовѣ: нанимала на краю у мѣщанки въ избушкѣ. На сей разъ уже во дворъ вошелъ; сталъ предъ ней, да и поклонился въ землю. А та, съ тѣхъ разовъ, больна была, еле двигалась. «Матушка, возопилъ, честная вдовица: выйди за меня изверга, замужъ, дай жить на свѣтѣ!» Та глядитъ ни жива, ни мертва. «Хочу, говоритъ, чтобъ у насъ еще мальчикъ родился, и ежели родится онъ, тогда значитъ, тотъ мальчикъ простилъ насъ обоихъ: и тебя, и меня. Мнѣ такъ мальчикъ велѣлъ». Видитъ она, что не въ умѣ человѣкъ, а какъ бы въ изступленіи, да все же не утерпѣла.

— Пустяки это все, — отвѣчаетъ ему, — и одно малодушіе. Черезъ то самое малодушіе я всѣхъ моихъ птенцовъ истеряла. Я и видѣть-то васъ передъ собой не могу, а не то чтобы такую вѣковѣчную муку принять.

Отъѣхалъ Максимъ Ивановичъ, да не унялся. Загрохоталъ весь городъ отъ такого чуда. А Максимъ Ивановичъ свахъ заслалъ. Выписалъ изъ губерніи двухъ своихъ тетокъ, по мѣщанству жили. Тетки-не-тетки, все же родственницы, честь, значитъ; стали тѣ ее склонять, принялись улещать, изъ избы не выходятъ. Заслалъ и изъ городскихъ, и по купечеству, и протопопшу соборную, и изъ чиновницъ; обступили ее всѣмъ городомъ, а та даже гнушается: «Если бъ, говоритъ, сироты мои ожили, а теперь на что? Да я передъ сиротками моими какой грѣхъ приму!» Склонилъ и архимандрита, подулъ и тотъ въ ухо: «Ты, говоритъ, въ немъ новаго человѣка воззвать можешь». Ужаснулась она. А люди-то на нее удивляются: «Ужъ и какъ же это можно, чтобъ отъ такого счастья отказываться!» И вотъ чѣмъ онъ ее въ концѣ покорилъ: «Все же онъ, говоритъ, самоубивецъ, и не младенецъ, а ужъ отрокъ, и по лѣтамъ ко святому причастію его уже прямо допустить нельзя было, а, стало быть, все же онъ хотя бы нѣкій отвѣтъ долженъ дать. Если же вступишь со мной въ супружество, то великое обѣщаніе даю: выстрою новый храмъ токмо на вѣчный поминъ души его». Противъ сего не устояла и согласилась. Такъ и повѣнчались.

И вышло всѣмъ на удивленіе. Стали они жить съ самаго перваго дня, въ великомъ и нелицемѣрномъ согласіи, опасно соблюдая свое супружество, и

какъ единая душа въ двухъ тѣлесахъ. Зачала она въ ту же зиму, и стали они посѣщать храмы Божіи и трепетать гнѣва Господня. Были въ трехъ монастыряхъ и внимали пророчествамъ. Онъ же соорудилъ обѣщанный храмъ, и выстроилъ въ городѣ больницу и богадѣльню. Отдѣлилъ капиталъ на вдовъ и сиротъ. И вспомнилъ всѣхъ, кого обидѣлъ, и возжелалъ возвратить; деньги же сталъ выдавать безмѣрно, такъ что уже супруга и архимадритъ придержали за руки, ибо «довольно, говорятъ, и сего». Послушался Максимъ Ивановичъ. «Я, говоритъ, въ тотъ разъ Ѳому обсчиталъ». Ну, Ѳомѣ отдали. А Ѳома такъ даже заплакалъ: «Я, говоритъ, я и такъ... Многимъ и безъ того довольны и вѣчно обязаны Богу молить». Всѣхъ, стало быть, проникло оно, и значитъ правду говорятъ, что хорошимъ примѣромъ будетъ живъ человѣкъ. А народъ тамъ добрый.

Фабрикой сама супруга стала орудовать и такъ, что и теперь вспоминаютъ. Пить не пересталъ, но стала она его въ эти самые дни соблюдать, а потомъ и лѣчить. Рѣчь его стала степенная, и даже самый голосъ измѣнился. Сталъ жалостливъ безпримѣрно, даже къ скотамъ: увидалъ изъ окна, какъ мужикъ стегалъ лошадь по головѣ безобразно, и тотчасъ выслалъ и купилъ у него лошадь, за вдвое цѣны. И получилъ даръ слезный: кто бы съ нимъ ни заговорилъ, такъ и зальется слезами. Когда же приспѣло время ея, внялъ, наконецъ, Господь ихъ молитвамъ и послалъ имъ сына, и сталъ Максимъ Ивановичъ, еще въ первый разъ съ тѣхъ поръ, свѣтелъ; много милостыни роздалъ, много долговъ простилъ, на крестины созвалъ весь городъ. Созвалъ онъ это весь городъ, а на другой день,

какъ ночь, вышелъ. Видитъ супруга, что съ нимъ нѣчто сталось, и поднесла къ нему новорожденнаго: «Простилъ, говоритъ, насъ отрокъ, внялъ слезамъ и молитвамъ за него нашимъ». А о семъ предметѣ, надо такъ сказать, они во весь годъ ни разу не сказали слова, а лишь оба про себя содержали. И поглядѣлъ на нее Максимъ Ивановичъ мрачно, какъ ночь: «Подожди, говоритъ: онъ, почитай, весь годъ не приходилъ, а въ сію ночь опять приснился». — «Тутъ-то въ первый разъ проникъ и въ мое сердце ужасъ, послѣ сихъ странныхъ словъ», припоминала потомъ.

И не напрасно приснился отрокъ. Только что Максимъ Ивановичъ о семъ изрекъ, почти, такъ сказать, въ самую ту минуту приключилось съ новорожденнымъ нѣчто: вдругъ захворалъ. И болѣло дитя восемь дней, молились неустанно и докторовъ призывали, и выписали изъ Москвы самаго перваго доктора по чугункѣ. Прибылъ докторъ, разсердился: «Я, говоритъ, — самый первый докторъ, меня вся Москва ожидаетъ». Прописалъ капель и уѣхалъ поспѣшно. Восемьсотъ рублей увезъ. А ребеночекъ къ вечеру померъ.

И что же за симъ? Отписалъ Максимъ Ивановичъ все имущество любезной супругѣ, выдалъ ей всѣ капиталы и документы, завершилъ все правильно и законнымъ порядкомъ, а затѣмъ сталъ передъ ней и поклонился ей до земли: «Отпусти ты меня, безцѣнная супруга моя, душу мою спасти, пока можно. Ежели время мое безъ успѣха душѣ проведу, то назадъ уже не возвращусь. Былъ я твердъ и жестокъ, и тягости налагалъ, но мню, что за скорби и странствія предстоящія не оставитъ безъ воздаянія Господь, ибо оставить все сіе есть не ма-

лый крестъ и не малая скорбь». И унимала его супруга со многими слезами: «Ты мнѣ единъ теперь на землѣ, на кого же останусь? Я, говоритъ, за годъ въ сердцѣ милость нажила». И увѣщевали всѣмъ городомъ цѣлый мѣсяцъ, и молили его, и положили силой стеречь. Но не послушалъ ихъ, и ночью скрытно вышелъ и болѣе уже не возвращался. А, слышно, подвизается въ странствіяхъ и терпѣніи даже до сегодня, а супругу милую извѣщаетъ ежегодно . . .

Глава четвертая.

I.

Теперь приступлю къ окончательной катастрофѣ, завершающей мои записки. Но чтобъ продолжать дальше, я долженъ предварительно забѣжать впередъ и объяснить нѣчто, о чемъ я совсѣмъ въ то время не зналъ, когда дѣйствовалъ, но о чемъ узналъ и что разъяснилъ себѣ вполнѣ уже гораздо позже, то есть тогда, когда все уже кончилось. Иначе не сумѣю быть яснымъ, такъ какъ пришлось бы все писать загадками. И потому сдѣлаю прямое и простое разъясненіе, жертвуя такъ называемою художественностью, и сдѣлаю такъ, какъ бы и не я писалъ, безъ участія моего сердца, а въ родѣ какъ бы entrefilet въ газетахъ.

Дѣло въ томъ, что товарищъ моего дѣтства Ламбертъ очень и даже прямо могъ бы быть причисленъ къ тѣмъ мерзкимъ шайкамъ мелкихъ пройдохъ, которыя сообщаются взаимно ради того, что̀ называютъ теперь шантажемъ и на что̀ подыскиваютъ теперь въ сводѣ законовъ опредѣленія и наказанія. Шайка, въ которой участвовалъ Ламбертъ, завелась еще въ Москвѣ и уже надѣлала тамъ довольно проказъ (впослѣдствіи она была обнаружена). Я слышалъ потомъ, что въ Москвѣ

у нихъ, нѣкоторое время, былъ чрезвычайно опытный и неглупый руководитель и уже пожилой человѣкъ. Пускались они въ свои предпріятія и всею шайкою, и по частямъ. Производили же, рядомъ съ самыми грязненькими и нецензурными вещами (о которыхъ, впрочемъ, извѣстія уже являлись въ газетахъ) — и довольно сложныя и даже хитрыя предпріятія, подъ руководствомъ ихъ шефа. Объ нѣкоторыхъ я потомъ узналъ, но не буду передавать подробностей. Упомяну лишь, что главный характеръ ихъ пріемовъ состоялъ въ томъ, чтобъ разузнать кой-какіе секреты людей, иногда честнѣйшихъ и довольно высоко поставленныхъ; затѣмъ они являлись къ этимъ лицамъ и грозили обнаружить документы (которыхъ иногда совсѣмъ у нихъ не было) и за молчаніе требовали выкупъ. Есть вещи и не грѣшныя, и совсѣмъ не преступныя, но обнаруженія которыхъ испугается даже порядочный и твердый человѣкъ. Били они большею частью на семейныя тайны. Чтобъ указать, какъ ловко дѣйствовалъ иногда ихъ шефъ, разскажу, безо всякихъ подробностей и въ трехъ только строкахъ, объ одной ихъ продѣлкѣ. Въ одномъ весьма честномъ домѣ случилось, дѣйствительно, и грѣшное, и преступное дѣло; а именно, жена одного извѣстнаго и уважаемаго человѣка вошла въ тайную любовную связь съ однимъ молодымъ и богатымъ офицеромъ. Они это пронюхали и поступили такъ: прямо дали знать молодому человѣку, что увѣдомятъ мужа. Доказательствъ у нихъ не было ни малѣйшихъ, и молодой человѣкъ про это зналъ отлично, да и сами они отъ него не таились; но вся ловкость пріема и вся хитрость расчета состояла въ томъ случаѣ лишь въ томъ

соображеніи, что увѣдомленный мужъ и безъ всякихъ доказательствъ поступитъ точно такъ же и сдѣлаетъ тѣ же самые шаги, какъ если бъ получилъ самыя математическія доказательства. Они били тутъ на знаніе характера этого человѣка и на знаніе его семейныхъ обстоятельствъ. Главное то, что въ шайкѣ участвовалъ одинъ молодой человѣкъ изъ самаго порядочнаго круга и которому удалось предварительно достать свѣдѣнія. Съ любовника они содрали очень недурную сумму и безо всякой для себя опасности, потому что жертва сама жаждала тайны.

Ламбертъ, хоть и участвовалъ, но всецѣло къ той московской шайкѣ не принадлежалъ; войдя же во вкусъ, началъ помаленьку и въ видѣ пробы дѣйствовать отъ себя. Скажу заранѣе: онъ на это былъ не совсѣмъ способенъ. Былъ онъ весьма не глупъ и расчетливъ, но горячъ и, сверхъ того, простодушенъ или, лучше сказать, наивенъ, то есть не зналъ ни людей, ни общества. Онъ, напримѣръ, вовсе, кажется, не понималъ значенія того московскаго шефа и полагалъ, что направлять и организовать такія предпріятія очень легко. Наконецъ, онъ предполагалъ чуть не всѣхъ такими же подлецами, какъ самъ. Или, напримѣръ, разъ вообразивъ, что такой-то человѣкъ боится или долженъ бояться потому-то и потому-то, онъ уже и не сомнѣвался въ томъ, что тотъ, дѣйствительно, боится, какъ въ аксіомѣ. Не умѣю я это выразить; впослѣдствіи разъясню яснѣе фактами, но, по-моему, онъ былъ довольно грубо развитъ, а въ иныя добрыя, благородныя чувства не то что не вѣрилъ, даже, можетъ быть, не имѣлъ о нихъ и понятія.

Прибылъ онъ въ Петербургъ, потому что давно уже помышлялъ о Петербургѣ, какъ о поприщѣ болѣе широкомъ, чѣмъ Москва, и еще потому, что въ Москвѣ онъ гдѣ-то и какъ-то попалъ впросакъ и его кто-то разыскивалъ съ самыми дурными на его счетъ намѣреніями. Прибывъ въ Петербургъ, тотчасъ же вошелъ въ сообщеніе съ однимъ прежнимъ товарищемъ, но поле нашелъ скудное, дѣла мелкія. Знакомство потомъ разрослось, но ничего не составлялось: «Народъ здѣсь дрянной, тутъ одни мальчишки», говорилъ онъ мнѣ самъ потомъ. И вотъ въ одно прекрасное утро, на разсвѣтѣ, онъ вдругъ находитъ меня замерзшаго подъ заборомъ и прямо нападаетъ на слѣдъ «богатѣйшаго», по его мнѣнію, «дѣла».

Все дѣло оказалось въ моемъ враньѣ, когда я оттаялъ тогда у него на квартирѣ. О, я былъ тогда какъ въ бреду! Но изъ словъ моихъ все-таки выступило ясно, что я изъ всѣхъ моихъ обидъ того рокового дня всего болѣе запомнилъ и держалъ на сердцѣ лишь обиду отъ Бьоринга и отъ *нея:* иначе я бы не бредилъ объ этомъ одномъ у Ламберта; а бредилъ бы, напримѣръ, и о Зерщиковѣ; между тѣмъ, оказалось лишь первое, какъ узналъ я впослѣдствіи отъ самого Ламберта. И къ этому же, я былъ въ восторгѣ, и на Ламберта, и на Альфонсину смотрѣлъ въ то ужасное утро какъ на какихъ-то освободителей и спасителей. Когда потомъ, выздоравливая, я соображалъ, еще лежа въ постели: что бы могъ узнать Ламбертъ изъ моего вранья и до какой именно степени я ему проврался? — то ни разу не приходило ко мнѣ даже подозрѣнія, что онъ могъ такъ много тогда узнать! О, конечно, судя по угрызеніямъ совѣсти, я уже и

тогда подозрѣвалъ, что, должно быть, насказалъ много лишняго, но, повторяю, никакъ не могъ предположить, что до такой степени! Надѣялся тоже и расчитывалъ на то, что я и выговаривать слова тогда у него не въ силахъ былъ ясно, объ чемъ у меня осталось твердое воспоминаніе, а между тѣмъ, оказалось на дѣлѣ, что я и выговаривалъ тогда гораздо яснѣе, чѣмъ потомъ предполагалъ и чѣмъ надѣялся. Но главное то, что все это обнаружилось лишь потомъ и долго спустя, а въ томъ-то и заключалась моя бѣда.

Изъ моего бреда, вранья, лепета, восторговъ и проч. онъ узналъ во-первыхъ: почти всѣ фамиліи въ точности, и даже иные адресы. Во-вторыхъ, составилъ довольно приблизительное понятіе о значеніи этихъ лицъ (стараго князя, ея, Бьоринга, Анны Андреевны и даже Версилова); третье, узналъ, что я оскорбленъ и грожусь отмстить и, наконецъ, четвертое, главнѣйшее: узналъ, что существуетъ такой документъ, таинственный и спрятанный, такое письмо, которое если показать полусумасшедшему старику-князю, то онъ, прочтя его и узнавъ, что собственная дочь считаетъ его сумасшедшимъ и уже «совѣтовалась съ юристами» о томъ, какъ бы его засадить, — или сойдетъ съ ума окончательно, или прогонитъ ее изъ дому и лишитъ наслѣдства, или женится на одной m-lle Версиловой, на которой уже хочетъ жениться, и чего ему не позволяютъ. Однимъ словомъ, Ламбертъ очень много понялъ; безъ сомнѣнія, ужасно много оставалось темнаго, но шантажный искусникъ все-таки попалъ на вѣрный слѣдъ. Когда я убѣжалъ потомъ отъ Альфонсины, онъ немедленно разыскалъ мой адресъ (самымъ простымъ сред-

ствомъ — въ адресномъ столѣ); потомъ немедленно сдѣлалъ надлежащія справки, изъ коихъ узналъ, что всѣ эти лица, о которыхъ я ему вралъ, существуютъ дѣйствительно. Тогда онъ прямо приступилъ къ первому шагу.

Главнѣйшее состояло въ томъ, что существуетъ *документъ* и что обладатель его — я, и что этотъ документъ имѣетъ высокую цѣнность: въ этомъ Ламбертъ не сомнѣвался. Здѣсь опускаю одно обстоятельство, о которомъ лучше будетъ сказать впослѣдствіи и въ своемъ мѣстѣ, но упомяну лишь о томъ, что обстоятельство это наиглавнѣйше утвердило Ламберта въ убѣжденіи о дѣйствительномъ существованіи и, главное, о цѣнности документа. (Обстоятельство роковое, предупреждаю впередъ, котораго я то ужъ никакъ вообразить не могъ не только тогда, но даже до самаго конца всей исторіи, когда все вдругъ рушилось и разъяснилось само собой). Итакъ, убѣжденный въ главномъ, онъ, первымъ шагомъ, поѣхалъ къ Аннѣ Андреевнѣ.

А, между тѣмъ, для меня до сихъ поръ задача: какъ могъ онъ, Ламбертъ, профильтроваться и присосаться къ такой неприступной и высшей особѣ, какъ Анна Андреевна? Правда, онъ взялъ справки, но что жъ изъ этого? Правда, онъ былъ одѣтъ прекрасно, говорилъ по-парижски и носилъ французскую фамилію, но вѣдь не могла же Анна Андреевна не разглядѣть въ немъ тотчасъ же мошенника? Или предположить, что мошенника-то ей и надо было тогда. Но неужели такъ?

Я никогда не могъ узнать подробностей ихъ свиданія, но много разъ потомъ представлялъ себѣ въ воображеніи эту сцену. Вѣроятнѣе всего, что

Ламбертъ съ перваго слова и жеста разыгралъ передъ нею моего друга дѣтства, трепещущаго за любимаго и милаго товарища. Но, ужъ конечно, въ это же первое свиданіе сумѣлъ очень ясно намекнуть и на то, что у меня «документъ», дать знать, что это — тайна, что одинъ только онъ, Ламбертъ, обладаетъ этой тайной, и что я собираюсь отмстить этимъ документомъ генеральшѣ Ахмаковой и проч., и проч. Главное, могъ разъяснить ей, какъ можно точнѣе, значеніе и цѣнность этой бумажки. Что же до Анны Андреевны, то она именно находилась въ такомъ положеніи, что не могла не уцѣпиться за извѣстіе о чемъ-нибудь въ этомъ родѣ, не могла не выслушать съ чрезвычайнымъ вниманіемъ и... не могла не пойти на удочку «изъ борьбы за существованіе». У ней именно, какъ-разъ къ тому времени, сократили ея жениха и увезли подъ опеку въ Царское, да еще взяли и ее самое подъ опеку. И вдругъ такая находка: тутъ ужъ пойдутъ не бабьи нашептыванія на ухо, не слезныя жалобы, не наговоры и сплетни, а тутъ письмо, манускриптъ, то есть математическое доказательство коварства намѣреній его дочки и всѣхъ тѣхъ, которые его отъ нея отнимаютъ, и что, стало быть, надо спасаться, хотя бы бѣгствомъ, все къ ней же, все къ той же Аннѣ Андреевнѣ, и обвѣнчаться съ нею хоть въ двадцать четыре часа: не то какъ-разъ конфискуютъ въ сумасшедшій домъ.

А, можетъ быть, и то, что Ламбертъ совсѣмъ не хитрилъ съ этою дѣвицею, даже ни минуты, а такъ-таки и брякнулъ съ перваго слова: «М-ile, или оставайтесь старой дѣвой, или становитесь княгиней-милліоншицей: вотъ документъ, а я его у подростка выкраду и вамъ передамъ . . . за вексель отъ

васъ въ тридцать тысячъ». Я даже думаю, что именно такъ и было. О, онъ всѣхъ считалъ такими же подлецами, какъ самъ; повторяю, въ немъ было какое-то простодушіе подлеца, невинность подлеца... Такъ или этакъ, а весьма можетъ быть, что и Анна Андреевна, даже и при такомъ приступѣ, не смутилась ни на минуту, а отлично сумѣла сдержать себя и выслушать шантажника, говорившаго своимъ слогомъ — и все изъ «широкости». Ну, разумѣется, сперва покраснѣла немножко, а тамъ скрѣпилась и выслушала. И какъ воображу эту неприступную, гордую, дѣйствительно достойную дѣвушку и съ такимъ умомъ, рука въ руку съ Ламбертомъ, то... вотъ то-то съ умомъ! Русскій умъ, такихъ размѣровъ, до широкости охотникъ, — да еще женскій, да еще при такихъ обстоятельствахъ!

Теперь сдѣлаю резюме: ко дню и часу моего выхода послѣ болѣзни Ламбертъ стоялъ на слѣдующихъ двухъ точкахъ (это-то ужъ я теперь навѣрно знаю): первое, взять съ Анны Андреевны за документъ вексель не менѣе какъ въ тридцать тысячъ и затѣмъ помочь ей напугать князя, похитить его и съ нимъ вдругъ обвѣнчать ее — однимъ словомъ, въ этомъ родѣ. Тутъ даже составленъ былъ цѣлый планъ; ждали только моей помощи, то есть самаго документа.

Второй проектъ: измѣнить Аннѣ Андреевнѣ, бросить ее и продать бумагу генеральшѣ Ахмаковой, если будетъ выгоднѣе. Тутъ расчитывалось и на Бьоринга. Но къ генеральшѣ Ламбертъ еще не являлся, а только ее выслѣдилъ. Тоже ждалъ меня.

О, я ему былъ нуженъ, то есть, не я, а документъ! Насчетъ меня у него составилось тоже два

плана. Первый состоялъ въ томъ, что если ужъ нельзя иначе, то дѣйствовать со мной вмѣстѣ и взять меня въ половину, предварительно овладѣвъ мною и нравственно, и физически. Но второй планъ улыбался ему гораздо больше; онъ состоялъ въ томъ, чтобъ надуть меня, какъ мальчишку, и выкрасть у меня документъ или даже просто отнять его у меня силой. Этотъ планъ былъ излюбленъ и взлелѣянъ въ мечтахъ его. Повторяю: было одно такое обстоятельство, черезъ которое онъ почти не сомнѣвался въ успѣхѣ второго плана, но, какъ сказалъ уже я, объясню это послѣ. Во всякомъ случаѣ, ждалъ меня съ судорожнымъ нетерпѣніемъ: все отъ меня зависѣло, всѣ шаги и на что рѣшиться.

И надо ему отдать справедливость: до времени онъ себя выдержалъ, несмотря на горячность. Онъ не являлся ко мнѣ на домъ во время болѣзни, — разъ только приходилъ и видѣлся съ Версиловымъ; онъ не тревожилъ, не пугалъ меня, сохранилъ передо мной ко дню и часу моего выхода видъ самой полной независимости. Насчетъ же того, что я могъ передать или сообщить, или уничтожить документъ, то въ этомъ онъ былъ спокоенъ. Изъ моихъ словъ у него онъ могъ заключить, какъ я самъ дорожу тайной и какъ боюсь, чтобы кто не узналъ про документъ. А что я приду къ нему первому, а не къ кому другому, въ первый же день по выздоровленіи, то и въ этомъ онъ не сомнѣвался нимало: Дарья Онисимовна приходила ко мнѣ отчасти по его приказанію, и онъ зналъ, что любопытство и страхъ уже возбуждены, что я не выдержу . . . Да къ тому же онъ взялъ всѣ мѣры, могъ знать даже день моего выхода, такъ что я никакъ

не могъ отъ него отвернуться, если бъ даже захотѣлъ того.

Но если ждалъ меня Ламбертъ, то еще пуще, можетъ быть, ждала меня Анна Андреевна. Прямо скажу: Ламбертъ отчасти могъ быть и правъ, готовясь ей измѣнить, и вина была на ея сторонѣ. Несмотря на несомнѣнное ихъ соглашеніе (въ какой формѣ — не знаю, но въ которомъ не сомнѣваюсь), — Анна Андреевна до самой послѣдней минуты была съ нимъ не вполнѣ откровенна. Не раскрылась на всю распашку. Она намекнула ему на всѣ согласія съ своей стороны и на всѣ обѣщанія, — но только лишь намекнула; выслушала, можетъ быть, весь его планъ до подробностей, но одобрила лишь молчаніемъ. Я имѣю твердыя данныя такъ заключить, а причина тому та, что — *ждала меня*. Она лучше хотѣла имѣть дѣло со мной, чѣмъ съ мерзавцемъ Ламбертомъ — вотъ несомнѣнный для меня фактъ! Это я понимаю; но ошибка ея состояла въ томъ, что это понялъ, наконецъ, и Ламбертъ. А ему слишкомъ было бы невыгодно, если бъ она, мимо его, выманила у меня документъ и вошла бы со мной въ соглашеніе. Къ тому же, въ то время онъ уже былъ увѣренъ въ крѣпости «дѣла». Другой бы на его мѣстѣ трусилъ и все бы еще сомнѣвался, но Ламбертъ былъ молодъ, дерзокъ, съ нетерпѣливѣйшей жаждой наживы, мало зналъ людей и несомнѣнно предполагалъ ихъ всѣхъ подлыми; такой усомниться не могъ, тѣмъ болѣе, что уже выпыталъ у Анны Андреевны всѣ главнѣйшія подтвержденія.

Послѣднее словечко и важнѣйшее: зналъ ли что-нибудь къ тому дню Версиловъ и участвовалъ ли уже тогда въ какихъ-нибудь хоть отдаленныхъ планахъ съ Ламбертомъ? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ,

тогда еще нѣтъ, хотя, можетъ быть, уже было закинуто роковое словцо... Но довольно, довольно, я слишкомъ забѣгаю впередъ.

Ну, а я-то что же? Зналъ ли я что-нибудь, и что я зналъ ко дню выхода! Начиная это entre-filet, я увѣдомилъ, что ничего не зналъ ко дню выхода, что узналъ обо всемъ слишкомъ позже и даже тогда, когда уже все совершилось. Это правда, но такъ ли вполнѣ? Нѣтъ, не такъ; я уже зналъ кое-что несомнѣнно, зналъ даже слишкомъ много, но какъ? Пусть читатель вспомнитъ про *Сонъ!* Если ужъ могъ быть такой сонъ, если ужъ могъ онъ вырваться изъ моего сердца и такъ формулироваться, то, значитъ, я страшно много — не зналъ, а *предчувствовалъ* изъ того самаго, что сейчасъ разъяснилъ и что въ самомъ дѣлѣ узналъ лишь тогда, «когда уже все кончилось». Знанія не было, но сердце билось отъ предчувствій, и злые духи уже овладѣли моими снами. И вотъ, къ этакому человѣку я рвался, вполнѣ зная, что это за человѣкъ и предчувствуя даже подробности! И зачѣмъ я рвался? Представьте: мнѣ теперь, вотъ въ эту минуту, какъ я пишу, кажется, что я уже тогда зналъ во всѣхъ подробностяхъ, зачѣмъ я рвался къ нему, тогда какъ, опять-таки, я еще ничего не зналъ. Можетъ быть, читатель это пойметъ. А теперь — къ дѣлу и фактъ за фактомъ.

II.

Началось съ того, что еще за два дня до моего выхода Лиза воротилась ввечеру вся въ тревогѣ. Она была страшно оскорблена; и дѣйствительно, съ нею случилось нѣчто нестерпимое.

Я упомянулъ уже о ея сношеніяхъ съ Васинымъ. Она пошла къ нему не потому лишь, чтобъ показать намъ, что въ насъ не нуждается, а и потому, что дѣйствительно цѣнила Васина. Знакомство ихъ началось еще съ Луги, и мнѣ всегда казалось, что Васинъ былъ къ ней неравнодушенъ. Въ несчастьѣ, ее поразившемъ, она естественно могла пожелать совѣта отъ ума твердаго, спокойнаго, всегда возвышеннаго, который предполагала въ Васинѣ. Къ тому же женщины небольшія мастерицы въ оцѣнкѣ мужскихъ умовъ, если человѣкъ имъ нравится, и парадоксы съ удовольствіемъ принимаютъ за строгіе выводы, если тѣ согласны съ ихъ собственными желаніями. Въ Васинѣ Лиза любила симпатію къ своему положенію и, какъ показалось ей съ первыхъ разовъ, — симпатію и къ князю. Подозрѣвая при томъ его чувства къ себѣ, она не могла не оцѣнить въ немъ симпатіи къ его сопернику. Князь же, которому она сама передала, что ходитъ иногда совѣтоваться къ Васину, принялъ это извѣстіе съ чрезвычайнымъ безпокойствомъ съ самаго перваго раза; онъ сталъ ревновать ее. Лиза была этимъ оскорблена, такъ что нарочно уже продолжала сношенія съ Васинымъ. Князь примолкъ, но былъ мраченъ. Лиза же сама мнѣ потомъ призналась (очень долго спустя), что Васинъ даже очень скоро пересталъ ей тогда нравиться; онъ былъ спокоенъ, и именно это-то вѣчное ровное спокойствіе, столь понравившееся ей вначалѣ, показалось ей потомъ довольно неприглядным. Казалось бы, онъ былъ дѣловитъ, и, дѣйствительно, далъ ей нѣсколько хорошихъ съ виду совѣтовъ, но всѣ эти совѣты, какъ нарочно, оказались неисполнимыми. Судилъ

же иногда слишкомъ свысока и нисколько передъ нею не конфузясь, — не конфузясь, чѣмъ дальше, тѣмъ больше, — что и приписала она возроставшему и невольному его пренебреженію къ ея положенію. Разъ она поблагодарила его за то, что онъ постоянно ко мнѣ благодушенъ и, будучи такъ выше меня по уму, разговариваетъ со мной какъ съ ровней (то есть передала ему мои же слова). Онъ ей отвѣтилъ:

— Это не такъ и не оттого. Это оттого, что я не вижу въ немъ никакой разницы съ другими. Я не считаю его ни глупѣе умныхъ, ни злѣе добрыхъ. Я ко всѣмъ одинаковъ, потому что въ моихъ глазахъ всѣ одинаковы.

— Какъ, неужели не видите различій?

— О, конечно, всѣ чѣмъ-нибудь другъ отъ друга разнятся, но въ моихъ глазахъ различій не существуетъ, потому что различія людей до меня не касаются: для меня всѣ равны и все равно, а потому я со всѣми одинаково добръ.

— И вамъ такъ не скучно?

— Нѣтъ; я всегда доволенъ собой.

— И вы ничего не желаете?

— Какъ не желать? Но не очень. Мнѣ почти ничего не надо, ни рубля сверхъ. Я въ золотомъ платьѣ и я какъ есть, — это все равно, золотое платье ничего не прибавитъ Васину. Куски не соблазняютъ меня: могутъ ли мѣста или почести стоить того мѣста, котораго я стою?

Лиза увѣряла меня честью, что онъ высказалъ это разъ буквально. Впрочемъ, тутъ нельзя судить, а надо знать обстоятельства, при которыхъ высказано.

Мало-по-малу, Лиза пришла къ заключенію, что

и къ князю онъ относится снисходительно, можетъ, потому лишь, что для него всѣ равны и «не существуетъ различій», а вовсе не изъ симпатіи къ ней; но подъ конецъ онъ какъ-то видимо сталъ терять свое равнодушіе, и къ князю началъ относиться не только съ осужденіемъ, но и съ презрительной ироніей. Это разгорячило Лизу, но Васинъ не унялся. Главное, онъ всегда выражался такъ мягко, даже и осуждалъ безъ негодованія, а просто лишь логически выводилъ о всей ничтожности ея героя; но въ этой-то логичности и заключалась иронія. Наконецъ, почти прямо вывелъ передъ нею всю «неразумность» ея любви, всю упрямую насильственность этой любви. «Вы въ своихъ чувствахъ заблудились, а заблужденія, разъ сознанныя, должны быть непремѣнно исправлены».

Это было какъ разъ въ тотъ день; Лиза въ негодованіи встала съ мѣста, чтобъ уйти, но что же сдѣлалъ и чѣмъ кончилъ этотъ разумный человѣкъ? Съ самымъ благороднымъ видомъ, и даже съ чувствомъ, предложилъ ей свою руку. Лиза тутъ же назвала его прямо въ глаза дуракомъ и вышла.

Предложить измѣну несчастному потому, что этотъ несчастный «не стоитъ» ея, и, главное, предложить это беременной отъ этого несчастнаго женщинѣ, — вотъ умъ этихъ людей! Я называю это страшною теоретичностью и совершеннымъ незнаніемъ жизни, происходящимъ отъ безмѣрнаго самолюбія. И вдобавокъ ко всему, Лиза самымъ яснымъ образомъ разглядѣла, что онъ даже гордился своимъ поступкомъ, хотя бы потому, напримѣръ, что зналъ уже о ея беременности. Со слезами негодованія она поспѣшила къ князю, и тотъ, — тотъ даже перещеголялъ Васина: кажется

бы, могъ убѣдиться послѣ разсказа, что уже ревновать теперь нечего; но тутъ-то онъ и сошелъ съ ума. Впрочемъ, ревнивые всѣ таковы! Онъ сдѣлалъ ей страшную сцену и оскорбилъ ее такъ, что она было рѣшилась порвать съ нимъ тутъ же всѣ отношенія.

Она пришла, однакоже, домой, еще сдерживаясь, но мамѣ не могла не признаться. О, въ тотъ вечеръ онѣ сошлись опять совершенно какъ прежде: ледъ былъ разбитъ; обѣ, разумѣется, наплакались, по ихъ обыкновенію, обнявшись, и Лиза, повидимому, успокоилась, хотя была очень мрачна. Вечеръ у Макара Ивановича она просидѣла не говоря ни слова, но и не покидая комнаты. Она очень слушала, что онъ говорилъ. Съ того разу съ скамейкой она стала къ нему чрезвычайно и какъ-то робко почтительна, хотя все оставалась неразговорчивою.

Но въ этотъ разъ Макаръ Ивановичъ какъ-то неожиданно и удивительно повернулъ разговоръ; замѣчу, что Версиловъ и докторъ очень нахмуренно разговаривали поутру о его здоровьѣ. Замѣчу тоже, что у насъ въ домѣ уже нѣсколько дней какъ приготовлялись справлять день рожденія мамы, приходившійся ровно черезъ пять дней, и часто говорили объ этомъ. Макаръ Ивановичъ, по поводу этого дня, почему-то вдругъ ударился въ воспоминанія и припомнилъ дѣтство мамы и то время, когда она еще «на ножкахъ не стояла». «У меня съ рукъ не сходила, — вспоминалъ старикъ: — бывало и ходить учу, поставлю въ уголокъ шага за три, да и зову ее, а она-то ко мнѣ колыхается черезъ комнату, и не боится, смѣется, а добѣжитъ до меня — бросится и за шею обыметъ. Сказки я

тебѣ потомъ разсказывалъ, Софья Андреевна; до сказокъ ты у меня большая была охотница; часа по два на колѣняхъ у меня сидитъ — слушаетъ. Въ избѣ-то дивятся: «Ишь къ Макару какъ привязалась». А то унесу тебя въ лѣсъ, отыщу малиновый кустъ, посажу у малины, а самъ тебѣ свистульки изъ дерева рѣжу. Нагуляемся и назадъ домой на рукахъ несу — спитъ младенчикъ. А то разъ волка испугалась, бросилась ко мнѣ, вся трепещетъ, а и никакого волка не было».

— Это я помню, — сказала мама.

— Неужто помнишь?

— Многое помню. Какъ только себя въ жизни запомнила, съ тѣхъ поръ любовь и милость вашу надъ собой увидѣла, — проникнутымъ голосомъ проговорила она и вся вдругъ вспыхнула.

Макаръ Ивановичъ переждалъ немного:

— Простите, дѣтки, отхожу. Нынѣ урокъ житію моему приспѣлъ. Въ старости обрѣлъ утѣшеніе отъ всѣхъ скорбей; спасибо вамъ, милые.

— Полноте, Макаръ Ивановичъ, голубчикъ, — воскликнулъ, нѣсколько встревожась, Версиловъ:— мнѣ докторъ давеча говорилъ, что вамъ несравненно легче...

Мама прислушалась испуганно.

— Ну, что онъ знаетъ, твой Александръ Семенычъ, — улыбнулся Макаръ Ивановичъ: — милый онъ человѣкъ, а и не болѣе. Полноте, други, али думаете, что я помирать боюсь? Было у меня сегодня, послѣ утренней молитвы, такое въ сердцѣ чувство, что ужъ болѣе отсюда не выйду; сказано было. Ну, и что же, да будетъ благословенно имя Господне; только на васъ еще на всѣхъ наглядѣться хочется. И Іовъ многострадальный, глядя

на новыхъ своихъ дѣтушекъ, утѣшался, а забылъ ли прежнихъ, и могъ ли забыть ихъ — невозможно сіе! Только съ годами печаль какъ бы съ радостью вмѣстѣ смѣшивается, въ воздыханіе свѣтлое преобразуется. Такъ-то въ мірѣ: всякая душа и испытуема, и утѣшена. Положилъ я, дѣтки, вамъ словечко сказать одно, небольшое, — продолжалъ онъ съ тихой прекрасной улыбкой, которую я никогда не забуду, и обратился вдругъ ко мнѣ; — ты, милый, церкви святой ревнуй, и аще позоветъ время — и умри за нее; да подожди, не пугайся, не сейчасъ, — усмѣхнулся онъ. — Теперь ты, можетъ быть, о семъ и не думаешь, потомъ, можетъ, подумаешь. Только вотъ что̀ еще: что̀ благое дѣлать замыслишь, то дѣлай для Бога, а не зависти ради. Дѣла же своего твердо держись и не сдавай черезъ всякое малодушіе; дѣлай же постепенно, не бросаясь и не кидаясь; ну, вотъ и все, что̀ тебѣ надо. Развѣ, только молитву пріучайся творить ежедневно и неуклонно. Я это такъ только, авось когда припомнишь. Хотѣлъ было я и вамъ, Андрей Петровичъ, сударь, кой-что сказать, да Богъ и безъ меня ваше сердце найдетъ. Да и давно ужъ мы съ вами о семъ прекратили съ тѣхъ поръ, какъ сія стрѣла сердце мое пронзила. Нынѣ же отходя, лишь напомню . . . о чемъ тогда пообѣщали . . .

Онъ почти прошепталъ послѣднія слова, потупившись.

— Макаръ Ивановичъ! — смущенно проговорилъ Версиловъ и всталъ со стула.

— Ну, ну, не смущайтесь, сударь, я только такъ напомнилъ . . . А виновенъ въ семъ дѣлѣ Богу всѣхъ больше я; ибо хоть и господинъ мой были, но все

же не долженъ былъ я слабости сей попустить. Посему и ты, Софья, не смущай свою душу слишкомъ, ибо весь твой грѣхъ — мой, а въ тебѣ такъ мыслю и разумѣніе-то врядъ ли тогда было, а пожалуй и въ васъ тоже, сударь, вкупѣ съ нею, — улыбнулся онъ съ задрожавшими отъ какой-то боли губами: — и хоть могъ бы я тогда поучить тебя, супруга моя, даже жезломъ, да и долженъ былъ, но жалко стало, какъ предо мной упала въ слезахъ и ничего не потаила . . . ноги мои цѣловала. Не въ укоръ тебѣ вспомнилъ сіе, возлюбленная, а лишь въ напоминаніе Андрею Петровичу . . . ибо сами, сударь, помните дворянское обѣщаніе ваше, а вѣнцомъ все прикрывается . . . При дѣткахъ говорю, сударь-батюшка . . .

Онъ былъ чрезвычайно взволнованъ и смотрѣлъ на Версилова, какъ бы ожидая отъ него подтвердительнаго слова. Повторяю, все это было такъ неожиданно, что я сидѣлъ безъ движенія. Версиловъ былъ взволнованъ даже не меньше его: онъ молча подошелъ къ мамѣ и крѣпко обнялъ ее; затѣмъ мама подошла, и тоже молча, къ Макару Ивановичу и поклонилась ему въ ноги.

Однимъ словомъ, сцена вышла потрясающая; въ комнатѣ на сей разъ были мы только всѣ свои, даже Татьяны Павловны не было. Лиза какъ-то выпрямилась вся на мѣстѣ и молча слушала; вдругъ встала и твердо сказала Макару Ивановичу:

— Благословите и меня, Макаръ Ивановичъ, на большую муку. Завтра рѣшится вся судьба моя... а вы сегодня обо мнѣ помолитесь.

И вышла изъ комнаты. Я знаю, что Макару Ивановичу уже извѣстно было о ней все отъ мамы. Но я въ первый разъ еще въ этотъ вечеръ увидалъ

Версилова и маму вмѣстѣ, до сихъ поръ я видѣлъ подлѣ него лишь рабу его. Страшно много еще не зналъ я и не примѣтилъ въ этомъ человѣкѣ, котораго уже осудилъ, а потому воротился къ себѣ смущенный. И надо такъ сказать, что именно къ этому времени сгустились всѣ недоумѣнія мои о немъ; никогда еще не представлялся онъ мнѣ столь таинственнымъ и неразгаданнымъ, какъ въ то именно время; но объ этомъ-то и вся исторія, которую пишу; все въ свое время.

«Однако», подумалъ тогда я про себя, уже ложась спать, «выходитъ, что онъ далъ Макару Ивановичу свое «дворянское словцо» обвѣнчаться съ мамой въ случаѣ ея вдовства. Онъ объ этомъ умолчалъ, когда разсказывалъ мнѣ прежде о Макарѣ Ивановичѣ».

На завтра Лиза не была весь день дома, а, возвратясь уже довольно поздно, прошла прямо къ Макару Ивановичу. Я было не хотѣлъ входить, чтобъ не помѣшать имъ, но вскорѣ, замѣтивъ, что тамъ ужъ и мама, и Версиловъ, вошелъ. Лиза сидѣла подлѣ старика и плакала на его плечѣ, а тотъ, съ печальнымъ лицомъ, молча гладилъ ее по головкѣ.

Версиловъ объяснилъ мнѣ (уже потомъ у меня), что князь настоялъ на своемъ и положилъ обвѣнчаться съ Лизой при первой возможности, еще до рѣшенія суда. Лизѣ трудно было рѣшиться, хотя и не рѣшиться она уже почти не имѣла права. Да и Макаръ Ивановичъ «приказывалъ» вѣнчаться. Разумѣется, все бы это обошлось потомъ само собой и обвѣнчалась бы она несомнѣнно и сама безъ приказаній и колебаній; но въ настоящую минуту она такъ была оскорблена тѣмъ, кого любила, и

такъ унижена была этою любовью даже въ собственныхъ глазахъ своихъ, что рѣшиться ей было трудно. Но, кромѣ оскорбленія, примѣшалось и новое обстоятельство, котораго я и подозрѣвать не могъ.

— Ты слышалъ, вся эта молодежь съ Петербургской вчера арестована? — прибавилъ вдругъ Версиловъ.

— Какъ? Дергачевъ? — вскричалъ я.

— Да; и Васинъ тоже.

Я былъ пораженъ, особенно услышавъ о Васинѣ.

— Да развѣ онъ въ чемъ-нибудь замѣшанъ? Боже мой, что съ ними теперь будетъ? И какъ нарочно въ то самое время, какъ Лиза такъ обвинила Васина!.. Какъ вы думаете, что съ ними можетъ быть? Тутъ Стебельковъ! Клянусь вамъ, тутъ Стебельковъ!

— Оставимъ, — сказалъ Версиловъ, странно посмотрѣвъ на меня (именно такъ, какъ смотрятъ на человѣка не понимающаго и не угадывающаго),— кто знаетъ, что у нихъ тамъ есть и кто можетъ знать, что съ ними будетъ? Я не про то: я слышалъ, ты завтра хотѣлъ бы выйти. Не зайдешь ли къ князю Сергѣю Петровичу?

— Первымъ дѣломъ; хоть, признаюсь, мнѣ это очень тяжело. — А что, вамъ не надо ли передать чего?

— Нѣтъ, ничего. Я самъ увижусь. Мнѣ жаль Лизу. И что можетъ посовѣтовать ей Макаръ Ивановичъ? Онъ самъ ничего не смыслитъ ни въ людяхъ, ни въ жизни. Вотъ что еще, мой милый (онъ меня давно не называлъ «мой милый»), тутъ есть тоже... нѣкоторые молодые люди... изъ

которыхъ одинъ твой бывшій товарищъ, Ламбертъ... Мнѣ кажется, все это — большіе мерзавцы... Я только чтобъ предупредить тебя... Впрочемъ, конечно, все это твое дѣло, и я понимаю, что не имѣю права...

— Андрей Петровичъ, — схватилъ я его за руку, не подумавъ и почти въ вдохновеніи, какъ часто со мною случается (дѣло было почти въ темнотѣ), — Андрей Петровичъ, я молчалъ, — вѣдь вы видѣли это, я все молчалъ до сихъ поръ, знаете для чего? Для того, чтобъ избѣгнуть вашихъ тайнъ. Я прямо положилъ ихъ не знать никогда. Я трусъ, я боюсь, что ваши тайны вырвутъ васъ изъ моего сердца уже совсѣмъ, а я не хочу этого. А коли такъ, то зачѣмъ бы и вамъ знать мои секреты? Пусть бы и вамъ все равно, куда бы я ни пошелъ! Не такъ ли?

— Ты правъ; но ни слова болѣе, умоляю тебя! — проговорилъ онъ и вышелъ отъ меня. Такимъ образомъ, мы нечаянно и капельку объяснились. Но онъ только прибавилъ къ моему волненію передъ новымъ завтрашнимъ шагомъ въ жизни, такъ что я всю ночь спалъ, безпрерывно просыпаясь; но мнѣ было хорошо.

III.

На другой день я вышелъ изъ дому хоть и въ десять часовъ дня, но изо всѣхъ силъ постарался уйти потихоньку, не простившись и не сказавшись, такъ сказать, ускользнулъ. Для чего такъ сдѣлалъ — не знаю; но если бъ даже мама подглядѣла, что я выхожу, и заговорила со мной, то я бы отвѣтилъ ей какой-нибудь злостью. Когда я очу-

тился на улицѣ и дохнулъ уличнаго холоднаго воздуху, то такъ и вздрогнулъ отъ сильнѣйшаго ощущенія — почти животнаго и которое я назвалъ бы *плотояднымъ*. Для чего я шелъ, куда я шелъ? Это было совершенно неопредѣленно и въ то же время *плотоядно*. И страшно мнѣ было, и радостно, все вмѣстѣ.

— А опачкаюсь я или не опачкаюсь сегодня? — молодцовато подумалъ я про себя, хоть слишкомъ зналъ, что разъ сдѣланный сегодняшній шагъ будетъ уже рѣшительнымъ и непоправимымъ на всю жизнь. Но нечего говорить загадками.

Я прямо пришелъ въ тюрьму князя. Я уже три дня какъ имѣлъ отъ Татьяны Павловны письмецо къ смотрителю, и тотъ принялъ меня прекрасно. Не знаю, хорошій ли онъ человѣкъ, и это, я думаю, лишнее; но свиданіе мое съ княземъ онъ допустилъ и устроилъ въ своей комнатѣ, любезно уступивъ ее намъ. Комната была какъ комната, — обыкновенная комната на казенной квартирѣ у чиновника извѣстной руки, — это тоже, я думаю, лишнее описывать. Такимъ образомъ, съ княземъ мы остались одни.

Онъ вышелъ ко мнѣ въ какомъ-то полувоенномъ домашнемъ костюмѣ, но въ чистѣйшемъ бѣльѣ, въ щеголеватомъ галстукѣ, вымытый и причесанный, вмѣстѣ съ тѣмъ ужасно похудѣвшій и пожелтѣвшій. Эту желтизну я замѣтилъ даже въ глазахъ его. Однимъ словомъ, онъ такъ перемѣнился на видъ, что я остановился даже въ недоумѣніи.

— Какъ вы измѣнились! — вскричалъ я.

— Это ничего! Садитесь, голубчикъ, — полуфатски показалъ онъ мнѣ на кресло, и самъ сѣлъ

напротивъ. — Перейдемъ къ главному: видите, мой милый Алексѣй Макаровичъ...

— Аркадій, — поправилъ я.

— Что? Ахъ, да; ну-ну, все равно. Ахъ, да! — сообразилъ онъ вдругъ, — извините, голубчикъ, перейдемъ къ главному...

Однимъ словомъ, онъ ужасно торопился къ чему-то перейти. Онъ былъ весь чѣмъ-то проникнутъ, съ ногъ до головы, какою-то главнѣйшею идеей, которую желалъ формулировать и мнѣ изложить. Онъ говорилъ ужасно много и скоро, съ напряженіемъ и страданіемъ разъясняя и жестикулируя, но въ первыя минуты я рѣшительно ничего не понималъ.

— Короче сказать (онъ уже десять разъ передъ тѣмъ употребилъ слово «короче сказать»), короче сказать, — заключилъ онъ, — если я васъ, Аркадій Макаровичъ, потревожилъ и такъ настоятельно позвалъ вчера черезъ Лизу, то хоть это и пожаръ, но такъ какъ сущность рѣшенія должна быть чрезвычайная и окончательная, то мы...

— Позвольте, князь, — перебилъ я, — вы звали меня вчера? Мнѣ Лиза ровно ничего не передавала.

— Какъ? — вскричалъ онъ, вдругъ останавливаясь въ чрезвычайномъ недоумѣніи, даже почти въ испугѣ.

— Она мнѣ ровно ничего не передавала. Она вечеромъ вчера пришла такая разстроенная, что не успѣла даже сказать со мной слова.

Князь вскочилъ со стула.

— Неужели вы вправду, Аркадій Макаровичъ? Въ такомъ случаѣ это... это...

— Да что жъ тутъ, однако, такого? Чего вы

такъ безпокоитесь? Просто забыла, или что-нибудь...

Онъ сѣлъ, но на него нашелъ какъ бы столбнякъ. Казалось, извѣстіе о томъ, что Лиза мнѣ ничего не передала, просто придавило его. Онъ быстро вдругъ заговорилъ и замахалъ руками, но опять ужасно трудно было понять.

— Постойте! — проговорилъ онъ вдругъ, умолкая и подымая кверху палецъ, — постойте: это... это... если только не ошибусь... это — штуки-съ!.. — пробормоталъ онъ съ улыбкою маньяка, — и значитъ, что...

— Это ровно ничего не значитъ! — перебилъ я, — и не понимаю только, почему такое пустое обстоятельство васъ такъ мучитъ... Ахъ, князь, съ гѣхъ поръ, съ той самой ночи — помните...

— Съ какой ночи и что? — капризно крикнулъ онъ, явно досадуя, что я перебилъ.

— У Зерщикова, гдѣ мы видѣлись въ послѣдній разъ, ну, вотъ передъ вашимъ письмомъ? Вы тогда тоже были въ ужасномъ волненіи, но тогда и теперь — это такая разница, что я даже ужасаюсь на васъ... Или вы не помните?

— Ахъ, да, — произнесъ онъ голосомъ свѣтскаго человѣка, и какъ бы вдругъ припомнивъ, — ахъ, да! Тотъ вечеръ... Я слышалъ... Ну, какъ ваше здоровье и какъ вы теперь сами послѣ всего этого, Аркадій Макаровичъ?.. Но, однако, перейдемъ къ главному. Я, видите ли, собственно преслѣдую три цѣли; три задачи передо мной, и я...

Онъ быстро заговорилъ опять о своемъ «главномъ». Я понялъ, наконецъ, что вижу передъ собой человѣка, которому сейчасъ же надо бы при-

ложить, по крайней мѣрѣ, полотенце съ уксусомъ къ головѣ, если не отворить кровь. Весь безсвязный разговоръ его, разумѣется, вертѣлся насчетъ процесса, насчетъ возможнаго исхода; насчетъ того еще, что навѣстилъ его самъ командиръ полка и что-то долго ему отсовѣтовалъ, но онъ не послушался, — насчетъ записки, имъ только что и куда-то поданной, — насчетъ прокурора; о томъ, что его навѣрно сошлютъ по лишеніи правъ, куда-нибудь въ сѣверную полосу Россіи; о возможности колонизоваться и выслужиться въ Ташкентѣ, о томъ, что научитъ своего сына (будущаго, отъ Лизы) тому-то и передастъ ему то-то, «въ глуши, въ Архангельскѣ, въ Холмогорахъ». — «Если я пожелалъ вашего мнѣнія, Аркадій Макаровичъ, то, повѣрьте, я такъ дорожу чувствомъ... Если бъ вы знали, если бъ вы знали, Аркадій Макаровичъ, милый мой, братъ мой, что значитъ мнѣ Лиза, что значила она мнѣ здѣсь, теперь, все это время! — вскричалъ онъ вдругъ, схватываясь обѣими руками за голову.

— Сергѣй Петровичъ, неужели вы ее погубите и увезете съ собой?.. Въ Холмогоры! — вырвалось у меня вдругъ неудержимо. Жребій Лизы съ этимъ маньякомъ на весь вѣкъ — вдругъ ясно и какъ бы въ первый разъ предсталъ моему сознанію. Онъ поглядѣлъ на меня, снова всталъ, шагнулъ, повернулся и сѣлъ опять, все придерживая голову руками.

— Мнѣ все пауки снятся! — сказалъ онъ вдругъ.

— Вы въ ужасномъ волненіи; я бы вамъ совѣтовалъ, князь, лечь и сейчасъ же потребовать доктора.

— Нѣтъ, позвольте, это потомъ. Я, главное, просилъ васъ къ себѣ, чтобъ разъяснить вамъ насчетъ вѣнчанія. Вѣнчаніе, вы знаете, произойдетъ здѣсь же въ церкви, я уже говорилъ. На все это дано согласіе, и они даже поощряютъ... Что же до Лизы, то...

— Князь, помилуйте Лизу, милый, — вскричалъ я, — не мучайте ее, по крайней мѣрѣ, хоть теперь, не ревнуйте!

— Какъ! — вскричалъ онъ, смотря на меня почти вытаращенными глазами въ упоръ и скосивъ все лицо въ какую-то длинную, безсмысленно-вопросительную улыбку. Видно было, что слово «не ревнуйте» почему-то страшно его поразило.

— Простите, князь, я нечаянно. О, князь, въ послѣднее время я узналъ одного старика, моего названнаго отца... О, если бъ вы его видѣли, вы бы спокойнѣе... Лиза тоже такъ цѣнитъ его.

— Ахъ, да, Лиза... ахъ, да, это — вашъ отецъ? Или... pardon, mon cher, что-то такое... Я помню... она передавала... старичокъ... Я увѣренъ, я увѣренъ. Я тоже зналъ одного старичка... Mais passons, главное, чтобъ уяснить всю суть момента, надо...

Я всталъ, чтобы уйти. Мнѣ больно было смотрѣть на него.

— Я не понимаю! — строго и важно произнесъ онъ, видя, что я встаю уходить.

— Мнѣ больно смотрѣть на васъ, — сказалъ я.

— Аркадій Макаровичъ, одно слово, еще одно слово! — ухватилъ онъ меня вдругъ за плечи, совсѣмъ съ другимъ видомъ и жестомъ и усадилъ въ кресло. — Вы слышали про этихъ, понимаете? — наклонился онъ ко мнѣ.

— Ахъ, да, Дергачевъ. Тутъ навѣрно Стебельковъ! — вскричалъ я, не удержавшись.

— Да, Стебельковъ и... вы не знаете?

Онъ осѣкся и опять уставился на меня съ тѣми же вытаращенными глазами и съ тою же длинною, судорожною, безсмысленно-вопрошающей улыбкой, раздвигавшейся все болѣе и болѣе. Лицо его постепенно блѣднѣло. Что-то вдругъ какъ бы сотрясло меня: я вспомнилъ вчерашній взглядъ Версилова, когда онъ передавалъ мнѣ объ арестѣ Васина.

— О, неужели? — вскричалъ я испуганно.

— Видите, Аркадій Макаровичъ, я затѣмъ васъ и звалъ, чтобъ объяснить... я хотѣлъ... — быстро зашепталъ было онъ.

— Это вы донесли на Васина? — вскричалъ я.

— Нѣтъ; видите ли, тамъ была рукопись. Васинъ передъ самымъ послѣднимъ днемъ передалъ Лизѣ... сохранить. А та оставила мнѣ здѣсь проглядѣть, а потомъ случилось, что они поссорились на другой день...

— Вы представили по начальству рукопись!

— Аркадій Макаровичъ, Аркадій Макаровичъ!

— Итакъ, вы, — вскричалъ я, вскакивая и отчеканивая слова, — вы, безъ всякаго иного побужденія, безъ всякой другой цѣли, а единственно потому, что несчастный Васинъ — *вашъ соперникъ*, единственно только изъ ревности, вы передали *вьѣренную Лизѣ рукопись*... передали кому? Кому? Прокурору?

Но онъ не успѣлъ отвѣтить, да и врядъ ли бы что отвѣтилъ, потому что стоялъ передо мной какъ истуканъ, все съ тою же болѣзненною улыбкой и неподвижнымъ взглядомъ; но вдругъ отво-

рилась дверь и вошла Лиза. Она почти обмерла, увидѣвъ насъ вмѣстѣ.

— Ты здѣсь? Такъ ты здѣсь? — вскричала она съ исказившимся вдругъ лицомъ и хватая меня за руки, — такъ ты... *знаешь?*

Но она уже прочла въ моемъ лицѣ, что я «знаю». Я быстро неудержимо обнялъ ее, крѣпко, крѣпко! И въ первый разъ только я постигъ въ ту минуту, во всей силѣ, какое безвыходное, безконечное горе безъ разсвѣта легло навѣкъ надъ всей судьбой этой... добровольной искательницы мученій.

— Да развѣ можно съ нимъ говорить теперь? — оторвалась она вдругъ отъ меня. — Развѣ можно съ нимъ быть? Зачѣмъ ты здѣсь? Посмотри на него, посмотри! И развѣ можно, можно судить его?

Безконечное страданіе и состраданіе были въ лицѣ ея, когда она, восклицая, указывала на несчастнаго. Онъ сидѣлъ въ креслѣ, закрывъ лицо руками. И она была права; это былъ человѣкъ въ бѣлой горячкѣ и безотвѣтственный. Его въ то же утро положили въ больницу, а къ вечеру у него уже было воспаленіе въ мозгу.

IV.

Отъ князя, оставивъ его тогда съ Лизою, я, около часу пополудни заѣхалъ на прежнюю мою квартиру. Я забылъ сказать, что день былъ сырой, тусклый, съ начавшеюся оттепелью и съ теплымъ вѣтромъ, способнымъ разстроить нервы даже у слона. Хозяинъ встрѣтилъ меня обрадовавшись, заметавшись и закидавшись, чего я страхъ не люб-

лю именно въ такія минуты. Я обошелся сухо и прямо прошелъ къ себѣ, но онъ послѣдовалъ за мной, и хоть не смѣлъ разспрашивать, но любопытство такъ и сіяло въ глазахъ его, при томъ смотрѣлъ какъ уже имѣющій даже какое-то право быть любопытнымъ. Я долженъ былъ обойтись вѣжливо для своей же выгоды: но хотя мнѣ слишкомъ необходимо было бы кое-что узнать (и я зналъ, что узнаю), но все же было противно начать разспросы. Я освѣдомился о здоровьѣ жены его, и мы сходили къ ней. Та встрѣтила меня хоть и внимательно, но съ чрезвычайно дѣловымъ и неразговорчивымъ видомъ; это меня нѣсколько примирило. Короче, я узналъ въ тотъ разъ весьма чудныя вещи.

Ну, разумѣется, былъ Ламбертъ, но потомъ онъ приходилъ еще два раза и «осмотрѣлъ всѣ комнаты», говоря, что, можетъ, найметъ. Приходила нѣсколько разъ Дарья Онисимовна, эта ужъ Богъ знаетъ зачѣмъ: «очень тоже любопытствовала», — прибавилъ хозяинъ; — но я не утѣшилъ его, не спросилъ о чемъ она любопытствовала. Вообще я не разспрашивалъ, а говорилъ лишь онъ, а я дѣлалъ видъ, что роюсь въ моемъ чемоданѣ (въ которомъ почти ничего и не оставалось). Но всего досаднѣе было, что онъ тоже вздумалъ играть въ таинственность и, замѣтивъ, что я удерживаюсь отъ разспросовъ, почелъ тоже обязанностью стать отрывочнѣе, почти загадочнымъ.

— Барышня тоже бывала, — прибавилъ онъ, странно смотря на меня.

— Какая барышня?

— Анна Андреевна; два раза была; съ моей женой познакомилась. Очень милая особа, очень

пріятная. Такое знакомство даже слишкомъ можно оцѣнить, Аркадій Макаровичъ... — И выговоривъ, онъ даже сдѣлалъ ко мнѣ шагъ: очень ужъ ему хотѣлось, чтобъ я что-то понялъ.

— Неужели два раза? — удивился я.

— Во второй разъ вмѣстѣ съ братцемъ пріѣзжала.

Это съ Ламбертомъ, подумалось мнѣ вдругъ невольно.

— Нѣтъ-съ, не съ господиномъ Ламбертомъ, — такъ и угадалъ онъ сразу, точно впрыгнулъ въ мою душу своими глазами, — а съ ихнимъ братцемъ, дѣйствительнымъ, молодымъ господиномъ Версиловымъ. Камеръ-юнкеръ, вѣдь, кажется?

Я былъ очень смущенъ; онъ смотрѣлъ, ужасно ласково улыбаясь.

— Ахъ, вотъ еще кто былъ, васъ спрашивалъ — эта мамзель, француженка, мамзель Альфонсина де-Вердень. Ахъ, какъ поетъ хорошо и декламируетъ тоже прекрасно въ стихахъ! Потихоньку къ князю Николаю Ивановичу тогда проѣзжала, въ Царское, собачку, говоритъ, ему продать рѣдкую черненькую, вся въ кулачекъ...

Я попросилъ его оставить меня одного, отговорившись головною болью. Онъ мигомъ удовлетворилъ меня, даже не докончивъ фразы, и не только безъ малѣйшей обидчивости, но почти съ удовольствіемъ, таинственно помахавъ рукой и какъ бы выговаривая: «Понимаю-съ, понимаю-съ», и хоть не проговорилъ этого, но зато изъ комнаты вышелъ на цыпочкахъ, доставилъ себѣ это удовольствіе. Есть очень досадные люди на свѣтѣ.

Я просидѣлъ одинъ, обдумывая часа полтора; не обдумывая, впрочемъ, а лишь задумавшись. Хоть

я былъ и смущенъ, но зато нимало не удивленъ. Я даже ждалъ еще пуще чего-нибудь, еще большихъ чудесъ. «Можетъ, они теперь ужъ и натворили ихъ», подумалъ я. Я твердо и давно былъ увѣренъ, еще дома, что машина у нихъ заведена и въ полномъ ходу. «Меня только имъ недостаетъ», вотъ что подумалъ я опять, съ какимъ-то раздражительнымъ и пріятнымъ самодовольствомъ. Что они ждутъ меня изо всѣхъ силъ и что-то въ моей квартирѣ затѣваютъ устроить — было ясно, какъ день. «Ужъ не свадьбу ли стараго князя? На него цѣлая облава. Только позволю ли я, господа, вотъ что-съ?» — заключилъ я опять съ надменнымъ удовольствіемъ.

— Разъ начну и тотчасъ опять въ водоворотъ затянусь, какъ щепка. Свободенъ ли я теперь, сейчасъ, или ужъ не свободенъ? Могу ли я еще, воротясь сегодня вечеромъ къ мамѣ, сказать себѣ, какъ во всѣ эти дни: «Я самъ по себѣ»?

Вотъ эссенція моихъ вопросовъ или, лучше сказать, біеній сердца моего, въ тѣ полтора часа, которые я просидѣлъ тогда въ углу на кровати, локтями въ колѣна, а ладонями подпирая голову. Но вѣдь я зналъ, я зналъ уже и тогда, что всѣ эти вопросы — совершенный вздоръ, а что влечетъ меня лишь *она,* — она и она одна! Наконецъ-то выговорилъ это прямо и прописалъ перомъ на бумагѣ, ибо даже теперь, когда пишу, годъ спустя, не знаю еще, какъ назвать тогдашнее чувство мое по имени!

О, мнѣ было жаль Лизу, и въ сердцѣ моемъ была самая нелицемѣрная боль! Ужъ одно бы это чувство боли за нее могло бы, кажется, смирить или стереть во мнѣ, хоть на время, *плотоядность*

(опять поминаю это слово). Но меня влекло безмѣрное любопытство и какой-то страхъ, и еще какое-то чувство, — не знаю какое; но знаю и зналъ уже и тогда, что оно было недоброе. Можетъ быть, я стремился пасть къ *ея* ногамъ, а, можетъ быть, хотѣлъ бы предать ее на всѣ муки и что-то «поскорѣй, поскорѣй» доказать ей. Никакая боль и никакое сотраданіе къ Лизѣ не могли уже остановить меня. Ну, могъ ли я встать и уйти домой... къ Макару Ивановичу?

— «А развѣ нельзя только пойти къ нимъ, разузнать отъ нихъ обо всемъ и вдругъ уйти отъ нихъ навсегда, пройдя безвредно мимо чудесъ и чудовищъ?»

Въ три часа, схватившись и сообразивъ, что почти опоздалъ, я поскорѣе вышелъ, схватилъ извозчика и полетѣлъ къ Аннѣ Андреевнѣ.

Глава пятая.

I.

Анна Андреевна, лишь обо мнѣ доложили, бросила свое шитье и поспѣшно вышла встрѣтить меня въ первую свою комнату — чего прежде никогда не случалось. Она протянула мнѣ обѣ руки и быстро покраснѣла. Молча провела она меня къ себѣ, подсѣла опять къ своему рукодѣлью, меня посадила подлѣ; но за шитье уже не принималась, а все съ тѣмъ же горячимъ участіемъ продолжала меня разглядывать, не говоря ни слова.

— Вы ко мнѣ присылали Дарью Онисимовну, — началъ я прямо, нѣсколько тяготясь такимъ ужъ слишкомъ эффектнымъ участіемъ, хотя оно мнѣ было пріятно.

Она вдругъ заговорила, не отвѣтивъ на мой вопросъ.

— Я все слышала, я все знаю. Эта ужасная ночь... О, сколько вы должны были выстрадать! Правда ли, правда ли, что васъ нашли ужъ безъ чувствъ, на морозѣ?

— Это васъ... Ламбертъ... — пробормоталъ я, краснѣя.

— Я отъ него тогда же все узнала; но я ждала васъ. О, онъ пришелъ ко мнѣ испуганный! На

вашей квартирѣ... тамъ, гдѣ вы лежали больной, его не хотѣли къ вамъ допустить... и странно встрѣтили... Я, право, не знаю, какъ это было, но онъ разсказалъ мнѣ все объ этой ночи: онъ говорилъ, что вы, даже едва очнувшись, упоминали уже обо мнѣ и... объ вашей преданности ко мнѣ. Я была тронута до слезъ, Аркадій Макаровичъ, и даже не знаю, чѣмъ заслужила такое горячее участіе съ вашей стороны, и еще въ такомъ положеніи, въ какомъ вы были сами! Скажите, г. Ламбертъ — вашъ товарищъ дѣтства?

— Да, но этотъ случай... я, признаюсь, былъ неосторожень и, можетъ быть, я насказалъ ему тогда слишкомъ много.

— О, объ этой черной, ужасной интригѣ я узнала бы и безъ него! Я всегда, всегда предчувствовала, что они васъ доведутъ до этого. Скажите, правда ли, что Бьорингъ осмѣлился поднять на васъ руку?

Она говорила такъ, какъ будто чрезъ Бьоринга и чрезъ *нее* я и очутился подъ заборомъ. А вѣдь она права, подумалось мнѣ, но я вспыхнулъ:

— Если бъ онъ на меня поднялъ руку, то не ушелъ бы ненаказанный, и я бы не сидѣлъ теперь передъ вами, не отомстивъ, — отвѣтилъ я съ жаромъ. Главное, мнѣ показалось, что она хочетъ меня для чего-то раздразнить, противъ кого-то возбудить (впрочемъ, извѣстно — противъ кого); и все-таки я поддался.

— Если вы говорите, что вы предвидѣли, что меня доведутъ до *этого,* то со стороны Катерины Николаевны, разумѣется, было лишь недоумѣніе... хотя правда и то, что она слишкомъ ужъ скоро промѣняла свои добрыя чувства ко мнѣ на это недоумѣніе...

— То-то и есть, что ужъ слишкомъ скоро! —

подхватила Анна Андреевна съ какимъ-то даже восторгомъ сочувствія. — О, если бъ вы знали, какая тамъ теперь интрига! Конечно, Аркадій Макаровичъ, вамъ трудно теперь понять всю щекотливость моего положенія, — произнесла она, покраснѣвъ и потупившись. — Съ тѣхъ поръ, въ то самое утро, какъ мы съ вами въ послѣдній разъ видѣлись, я сдѣлала тотъ шагъ, который не всякій способенъ понять и разобрать такъ, какъ бы понялъ его человѣкъ съ вашимъ незараженнымъ еще умомъ, съ вашимъ любящимъ, неиспорченнымъ, свѣжимъ сердцемъ. Будьте увѣрены, другъ мой, что я способна оцѣнить вашу ко мнѣ преданность и заплачу вамъ вѣчною благодарностью. Въ свѣтѣ, конечно, подымутъ на меня камень и подняли уже. Но если бъ даже они были правы, съ своей гнусной точки зрѣнія, то кто бы могъ, кто бы смѣлъ изъ нихъ даже и тогда осудить меня? Я оставлена отцомъ моимъ съ дѣтства; мы, Версиловы — древній, высокій русскій родъ, мы — проходимцы, и я ѣмъ чужой хлѣбъ изъ милости. Не естественно ли мнѣ было обратиться къ тому, кто еще съ дѣтства замѣнялъ мнѣ отца, чьи милости я видѣла на себѣ столько лѣтъ? Мои чувства къ нему видитъ и судитъ одинъ только Богъ, и я не допускаю свѣтскаго суда надъ собою въ сдѣланномъ мною шагѣ! Когда же тутъ, сверхъ того, самая коварная, самая мрачная интрига и довѣрчиваго, великодушнаго отца сговорилась погубить его же собственная дочь, то развѣ это можно снести? Нѣтъ, пусть сгублю даже репутацію мою, но спасу его! Я готова жить у него просто въ нянькахъ, быть его сторожемъ, сидѣлкой, но не дамъ восторжествовать холодному, свѣтскому, мерзкому расчету!

Она говорила съ необыкновеннымъ одушевленіемъ, очень можетъ быть, что на половину напускнымъ, но все-таки искреннимъ, потому что видно было, до какой степени затянулась она вся въ это дѣло. О, я чувствовалъ, что она лжетъ (хоть и искренно, потому что лгать можно и искренно) и что она теперь дурная; но удивительно, какъ бываетъ съ женщинами: этотъ видъ порядочности, эти высшія формы, эта недоступность свѣтской высоты и гордаго цѣломудрія — все это сбило меня съ толку, и я сталъ соглашаться съ нею во всемъ, то есть, пока у ней сидѣлъ; по крайней мѣрѣ — не рѣшился противорѣчить. О, мужчина въ рѣшительномъ нравственномъ рабствѣ у женщины, особенно если великодушенъ! Такая женщина можетъ убѣдить въ чемъ угодно великодушнаго. «Она и Ламбертъ — Боже мой!» думалъ я, въ недоумѣніи смотря на нее. Впрочемъ, скажу все: я даже до сихъ поръ не умѣю судить ее; чувства ея, дѣйствительно, могъ видѣть одинъ только Богъ, а человѣкъ къ тому же — такая сложная машина, что ничего не разберешь въ иныхъ случаяхъ, и вдобавокъ къ тому же, если этотъ человѣкъ — женщина.

— Анна Андреевна, чего именно вы отъ меня ждете?—спросилъ я, однако, довольно рѣшительно.

— Какъ? Что значитъ вашъ вопросъ, Аркадій Макаровичъ?

— Мнѣ кажется по всему . . . и по нѣкоторымъ другимъ соображеніямъ . . . — разъяснилъ я, путаясь, — что вы присылали ко мнѣ, чего-то отъ меня ожидая; такъ чего же именно?

Не отвѣчая на вопросъ, она мигомъ заговорила опять, такъ же скоро и одушевленно:

— Но я не могу, я слишкомъ горда, чтобъ входить въ объясненія и сдѣлки съ неизвѣстными лицами, какъ г. Ламбертъ. Я ждала васъ, а не г. Ламберта. Мое положеніе — крайнее, ужасное, Аркадій Макаровичъ! Я обязана хитрить, окруженная происками этой женщины, а это мнѣ нестерпимо. Я унижаюсь почти до интриги и ждала васъ, какъ спасителя. Нельзя винить меня за то, что я жадно смотрю кругомъ себя, чтобъ отыскать хоть одного друга, а потому я и не могла не обрадоваться другу: тотъ, кто могъ даже въ ту ночь, почти замерзая, вспоминать обо мнѣ и повторять одно только мое имя — тотъ ужъ, конечно, мнѣ преданъ. Такъ думала я все это время, а потому на васъ и надѣялась.

Она съ нетерпѣливымъ вопросомъ смотрѣла мнѣ въ глаза. И вотъ, у меня опять не достало духу разувѣрить ее и объяснить ей прямо, что Ламбертъ ее обманулъ и что я вовсе не говорилъ тогда ему, что ужъ такъ ей особенно преданъ, и вовсе не вспоминалъ «одно только ея имя». Такимъ образомъ, молчаніемъ моимъ я какъ бы подтвердилъ ложь Ламберта. О, она вѣдь и сама, я увѣренъ, слишкомъ хорошо понимала, что Ламбертъ преувеличилъ и даже просто налгалъ ей, единственно, чтобъ имѣть благовидный предлогъ явиться къ ней и завязать съ нею сношенія; если же смотрѣла мнѣ въ глаза, какъ увѣренная въ истинѣ моихъ словъ и моей преданности, то, конечно, знала, что я не посмѣю отказаться, такъ сказать, изъ деликатности и по моей молодости. А, впрочемъ, правъ я въ этой догадкѣ или не правъ — не знаю. Можетъ быть, я ужасно развращенъ.

— За меня заступится братъ мой, — произнес-

ла она вдругъ съ жаромъ, видя, что я не хочу отвѣтить.

— Мнѣ сказали, что вы были съ нимъ у меня на квартирѣ, — пробормоталъ я въ смущеніи.

— Да вѣдь несчастному князю Николаю Ивановичу почти и некуда спастись теперь отъ всей этой интриги или, лучше сказать, отъ родной своей дочери, кромѣ какъ на вашу квартиру, то есть на квартиру друга; вѣдь въ правѣ же онъ считать васъ, по крайней мѣрѣ, хоть другомъ!.. И тогда, если вы только захотите что-нибудь сдѣлать въ его пользу, то сдѣлайте это — если только можете, если только въ васъ есть великодушіе и смѣлость... и, наконецъ, если и вправду вы *что-то можете сдѣлать*. О, это не для меня, а для несчастнаго старика, который одинъ только любитъ васъ искренно, который успѣлъ къ вамъ привязаться сердцемъ, какъ къ своему сыну, и тоскуетъ о васъ даже до сихъ поръ! Себѣ же я ничего не жду отъ васъ — если даже родной отецъ сыгралъ со мною такую коварную, такую злобную выходку?

— Мнѣ кажется, Андрей Петровичъ... — началъ было я.

— Андрей Петровичъ, — прервала она съ горькой усмѣшкой, — Андрей Петровичъ на мой прямой вопросъ отвѣтилъ мнѣ тогда честнымъ словомъ, что никогда не имѣлъ ни малѣйшихъ намѣреній на Катерину Николаевну, чему я вполнѣ и повѣрила, дѣлая шагъ мой; а, между тѣмъ, оказалось, что онъ спокоенъ лишь до перваго извѣстія о какомъ-нибудь г. Бьорингѣ.

— Тутъ не то! — вскричалъ я, — было мгновеніе, когда и я было повѣрилъ его любви къ этой женщинѣ, но это не то... Да если бъ даже и то,

то вѣдь, кажется, теперь онъ уже могъ бы быть совершенно спокоенъ... за отставкой этого господина.

— Какого господина?

— Бьоринга.

— Кто же вамъ сказалъ объ отставкѣ? Можетъ быть, никогда этотъ господинъ не былъ въ такой силѣ, — язвительно усмѣхнулась она; мнѣ даже показалось, что она посмотрѣла и на меня насмѣшливо.

— Мнѣ говорила Дарья Онисимовна, — пробормоталъ я въ смущеніи, которое не въ силахъ былъ скрыть и которое она слишкомъ замѣтила.

— Дарья Онисимовна — очень милая особа, и, ужъ конечно, я не могу ей запретить любить меня, но она не имѣетъ никакихъ средствъ знать о томъ, что до нея не касается.

Сердце мое заныло; и такъ какъ она именно расчитывала возжечь мое негодованіе, то негодованіе вскипѣло во мнѣ, но не къ *той* женщинѣ, а пока лишь къ самой Аннѣ Андреевнѣ. Я всталъ съ мѣста.

— Какъ честный человѣкъ, я долженъ предупредить васъ, Анна Андреевна, что ожиданія ваши... насчетъ меня... могутъ оказаться въ высшей степени напрасными...

— Я ожидаю, что вы за меня заступитесь, — твердо поглядѣла она на меня, — за меня, всѣми оставленную... за вашу сестру, если хотите того, Аркадій Макаровичъ!

Еще мгновеніе, и она бы заплакала.

— Ну, такъ лучше не ожидайте, потому что, «можетъ быть», ничего не будетъ, — пролепеталъ я съ невыразимо тягостнымъ чувствомъ.

— Какъ понимать мнѣ ваши слова? — проговорила она какъ-то слишкомъ ужъ опасливо.

— А такъ, что я уйду отъ васъ всѣхъ, и — баста! — вдругъ воскликнулъ я почти въ ярости, — а *документъ* — разорву. Прощайте!

Я поклонился ей и вышелъ молча, въ то же время почти не смѣя взглянуть на нее; но не сошелъ еще съ лѣстницы, какъ догнала меня Дарья Онисимовна съ сложеннымъ вдвое полулистикомъ почтовой бумаги. Откуда взялась Дарья Онисимовна и гдѣ она сидѣла, когда я говорилъ съ Анной Андреевной — даже понять не могу. Она не сказала ни словечка, а только отдала бумажку и убѣжала назадъ. Я развернулъ листокъ: на немъ четко и ясно былъ написанъ адресъ Ламберта, а заготовленъ былъ, очевидно, еще за нѣсколько дней. Я вдругъ вспомнилъ, что когда была у меня тогда Дарья Онисимовна, то я проговорилъ ей, что не знаю, гдѣ живетъ Ламбертъ, но въ томъ только смыслѣ, что «не знаю и знать не хочу». Но адресъ Ламберта въ настоящую минуту я уже зналъ черезъ Лизу, которую нарочно попросилъ справиться въ адресномъ столѣ. Выходка Анны Андреевны показалась мнѣ слишкомъ ужъ рѣшительною, даже циническою: несмотря на мой отказъ содѣйствовать ей, она, какъ бы не вѣря мнѣ ни на грошъ, прямо посылала меня къ Ламберту. Мнѣ слишкомъ ясно стало, что она узнала уже все о документѣ — и отъ кого же, какъ не отъ Ламберта, къ которому потому и посылала меня сговариваться?

— Рѣшительно, они всѣ до единаго принимаютъ меня за мальчишку безъ воли и безъ характера, съ которымъ все можно сдѣлать! — подумалъ я съ негодованіемъ.

II.

Тѣмъ не менѣе, я все-таки пошелъ къ Ламберту. Гдѣ же было мнѣ справиться съ тогдашнимъ моимъ любопытствомъ? Ламбертъ, какъ оказалось, жилъ очень далеко, въ Косомъ переулкѣ, у Лѣтняго сада, впрочемъ, все въ тѣхъ же нумерахъ; но тогда, какъ я бѣжалъ отъ него, я до того не замѣтилъ дороги и разстоянія, что, получивъ, дня четыре тому назадъ, его адресъ отъ Лизы, даже удивился и почти не повѣрилъ, что онъ тамъ живетъ. У дверей въ нумера, въ третьемъ этажѣ, еще подымаясь по лѣстницѣ, я замѣтилъ двухъ молодыхъ людей и подумалъ, что они позвонили раньше меня и ждали, когда отворятъ. Пока я подымался, они оба, обернувшись спиной къ дверямъ, тщательно меня разсматривали. «Тутъ нумера, и они, конечно, къ другимъ жильцамъ», нахмурился я, подходя къ нимъ. Мнѣ было бы очень непріятно застать у Ламберта кого-нибудь. Стараясь не глядѣть на нихъ, я протянулъ руку къ звонку.

— Атанде! — крикнулъ мнѣ одинъ.

— Пожалуйста, подождите звонить, — звонкимъ и нѣжнымъ голоскомъ и нѣсколько протягивая слова, проговорилъ другой молодой человѣкъ. — Мы вотъ кончимъ и тогда позвонимъ всѣ вмѣстѣ, хотите?

Я остановился. Оба были еще очень молодые люди, такъ лѣтъ двадцати или двадцати двухъ; они дѣлали тутъ у дверей что-то странное, и я съ удивленіемъ старался вникнуть. Тотъ, кто крикнулъ «атанде», былъ малый очень высокаго роста, вершковъ десяти, не меньше, худощавый и испитой, но очень мускулистый, съ очень небольшой, по росту,

головой и съ страннымъ, какимъ-то комически-мрачнымъ выраженіемъ въ нѣсколько рябомъ, но довольно неглупомъ и даже пріятномъ лицѣ. Глаза его смотрѣли какъ-то не въ мѣру пристально и съ какой-то совсѣмъ даже ненужной и излишней рѣшимостью. Онъ былъ одѣтъ очень скверно: въ старую шинель на ватѣ, съ вылѣзшимъ маленькимъ енотовымъ воротникомъ, и не по росту короткую — очевидно, съ чужого плеча; въ скверныхъ, почти мужицкихъ сапогахъ и ужасно смятомъ, порыжѣвшемъ цилиндрѣ на головѣ. Въ цѣломъ видно было неряху: руки, безъ перчатокъ, были грязны, а длинные ногти — въ траурѣ. Напротивъ, товарищъ его былъ одѣтъ щегольски, судя по легкой илъковой шубѣ, по изящной шляпѣ и по свѣтлымъ свѣжимъ перчаткамъ на тоненькихъ его пальчикахъ; ростомъ онъ былъ съ меня, но съ чрезвычайно милымъ выраженіемъ на своемъ свѣжемъ и молоденькомъ личикѣ.

Длинный парень стаскивалъ съ себя галстукъ — совершенно истрепавшуюся и засаленную ленту или почти уже тесемку, а миловидный мальчикъ, вынувъ изъ кармана другой новенькій черный галстучекъ, только что купленный, повязывалъ его на шею длинному парню, который послушно и съ ужасно серьезнымъ лицомъ вытягивалъ свою шею, очень длинную, спустивъ шинель съ плечъ.

— Нѣтъ; это нельзя, если такая грязная рубашка, — проговорилъ надѣвавшій, — не только не будетъ эффекта, но покажется еще грязнѣй. Вѣдь я тебѣ сказалъ, чтобъ ты воротнички надѣлъ. Я не умѣю . . . вы не сумѣете? — обратился онъ вдругъ ко мнѣ.

— Чего? — спросилъ я.

— А вотъ, знаете, повязать ему галстукъ. Видите ли, надобно какъ-нибудь такъ, чтобы не видно было его грязной рубашки, а то пропадетъ весь эффектъ, какъ хотите. Я нарочно ему галстукъ у Филиппа парикмахера сейчасъ купилъ, за рубль.

— Это ты — тотъ рубль? — пробормоталъ длинный.

— Да, тотъ; у меня теперь ни копейки. Такъ не умѣете? Въ такомъ случаѣ, надо будетъ попросить Альфонсинку.

— Къ Ламберту? — рѣзко спросилъ меня вдругъ длинный.

— Къ Ламберту, — отвѣтилъ я съ неменьшею рѣшимостью, смотря ему въ глаза.

— Dolgorowky? — повторилъ онъ тѣмъ же тономъ и тѣмъ же голосомъ.

— Нѣтъ, не Коровкинъ, — такъ же рѣзко отвѣтилъ я, разслышавъ ошибочно.

— Dolgorowky?! — почти прокричалъ, повторяя, длинный и надвигаясь на меня почти съ угрозой. Товарищъ его расхохотался.

— Онъ говоритъ Dolgorowky, а не Коровкинъ, — пояснилъ онъ мнѣ. — Знаете, французы въ «Journal des Débats» часто коверкаютъ русскія фамиліи.

— Въ «Indépendance», — промычалъ длинный.

— Ну, все равно и въ «Indépendance» Долгорукова, напримѣръ, пишутъ Dolgorowky — я самъ читалъ, а В—а всегда comte Wallonieff.

— Doboyny! — крикнулъ длинный.

— Да, вотъ тоже есть еще какой-то Doboyny; я самъ читалъ, и мы оба смѣялись: какая-то русская M-me Doboyny, за границей... только, ви-

дишь ли, чего же всѣхъ-то поминать, — обернулся онъ вдругъ къ длинному.

— Извините, вы — г. Долгорукій?

— Да, я — Долгорукій, а вы почему знаете?

Длинный вдругъ шепнулъ что-то миловидному мальчику, тотъ нахмурился и сдѣлалъ отрицательный жестъ; но длинный вдругъ обратился ко мнѣ:

— M-r le prince, vous n'avez pas de rouble d'argent pour nous, pas deux, mais un seul, voulez-vous?

— Ахъ, какой ты скверный,—крикнулъ мальчикъ.

— Nous vous rendons, — заключилъ длинный, грубо и неловко выговаривая французскія слова.

— Онъ, знаете — циникъ, — усмѣхнулся мнѣ мальчикъ, — и вы думаете, что онъ не умѣетъ по-французски? Онъ какъ парижанинъ говоритъ, а онъ только передразниваетъ русскихъ, которымъ въ обществѣ ужасно хочется вслухъ говорить между собою по-французски, а сами не умѣютъ . . .

— Dans les wagons, — пояснилъ длинный.

— Ну да, и въ вагонахъ: ахъ, какой ты скучный! Нечего пояснять-то. Вотъ тоже охота прикидываться дуракомъ.

Я между тѣмъ вынулъ рубль и протянулъ длинному.

— Nous vous rendons, — проговорилъ тотъ, спряталъ рубль и, вдругъ повернувшись къ дверямъ, съ совершенно неподвижнымъ и серьезнымъ лицомъ, принялся колотить въ нихъ концомъ своего огромнаго грубаго сапога и, главное, безъ малѣйшаго раздраженія . . .

— Ахъ, опять ты подерешься съ Ламбертомъ! — съ безпокойствомъ замѣтилъ мальчикъ.— Позвоните ужъ вы лучше!

Я позвонилъ, но длинный все-таки продолжалъ колотить сапогомъ.

— Ah, sacré . . . — послышался вдругъ голосъ Ламберта изъ-за дверей, и онъ быстро отперъ.

— Dites donc, voulez-vous que je vous casse la tête, mon ami! — крикнулъ онъ длинному.

— Mon ami, voilà Dolgorowky, l'autre mon ami, — важно и серьезно проговорилъ длинный, въ упоръ смотря на покраснѣвшаго отъ злости Ламберта. Тотъ, лишь увидѣлъ меня, тотчасъ же какъ бы весь преобразился.

— Это — ты, Аркадій! Наконецъ-то! Ну, такъ ты здоровъ же, здоровъ, наконецъ?

Онъ схватилъ меня за руки, крѣпко сжимая ихъ; однимъ словомъ, онъ былъ въ такомъ искреннемъ восхищеніи, что мнѣ мигомъ стало ужасно пріятно, и я даже полюбилъ его.

— Къ тебѣ первому!

— Alphonsine! — закричалъ Ламбертъ.

Та мигомъ выпрыгнула изъ-за ширмъ.

— Le voilà!

— C'est lui!—воскликнула Альфонсина, всплеснувъ руками и, вновь распахнувъ ихъ, бросилась было меня обнимать, но Ламбертъ меня защитилъ.

— Но-но-но, тубо! — крикнулъ онъ на нее, какъ на собаченку. — Видишь, Аркадій: насъ сегодня нѣсколько парней сговорились пообѣдать у татаръ. Я ужъ тебя не выпущу, поѣзжай съ нами. Пообѣдаемъ; я этихъ тотчасъ же въ шею — и тогда наболтаемся. Да входи, входи! Мы вѣдь сейчасъ и выходимъ, минутку только постоять . . .

Я вошелъ и сталъ посреди той комнаты, оглядываясь и припоминая. Ламбертъ за ширмами наскоро переодѣвался. Длинный и его товарищъ про-

шли тоже вслѣдъ за нимъ, несмотря на слова Ламберта. Мы всѣ стояли.

— M-lle Alphonsine, voulez-vous me baiser? — промычалъ длинный.

— M-lle Alphonsine, — подвинулся было младшій, показывая ей галстучекъ, но она свирѣпо накинулась на обоихъ

— Ah, le petit vilain! — крикнула она младшему: — ne m'approchez pas, ne me salissez pas, et vous, le grand dadais, je vous lanque à la porte tous les deux, savez-vous cela!

Младшій, несмотря на то, что она презрительно и брезгливо отъ него отмахивалась, какъ бы, въ самомъ дѣлѣ, боясь объ него запачкаться (чего я никакъ не понималъ, потому что онъ былъ такой хорошенькій и оказался такъ хорошо одѣтъ, когда сбросилъ шубу) — младшій настойчиво сталъ просить ее повязать своему длинному другу галстукъ, а предварительно повязать ему чистые воротнички изъ Ламбертовыхъ. Та чуть не кинулась бить ихъ отъ негодованія при такомъ предложеніи, но Ламберетъ, вслушавшись, крикнулъ ей изъ-за ширмъ, чтобъ она не задерживала и сдѣлала что просятъ, «а то не отстанутъ», прибавилъ онъ, и Альфонсина мигомъ схватила воротничекъ и стала повязывать длинному галстукъ, безъ малѣйшей уже брезгливости. Тотъ, точно такъ же, какъ на лѣстницѣ, вытянулъ передъ ней шею, пока та повязывала.

— M-lle Alphonsine, avez-vous vendu votre bologne? — спросилъ онъ.

— Qu'est que ca, ma bologne?

Младшій объяснилъ, что «ma bologne» означаетъ болонку.

— Tiens, quel est ce baragouin?

— Je parle comme une dame russe sur les eaux minérales, — замѣтилъ le grand dadais, все еще съ протянутой шеей.

— Qu'est que ça qu'une dame russe sur les eaux minérales et . . . où est donc votre jolie montre, que Lambert vous a donné — обратилась она вдругъ къ младшему.

— Какъ, опять нѣтъ часовъ? — раздражительно отозвался Ламбертъ изъ-за ширмъ.

— Проѣли! — промычалъ le grand dadais.

— Я ихъ продалъ за восемь рублей: вѣдь они— серебряные, позолоченные, а вы сказали, что золотые. Этакіе теперь и въ магазинѣ — только шестнадцать рублей, — отвѣтилъ младшій Ламберту, оправдываясь съ неохотой.

— Этому надо положить конецъ! — еще раздражительнѣе продолжалъ Ламбертъ. — Я вамъ, молодой мой другъ, не для того покупаю платье и дарю прекрасныя вещи, чтобъ вы на вашего длиннаго друга тратили . . . Какой это галстукъ вы еще купили?

— Это — только рубль; это не на ваши. У него совсѣмъ не было галстука, и ему надо еще купить шляпу.

— Вздоръ! — уже дѣйствительно озлился Ламбертъ, — я ему достаточно далъ и на шляпу, а онъ тотчасъ устрицъ и шампанскаго. Отъ него пахнетъ; онъ неряха; его нельзя брать никуда. Какъ я его повезу обѣдать?

— На извозчикѣ, — промычалъ dadais. — Nous avons un ruble d'argent que nous avons prêté chez notre nouvel ami.

— Не давай имъ, Аркадій, ничего! — опять крикнулъ Ламбертъ.

— Позвольте, Ламбертъ; я прямо требую отъ васъ сейчасъ же десять рублей, — разсердился вдругъ мальчикъ такъ, что даже весь покраснѣлъ и оттого сталъ почти вдвое лучше: — и не смѣйте никогда говорить глупостей, какъ сейчасъ Долгорукому. Я требую десять рублей, чтобъ сейчасъ отдать рубль Долгорукому, а на остальные куплю Андрееву тотчасъ шляпу — вотъ сами увидите.

Ламбертъ вышелъ изъ-за ширмъ:

— Вотъ три желтыхъ бумажки, три рубля, и больше ничего до самаго вторника, и не смѣть... не то...

Le grand dadais такъ и вырвалъ у него деньги.

— Dolgorowky, вотъ рубль, nous vous rendons avec beaucoup de grâce. Петя, ѣхать! — крикнулъ онъ товарищу, и затѣмъ вдругъ, поднявъ двѣ бумажки вверхъ и махая ими и въ упоръ смотря на Ламберта, завопилъ изъ всей силы:

— Ohé, Lambert! Où est Lambert, as-tu vu Lambert?

— Не смѣть, не смѣть! — завопилъ и Ламбертъ въ ужаснѣйшемъ гнѣвѣ; я видѣлъ, что во всемъ этомъ было что-то прежнее, чего я не зналъ вовсе, и глядѣлъ съ удивленіемъ. Но длинный нисколько не испугался Ламбертова гнѣва; напротивъ, завопилъ еще сильнѣе: Ohé, Lambert! и т. д. Съ этимъ крикомъ вышли и на лѣстницу. Ламбертъ погнался было за ними, но, однако, воротился.

— Э, я ихъ скоро пр-рогоню въ шею! Больше стоютъ, чѣмъ даютъ... Пойдемъ, Аркадій! Я опоздалъ. Тамъ меня ждетъ одинъ тоже... нужный человѣкъ... Скотина тоже... Это всѣ — скоты! Шушехга, шу-шехга! — прокричалъ онъ

вновь и почти скрежетнулъ зубами; но вдругъ окончательно опомнился.

— Я радъ, что ты хоть, наконецъ, пришелъ. Alphonsine, ни шагу изъ дому! Идемъ.

У крыльца ждалъ его лихачъ-рысакъ. Мы сѣли; но даже и во весь путь онъ все-таки не могъ придти въ себя отъ какой-то ярости на этихъ молодыхъ людей и успокоиться. Я дивился, что это такъ серьезно, и тому еще, что они такъ къ Ламберту непочтительны, а онъ чуть ли даже не труситъ передъ ними. Мнѣ, по въѣвшемуся въ меня старому впечатлѣнію съ дѣтства, все казалось, что всѣ должны бояться Ламберта, такъ что, несмотря на всю мою независимость, я навѣрно въ ту минуту и самъ трусилъ Ламберта.

— Я тебѣ говорю, это — все ужасная шушехга, — не унимался Ламбертъ. — Вѣришь: этотъ высокій, мерзкій, мучилъ меня, три дня тому, въ хорошемъ обществѣ. Стоитъ передо мной и кричитъ: «Ohé, Lambert!» Въ хорошемъ обществѣ! Всѣ смѣются и знаютъ, что это, чтобъ я денегъ далъ — можешь представить. Я далъ. О, это — мерзавцы! Вѣришь, онъ былъ юнкеръ въ полку и выгнанъ, и, можешь представить, онъ образованный: онъ получилъ воспитаніе въ хорошемъ домѣ, можешь представить! У него есть мысли, онъ бы могъ... Э, чертъ! И онъ силенъ, какъ Еркулъ (Herkule). Онъ полезенъ, только мало. И можешь видѣть: онъ рукъ не моетъ. Я его рекомендовалъ одной госпожѣ, старой знатной барынѣ, что онъ раскаивается и хочетъ убить себя отъ совѣсти, а онъ пришелъ къ ней, сѣлъ и засвисталъ. А этотъ другой, хорошенькій — одинъ генеральскій сынъ; семейство стыдится его, я его изъ суда вытянулъ,

я его спасъ, а онъ вотъ какъ платитъ. Здѣсь нѣтъ народу! Я ихъ въ шею, въ шею!

— Они знаютъ мое имя: ты имъ обо мнѣ говорилъ?

— Имѣлъ глупость. Пожалуйста, за обѣдомъ посиди, скрѣпи себя... Туда придетъ еще одна страшная каналья. Вотъ это — такъ ужъ страшная каналья, и ужасно хитеръ; здѣсь всѣ ракальи; здѣсь нѣтъ ни одного честнаго человѣка! Ну, да мы кончимъ — и тогда... Что ты любишь кушать? Ну, да все равно, тамъ хорошо кормятъ. Я плачу, ты не безпокойся. Это хорошо, что ты хорошо одѣтъ. Я тебѣ могу дать денегъ. Всегда приходи. Представь, я ихъ здѣсь поилъ-кормилъ, каждый день кулебяка; эти часы, что онъ продалъ — это во второй разъ. Этотъ маленькій, Тришатовъ — ты видѣлъ, Альфонсина гнушается даже глядѣть на него и запрещаетъ ему подходить близко — и вдругъ онъ въ ресторанѣ, при офицерахъ: «хочу бекасовъ». Я далъ бекасовъ! Только я отомщу.

— Помнишь, Ламбертъ, какъ мы съ тобой въ Москвѣ ѣхали въ трактиръ и ты меня въ трактирѣ вилкой пырнулъ, и какъ у тебя были тогда пятьсотъ рублей?

— Да, помню! Э, чертъ, помню! Я тебя люблю... Ты этому вѣрь. Тебя никто не любитъ, а я люблю; только одинъ я, ты помни... Тотъ, что придетъ туда, рябой — это хитрѣйшая каналья; не отвѣчай ему, если заговоритъ, ничего, а коль начнетъ спрашивать, отвѣчай вздоръ, молчи...

По крайней мѣрѣ, онъ изъ-за своего волненія ни о чемъ меня дорогой не разспрашивалъ. Мнѣ стало даже оскорбительно, что онъ такъ увѣренъ во мнѣ и даже не подозрѣваетъ во мнѣ недовѣрчиво-

сти; мнѣ казалось, что въ немъ глупая мысль, что онъ мнѣ смѣетъ попрежнему приказывать. «И къ тому же, онъ ужасно необразованъ», подумалъ я, вступая въ ресторанъ.

III.

Въ этомъ ресторанѣ, въ Морской, я и прежде бывалъ, во время моего гнусненькаго паденія и разврата, а потому впечатлѣніе отъ этихъ комнатъ, отъ этихъ лакеевъ, приглядывавшихся ко мнѣ и узнавшихъ во мнѣ знакомаго посѣтителя, наконецъ, впечатлѣніе отъ этой загадочной компаніи друзей Ламберта, въ которой я такъ вдругъ очутился и какъ будто уже принадлежа къ ней нераздѣльно, а, главное, — темное предчувствіе, что я добровольно иду на какія-то гадости и несомнѣнно кончу дурнымъ дѣломъ, — все это какъ бы вдругъ пронзило меня. Было мгновеніе, что я едва не ушелъ; но мгновеніе это прошло, и я остался.

Тотъ «рябой», котораго почему-то такъ боялся Ламбертъ, уже ждалъ насъ. Это былъ человѣкъ съ одной изъ тѣхъ глупо-дѣловыхъ наружностей, которыхъ типъ я такъ ненавижу чуть ли не съ моего дѣтства; лѣтъ сорока пяти, средняго роста, съ просѣдью, съ выбритымъ до гадости лицемъ и съ маленькими правильными сѣденькими подстриженными бакенбардами, въ видѣ двухъ колбасокъ по обѣимъ щекамъ чрезвычайно плоскаго и злого лица. Разумѣется, онъ былъ скученъ, серьезенъ, неразговорчивъ, и даже, по обыкновенію всѣхъ этихъ людишекъ, почему-то надмененъ. Онъ оглядѣлъ меня очень внимательно, но не сказалъ ни слова, а Ламбертъ такъ былъ глупъ, что, сажая насъ за однимъ столомъ, не счелъ нужнымъ насъ

перезнакомить, и, стало быть, тотъ меня могъ принять за одного изъ сопровождавшихъ Ламберта шантажниковъ. Съ молодыми этими людьми (прибывшими почти одновременно съ нами) онъ тоже не сказалъ ничего во весь обѣдъ, но видно было, однако, что зналъ ихъ коротко. Говорилъ онъ о чемъ-то лишь съ Ламбертомъ, да и то почти шепотомъ, да и то говорилъ почти одинъ Ламбертъ, а рябой лишь отдѣлывался отрывочными, сердитыми и ультиматными словами. Онъ держалъ себя высокомѣрно, былъ золъ и насмѣшливъ, тогда какъ Ламбертъ, напротивъ, былъ въ большомъ возбужденіи и видимо все его уговаривалъ, вѣроятно, склоняя на какое-то предпріятіе. Разъ я протянулъ руку къ бутылкѣ съ краснымъ виномъ; рябой вдругъ взялъ бутылку хересу и подалъ мнѣ, до тѣхъ поръ не сказавъ со мною ни слова:

— Попробуйте этого, — сказалъ онъ, протягивая мнѣ бутылку. Тутъ я вдругъ догадался, что и ему должно уже быть извѣстно обо мнѣ все на свѣтѣ — и исторія моя, и имя мое, и, можетъ быть, то, въ чемъ расчитывалъ на меня Ламбертъ. Мысль, что онъ приметъ меня за служащаго у Ламберта, взбѣсила меня опять, а въ лицѣ Ламберта выразилось сильнѣйшее и глупѣйшее безпокойство, чуть только тотъ заговорилъ со мной. Рябой это замѣтилъ и засмѣялся. «Рѣшительно Ламбертъ отъ всѣхъ зависитъ», подумалъ я, ненавидя его въ ту минуту отъ всей души. Такимъ образомъ, мы хотя и просидѣли весь обѣдъ за однимъ столомъ, но были раздѣлены на двѣ группы: рябой съ Ламбертомъ, ближе къ окну, одинъ противъ другого, и я рядомъ съ засаленнымъ Андреевымъ, а напротивъ меня — Тришатовъ. Ламбертъ спѣшилъ съ ку-

шаньями, поминутно торопя слугу подавать. Когда подали шампанское, онъ вдругъ протянулъ ко мнѣ свой бокалъ:

— За твое здоровье, чокнемся! — проговорилъ онъ, прерывая свой разговоръ съ рябымъ.

— А вы мнѣ позволите съ вами чокнуться? — протянулъ мнѣ черезъ столъ свой бокалъ хорошенькій Тришатовъ. До шампанскаго онъ былъ какъ-то задумчивъ и молчаливъ. Dadais же совсѣмъ ничего не говорилъ, но молчалъ и много ѣлъ.

— Съ удовольствіемъ, — отвѣтилъ я Тришатову. Мы чокнулись и выпили.

— А я за ваше здоровье не стану пить, — обернулся ко мнѣ вдругъ dadais, — не потому, что желаю вашей смерти, а потому, чтобъ вы здѣсь сегодня больше не пили. — Онъ проговорилъ мрачно и вѣско. — Съ васъ довольно и трехъ бокаловъ. Вы, я вижу, смотрите на мой немытый кулакъ? — продолжалъ онъ, выставляя свой кулакъ на столъ:— я его не мою и такъ немытымъ и отдаю въ наемъ Ламберту для раздробленія чужихъ головъ въ щекотливыхъ для Ламберта случаяхъ.—И, проговоривъ это, онъ вдругъ стукнулъ кулакомъ объ столъ съ такой силой, что подскочили всѣ тарелки и рюмки. Кромѣ насъ обѣдали въ этой комнатѣ еще на четырехъ столахъ, все офицеры и разные осанистаго вида господа. Ресторанъ этотъ модный; всѣ на мгновеніе прервали разговоры и посмотрѣли въ нашъ уголъ: да, кажется, мы и давно уже возбуждали нѣкоторое любопытство. Ламбертъ весь покраснѣлъ.

— Га, онъ опять начинаетъ! Я васъ, кажется, просилъ, Николай Семеновичъ, вести себя, — про-

говорилъ онъ яростнымъ шепотомъ Андрееву. Тотъ оглядѣлъ его длиннымъ и медленнымъ взглядомъ:

— Я не хочу чтобъ мой новый другъ Dolgorowky пилъ здѣсь сегодня много вина.

Ламбертъ еще пуще вспыхнулъ. Рябой прислушивался молча, но съ видимымъ удовольствіемъ. Ему выходка Андреева почему-то понравилась. Я только одинъ не понималъ, для чего бы это мнѣ не пить вина.

— Это онъ, чтобъ только получить деньги! Вы получите еще семь рублей, слышите, послѣ обѣда — только дайте пообѣдать, не срамите, — проскрежеталъ ему Ламбертъ.

— Ага! — побѣдоносно промычалъ dadais. Это уже совсѣмъ восхитило рябого, и онъ злобно захихикалъ.

— Послушай, ты ужъ очень . . . — съ безпокойствомъ и почти съ страданіемъ проговорилъ своему другу Тришатовъ, видимо, желая сдержать его. Андреевъ замолкъ, но ненадолго; не таковъ былъ расчетъ его. Отъ насъ черезъ столъ, шагахъ въ пяти, обѣдали два господина и оживленно разговаривали. Оба были чрезвычайно щекотливаго вида среднихъ лѣтъ господа. Одинъ высокій и очень толстый, но маленькій. Говорили они по-польски о теперешнихъ парижскихъ событіяхъ. Dadais уже давно на нихъ любопытно поглядывалъ и прислушивался. Маленькій полякъ, очевидно, показался ему фигурой комическою, и онъ тотчасъ возненавидѣлъ его по примѣру всѣхъ желчныхъ и печеночныхъ людей, у которыхъ это всегда вдругъ происходитъ безо всякаго даже повода. Вдругъ маленькій полякъ произнесъ имя депутата Мадьé де-Монжò, но по привычкѣ очень многихъ поля-

ковъ, выговорилъ его по-польски, то есть съ удареніемъ на предпослѣднемъ слогѣ и вышло не Мадьé де-Монжò, а Мàдье де-Мòнжо. Того только и надо было dadais. Онъ повернулся къ полякамъ и, важно выпрямившись, раздѣльно и громко, вдругъ произнесъ, какъ бы обращаясь съ вопросомъ:

— Мадьé де-Монжò?

Поляки свирѣпо обернулись къ нему.

— Чтò вамъ надо? — грозно крикнулъ большой толстый полякъ по-русски. Dadais выждалъ:

— Мадьé де-Монжò? — повторилъ онъ вдругъ опять на всю залу, не давая болѣе никакихъ объясненій, точно такъ же какъ давеча глупо повторялъ мнѣ у двери, надвигаясь на меня: Dolgorowky? Поляки вскочили съ мѣста, Ламбертъ выскочилъ изъ-за стола, бросился было къ Андрееву, но, оставивъ его, подскочилъ къ полякамъ и принялся униженно извиняться передъ ними.

— Это — шуты, пане, это — шуты! — презрительно повторялъ маленькій полякъ, весь красный, какъ морковь, отъ негодованія. — Скоро нельзя будетъ приходить! — Въ залѣ тоже зашевелились, тоже раздавался ропотъ, но больше смѣхъ.

— Выходите . . . пожалуйста . . . пойдемте! — бормоталъ, совсѣмъ потерявшись, Ламбертъ, усиливаясь какъ-нибудь вывести Андреева изъ комнаты. Тотъ, пытливо обозрѣвъ Ламберта и догадавшись, что онъ уже теперь дастъ денегъ, согласился за нимъ послѣдовать. Вѣроятно, онъ уже не разъ подобнымъ безстыднымъ пріемомъ выбивалъ изъ Ламберта деньги. Тришатовъ хотѣлъ было тоже побѣжать за нимъ, но посмотрѣлъ на меня и остался.

— Ахъ, какъ скверно! — проговорилъ онъ, закрывая глаза своими тоненькими пальчиками.

— Скверно очень-съ, — прошепталъ на этотъ разъ уже съ разозленнымъ видомъ рябой. Между тѣмъ, Ламбертъ возвратился почти совсѣмъ блѣдный и что̀-то, оживленно жестикулируя, началъ шептать рябому. Тотъ, между тѣмъ, приказалъ лакею поскорѣй подавать кофе; онъ слушалъ брезгливо; ему, видимо, хотѣлось поскорѣй уйти. И, однако, вся исторія была простымъ лишь школьничествомъ. Тришатовъ съ чашкою кофе перешелъ съ своего мѣста ко мнѣ и сѣлъ со мною рядомъ.

— Я его очень люблю, — началъ онъ мнѣ съ такимъ откровеннымъ видомъ, какъ будто всегда со мной объ этомъ говорилъ.

— Вы не повѣрите, какъ Андреевъ несчастенъ. Онъ проѣлъ и пропилъ приданое своей сестры, да и все у нихъ проѣлъ и пропилъ въ тотъ годъ, какъ служилъ, и я вижу, что онъ теперь мучается. А что онъ не моется — это онъ съ отчаянія. И у него ужасно странныя мысли: онъ вамъ вдругъ говоритъ, что и подлецъ, и честный — это все одно и нѣтъ разницы: и что не надо ничего дѣлать, ни добраго, ни дурного, или все равно — можно дѣлать и доброе, и дурное, а что лучше всего лежать, не снимая платья по мѣсяцу, пить, да ѣсть, да спать— и только. Но повѣрьте, что это онъ — только такъ. И, знаете, я даже думаю, онъ это теперь потому накуралесилъ, что захотѣлъ совсѣмъ покончить съ Ламбертомъ. Онъ еще вчера говорилъ. Вѣрите ли, онъ иногда ночью или когда одинъ долго сидитъ, то начинаетъ плакать, и, знаете, когда онъ плачетъ, то какъ-то особенно, какъ никто не плачетъ; онъ зареветъ, ужасно зареветъ, и это, знаете, еще жальче . . . И къ тому же, такой большой и сильный и вдругъ — такъ совсѣмъ зареветъ.

Какой бѣдный, не правда ли? Я его хочу спасти, а самъ я — такой скверный, потерянный мальчишка, вы не повѣрите! Пустите вы меня къ себѣ, Долгорукій, если я къ вамъ когда приду?

— О, приходите, я васъ даже люблю.

— За что же? Ну, спасибо. Послушайте, выпьемте еще бокалъ. Впрочемъ, что жъ я? Вы лучше не пейте. Это онъ вамъ правду сказалъ, что вамъ нельзя больше пить, — мигнулъ онъ мнѣ вдругъ значительно, — а я все-таки выпью. Мнѣ ужъ теперь ничего, а я, вѣрите ли, ни въ чемъ себя удержать не могу. Вотъ скажите мнѣ, что мнѣ ужъ больше не обѣдать по ресторанамъ, и я на все готовъ, чтобы только обѣдать. О, мы искренно хотимъ быть честными, увѣряю васъ, но только мы все откладываемъ,

А годы идутъ — и все лучшіе годы!

А онъ, я ужасно боюсь, — повѣсится. Пойдетъ и никому не скажетъ. Онъ такой. Нынче всѣ вѣшаются; почемъ знать — можетъ, много такихъ, какъ мы? Я, напримѣръ, никакъ не могу жить безъ лишнихъ денегъ. Мнѣ лишнія гораздо важнѣе, чѣмъ необходимыя. Послушайте, любите вы музыку? Я ужасно люблю. Я вамъ сыграю что-нибудь, когда къ вамъ приду. Я очень хорошо играю на фортепьяно и очень долго учился. Я серьезно учился. Если бъ я сочинялъ оперу, то, знаете, я бы взялъ сюжетъ изъ Фауста. Я очень люблю эту тему. Я все создаю сцену въ соборѣ, такъ, въ головѣ только воображаю. Готическій соборъ, внутренность, хоры, гимны, входитъ Гретхенъ, и, знаете — хоры средневѣковые, чтобъ такъ и слышался пятнадцатый вѣкъ. Гретхенъ въ тоскѣ, сначала ре-

читативъ, тихій, но ужасный, мучительный, а хоры гремятъ мрачно, строго, безучастно:

Dies irae, dies illa!

И вдругъ — голосъ дьявола, пѣсня дьявола. Онъ невидимъ, одна лишь пѣсня, рядомъ съ гимнами, вмѣстѣ съ гимнами, почти совпадаетъ съ ними, а между тѣмъ, совсѣмъ другое — какъ-нибудь такъ это сдѣлать. Пѣсня длинная, неустанная, это — теноръ, непремѣнно теноръ. Начинаетъ тихо, нѣжно: «Помнишь, Гретхенъ, какъ ты, еще невинная, еще ребенкомъ, приходила съ своей мамой въ этотъ соборъ и лепетала молитвы по старой книгѣ?» Но пѣсня все сильнѣе, все страстнѣе, стремительнѣе; ноты выше: въ нихъ слезы, тоска, безустанная, безвыходная, и, наконецъ, отчаяніе: «Нѣтъ прощенія, Гретхенъ, нѣтъ здѣсь тебѣ прощенія!» Гретхенъ хочетъ молиться, но изъ груди ея рвутся лишь крики — знаете, когда судорога отъ слезъ въ груди— а пѣсня сатаны все не умолкаетъ, все глубже вонзается въ душу, какъ остріе, все выше — и вдругъ обрывается почти крикомъ: «Конецъ всему, проклята!» Гретхенъ падаетъ на колѣна, сжимаетъ передъ собой руки — и вотъ тутъ ея молитва, что-нибудь очень краткое, полуречитативъ, но наивное, безо всякой отдѣлки, что-нибудь въ высшей степени средневѣковое, четыре стиха, всего только четыре стиха — у Страделлы есть нѣсколько такихъ нотъ — и съ послѣдней нотой обморокъ! Смятеніе. Ее подымаютъ, несутъ — и тутъ вдругъ громовой хоръ. Это — какъ бы ударъ голосовъ, хоръ вдохновенный, побѣдоносный, подавляющій, что-нибудь въ родѣ Дори-но-си-ма чин-ми — такъ, чтобъ все потряслось на основаніяхъ, и все переходитъ въ

восторженный, ликующій всеобщій возгласъ: Hossanna! — Какъ бы крикъ всей вселенной, а ее несутъ-несутъ, и вотъ тутъ опустить занавѣсъ! Нѣтъ, знаете, если бъ я могъ, я бы что-нибудь сдѣлалъ! Только я ничего ужъ теперь не могу, а только все мечтаю. Я все мечтаю, все мечтаю; вся моя жизнь обратилась въ одну мечту, я и ночью мечтаю. Ахъ, Долгорукій, читали вы Диккенса «Лавку Древностей»?

— Читалъ; что же?

— Помните вы . . . Постойте, я еще бокалъ выпью, — помните вы тамъ одно мѣсто въ концѣ, когда они — сумасшедшій этотъ старикъ и эта прелестная тринадцатилѣтняя дѣвочка, внучка его, послѣ фантастическаго ихъ бѣгства и странствій, пріютились, наконецъ, гдѣ-то на краю Англіи, близъ какого-то готическаго средневѣковаго собора, и эта дѣвочка какую-то тутъ должность получила, соборъ посѣтителямъ показывала . . . И вотъ разъ закатывается солнце, и этотъ ребенокъ на паперти собора, вся облитая послѣдними лучами, стоитъ и смотритъ на закатъ съ тихимъ задумчивымъ созерцаніемъ въ дѣтской душѣ, удивленной душѣ, какъ будто передъ какой-то загадкой, потому что и то, и другое, вѣдь какъ загадка — солнце, какъ мысль Божія, а соборъ, какъ мысль человѣческая . . . не правда ли? Охъ, я не умѣю это выразить, но только Богъ такія первыя мысли отъ дѣтей любитъ . . . А тутъ, подлѣ нея, на ступенькахъ, сумасшедшій этотъ старикъ-дѣдъ глядитъ на нее остановившимся взглядомъ . . . Знаете, тутъ нѣтъ ничего такого, въ этой картинѣ у Диккенса, совершенно ничего, но этого вы ввѣкъ не забудете, и это осталось во всей Европѣ — отчего? Вотъ прекрас-

ное! Тутъ невинность! Э, я не знаю, что̀ тутъ, только хорошо. Я все въ гимназіи романы читалъ. Знаете, у меня сестра въ деревнѣ, только годомъ старше меня... О, теперь тамъ уже все продано и уже нѣтъ деревни! Мы сидѣли съ ней на террасѣ, подъ нашими старыми липами, и читали этотъ романъ, и солнце тоже закатывалось, и вдругъ мы перестали читать и сказали другъ другу, что и мы будемъ также добрыми, что и мы будемъ прекрасными — я тогда въ университетъ готовился и... Ахъ, Долгорукій, знаете, у каждаго есть свои воспоминанія!..

И вдругъ онъ склонилъ свою хорошенькую головку мнѣ на плечо и — заплакалъ. Мнѣ стало очень, очень его жалко. Правда, онъ выпилъ много вина, но онъ такъ искренно и такъ братски со мной говорилъ и съ такимъ чувствомъ... Вдругъ, въ это мгновеніе, съ улицы раздался крикъ и сильные удары пальцами къ намъ въ окно (тутъ окна цѣльныя, большія и въ первомъ нижнемъ этажѣ, такъ что можно стучать пальцами съ улицы). Это былъ выведенный Андреевъ.

— Ohé, Lambert! Où est Lambert? As-tu vu Lambert? — раздался дикій крикъ его съ улицы.

— Ахъ, да онъ вѣдь здѣсь! Такъ онъ не ушелъ? — воскликнулъ, срываясь съ мѣста, мой мальчикъ.

— Счетъ! — проскрежеталъ Ламбертъ прислугѣ. У него даже руки тряслись отъ злобы, когда онъ сталъ разсчитываться, но рябой не позволилъ ему за себя заплатить.

— Почему же? Вѣдь я васъ приглашалъ, вы приняли приглашеніе?

— Нѣтъ, ужъ позвольте, — вынулъ свой порт-

монэ рябой и, разсчитавъ свою долю, уплатилъ особо.

— Вы меня обижаете, Семенъ Сидоровичъ!

— Такъ ужъ я хочу-съ, — отрѣзалъ Семенъ Сидоровичъ и, взявъ шляпу, не простившись ни съ кѣмъ, пошелъ одинъ изъ залы. Ламбертъ бросилъ деньги слугѣ и торопливо выбѣжалъ вслѣдъ за нимъ, даже позабывъ въ своемъ смущеніи обо мнѣ. Мы съ Тришатовымъ вышли послѣ всѣхъ. Андреевъ, какъ верста, стоялъ у подъѣзда и ждалъ Тришатова.

— Негодяй! — не утерпѣлъ было Ламбертъ.

— Но-но! — рыкнулъ на него Андреевъ и однимъ взмахомъ руки сбилъ съ него круглую шляпу, которая покатилась по тротуару. Ламбертъ унизительно бросился поднимать ее.

— Vingt cinq roubles! — указалъ Андреевъ Тришатову на кредитку, которую еще давеча сорвалъ съ Ламберта.

— Полно, — крикнулъ ему Тришатовъ. — Чего ты все буянишь . . . И за что ты содралъ съ него двадцать пять? Съ него только семь слѣдовало.

— За что содралъ? Онъ обѣщалъ обѣдать отдѣльно, съ аѳинскими женщинами, а вмѣсто женшинъ подалъ рябого, и, кромѣ того, я не доѣлъ и промерзъ на морозѣ непремѣнно на восемнадцать рублей. Семь рублей за нимъ оставалось — вотъ тебѣ ровно и двадцать пять.

— Убирайтесь къ черту оба! — завопилъ Ламбертъ, я васъ прогоняю обоихъ, и я васъ въ бараній рогъ . . .

— Ламбертъ, я васъ прогоняю, и я васъ въ бараній рогъ! — крикнулъ Андреевъ. — Adieu, mon prince, не пейте больше вина! Петя, маршъ! Qhé,

Lambert! Où est Lambert? As-tu vu Lambert? — рявкнулъ онъ въ послѣдній разъ, удаляясь огромными шагами.

— Такъ я приду къ вамъ, можно? — пролепеталъ мнѣ наскоро Тришатовъ, спѣша за своимъ другомъ.

Мы остались одни съ Ламбертомъ.

— Ну... пойдемъ!—выговорилъ онъ, какъ бы съ трудомъ переводя дыханіе и какъ бы даже ошалѣвъ.

— Куда я пойду? Никуда я съ тобой не пойду! — поспѣшилъ я крикнуть съ вызовомъ.

— Какъ не пойдешь? — пугливо встрепенулся онъ, очнувшись разомъ. — Да я только и ждалъ, что мы одни останемся!

— Да куда же идти-то? — Признаюсь, у меня капельку звенѣло въ головѣ отъ трехъ бокаловъ и двухъ рюмокъ хересу.

— Сюда, вотъ сюда, видишь?

— Да тутъ свѣжія устрицы, видишь, написано. Тутъ такъ скверно пахнетъ . . .

— Это потому, что ты послѣ обѣда, а это — милютинская лавка; мы устрицъ ѣсть не будемъ, а я тебѣ дамъ шампанскаго . . .

— Не хочу! Ты меня опоить хочешь.

— Это тебѣ они сказали; они надъ тобой смѣялись. Ты вѣришь мерзавцамъ!

— Нѣтъ, Тришатовъ — не мерзавецъ. А я и самъ умѣю быть осторожнымъ — вотъ что!

— Что, у тебя есть свой характеръ?

— Да, у меня есть характеръ, побольше, чѣмъ у тебя, потому что ты въ рабствѣ у перваго встрѣчнаго. Ты насъ осрамилъ, ты у поляковъ, какъ лакей, прощенія просилъ. Знать, тебя часто били въ трактирахъ?

— Да вѣдь намъ надо же говорить, духгакъ!— вскричалъ онъ съ тѣмъ презрительнымъ нетерпѣніемъ, которое чуть не говорило: «И ты туда же?» — Да ты боишься, что ли? Другъ ты мнѣ или нѣтъ?

— Я — тебѣ не другъ, а ты — мошенникъ. Пойдемъ, чтобъ только доказать тебѣ, что я тебя не боюсь. Ахъ, какъ скверно пахнетъ, сыромъ пахнетъ! Экая гадость!

Глава шестая.

I.

Я еще разъ прошу вспомнить, что у меня нѣсколько звенѣло въ головѣ; если бъ не это, я бы говорилъ и поступалъ иначе. Въ этой лавкѣ, въ задней комнатѣ, дѣйствительно, можно было ѣсть устрицы, и мы усѣлись за накрытый скверной, грязной скатертью столикъ. Ламбертъ приказалъ подать шампанскаго; бокалъ съ холоднымъ золотого цвѣта виномъ очутился предо мною и соблазнительно глядѣлъ на меня; но мнѣ было досадно.

— Видишь, Ламбертъ, мнѣ главное обидно, что ты думаешь, что можешь мнѣ и теперь повелѣвать, какъ у Тушара, тогда какъ ты у всѣхъ здѣшнихъ самъ въ рабствѣ.

— Духгакъ! Э, чокнемся!

— Ты даже и притворяться не удостаиваешь передо мной; хоть бы скрывалъ, что хочешь меня опоить.

—Ты врешь и ты пьянъ. Надо еще пить, и будешь веселѣе. Бери же бокалъ, бери же!

— Да что за бери же? Я уйду, вотъ и кончено.

И я, дѣйствительно, было привсталъ. Онъ ужасно разсердился:

— Это тебѣ Тришатовъ нашепталъ на меня: я видѣлъ — вы тамъ шептались. Ты — духгакъ

послѣ этого. Альфонсина такъ даже гнушается, что онъ къ ней подходитъ близко . . . Онъ мерзкій. Это я тебѣ разскажу, какой онъ.

— Ты это ужъ говорилъ. У тебя все — Альфонсина; ты ужасно узокъ.

— Узокъ? — не понималъ онъ: — они теперь перешли къ рябому. Вотъ что! Вотъ почему я ихъ прогналъ. — Они безчестные. Этотъ рябой — злодѣй и ихъ развратитъ. А я требовалъ, чтобы они всегда вели себя благородно.

Я сѣлъ, какъ-то машинально взялъ бокалъ и отпилъ глотокъ.

— Я несравненно выше тебя по образованію, — сказалъ я. Но онъ ужъ слишкомъ былъ радъ, что я сѣлъ, и тотчасъ подлилъ мнѣ еще вина.

— А вѣдь ты ихъ боишься? — продолжалъ я дразнить его (и ужъ навѣрно былъ тогда гаже его самого). — Андреевъ сбилъ съ тебя шляпу, а ты ему двадцать пять рублей за то далъ.

— Я далъ, но онъ мнѣ заплатитъ. Они бунтуются, но я ихъ сверну . . .

— Тебя очень волнуетъ рябой. А знаешь, мнѣ кажется, что я только одинъ у тебя теперь и остался. Всѣ твои надежды только во мнѣ одномъ теперь заключаются — а?

— Да, Аркаша, это — такъ: ты одинъ мнѣ другъ и остался; вотъ это хорошо ты сказалъ! — хлопнулъ онъ меня по плечу.

Что было дѣлать съ такимъ грубымъ человѣкомъ; онъ былъ совершенно неразвитъ и насмѣшку принялъ за похвалу.

— Ты бы могъ меня избавить отъ худыхъ вещей, если бъ былъ добрый товарищъ, Аркадій, — продолжалъ онъ, ласково смотря на меня.

— Чѣмъ бы я могъ тебя избавить?

— Самъ знаешь — чѣмъ. Ты безъ меня, какъ духгакъ, и навѣрно будешь глупъ, а я бы тебѣ далъ тридцать тысячъ, и мы бы взяли пополамъ, и ты самъ знаешь — какъ. Ну, кто ты такой, посмотри: у тебя ничего нѣтъ — ни имени, ни фамиліи, а тутъ сразу кушъ; а имѣя такіе деньги, можешь, знаешь какъ начать карьеру!

Я просто удивился на такой пріемъ. Я рѣшительно предполагалъ, что онъ будетъ хитрить, а онъ со мной такъ прямо, такъ по-мальчишнически прямо началъ. Я рѣшился слушать его изъ широкости и... изъ ужаснаго любопытства.

— Видишь, Ламбертъ: ты не поймешь этого, но я соглашаюсь слушать тебя, потому что я широкъ, — твердо заявилъ я и опять хлебнулъ изъ бокала. Ламбертъ тотчасъ подлилъ.

— Вотъ что, Аркадій: если бы мнѣ осмѣлился такой, какъ Бьорингъ, наговорить ругательствъ и ударить при дамѣ, которую я обожаю, то я бъ и не знаю, что сдѣлалъ! А ты стерпѣлъ и я гнушаюсь тобой: ты — тряпка!

— Какъ ты смѣешь сказать, что меня ударилъ Бьорингъ! — вскричалъ я, краснѣя: — это я его скорѣе ударилъ, а не онъ меня.

— Нѣтъ, это онъ тебя ударилъ, а не ты его.

— Врешь, еще я ему ногу отдавилъ!

— Но онъ тебя отбилъ рукой и велѣлъ лакеямъ тащить... а она сидѣла и глядѣла изъ кареты и смѣялась на тебя, она знаетъ, что у тебя нѣтъ отца и что тебя можно обидѣть.

— Я не знаю, Ламбертъ, между нами мальчишническій разговоръ, котораго я стыжусь. Ты это чтобъ раздразнить меня, и такъ грубо и открыто

какъ съ шестнадцатилѣтнимъ какимъ-то. Ты сговорился съ Анной Андреевной! — вскричалъ я, дрожа отъ злости и машинально все хлебая вино.

— Анна Андреевна — шельма! Она надуетъ и тебя, и меня, и весь свѣтъ! Я тебя ждалъ, потому что ты лучше можешь докончить съ той.

— Съ какой той?

— Съ m-me Ахмаковой. Я все знаю. Ты мнѣ самъ сказалъ, что она того письма, которое у тебя, боится . . .

— Какое письмо . . . врешь ты . . . Ты видѣлъ ее? — бормоталъ я въ смущеніи.

— Я ее видѣлъ. Она хороша собой. Très belle; и у тебя вкусъ.

— Знаю, что ты видѣлъ; только ты съ нею не смѣлъ говорить, и я хочу, чтобы и объ ней ты не смѣлъ говорить.

— Ты еще маленькій, а она надъ тобой смѣется — вотъ что! У насъ была одна такая добродѣтель въ Москвѣ: ухъ, какъ носъ подымала! а затрепетала, когда пригрозили, что все разскажемъ, и тотчасъ послушалась; а мы взяли и то, и другое: и деньги, и то — понимаешь что? Теперь она опять въ свѣтѣ недоступная — фу, ты, чертъ, какъ высоко летаетъ, и карета какая, о коли бъ ты видѣлъ, въ какомъ это было чуланѣ! Ты еще не жилъ; если бъ ты зналъ, какихъ чулановъ онѣ не побоятся . . .

— Я это думалъ,—пробормоталъ я неудержимо.

— Онѣ развращены до конца ногтей; ты не знаешь, на что онѣ способны! Альфонсина жила въ одномъ такомъ домѣ, такъ она гнушалась.

— Я объ этомъ думалъ, — подтвердилъ я опять.

— А тебя бьютъ, а ты жалѣешь...

— Ламбертъ, ты — мерзавецъ, ты — проклятый! — вскричалъ я, вдругъ какъ-то сообразивъ и затрепетавъ. — Я видѣлъ все это во снѣ, ты стоялъ и Анна Андреевна... О, ты — проклятый! Неужели ты думалъ, что я — такой подлецъ? Я вѣдь и видѣлъ потому во снѣ, что такъ и зналъ, что ты это скажешь. И, наконецъ, все это не можетъ быть такъ просто, чтобъ ты мнѣ про все это такъ прямо и просто говорилъ!

— Ишь разсердился! Те-те-те! — протянулъ Ламбертъ, смѣясь и торжествуя. — Ну, братъ, Аркашка, теперь я все узналъ, что мнѣ надо. Для того-то и ждалъ тебя. Слушай, ты, стало быть, ее любишь, а Бьорингу отмстить хочешь — вотъ что̀ мнѣ надо было узнать. Я все время это такъ и подозрѣвалъ, когда тебя здѣсь ждалъ. Ceci posé, cela change la question. И тѣмъ лучше, потому что она сама тебя любитъ. Такъ ты и женись, ни мало не медля, это лучше. Да иначе и нельзя тебѣ, ты на самомъ вѣрномъ остановился. А затѣмъ знай, Аркадій, что у тебя есть другъ, это я, котораго ты можешь верхомъ осѣдлать. Вотъ этотъ другъ тебѣ и поможетъ, и женитъ тебя: изъ-подъ земли все достану, Аркаша! А ты ужъ подари за то потомъ старому товарищу тридцать тысячекъ за труды, а? А я помогу, не сомнѣвайся. Я во всѣхъ этихъ дѣлахъ всѣ тонкости знаю, и тебѣ все приданое дадутъ, и ты — богачъ съ карьерой!

У меня — хоть и кружилась голова, но я съ изумленіемъ смотрѣлъ на Ламберта. Онъ былъ серьезенъ, то есть, не то что серьезенъ, но въ возможность женить меня, я видѣлъ ясно, онъ и самъ совсѣмъ вѣрилъ и даже принималъ идею съ востор-

гомъ. Разумѣется, я видѣлъ тоже, что онъ ловитъ меня, какъ мальчишку (навѣрное — видѣлъ тогда же); но мысль о бракѣ съ нею до того пронзила меня всего, что я, хоть и удивлялся на Ламберта, какъ это онъ можетъ вѣрить въ такую фантазію, но въ то же время самъ стремительно въ нее увѣровалъ, ни на мигъ не утрачивая, однако, сознанія, что это, конечно, ни за что̀ не можетъ осуществиться. Какъ-то все это уложилось вмѣстѣ.

— Да развѣ это возможно? — пролепеталъ я.

— Зачѣмъ нѣтъ? Ты ей покажешь документъ — струситъ и пойдетъ за тебя, чтобы не потерять деньги.

Я рѣшился не останавливать Ламберта на его подлостяхъ, потому что онъ до того простодушно выкладывалъ ихъ передо мной, что даже и не подозрѣвалъ, что я вдругъ могу возмутиться; но я промямлилъ, однако, что не хотѣлъ бы жениться только силой.

— Я ни за что не захочу силой; какъ ты можешь быть такъ подлъ, чтобы предположить во мнѣ это?

— Эвона! Да она сама пойдетъ: это — не ты, а она сама испугается и пойдетъ. А пойдетъ она еще потому, что тебя любитъ, — спохватился Ламбертъ.

— Ты это врешь. Ты надо мной смѣешься. Почему ты знаешь, что она меня любитъ?

— Непремѣнно. Я знаю. И Анна Андреевна это полагаетъ. Это я тебѣ серьезно и правду говорю, что Анна Андреевна полагаетъ. И потомъ еще я разскажу тебѣ, когда придешь ко мнѣ, одну вещь, и ты увидишь, что любитъ. Альфонсина была въ Царскомъ; она тамъ тоже узнавала . . .

— Что жъ она тамъ могла узнать?

— А вотъ пойдемъ ко мнѣ: она тебѣ разскажетъ сама, и тебѣ будетъ пріятно. Да и чѣмъ ты хуже кого? Ты красивъ, ты воспитанъ...

— Да, я воспитанъ, — прошепталъ я, едва переводя духъ. Сердце мое колотилось и, конечно, не отъ одного вина.

— Ты красивъ, ты одѣтъ хорошо.

— Да, я одѣтъ хорошо.

— И ты добрый...

— Да, я добрый.

— Почему же ей не согласиться? А Бьорингъ все-таки не возьметъ безъ денегъ, а ты можешь ее лишить денегъ, вотъ она и испугается, ты женишься и тѣмъ отмстишь Бьорингу. Вѣдь ты мнѣ самъ тогда въ ту ночь говорилъ, послѣ морозу, что она въ тебя влюблена.

— Я тебѣ это развѣ говорилъ? Я, вѣрно, не такъ говорилъ.

— Нѣтъ, такъ.

— Это я въ бреду. Вѣрно, я тебѣ тогда и про документъ сказалъ?

— Да, ты сказалъ, что у тебя есть такое письмо; я и подумалъ: какъ же онъ, коли есть такое письмо, свое теряетъ?

— Это все фантазія, и я вовсе не такъ глупъ, чтобы этому повѣрить, — бормоталъ я. — Во-первыхъ, разница въ лѣтахъ, а во-вторыхъ, у меня нѣтъ никакой фамиліи.

— Да ужъ пойдетъ; нельзя не пойти, когда столько денегъ пропадетъ — это я устрою. А къ тому жъ, тебя любитъ. Ты знаешь, этотъ старый князь къ тебѣ совсѣмъ расположенъ; ты чрезъ его покровительство, знаешь, какія связи можешь за-

вязать; а что до того, что у тебя нѣтъ фамиліи, такъ нынче этого ничего не надо: разъ ты тяпнешь деньги — и пойдешь, и пойдешь и чрезъ десять лѣтъ будешь такимъ милліонеромъ, что вся Россія затрещитъ, такъ какое тебѣ тогда надо имя? Въ Австріи можно барона купить. А какъ женишься, тогда въ руки возьми. Надо ихъ хорошенько. Женщина, если полюбитъ, то любитъ, чтобы ее въ кулакѣ держать. Женщина любитъ въ мужчинѣ характеръ. А ты какъ испугаешь ее письмомъ, то съ того часа и покажешь ей характеръ. «А, скажетъ, онъ такой молодой, а у него есть характеръ».

Я сидѣлъ какъ ошалѣлый. Ни съ кѣмъ съ другимъ никогда я бы не упалъ до такого глупаго разговора. Но тутъ какая-то сладостная жажда тянула вести его. Къ тому же, Ламбертъ былъ такъ глупъ и подлъ, что стыдиться его нельзя было.

— Нѣтъ, знаешь, Ламбертъ, — вдругъ сказалъ я: — какъ хочешь, а тутъ много вздору; я потому съ тобой говорилъ, что мы — товарищи и намъ нечего стыдиться; но съ другимъ я бы ни за что̀ не унизился. И, главное, почему, почему ты такъ утверждаешь, что она меня любитъ? Это ты хорошо сейчасъ сказалъ про капиталъ; но, видишь, Ламбертъ, ты не знаешь высшаго свѣта: у нихъ это на самыхъ патріархальныхъ, родовыхъ, такъ сказать, отношеніяхъ, такъ что теперь, пока она еще не знаетъ моихъ способностей и до чего я въ жизни могу достигнуть — ей все-таки будетъ стыдно. Но я не скрою отъ тебя, Ламбертъ, что тутъ, дѣйствительно, есть одинъ пунктъ, который можетъ подать надежду. Видишь: она можетъ за меня выйти изъ благодарности, потому что я ее избавлю тогда

отъ ненависти одного человѣка. А она боится этого человѣка.

— Ахъ, ты это про твоего отца? А что, онъ очень ее любитъ? — съ необыкновеннымъ любопытствомъ встрепенулся вдругъ Ламбертъ.

— О, нѣтъ! — вскричалъ я: — и какъ ты страшенъ и въ то же время глупъ, Ламбертъ! Ну, могъ ли бы я, если бъ онъ любилъ ее, хотѣть тутъ жениться? Вѣдь, все-таки — сынъ и отецъ, это вѣдь ужъ стыдно будетъ. Онъ маму любитъ, маму, и я видѣлъ, какъ онъ обнималъ ее, и я прежде самъ думалъ, что онъ любитъ Катерину Николаевну, но теперь узналъ ясно, что онъ, можетъ, ее когда-то любилъ, но теперь давно ненавидитъ... и хочетъ мстить, и она боится, потому что я тебѣ скажу, Ламбертъ, онъ ужасно страшенъ, когда начнетъ мстить. Онъ почти сумасшедшимъ становится. Онъ, когда на нее злится, то на все лѣзетъ. Это вражда въ старомъ родѣ изъ-за возвышенныхъ принциповъ. Въ наше время — наплевать на всѣ общіе принципы; въ наше время не общіе принципы, а одни только частные случаи. Ахъ, Ламбертъ, ты ничего не понимаешь: ты глупъ, какъ палецъ; я говорю тебѣ теперь объ этихъ принципахъ, а ты вѣрно ничего не понимаешь. Ты ужасно необразованъ. Помнишь, ты меня билъ? Я теперь сильнѣе тебя —знаешь ты это?

— Аркашка, пойдемъ ко мнѣ! Мы просидимъ вечеръ и выпьемъ еще одну бутылку, а Альфонсина споетъ съ гитарой.

— Нѣтъ, не пойду. Слушай, Ламбертъ, у меня есть «идея». Если не удастся и не женюсь, то я уйду въ идею; а у тебя нѣтъ идеи.

— Хорошо, хорошо, ты разскажешь, пойдемъ.

— Не пойду! — всталъ я: — не хочу и не пойду. Я къ тебѣ приду, но ты — подлецъ. Я тебѣ дамъ тридцать тысячъ — пусть, но я тебя чище и выше... Я вѣдь вижу, что ты меня обмануть во всемъ хочешь. А объ ней я запрещаю тебѣ даже и думать: она выше всѣхъ, и твои планы — это такая низость, что я даже удивляюсь тебѣ, Ламбертъ. Я жениться хочу — это дѣло другое, но мнѣ не надобенъ капиталъ, я презираю капиталъ. Я самъ не возьму, если бъ она давала мнѣ свой капиталъ на колѣняхъ... А жениться, жениться, это — дѣло другое. И знаешь, это ты хорошо сказалъ, чтобы въ кулакѣ держать. Любить, страстно любить, со всѣмъ великодушіемъ, какое въ мужчинѣ и какого никогда не можетъ быть въ женщинѣ, но и деспотировать — это хорошо. Потому что, знаешь что, Ламбертъ — женщина любитъ деспотизмъ. Ты, Ламбертъ, женщину знаешь. Но ты удивительно глупъ во всемъ остальномъ. И, знаешь, Ламбертъ, ты не совсѣмъ такой мерзкій, какъ кажешься, ты — простой. Я тебя люблю. Ахъ, Ламбертъ, зачѣмъ ты такой плутъ? Тогда бы мы такъ весело стали жить? Знаешь, Тришатовъ — милый.

Всѣ эти послѣднія безсвязныя фразы я пролепеталъ уже на улицѣ. О, я все это припоминаю до мелочи, чтобъ читатель видѣлъ, что при всѣхъ восторгахъ и при всѣхъ клятвахъ и обѣщаніяхъ возродиться къ лучшему и искать благообразія я могъ тогда такъ легко упасть и въ такую грязь! И клянусь, если бъ я не увѣренъ былъ вполнѣ и совершенно, что теперь я уже не тотъ, и что уже выработалъ себѣ характеръ практическою жизнью, то я бы ни за что не признался во всемъ этомъ читателю.

Мы вышли изъ лавки, и Ламбертъ меня поддерживалъ, слегка обнявши рукой. Вдругъ я посмотрѣлъ на него и увидѣлъ почти то же самое выраженіе его пристальнаго, разглядывающаго, страшно внимательнаго и въ высшей степени трезваго взгляда, какъ и тогда, въ то утро, когда я замерзалъ, и когда онъ велъ меня, точно такъ же обнявъ рукой, къ извозчику и вслушивался, и ушами и глазами, въ мой безсвязный лепетъ. У пьянѣющихъ людей, но еще не опьянѣвшихъ совсѣмъ, бываютъ вдругъ мгновенія самаго полнаго отрезвленія.

— Ни за что къ тебѣ не пойду! — твердо и сьязно проговорилъ я, насмѣшливо смотря на него и отстраняя его рукой.

— Ну, полно, я велю Альфонсинѣ чаю, полно!

Онъ ужасно былъ увѣренъ, что я не вырвусь; онъ обнималъ и придерживалъ меня съ наслажденіемъ, какъ жертвочку, а ужъ я-то, конечно, былъ ему нуженъ, именно въ тотъ вечеръ и въ такомъ состояніи! Потомъ это все объяснится — зачѣмъ.

— Не пойду! — повторилъ я: — извозчикъ!

Какъ разъ подскочилъ извозчикъ, и я прыгнулъ въ сани.

— Куда ты? Что ты! — завопилъ Ламбертъ въ ужаснѣйшемъ страхѣ, хватая меня за шубу.

— И не смѣй за мной! — вскричалъ я: — не догоняй. — Въ этотъ мигъ какъ-разъ тронулъ извозчикъ, и шуба моя вырвалась изъ рукъ Ламберта.

— Все равно, придешь! — закричалъ онъ мнѣ вслѣдъ злымъ голосомъ.

— Приду, коль захочу — моя воля! — обернулся я къ нему изъ саней.

II.

Онъ не преслѣдовалъ, конечно, потому что подъ рукой не случилось другого извозчика, и я успѣлъ скрыться изъ глазъ его. Я же доѣхалъ лишь до Сѣнной, а тамъ всталъ и отпустилъ сани. Мнѣ ужасно захотѣлось пройтись пѣшкомъ. Ни усталости, ни большой опьянѣлости я не чувствовалъ, а была лишь одна только бодрость; былъ приливъ силъ, была необыкновенная способность на всякое предпріятіе и безчисленныя пріятныя мысли въ головѣ.

Сердце усиленно и вѣско билось — я слышалъ каждый ударъ. И все такъ мнѣ было мило, все такъ легко. Проходя мимо гауптвахты, на Сѣнной, мнѣ ужасно захотѣлось подойти къ часовому и поцѣловаться съ нимъ. Была оттепель, площадь почернѣла и запахла, но мнѣ очень нравилась и площадь.

«Я теперь на Обуховскій проспектъ, — думалъ я, — а потомъ поверну налѣво и выйду въ Семеновскій полкъ, сдѣлаю крюку, это прекрасно, все прекрасно. Шуба у меня нараспашку, — а что жъ ее никто не снимаетъ, гдѣ жъ воры? На Сѣнной, говорятъ, воры; пусть подойдутъ, я можетъ и отдамъ имъ шубу. На что мнѣ шуба? Шуба — собственность. La propriété, c'est le vol. А, впрочемъ, какой вздоръ, и какъ все хорошо. Это хорошо, что оттепель. Зачѣмъ морозъ? Совсѣмъ не надо морозу. Хорошо и вздоръ нести. Что, бишь, я сказалъ Ламберту про принципы? Я сказалъ, что нѣтъ общихъ принциповъ, а есть только частные случаи; это я совралъ, архи-совралъ! И нарочно, чтобъ пофорсить. Стыдно немножко, а впро-

чемъ — ничего, заглажу. Не стыдитесь, не терзайте себя, Аркадій Макаровичъ. Аркадій Макаровичъ, вы мнѣ нравитесь. Вы мнѣ очень даже нравитесь, молодой мой другъ. Жаль, что вы — маленькій плутишка... и... и... ахъ, да... ахъ!»

Я вдругъ остановился, и все сердце мое опять заныло въ упоеніи:

«Господи! Что это онъ сказалъ? Онъ сказалъ, что она — меня любитъ. О, онъ — мошенникъ, онъ много тутъ налгалъ; это для того, чтобъ я къ нему поѣхалъ ночевать. А можетъ, и нѣтъ. Онъ сказалъ, что и Анна Андреевна такъ думаетъ... Ба! Да ему могла и Дарья Онисимовна тутъ что-нибудь разузнать: та вездѣ шныряетъ. И зачѣмъ я не поѣхалъ къ нему? Я бы все узналъ! Гмъ! У него планъ, и я все это до послѣдней черты предчувствовалъ. Сонъ. Широко задумано, г. Ламбертъ, только врете вы, не такъ это будетъ. А можетъ, и такъ! А можетъ, и такъ! И развѣ онъ можетъ женить меня? А можетъ, и можетъ. Онъ наивенъ и вѣритъ. Онъ глупъ и дерзокъ, какъ всѣ дѣловые люди. Глупость и дерзость, соединяясь вмѣстѣ — великая сила. А признайтесь, что вы таки боялись Ламберта, Аркадій Макаровичъ! И на что ему честные люди? Такъ серьезно и говоритъ: ни одного здѣсь честнаго человѣка! Да ты-то самъ — кто? Э, что жъ я! Развѣ честные люди подлецамъ не нужны? Въ плутовствѣ честные люди еще пуще, чѣмъ вездѣ, нужны? Ха-ха! Этого только вы не знали до сихъ поръ, Аркадій Макаровичъ, съ вашей полной невинностью. Господи! Что если онъ вправду женитъ меня!».

Я опять пріостановился. Я долженъ здѣсь признаться въ одной глупости (такъ какъ это уже

давно прошло), я долженъ признаться, что я уже давно предъ тѣмъ хотѣлъ жениться — то есть не хотѣлъ и этого бы никогда не случилось (да и не случится впредь, даю слово), но я уже не разъ и давно уже передъ тѣмъ мечталъ о томъ, какъ хорошо бы жениться — то есть, ужасно много разъ, особенно засыпая каждый разъ на ночь. Это началось у меня еще по шестнадцатому году. У меня былъ въ гимназіи товарищъ, ровесникъ мнѣ, Лавровскій — и такой милый, тихій, хорошенькій мальчикъ, впрочемъ, ничѣмъ другимъ не отличавшійся. Я съ нимъ никогда почти не разговаривалъ. Вдругъ мы какъ-то сидѣли рядомъ одни, и онъ былъ очень задумчивъ и вдругъ онъ мнѣ: «Ахъ, Долгорукій, какъ вы думаете, вотъ бы теперь жениться; право, когда жъ и жениться, какъ не теперь; теперь бы самое лучшее время, и, однако, никакъ нельзя!» И такъ онъ откровенно это сказалъ. И я вдругъ всѣмъ сердцемъ съ этимъ согласился, потому что самъ ужъ грезилъ о чемъ-то. Потомъ мы нѣсколько дней сряду сходились и все объ этомъ говорили какъ бы въ секретѣ, — впрочемъ, только объ этомъ. А потомъ, не знаю, какъ это произошло, но мы разошлись и перестали говорить. Вотъ съ тѣхъ-то поръ я и сталъ мечтать. Объ этомъ, конечно, не стоило бы вспоминать, но мнѣ хотѣлось только указать, какъ это издалека иногда идетъ...

«Тутъ одно только серьезное возраженіе», все мечталъ я, продолжая идти. «О, конечно, ничтожная разница въ нашихъ лѣтахъ не составитъ препятствія, но вотъ что: она — такая аристократка, а я — просто Долгорукій! Страшно скверно! Гм! Версиловъ развѣ не могъ бы, женясь на мамѣ, про-

сить правительство о позволеніи усыновить меня . . . за заслуги, такъ сказать, отца . . . Онъ вѣдь служилъ, стало быть, были и заслуги; онъ былъ міровымъ посредникомъ . . . О, чертъ возьми, какая гадость!»

Я вдругъ воскликнулъ это и вдругъ, въ третій разъ, остановился, но уже какъ бы раздавленный на мѣстѣ. Все мучительное чувство униженія отъ сознанія, что я могъ пожелать такого позору, какъ перемѣна фамиліи усыновленіемъ, эта измѣна всему моему дѣтству — все это почти въ одинъ мигъ уничтожило все прежнее расположеніе, и вся радость моя разлетѣлась, какъ дымъ. «Нѣтъ, этого я никому не перескажу, подумалъ я, страшно покраснѣвъ, — это я потому такъ унизился, что я . . . влюбленъ и глупъ . . . Нѣтъ, если въ чемъ правъ Ламбертъ, такъ въ томъ, что нынче въ нашъ вѣкъ главное — самъ человѣкъ, а потомъ его деньги. То есть — не деньги, а его имущество. Съ такимъ капиталомъ я брошусь въ «идею», и вся Россія затрещитъ черезъ десять лѣтъ, и я всѣмъ отомщу. А съ ней церемониться нечего, тутъ опять правъ Ламбертъ. Струситъ и просто пойдетъ. Простѣйшимъ и пошлѣйшимъ образомъ согласится и пойдетъ». «Ты не знаешь, ты не знаешь, въ какомъ это чуланѣ происходило!» припоминались мнѣ давешнія слова Ламберта. «И это такъ, — подтверждалъ я, — Ламбертъ правъ во всемъ, въ тысячу разъ правѣе меня и Версилова, и всѣхъ идеалистовъ. Онъ — реалистъ. Она увидитъ, что у меня есть характеръ, и скажетъ: «А, у него есть характеръ!» Ламбертъ — подлецъ, и ему только бы тридцать тысячъ съ меня сорвать, а все-таки онъ у меня одинъ только другъ и есть. Дру-

гой дружбы нѣтъ и не можетъ быть, это все выдумали непрактическіе люди. А ее я даже и не унижаю; развѣ я ее унижаю? Ничуть: всѣ женщины таковы! Женщина развѣ бываетъ безъ подлости? Потому-то надъ ней и нуженъ мужчина, потому-то она и создана существомъ подчиненнымъ. Женщина — порокъ и соблазнъ, а мужчина — благородство и великодушіе. Такъ и будетъ во вѣки вѣковъ. А что я собираюсь употребить «документъ» — такъ это ничего. Это не помѣшаетъ ни благородству, ни великодушію. Шиллеровъ въ чистомъ состояніи не бываетъ — ихъ выдумали. Ничего, коль съ грязнотой, если цѣль великолѣпна! Потомъ все омоется, все загладится. А теперь это — только широкость, это — только жизнь, это — только жизненная правда — вотъ какъ это теперь называется!»

О, опять, повторю: да простятъ мнѣ, что я привожу весь этотъ тогдашній хмѣльной бредъ до послѣдней строчки. Конечно, это только эссенція тогдашнихъ мыслей, но, мнѣ кажется, я этими самыми словами и говорилъ. Я долженъ былъ привести ихъ, потому что я сѣлъ писать, чтобъ судить себя. А что же судить, какъ не это? Развѣ въ жизни можетъ быть что-нибудь серьезнѣе? Вино же не оправдывало. In vino veritas.

Такъ мечтая и весь закопавшись въ фантазію, я и не замѣтилъ, что дошелъ, наконецъ, до дому, то есть до маминой квартиры. Даже не замѣтилъ, какъ вошелъ въ квартиру; но только что я вступилъ въ нашу крошечную переднюю, какъ уже сразу понялъ, что у насъ произошло нѣчто необычайное. Въ комнатахъ говорили громко, вскрикивали, а мама, слышно было, плакала. Въ дверяхъ

меня чуть не сбила съ ногъ Лукерья, стремительно пробѣжавшая изъ комнаты Макара Ивановича въ кухню. Я сбросилъ шубу и вошелъ къ Макару Ивановичу, потому что тамъ всѣ столпились.

Тамъ стояли Версиловъ и мама. Мама лежала у него въ объятіяхъ, а онъ крѣпко прижималъ ее къ сердцу. Макаръ Ивановичъ сидѣлъ, по обыкновенію, на своей скамеечкѣ, но какъ бы въ какомъ-то безсиліи, такъ что Лиза съ усиліемъ придерживала его руками за плечо, чтобы онъ не упалъ; и даже ясно было, что онъ все клонится, чтобы упасть. Я стремительно шагнулъ ближе, вздрогнулъ и догадался: старикъ былъ мертвъ.

Онъ только что умеръ, за минуту какую-нибудь до моего прихода. За десять минутъ онъ еще чувствовалъ себя какъ всегда. Съ нимъ была только одна Лиза; она сидѣла у него и разсказывала ему о своемъ горѣ, а онъ, какъ вчера, гладилъ ее по головѣ. Вдругъ онъ весь затрепеталъ (разсказывала Лиза), хотѣлъ было привстать, хотѣлъ было вскрикнуть и молча сталъ падать на лѣвую сторону. «Разрывъ сердца!» говорилъ Версиловъ. Лиза закричала на весь домъ, и вотъ тутъ-то они всѣ и сбѣжались — и все это за минуту какую-нибудь до моего прихода.

— Аркадій! — крикнулъ мнѣ Версиловъ, — мигомъ бѣги къ Татьянѣ Павловнѣ. Она непремѣнно должна быть дома. Проси немедленно. Возьми извозчика. Скорѣй, умоляю тебя!

Его глаза сверкали — это я ясно помню. Въ лицѣ его я не замѣтилъ чего-нибудь въ родѣ чистой жалости, слезъ — плакали лишь мама, да Лиза, да Лукерья. Напротивъ, и это я очень хорошо запомнилъ, въ лицѣ его поражало какое-то

необыкновенное возбужденіе, почти восторгъ. Я побѣжалъ за Татьяной Павловной.

Путь, какъ извѣстно изъ прежняго, тутъ не длинный. Я извозчика не взялъ, а пробѣжалъ всю дорогу не останавливаясь. Въ умѣ моемъ было смутно и даже тоже почти что-то восторженное. Я понималъ, что совершилось нѣчто радикальное. Опьянѣніе же совершенно исчезло во мнѣ, до послѣдней капли, а вмѣстѣ съ нимъ и всѣ неблагородныя мысли, когда я позвонилъ къ Татьянѣ Павловнѣ.

Чухонка отперла: «Нѣтъ дома!» — и хотѣла тотчасъ запереть.

— Какъ нѣтъ дома? — ворвался я въ переднюю силой, — да быть же не можетъ! Макаръ Ивановичъ умеръ!

— Что-о! — раздался вдругъ крикъ Татьяны Павловны сквозь запертую дверь въ ея гостиную.

— Умеръ! Макаръ Ивановичъ умеръ! Андрей Петровичъ проситъ васъ сію минуту придти!

— Да ты врешь!..

Задвижка щелкнула, но дверь отворилась только на вершокъ: «что такое, разсказывай!..»

— Я самъ не знаю, я только что пришелъ, а онъ уже мертвъ. Андрей Петровичъ говоритъ: разрывъ сердца!

— Сейчасъ, сію минуту. Бѣги, скажи, что буду: ступай же, ступай же, ступай! Ну, чего еще сталъ?

Но я ясно видѣлъ сквозь пріотворенную дверь, что кто-то вдругъ вышелъ изъ-за портьеры, за которой помѣщалась кровать Татьяны Павловны, и сталъ въ глубинѣ комнаты, за Татьяной Павловной. Машинально, инстинктивно я схватился за замокъ и уже не далъ затворить дверь.

— Аркадій Макаровичъ! Неужели правда, что онъ умеръ? — раздался знакомый мнѣ тихій, плавный, металлическій голосъ, отъ котораго все такъ и задрожало въ душѣ моей разомъ: въ вопросѣ слышалось что-то проникнувшее и взволновавшее ея душу.

— А коли такъ, — бросила вдругъ дверь Татьяна Павловна, — коли такъ — такъ и улаживайтесь, какъ хотите сами. Сами захотѣли!

Она стремительно выбѣжала изъ квартиры, накидывая на бѣгу платокъ и шубку, и пустилась по лѣстницѣ. Мы остались одни. Я сбросилъ шубу, шагнулъ и затворилъ за собою дверь. Она стояла предо мной, какъ тогда, въ то свиданіе, съ свѣтлымъ взглядомъ, и, какъ тогда, протягивала мнѣ обѣ руки. Меня точно подкосило, и я буквально упалъ къ ея ногамъ.

III.

Я началъ было плакать, не знаю съ чего; не помню, какъ она усадила меня подлѣ себя, помню только, въ безцѣнномъ воспоминаніи моемъ, какъ мы сидѣли рядомъ, рука въ руку, и стремительно разговаривали: она разспрашивала про старика и про смерть его, а я ей объ немъ разсказывалъ — такъ что можно было подумать, что я плакалъ о Макарѣ Ивановичѣ, тогда какъ это было бы верхъ нелѣпости; и я знаю, что она ни за что бы не могла предположить во мнѣ такой совсѣмъ ужъ малолѣтней пошлости. Наконецъ, я вдругъ спохватился, и мнѣ стало стыдно. Теперь я полагаю, что плакалъ тогда единственно отъ восторга, и думаю, что она это хорошо поняла сама, такъ что насчетъ этого воспоминанія я спокоенъ.

Мнѣ вдругъ показалось очень страннымъ, что она все такъ разспрашивала про Макара Ивановича.

— Да вы развѣ знали его? — спросилъ я въ удивленіи.

— Давно. Я его никогда не видала, но въ жизни моей онъ тоже игралъ роль. Мнѣ много передавалъ о немъ въ свое время тотъ человѣкъ, котораго я боюсь. Вы знаете, какой человѣкъ.

— Я только знаю теперь, что «тотъ человѣкъ» гораздо былъ ближе къ душѣ вашей, чѣмъ вы это мнѣ прежде открыли, — сказалъ я, самъ не зная, что хотѣлъ этимъ выразить, но какъ бы съ укоризной и весь нахмурясь.

— Вы говорите, онъ цѣловалъ сейчасъ вашу мать? Обнималъ ее? Вы это видѣли сами? — не слушала она меня и продолжала разспрашивать.

— Да, видѣлъ; и повѣрьте, все это было въ высшей степени искренно и великодушно! — поспѣшилъ я подтвердить, видя ея радость.

— Дай ему Богъ! — перекрестилась она. — Теперь онъ развязанъ. Этотъ прекрасный старикъ только связывалъ его жизнь. Со смертью его въ немъ опять воскреснетъ долгъ и... достоинство, какъ воскресали уже разъ. О, онъ прежде всего — великодушный, онъ успокоитъ сердце вашей матери, которую любитъ больше всего на землѣ, и успокоится, наконецъ, самъ, да и слава Богу — пора.

— Онъ вамъ дорогъ?

— Да, очень дорогъ, хотя и не въ томъ смыслѣ, въ какомъ бы онъ самъ желалъ и въ какомъ вы спрашиваете.

— Да вы теперь-то за него или за себя боитесь? — спросилъ я вдругъ.

— Ну, это — мудреные вопросы, оставимъ ихъ.

— Оставимъ, конечно; только ничего я этого не зналъ, слишкомъ многаго, можетъ быть; но пусть вы правы, теперь все по-новому, и, если кто воскреснетъ, то я первый. Я передъ вами низокъ мыслями, Катерина Николаевна, и, можетъ быть, не болѣе часу назадъ, я совершилъ низость противъ васъ и дѣломъ, но знайте, я вотъ сижу подлѣ васъ и не чувствую никакого угрызенія. Потому что теперь все исчезло и все по-новому, а того человѣка, который часъ назадъ замышлялъ противъ васъ низость, я не знаю и знать не хочу!

— Очнитесь! — улыбнулась она, — вы какъ будто немножко въ бреду.

— И развѣ можно судить себя подлѣ васъ? — продолжалъ я, — будь честный, будь низкій — вы все равно, какъ солнце, недосягаемы . . . Скажите, какъ это вы могли выйти ко мнѣ, послѣ всего, что было? Да если бъ вы знали, что было часъ тому назадъ, только часъ? И какой сонъ сбылся?

— Все, должно быть, знаю, — тихо улыбнулась она, — вы только что хотѣли мнѣ въ чемъ-нибудь отмстить, поклялись меня погубить и навѣрно убили бы или прибили тутъ же всякаго, который осмѣлился бы сказать обо мнѣ при васъ хоть одно худое слово.

О, она улыбалась и шутила: но это лишь по чрезмѣрной ея добротѣ, потому что вся душа ея въ ту минуту была полна, какъ сообразилъ я послѣ, такой собственной огромной заботы и такого сильнаго и могущественнаго ощущенія, что разговаривать со мной и отвѣчать на мои пустенькіе, раздражительные вопросы она могла лишь въ родѣ, какъ когда отвѣчаютъ маленькому ребенку на ка-

кой-нибудь его дѣтскій неотвязный вопросъ, чтобъ отвязаться Я это вдругъ понялъ, и мнѣ стало стыдно, но я уже не могъ отвязаться.

— Нѣтъ, — вскричалъ я, не владѣя собой, — нѣтъ, я не убилъ того, который говорилъ объ васъ худо, а напротивъ, я уже не могъ отвязаться.

— О, ради Бога, не надо, не нужно, не разсказывайте ничего, — протянула она вдругъ руку, чтобы остановить меня, и даже съ какимъ-то страданіемъ въ лицѣ, но я уже вскочилъ съ мѣста и сталъ передъ нею, чтобы высказать все, и, если бъ высказалъ, не случилось бы того, что вышло послѣ, потому что навѣрно кончилось бы тѣмъ, что я бы сознался во всемъ и возвратилъ ей документъ. Но она вдругъ засмѣялась:

— Не надо, не надо ничего, никакихъ подробностей! Всѣ ваши преступленія я сама знаю: бьюсь объ закладъ, вы хотѣли на мнѣ жениться или въ родѣ того, и только что сговаривались объ этомъ съ какимъ-нибудь изъ вашихъ помощниковъ, вашихъ прежнихъ школьныхъ друзей... Ахъ, да, вѣдь я, кажется, угадала! — вскричала она, серьезно всматриваясь въ мое лицо.

— Какъ... какъ вы могли угадать? — пролепеталъ было я, какъ дуракъ, страшно пораженный.

— Ну, вотъ еще! Но довольно, довольно! Я вамъ прощаю, только перестаньте объ этомъ, — махнула она опять рукой, уже съ видимымъ нетерпѣніемъ. — Я — сама мечтательница, и если бъ вы знали, къ какимъ средствамъ въ мечтахъ прибѣгаю въ минуты, когда во мнѣ удержу нѣтъ! Довольно, вы меня сбиваете. Я очень рада, что Татьяна Павловна ушла; мнѣ очень хотѣлось васъ

видѣть, а при ней нельзя было бы такъ, какъ теперь, говорить. Мнѣ кажется, я передъ вами виновата въ томъ, что тогда случилось. Да? Вѣдь да?

— Вы виноваты? Но тогда я предалъ васъ *ему*, и — что могли вы обо мнѣ подумать! Я объ этомъ думалъ все это время, всѣ эти дни, съ тѣхъ поръ, каждую минуту, думалъ и ощущалъ. (Я ей не солгалъ.)

— Напрасно такъ себя мучили, я тогда же слишкомъ поняла, какъ это все вышло; просто вы проговорились ему тогда въ радости, что въ меня влюблены и что я... ну, и что я васъ слушаю На то вамъ и двадцать лѣтъ. Вѣдь вы его любите больше всего міра, ищете въ немъ друга, идеалъ? Я слишкомъ это поняла, но уже было поздно; о, да, я сама была тогда виновата: мнѣ надо было васъ позвать тогда же и васъ успокоить, но мнѣ стало досадно; и я попросила не принимать васъ въ домъ; вотъ и вышла та сцена у подъѣзда, а потомъ та ночь. И, знаете, я все это время, какъ и вы, мечтала съ вами увидѣться потихоньку, только не знала какъ бы это устроить. И какъ вы думаете, чего я боялась больше всего? Того, что вы повѣрите его наговорамъ обо мнѣ.

— Никогда! — вскричалъ я.

— Я цѣню наши бывшія встрѣчи; мнѣ въ васъ дорогъ юноша, и даже, можетъ быть, эта самая искренность... Я вѣдь пресерьезный характеръ. Я — самый серьезный и нахмуренный характеръ изъ всѣхъ современныхъ женщинъ, знайте это... ха-ха-ха! Мы еще наговоримся, а теперь я немного не по себѣ, я взволнована и... кажется, у меня истерика. Но, наконецъ-то, наконецъ-то, дастъ *онъ* и мнѣ жить на свѣтѣ!

Это восклицаніе вырвалось нечаянно; я это тотчасъ понялъ и не захотѣлъ подымать, но я весь задрожалъ.

— Онъ знаетъ, что я простила ему! — воскликнула она вдругъ опять, какъ бы сама съ собой.

— Неужели вы могли простить ему то письмо? И какъ онъ могъ бы узнать про то, что вы ему простили? — воскликнулъ я, уже не сдержавшись.

— Какъ онъ узналъ? О, онъ знаетъ, — продолжала она отвѣчать мнѣ, но съ такимъ видомъ, какъ-будто и забывъ про меня и точно говоря съ собою. — Онъ теперь очнулся. Да и какъ ему не знать, что я его простила, коли онъ знаетъ наизусть мою душу? Вѣдь знаетъ же онъ, что я сама немножко въ его родѣ.

— Вы?

— Ну, да, это ему извѣстно. О, я — не страстная, я — спокойная: но я тоже хотѣла бы, какъ и онъ, чтобъ всѣ были хороши... Вѣдь полюбилъ же онъ меня за что-нибудь.

— Какъ же онъ говорилъ, что въ васъ всѣ пороки?

— Это онъ только говорилъ, у него про себя есть другой секретъ. А не правда ли, что письмо свое онъ ужасно смѣшно написалъ?

— Смѣшно! (Я слушалъ ее изо всѣхъ силъ; полагаю, что, дѣйствительно, она была какъ въ истерикѣ и... высказывалась, можетъ быть, вовсе не для меня; но я не могъ удержаться, чтобъ не разспрашивать.)

— О, да, смѣшно, и какъ бы я смѣялась, если бъ... если бъ не боялась. Я, впрочемъ — не такая ужъ трусиха, не подумайте; но отъ этого

письма я ту ночь не спала, оно писано какъ бы какою-то больною кровью . . . и послѣ такого письма что жъ еще остается? Я жизнь люблю, я за жизнь мою ужасно боюсь, я ужасно въ этомъ малодушна . . . Ахъ, послушайте! — вскинулась она вдругъ; — ступайте къ нему! Онъ теперь одинъ, онъ не можетъ быть все тамъ, и навѣрно ушелъ куда-нибудь одинъ: отыщите его скорѣй, непремѣнно скорѣй, бѣгите къ нему, покажите, что вы — любящій сынъ его, докажите, что вы — милый, добрый мальчикъ, мой студентъ, котораго я . . . О, дай вамъ Богъ счастья! Я никого не люблю, да это и лучше; но я желаю всѣмъ счастья, всѣмъ, и ему первому, и пусть онъ узнаетъ про это . . . даже сейчасъ же, мнѣ было бы очень пріятно . . .

Она встала и вдругъ исчезла за портьеру; на лицѣ ея въ то мгновеніе блистали слезы (истерическія, послѣ смѣха). Я остался одинъ, взволнованный и смущенный. Положительно я не зналъ, чему приписать такое въ ней волненіе, котораго я никогда бы въ ней и не предположилъ. Что-то какъ бы сжалось въ моемъ сердцѣ.

Я прождалъ пять минутъ, наконецъ — десять; глубокая тишина вдругъ поразила меня, и я рѣшился выглянуть изъ дверей и окликнуть. На мой окликъ появилась Марья и объявила мнѣ самымъ спокойнымъ тономъ, что барыня давнымъ-давно одѣлась и вышла черезъ черный ходъ.

Глава седьмая.

I.

Этого только не доставало. Я захватилъ мою шубу и, накидывая ее на ходу, побѣжалъ вонъ съ мыслью: «Она велѣла идти къ нему, а гдѣ я его достану?»

Но, мимо всего другого, я пораженъ былъ вопросомъ: «Почему она думаетъ, что теперь что-то настало и что *онъ* дастъ ей покой? Конечно — потому, что онъ женится на мамѣ, но что жъ она? Радуется ли тому, что онъ женится на мамѣ, или, напротивъ, она оттого и несчастна? Оттого-то и въ истерикѣ? Почему я этого не могу разрѣшить?»

Отмѣчаю эту вторую мелькнувшую тогда мысль буквально, для памяти: она — важная. Этотъ вечеръ былъ роковой. И вотъ, пожалуй, поневолѣ повѣришь предопредѣленію: не прошелъ я и ста шаговъ по направленію къ маминой квартирѣ, какъ вдругъ столкнулся съ тѣмъ, кого искалъ. Онъ схватилъ меня за плечо и остановилъ.

— Это — ты! — вскрикнулъ онъ радостно и, въ то же время, какъ бы въ величайшемъ удивленіи. — Вообрази, я былъ у тебя, — быстро загово-

рилъ онъ, — искалъ тебя, спрашивалъ тебя — ты мнѣ нуженъ теперь одинъ только во всей вселенной! Твой чиновникъ вралъ мнѣ Богъ знаетъ что; но тебя не было, и я ушелъ, даже забывъ попросить передать тебѣ, чтобъ ты немедля ко мнѣ прибѣжалъ — и что же? я все-таки шелъ въ непоколебимой увѣренности, что судьба не можетъ не послать тебя теперь, когда ты мнѣ всего нужнѣе, и вотъ ты первый и встрѣчаешься! Идемъ ко мнѣ: ты никогда не бывалъ у меня.

Однимъ словомъ, мы оба другъ друга искали, и съ нами, съ каждымъ, случилось какъ бы нѣчто схожее. Мы пошли очень торопясь.

Дорогой онъ промолвилъ лишь нѣсколько коротенькихъ фразъ о томъ, что оставилъ маму съ Татьяной Павловной и проч. Онъ велъ меня держа за руку. Жилъ онъ отъ тѣхъ мѣстъ недалеко, и мы скоро пришли. Я, дѣйствительно, никогда еще у него не бывалъ. Это была небольшая квартира въ три комнаты, которую онъ нанималъ (или, вѣрнѣе, нанимала Татьяна Павловна) единственно для того «грудного ребенка». Квартира эта и прежде всегда была подъ надзоромъ Татьяны Павловны, и въ ней помѣщалась нянька съ ребенкомъ (а теперь и Дарья Онисимовна); но всегда была и комната для Версилова, именно — первая, входная, довольно просторная и довольно хорошо и мягко меблированная, въ родѣ кабинета для книжныхъ и письменныхъ занятій. Дѣйствительно, на столѣ, въ шкафу и на этажеркахъ было много книгъ (которыхъ въ маминой квартирѣ почти совсѣмъ не было), были исписанныя бумаги, были связанныя пачки съ письмами — однимъ словомъ, все глядѣло какъ давно уже обжитой уголъ, и я знаю, что Версиловъ

и прежде (хотя довольно рѣдко) переселялся по временамъ на эту квартиру совсѣмъ и оставался въ ней даже по цѣлымъ недѣлямъ. Первое, что остановило мое вниманіе, былъ висѣвшій надъ письменнымъ столомъ, въ великолѣпной рѣзной дорогого дерева рамѣ, маминъ портретъ — фотографія, снятая, конечно, за границей и, судя по необыкновенному размѣру ея, очень дорогая вещь. Я не зналъ и ничего не слыхалъ объ этомъ портретѣ прежде, и что, главное, поразило меня — то необыкновенное въ фотографіи сходство, такъ сказать, духовное сходство — однимъ словомъ, какъ будто это былъ настоящій портретъ изъ руки художника, а не механическій оттискъ. Я, какъ вошелъ, тотчасъ же и невольно остановился передъ нимъ.

— Не правда ли? Не правда ли? — повторилъ вдругъ надо мной Версиловъ.

То есть «не правда ли, какъ похожъ?» Я оглянулся на него и былъ пораженъ выраженіемъ его лица. Онъ былъ нѣсколько блѣденъ, но съ горячимъ напряженнымъ взглядомъ, сіявшимъ какъ бы счастіемъ и силой: такого выраженія я еще не зналъ у него вовсе.

— Я не зналъ, что вы такъ любите маму! — отрѣзалъ я вдругъ самъ въ восторгѣ.

Онъ блаженно улыбнулся, хотя въ улыбкѣ его и отразилось какъ бы что-то страдальческое или, лучше сказать, что-то гуманное, высшее... не умѣю я этого высказать; но высокоразвитые люди, какъ мнѣ кажется, не могутъ имѣть торжественно и побѣдоносно счастливыхъ лицъ. Не отвѣтивъ мнѣ, онъ снялъ портретъ съ колецъ обѣими руками, приблизилъ къ себѣ, поцѣловалъ его, затѣмъ тихо повѣсилъ опять на стѣну.

— Замѣть, — сказалъ онъ, — фотографическіе снимки чрезвычайно рѣдко выходятъ похожими, и это понятно: самъ оригиналъ, то есть каждый изъ насъ, чрезвычайно рѣдко бываетъ похожъ на себя. Въ рѣдкія только мгновенія человѣческое лицо выражаетъ главную черту свою, свою самую характерную мысль. Художникъ изучаетъ лицо и угадываетъ эту главную мысль лица, хотя бы въ тотъ моментъ, въ который онъ списываетъ, и не было ея вовсе въ лицѣ. Фотографія же застаетъ человѣка какъ есть, и весьма возможно, что Наполеонъ, въ иную минуту, вышелъ бы глупымъ, а Бисмаркъ — нѣжнымъ. Здѣсь же, въ этомъ портретѣ, солнце, какъ нарочно, застало Соню въ ея главномъ мгновеніи — стыдливой, кроткой любви и нѣсколько дикаго, пугливаго ея цѣломудрія. Да и счастлива же какъ была она тогда, когда, наконецъ, убѣдилась, что я такъ жажду имѣть ея портретъ! Этотъ снимокъ сдѣланъ хоть и не такъ давно, а все же она была тогда моложе и лучше собою, а между тѣмъ, ужъ и тогда были эти впалыя щеки, эти морщинки на лбу, эта пугливая робость взгляда, какъ бы нарастающая у ней теперь съ годами — чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Вѣришь ли, милый? Я почти и представить теперь ее не могу съ другимъ лицомъ, а вѣдь была же и она когда-то молода и прелестна! Русскія женщины дурнѣютъ быстро, красота ихъ только мелькнетъ, и, право, это не отъ однѣхъ только этнографическихъ особенностей типа, а и отъ того еще, что онѣ умѣютъ любить беззавѣтно. Русская женщина все разомъ отдаетъ, коль полюбитъ — и мгновенье, и судьбу, и настоящее, и будущее: экономничать не умѣютъ, про запасъ не прячутъ, и красота ихъ быстро ухо-

дитъ въ того, кого любятъ. Эти впалыя щеки — это тоже въ меня ушедшая красота, въ мою коротенькую потѣху. Ты радъ, что я любилъ твою маму, и даже не вѣрилъ, можетъ быть, что я любилъ ее? Да, другъ мой, я ее очень любилъ, но, кромѣ зла, ей ничего не сдѣлалъ . . . Вотъ тутъ еще есть и другой портретъ — посмотри и на него.

Онъ взялъ со стола и мнѣ подалъ. Это тоже была фотографія, несравненно меньшаго размѣра, въ тоненькомъ, овальномъ, деревянномъ ободочкѣ — лицо дѣвушки, худое и чахоточное и, при всемъ томъ, прекрасное; задумчивое и, въ то же время, до странности лишенное мысли. Черты правильныя, выхоленнаго поколѣніями типа, но оставляющія болѣзненное впечатлѣніе: похоже было на то, что существомъ этимъ вдругъ овладѣла какая-то неподвижная мысль, мучительная именно тѣмъ, что была ему не подъ силу.

— Это . . . это — та дѣвушка, на которой вы хотѣли тамъ жениться и которая умерла въ чахоткѣ . . . *ея* падчерица? — проговорилъ я нѣсколько робко.

— Да, хотѣлъ жениться, умерла въ чахоткѣ, *ея* падчерица. Я зналъ, что ты знаешь . . . всѣ эти сплетни. Впрочемъ, кромѣ сплетенъ — ты тутъ ничего и не могъ бы узнать. Оставь портретъ, мой другъ, это бѣдная сумасшедшая и ничего больше.

— Совсѣмъ сумасшедшая?

— Или идіотка; впрочемъ, я думаю, что и сумасшедшая. У нея былъ ребенокъ отъ князя Сергѣя Петровича (по сумасшествію, а не по любви; это — одинъ изъ подлѣйшихъ поступковъ князя Сергѣя Петровича); ребенокъ теперь здѣсь, въ той комнатѣ, и я давно хотѣлъ тебѣ показать его.

Князь Сергѣй Петровичъ не смѣлъ сюда приходить и смотрѣть на ребенка: это былъ мой съ нимъ уговоръ еще за границей. Я взялъ его къ себѣ, съ позволенія твоей мамы. Съ позволенія твоей мамы хотѣлъ тогда и жениться на этой . . . несчастной . . .

— Развѣ такое позволеніе возможно? — промолвилъ я съ горячностью.

— О, да! Она мнѣ позволила: ревнуютъ къ женщинамъ, а это была не женщина.

— Не женщина для всѣхъ, кромѣ мамы! Въ жизнь не повѣрю, чтобы мама не ревновала! — вскричалъ я.

— И ты правъ. Я догадался о томъ, когда уже было все кончено, то есть, когда она дала позволеніе. Но оставь объ этомъ. Дѣло не сладилось за смертью Лиди, да, можетъ, если бъ и осталась въ живыхъ, то не сладилось бы, а маму я и теперь не пускаю къ ребенку. Это — лишь эпизодъ. Милый мой, я давно тебя ждалъ сюда. Я давно мечталъ, какъ мы здѣсь сойдемся; знаешь ли, какъ давно? — Уже два года мечталъ.

Онъ искренно и правдиво посмотрѣлъ на меня, съ беззавѣтною горячностью сердца. Я схватилъ его за руку:

— Зачѣмъ вы медлили, зачѣмъ давно не звали? Если бъ вы знали, что было . . . и чего бы не было, если бъ давно меня кликнули! . .

Въ это мгновеніе внесли самоваръ, а Дарья Онисимовна вдругъ внесла ребенка, спящаго.

— Посмотри на него, — сказалъ Версиловъ, — я его люблю и велѣлъ принести теперь нарочно, чтобъ ты тоже посмотрѣлъ на него. Ну, и унесите его опять, Дарья Онисимовна. Садись къ самовару. Я буду воображать, что мы вѣчно съ тобой такъ

жили и каждый вечеръ сходились, не разлучаясь. Дай мнѣ посмотрѣть на тебя: сядь вотъ такъ, чтобъ я твое лицо видѣлъ. Какъ я его люблю, твое лицо! Какъ я воображалъ себѣ твое лицо, когда еще ждалъ тебя изъ Москвы! Ты спрашиваешь: зачѣмъ давно за тобой не послалъ? Подожди, это ты, можетъ быть, и поймешь теперь.

— Но неужели только смерть этого старика вамъ теперь развязала языкъ? Это странно . . .

Но если я и вымолвилъ это, то смотрѣлъ съ я любовью. Говорили мы какъ два друга, въ высшемъ и полномъ смыслѣ слова. Онъ привелъ меня сюда, чтобы что-то мнѣ выяснить, разсказать, оправдать; а, между тѣмъ, уже все было, раньше словъ, разъяснено и оправдано. Что бы я ни услышалъ отъ него теперь — результатъ уже былъ достигнутъ, и мы оба со счастьемъ знали про это и такъ и смотрѣли другъ на друга.

— Не то, что смерть этого старика, — отвѣтилъ онъ, — не одна смерть; есть и другое, что попало теперь въ одну точку . . . Да благословитъ Богъ это мгновеніе и нашу жизнь впредь и надолго! Милый мой, поговоримъ. Я все разбиваюсь, развлекаюсь, хочу говорить объ одномъ, а ударяюсь въ тысячу боковыхъ подробностей. Это всегда бываетъ, когда сердце полно . . . Но, поговоримъ; время пришло, а я давно влюбленъ въ тебя, мальчикъ . . .

Онъ откинулся въ своихъ креслахъ и еще разъ оглядѣлъ меня.

— Какъ это странно! Какъ это странно слышать! — повторялъ я, утопая въ восторгѣ.

И вотъ, я помню, въ лицѣ его вдругъ мелькнула его обычная складка — какъ бы грусти и насмѣш-

ки вмѣстѣ, столь мнѣ знакомая. Онъ скрѣпился и, какъ бы съ нѣкоторою натугою, началъ.

II.

— Вотъ что, Аркадій, если бъ я и позвалъ тебя раньше, то что бы сказалъ тебѣ? Въ этомъ вопросѣ весь мой отвѣтъ.

— То есть вы хотите сказать, что вы теперь — маминъ мужъ и мой отецъ, а тогда... Вы на счетъ соціальнаго положенія не знали бы что сказать мнѣ прежде? Такъ ли?

— Не объ одномъ этомъ, милый, не зналъ бы что тебѣ сказать: тутъ о многомъ пришлось бы молчать. Тутъ даже многое смѣшно и унизительно тѣмъ, что похоже на фокусъ; право, на самый балаганный фокусъ. Ну, гдѣ же прежде намъ было понять другъ друга, когда я и самъ-то понялъ себя самого — лишь сегодня въ пять часовъ пополудни, ровно за два часа до смерти Макара Ивановича. Ты глядишь на меня съ непріятнымъ недоумѣніемъ? Не безпокойся: я разъясню фактъ, но то, что я сказалъ, вполнѣ справедливо: вся жизнь въ странствіи и недоумѣніяхъ, и вдругъ — разрѣшеніе ихъ такого-то числа, въ пять часовъ пополудни! Даже обидно, не правда ли? Въ недавнюю еще старину, я и впрямь бы обидѣлся.

Я слушалъ, дѣйствительно, съ болѣзненнымъ недоумѣніемъ; сильно выступала прежняя Версиловская складка, которую я не желалъ бы встрѣтить въ тотъ вечеръ, послѣ такихъ уже сказанныхъ словъ. Вдругъ я воскликнулъ:

— Боже мой! Вы получили что-нибудь отъ нея... въ пять часовъ, сегодня?

Онъ посмотрѣлъ на меня пристально и, видимо, пораженный моимъ восклицаніемъ, а, можетъ, и выраженіемъ моимъ: «отъ нея».

— Ты все узнаешь, — сказалъ онъ, съ задумчивою улыбкой, — и ужъ, конечно, я, что надо, не потаю отъ тебя, потому что затѣмъ тебя и привелъ; но теперь пока это все отложимъ. Видишь, другъ мой, я давно уже зналъ, что у насъ есть дѣти, уже съ дѣтства задумывающіяся надъ своей семьей, оскорбленныя неблагообразіемъ отцовъ своихъ и среды своей. Я намѣтилъ этихъ задумывающихся еще съ моей школой и заключилъ тогда, что все это потому, что они слишкомъ рано завидуютъ. Затѣмъ, однако, что я и самъ былъ изъ задумывающихся дѣтей, но . . . извини, мой милый, я удивительно какъ разсѣянъ. Я хотѣлъ только выразить, какъ постоянно я боялся здѣсь за тебя почти все это время. Я всегда воображалъ тебя однимъ изъ тѣхъ маленькихъ, но сознающихъ свою даровитость и уединяющихся существъ. Я тоже, какъ и ты, никогда не любилъ товарищей. Бѣда этимъ существамъ, оставленнымъ на однѣ свои силы и грезы и страстной, слишкомъ ранней и почти мстительной жаждой благообразія, именно — «мстительной». Но довольно, милый: я опять уклонился . . . Я еще прежде чѣмъ началъ любить тебя, уже воображалъ тебя и твои уединенныя, одичавшія мечты... Но довольно, я, собственно, забылъ, о чемъ сталъ говорить. Впрочемъ, все же надо было это высказать. А прежде, прежде, что бы я могъ тебѣ сказать? Теперь я вижу твой взглядъ на мнѣ и знаю, что на меня смотритъ мой *сынъ*? а я вѣдь даже вчера еще не могъ повѣрить, что буду когда-нибудь, какъ сегодня, сидѣть и говорить съ моимъ мальчикомъ.

Онъ, дѣйствительно, становился очень разсѣянъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы чѣмъ-то растроганъ.

— Мнѣ теперь не нужно мечтать и грезить, мнѣ теперь довольно и васъ! Я пойду за вами! — проговорилъ я, отдаваясь ему всей душой.

— За мной? А мои странствія какъ разъ кончились и какъ разъ сегодня: ты опоздалъ, мой милый. Сегодня — финалъ послѣдняго акта и занавѣсъ опускается. Этотъ послѣдній актъ долго длился. Начался онъ очень давно — тогда, когда я побѣжалъ въ послѣдній разъ за границу. Я тогда бросилъ все, и знай, мой милый, что я тогда разженился съ твоей мамой и ей самъ заявилъ про это. Это ты долженъ знать. Я объяснилъ ей тогда, что уѣзжаю навѣкъ, что она меня больше никогда не увидитъ. Всего хуже, что я забылъ даже оставить ей тогда денегъ. Объ тебѣ также не подумалъ ни минуты. Я уѣхалъ съ тѣмъ, чтобы остаться въ Европѣ, мой милый, и не возвращаться домой никогда. Я эмигрировалъ.

— Къ Герцену? Участвовать въ заграничной пропагандѣ? Вы навѣрно всю жизнь участвовали въ какомъ-нибудь заговорѣ? — вскричалъ я, не сдерживаясь.

— Нѣтъ, мой другъ, я ни въ какомъ заговорѣ не участвовалъ. А у тебя такъ даже глаза засверкали; я люблю твои восклицанія, мой милый. Нѣтъ, я просто уѣхалъ тогда отъ тоски, отъ внезапной тоски. Это была тоска русскаго дворянина — право, не умѣю лучше выразиться. — Дворянская тоска — и ничего больше.

— Крѣпостное право . . . освобожденіе народа? — пробормоталъ было я, задыхаясь.

— Крѣпостничество? Ты думаешь, я стосковался по крѣпостничеству? Не могъ вынести освобожденія народа? О, нѣтъ, мой другъ, да мы-то и были освободителями. Я эмигрировалъ безъ всякой злобы. Я только что былъ мировымъ посредникомъ и бился изъ всѣхъ силъ, бился безкорыстно и уѣхалъ даже не потому, что мало получилъ за мой либерализмъ. Мы и всѣ тогда ничего не получили, то есть, опять таки такіе, какъ я. Я уѣхалъ скорѣе въ гордости, чѣмъ въ раскаяніи, и, повѣрь тому, весьма далекій отъ мысли, что настало мнѣ время кончить жизнь скромнымъ сапожникомъ. Je suis gentilhomme avant tout et je mourrai gentilhomme! Но мнѣ все-таки было грустно. Насъ такихъ въ Россіи, можетъ быть, около тысячи человѣкъ; дѣйствительно, можетъ быть, не больше, но вѣдь этого очень довольно, чтобы не умирать идеѣ. Мы — носители идеи, мой милый! . . Другъ мой, я говорю въ какой-то странной надеждѣ, что ты поймешь всю эту белиберду. Я призвалъ тебя по капризу сердца: мнѣ уже давно мечталось, какъ я что-нибудь скажу тебѣ . . . тебѣ, именно тебѣ! А впрочемъ . . . впрочемъ . . .

— Нѣтъ, говорите, — вскричалъ я, — я вижу на вашемъ лицѣ опять искренность . . . Что же, Европа воскресила ли васъ тогда? Да и что такое ваша «дворянская тоска»? Простите, голубчикъ, я еще не понимаю.

— Воскресила ли меня Европа? Но я самъ тогда ѣхалъ ее хоронить!

— Хоронить? — повторилъ я въ удивленіи.

Онъ улыбнулся.

— Другъ Аркадій, теперь душа моя утомилась, и я возмутился духомъ. Я никогда не забуду моихъ

тогдашнихъ первыхъ мгновеній въ Европѣ. Я и прежде живалъ въ Европѣ, но тогда было время особенное, и никогда я не въѣзжалъ туда съ такою безотрадною грустью и... съ такою любовью, какъ въ то время. Я разскажу тебѣ одно изъ первыхъ тогдашнихъ впечатлѣній моихъ, одинъ мой тогдашній сонъ, дѣйствительный сонъ. Это еще въ Германіи. Я только что выѣхалъ изъ Дрездена и въ разсѣянности проѣхалъ станцію, съ которой долженъ былъ поворотить на мою дорогу, и попалъ на другую вѣтвь. Меня тотчасъ высадили; былъ третій часъ пополудни, день ясный. Это былъ маленькій нѣмецкій городокъ. Мнѣ указали гостиницу. Надо было выждать: слѣдующій поѣздъ проходилъ въ одиннадцать часовъ ночи. Я даже былъ доволенъ приключеніемъ, потому что никуда особенно не спѣшилъ. Я скитался, другъ мой, я скитался. Гостиница оказалась дрянная и маленькая, но вся въ зелени и обставлена клумбами цвѣтовъ, какъ всегда у нихъ. Мнѣ дали тѣсную комнатку, и такъ какъ я всю ночь былъ въ дорогѣ, то и заснулъ послѣ обѣда, въ четыре часа пополудни.

Мнѣ приснился совершенно неожиданный для меня сонъ, потому что я никогда не видалъ такихъ. Въ Дрезденѣ, въ галлереѣ, есть картина Клода Лоррена, по каталогу — «Асисъ и Галатея»; я же называлъ ее всегда «Золотымъ вѣкомъ», самъ не знаю почему. Я ужъ и прежде ее видѣлъ, а теперь, дня три назадъ, еще разъ мимоѣздомъ замѣтилъ. Эта-то картина мнѣ и приснилась, но не какъ картина, а какъ будто какая-то быль. Я, впрочемъ, не знаю, что мнѣ именно снилось: точно такъ, какъ и въ картинѣ — уголокъ греческаго Архипелага, при чемъ и время какъ бы перешло за три тысячи

лѣтъ назадъ; голубыя, ласковыя волны, острова и скалы, свѣтущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце — словами не передашь. Тутъ запомнило свою колыбель европейское человѣчество, и мысль о томъ какъ бы наполнила и мою душу родною любовью. Здѣсь былъ земной рай человѣчества: боги сходили съ небесъ и роднились съ людьми . . . О, тутъ жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные, луга и рощи наполнялись ихъ пѣснями и веселыми криками; великій избытокъ непочатыхъ силъ уходилъ въ любовь и въ простодушную радость. Солнце обливало ихъ тепломъ и свѣтомъ, радуясь на своихъ прекрасныхъ дѣтей . . . Чудный сонъ, высокое заблужденіе человѣчества! Золотой вѣкъ — мечта самая невѣроятная изъ всѣхъ, какія были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и всѣ свои силы, для которой умирали и убивались пророки, безъ которой народы не хотятъ жить и не могутъ даже и умереть! И все это ощущеніе я какъ будто прожилъ въ этомъ снѣ; скалы и море, и косые лучи заходящаго солнца — все это я какъ будто еще видѣлъ, когда проснулся и раскрылъ глаза, буквально омоченные слезами. Помню, что я былъ радъ. Ощущеніе счастья, мнѣ еще неизвѣстнаго, прошло сквозь сердце мое, даже до боли; это была всечеловѣческая любовь. Былъ уже полный вечеръ; въ окно моей маленькой комнаты, сквозь зелень стоявшихъ на окнѣ цвѣтовъ, прорывался пукъ лучей и обливалъ меня свѣтомъ. И вотъ, другъ мой, и вотъ — это заходящее солнце перваго дня европейскаго человѣчества, которое я видѣлъ во снѣ моемъ, обратилось для меня тотчасъ, какъ я проснулся, наяву, въ заходящее солнце послѣдняго

дня европейскаго человѣчества! Тогда особенно слышался надъ Европой какъ бы звонъ похороннаго колокола. Я не про войну лишь одну говорю и не про Тюильри; я и безъ того зналъ, что все пройдетъ, весь ликъ европейскаго стараго міра — рано ли, поздно ли; но я, какъ русскій европеецъ, не могъ допустить того. Да, они только сожгли тогда Тюильри... О, не безпокойся, я знаю, что это было «логично», и слишкомъ понимаю неотразимость текущей идеи, но, какъ носитель высшей русской культурной мысли, я не могъ допустить того, ибо высшая русская мысль есть всепримиреніе идей. И кто бы могъ понять тогда такую мысль во всемъ мірѣ: я скитался одинъ. Не про себя лично я говорю — я про русскую мысль говорю. Тамъ была брань и логика; тамъ французъ былъ всего только французомъ, а нѣмецъ всего только нѣмцемъ, и это съ наибольшимъ напряженіемъ, чѣмъ во всю ихъ исторію; стало быть, никогда французъ не повредилъ столько Франціи, а нѣмецъ — своей Германіи, какъ въ то именно время! Тогда во всей Европѣ не было ни одного европейца! Только я одинъ, между всѣми петролейщиками, могъ сказать имъ въ глаза, что ихъ Тюильри — ошибка; и только я одинъ, между всѣми консерваторами отмстителями могъ сказать отмстителямъ, что Тюильри— хоть и преступленіе, но все же логика. И это потому, мой мальчикъ, что одинъ я, какъ русскій, былъ тогда въ Европѣ *единственнымъ европейцемъ*. Я не про себя говорю — я про всю русскую мысль говорю. Я скитался, мой другъ, я скитался и твердо зналъ, что мнѣ надо молчать и скитаться. Но все же мнѣ было грустно. Я, мальчикъ мой, не могу не уважать моего дворянства. Ты, кажется, смѣешься?

— Нѣтъ, не смѣюсь, — проговорилъ я проникнутымъ голосомъ, — вовсе не смѣюсь: вы потрясли мое сердце вашимъ видѣніемъ золотого вѣка, и будьте увѣрены, что я начинаю васъ понимать. Но болѣе всего я радъ тому, что вы такъ себя уважаете. Я спѣшу вамъ заявить это. Никогда я не ожидалъ отъ васъ этого!

— Я уже сказалъ тебѣ, что люблю твои восклицанія, милый, — улыбнулся онъ опять на мое наивное восклицаніе и, вставъ съ кресла, началъ, не примѣчая того, ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Я тоже привсталъ. Онъ продолжалъ говорить своимъ страннымъ языкомъ, но съ глубочайшимъ проникновеніемъ мыслью.

III.

— Да, мальчикъ, повторяю тебѣ, что я не могу не уважать моего дворянства. У насъ создался вѣками какой-то еще нигдѣ невиданный высшій культурный типъ, котораго нѣтъ въ цѣломъ мірѣ — типъ всемірнаго болѣнія за всѣхъ. Это — типъ русскій, но такъ какъ онъ взятъ въ высшемъ культурномъ слоѣ народа русскаго, то, стало быть, я имѣю честь принадлежать къ нему. Онъ хранитъ въ себѣ будущее Россіи. Насъ, можетъ быть, всего только тысяча человѣкъ — можетъ, болѣе, менѣе — но вся Россія жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажутъ — мало, вознегодуютъ, что на тысячу человѣкъ истрачено столько вѣковъ и столько милліоновъ народу. По-моему, не мало.

Я слушалъ съ напряженіемъ. Выступало убѣжденіе, направленіе всей жизни. Эти «тысяча человѣкъ» такъ рельефно выдавали его! Я чувство-

валъ, что экспансивность его со мной шла изъ какого-то внѣшняго потрясенія. Онъ говорилъ мнѣ всѣ эти горячія рѣчи, любя меня; но причина, почему онъ сталъ вдругъ говорить и почему такъ пожелалъ именно со мной говорить, мнѣ все еще оставалась неизвѣстною.

— Я эмигрировалъ, — продолжалъ онъ, — и мнѣ ничего было не жаль назади. Все, что было въ силахъ моихъ, я отслужилъ тогда Россіи, пока въ ней былъ; выѣхавъ, я тоже продолжалъ ей служить, но лишь расширивъ идею. Но, служа такъ, я служилъ ей гораздо больше, чѣмъ если бъ я былъ всего только русскимъ, подобно тому, какъ французъ былъ тогда всего только французомъ, а нѣмецъ — нѣмцемъ. Въ Европѣ этого пока еще не поймутъ. Европа создала благородные типы француза, англичанина, нѣмца, но о будущемъ своемъ человѣкѣ она еще почти ничего не знаетъ. И, кажется, еще пока знать не хочетъ. И понятно: они несвободны, а мы свободны. Только я одинъ въ Европѣ, съ моей русской тоской, тогда былъ свободенъ . . .

Замѣть себѣ, другъ мой, странность: всякій французъ можетъ служить не только своей Франціи, но даже и человѣчеству, единственно подъ тѣмъ лишь условіемъ, что останется наиболѣе французомъ, равно — англичанинъ и нѣмецъ. Одинъ лишь русскій, даже въ наше время, то есть гораздо еще раньше, чѣмъ будетъ подведенъ всеобщій итогъ, получилъ уже способность становиться наиболѣе русскимъ именно лишь тогда, когда онъ наиболѣе европеецъ. Это и есть самое существенное національное различіе наше отъ всѣхъ, и у насъ на этотъ счетъ — какъ нигдѣ. Я во Фран-

ціи — французъ, съ нѣмцемъ — нѣмецъ, съ древнимъ грекомъ — грекъ и, тѣмъ самымъ, наиболѣе русскій. Тѣмъ самымъ я — настоящій русскій и наиболѣе служу для Россіи, ибо выставляю ея главную мысль. Я — піонеръ этой мысли. Я тогда эмигрировалъ, но развѣ я покинулъ Россію? Нѣтъ, я продолжалъ ей служить. Пусть бы я и ничего не сдѣлалъ въ Европѣ, пусть я ѣхалъ только скитаться (да я и зналъ, что ѣду только скитаться), но довольно и того, что я ѣхалъ съ моею мыслью и съ моимъ сознаніемъ. Я повезъ туда мою русскую тоску. О, не одна только тогдашняя кровь меня такъ испугала, и даже не Тюильри, а все, что̀ должно послѣдовать. Имъ еще долго суждено драться, потому что они — еще слишкомъ нѣмцы и слишкомъ французы и не кончили свое дѣло еще въ этихъ роляхъ. А до тѣхъ поръ мнѣ жаль разрушенія. Русскому Европа такъ же драгоцѣнна, какъ Россія: каждый камень въ ней милъ и дорогъ. Европа такъ же была отечествомъ нашимъ, какъ и Россія. О, болѣе! Нельзя болѣе любить Россію, чѣмъ люблю ее я, но я никогда не упрекалъ себя за то, что Венеція, Римъ, Парижъ, сокровища ихъ наукъ и искусствъ, вся исторія ихъ — мнѣ милѣй, чѣмъ Россія. О, русскимъ дороги эти старые чужіе камни, эти чудеса стараго Божіяго міра, эти осколки святыхъ чудесъ; и даже это намъ дороже, чѣмъ имъ самимъ! У нихъ теперь другія мысли и другія чувства, и они перестали дорожить старыми камнями... Тамъ консерваторъ всего только борется за существованіе; да и петролейщикъ лѣзетъ лишь изъ-за права на кусокъ. Одна Россія живетъ не для себя, а для мысли, и согласись, мой другъ, знаменательный фактъ, что вотъ уже почти

столѣтіе, какъ Россія живетъ рѣшительно не для себя, а для одной лишь Европы! А имъ? О, имъ суждены страшныя муки прежде, чѣмъ достигнуть царствія Божія.

Признаюсь, я слушалъ въ большомъ смущеніи; даже тонъ его рѣчи пугалъ меня, хотя я не могъ не поразиться мыслями. Я болѣзненно боялся лжи. Вдругъ я замѣтилъ ему строгимъ голосомъ:

— Вы сказали сейчасъ: «Царствіе Божіе». Я слышалъ, вы проповѣдывали тамъ Бога, носили вериги?

— О веригахъ моихъ оставь, — улыбнулся онъ, — это совсѣмъ другое. Я тогда еще ничего не проповѣдывалъ, но о Богѣ ихъ тосковалъ, это — правда. Они объявили тогда атеизмъ . . . одна кучка изъ нихъ, но это вѣдь все равно; это лишь первые скакуны, но это былъ первый *исполнительный* шагъ — вотъ что важно. Тутъ опять ихъ логика; но вѣдь въ логикѣ и всегда тоска. Я былъ другой культуры, и сердце мое не допускало этого. Эта неблагодарность, съ которою они разставались съ идеей, эти свистки и комки грязи мнѣ были невыносимы. Сапожность процесса пугала меня. Впрочемъ, дѣйствительность и всегда отзывается сапогомъ, даже при самомъ яркомъ стремленіи къ идеалу, и я, конечно, это долженъ былъ знать; но все же я былъ другого типа человѣкъ: я былъ свободенъ въ выборѣ, а они нѣтъ — и я плакалъ, за нихъ плакалъ, плакалъ по старой идеѣ, и, можетъ быть, плакалъ настоящими слезами, безъ краснаго слова.

— Вы такъ сильно вѣровали въ Бога? — спросилъ я недовѣрчиво.

— Другъ мой, это — вопросъ, можетъ быть,

лишній. Положимъ, я и не очень вѣровалъ, но все же я не могъ не тосковать по идеѣ. Я не могъ не представлять себѣ временами, какъ будетъ жить человѣкъ безъ Бога и возможно ли это когда-нибудь. Сердце мое рѣшало всегда, что невозможно; но нѣкоторый періодъ, пожалуй, возможенъ... Для меня даже сомнѣній нѣтъ, что онъ настанетъ; но тутъ я представлялъ себѣ всегда другую картину...

— Какую?

Правда, онъ уже прежде объявилъ, что онъ счастливъ; конечно, въ словахъ его было много восторженности; такъ я и припоминаю многое изъ того, что онъ тогда высказалъ. Всего, безъ сомнѣнія, не рѣшусь, уважая этого человѣка, передать теперь на бумагѣ изъ того, что мы тогда переговорили; но нѣсколько штриховъ странной картины, которую я успѣлъ-таки отъ него выманить, я здѣсь приведу. Главное, меня всегда и все время прежде мучили эти «вериги», и я желалъ ихъ разъяснить — потому и настаивалъ. Нѣсколько фантастическихъ и чрезвычайно странныхъ идей, имъ тогда высказанныхъ, остались въ моемъ сердцѣ навѣки.

— Я представляю себѣ, мой милый, — началъ онъ съ задумчивою улыбкою, — что бой уже кончился и борьба улеглась. Послѣ проклятій, комьевъ грязи и свистковъ, настало затишье, и люди остались *одни,* какъ желали: великая прежняя идея оставила ихъ: великій источникъ силъ, до сихъ поръ питавшій и грѣвшій ихъ, отходилъ, какъ то величавое зовущее солнце въ картинѣ Клода Лоррена, но это былъ уже какъ бы послѣдній день человѣчества. И люди вдругъ поняли, что они оста-

лись совсѣмъ одни, и разомъ почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчикъ, я никогда не могъ вообразить себѣ людей неблагодарными и оглупѣвшими. Осиротѣвшіе люди тотчасъ же стали бы прижиматься другъ къ другу тѣснѣе и любовнѣе; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляютъ все другъ для друга! Исчезла бы великая идея безсмертія, и приходилось бы замѣнить ее; и весь великій избытокъ прежней любви къ Тому, который и былъ Безсмертіе, обратился бы у всѣхъ на природу, на міръ, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и въ той мѣрѣ, въ какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замѣчать и открыли бы въ природѣ такія явленія и тайны, какихъ и не предполагали прежде, ибо смотрѣли бы на природу новыми глазами, взглядомъ любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спѣшили бы цѣловать другъ друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это — все, что̀ у нихъ остается. Они работали бы другъ на друга, и каждый отдавалъ бы всѣмъ все свое состояніе и тѣмъ однимъ былъ бы счастливъ. Каждый ребенокъ зналъ бы и чувствовалъ, что всякій на землѣ — ему какъ отецъ и мать. «Пусть — завтра послѣдній день мой, думалъ бы каждый, смотря на заходящее солнце; но все равно, я умру, но останутся всѣ они, а послѣ нихъ дѣти ихъ», — и эта мысль, что они останутся, все такъ же любя и трепеща другъ за друга, замѣнила бы мысль о загробной встрѣчѣ. О, они торопились бы любить, чтобъ затушить великую грусть въ своихъ сердцахъ. Они были бы

горды и смѣлы за себя, но сдѣлались бы робкими другъ за друга; каждый трепеталъ бы за жизнь и за счастье каждаго. Они стали бы нѣжны другъ къ другу и не стыдились бы того, какъ теперь, и ласкали бы другъ друга, какъ дѣти. Встрѣчаясь, смотрѣли бы другъ на друга глубокимъ и осмысленнымъ взглядомъ, и во взглядахъ ихъ была бы любовь и грусть...

— Милый мой, — прервалъ онъ вдругъ съ улыбкой, — все это — фантазія, даже самая невѣроятная; но я слишкомъ ужъ часто представлялъ ее себѣ, потому что всю жизнь мою не могъ жить безъ этого и не думать объ этомъ. Я не про вѣру мою говорю: вѣра моя велика, я — деистъ, философскій деистъ, какъ вся наша тысяча, такъ я полагаю, но... но замѣчательно, что я всегда кончалъ картинку мою видѣніемъ, какъ у Гейне, «Христа на Балтійскомъ морѣ». Я не могъ обойтись безъ Него, не могъ не вообразить Его, наконецъ, посреди осиротѣвшихъ людей. Онъ приходилъ къ нимъ, простиралъ къ нимъ руки и говорилъ: «Какъ могли вы забыть Его?» И тутъ какъ бы пелена упадала со всѣхъ глазъ и раздавался великій восторженный гимнъ новаго и послѣдняго воскресенія...

Оставимъ это, другъ мой; а «вериги» мои — вздоръ; не безпокойся объ нихъ. Да еще вотъ что: ты знаешь, что я на языкъ стыдливъ и трезвъ; если разговорился теперь, то это... отъ разныхъ чувствъ и потому что — съ тобой; другому я никому и никогда не скажу. Это прибавляю, чтобы тебя успокоить.

Но я былъ даже растроганъ; лжи, которой я опасался, не было, и я особенно радъ былъ тому, что уже мнѣ ясно стало, что онъ дѣйствительно

тосковалъ и страдалъ и дѣйствительно, несомнѣнно много любилъ, а это было мнѣ дороже всего. Я съ увлеченіемъ ему высказалъ это.

— Но знаете, — прибавилъ вдругъ я, — мнѣ кажется, что все-таки, несмотря на всю вашу тоску, вы должны были быть чрезвычайно тогда счастливы?

Онъ весело разсмѣялся.

— Ты сегодня особенно мѣтокъ на замѣчанія, — сказалъ онъ. — Ну да, я былъ счастливъ, да и могъ ли я быть несчастливъ съ такой тоской? Нѣтъ свободнѣе и счастливѣе русскаго европейскаго скитальца, изъ нашей тысячи. Это я, право, не смѣясь говорю, и тутъ много серьезнаго. Да, я за тоску мою не взялъ бы никакого другого счастья. Въ этомъ смыслѣ я всегда былъ счастливъ, мой милый, во всю жизнь мою. И отъ счастья полюбилъ тогда твою маму въ первый разъ въ моей жизни.

— Какъ въ первый разъ въ жизни?

— Именно — такъ. Скитаясь и тоскуя, я вдругъ полюбилъ ее, какъ никогда прежде, и тотчасъ послалъ за нею.

— О, разскажите мнѣ и про это, разскажите мнѣ про маму!

— Да я затѣмъ и призвалъ тебя, и, знаешь, — улыбнулся онъ весело, — я ужъ боялся, что ты простилъ мнѣ маму за Герцена или за какой-нибудь тамъ заговоришко . . .

Глава восьмая.

I.

Такъ какъ мы проговорили тогда весь вечеръ и просидѣли до ночи, то я и не привожу всѣхъ рѣчей, но передамъ лишь то, что̀ объяснило мнѣ, наконецъ, одинъ загадочный пунктъ въ его жизни.

Начну съ того, что для меня и сомнѣнія нѣтъ, что онъ любилъ маму, и если бросилъ ее и «разженился» съ ней, уѣзжая, то, конечно, потому, что слишкомъ заскучалъ или что-нибудь въ этомъ родѣ, что̀, впрочемъ, бываетъ и со всѣми на свѣтѣ, но что̀ объяснить всегда трудно. За границей, послѣ долгаго, впрочемъ, времени, онъ вдругъ полюбилъ опять маму заочно, то есть въ мысляхъ, и послалъ за нею. Скажутъ, пожалуй: «заблажилъ», но я скажу иное: по-моему, тутъ было все, что̀ только можетъ быть серьезнаго въ жизни человѣческой, несмотря на видимое брандахлыстничанье, которое я, пожалуй, отчасти допускаю. Но клянусь, что европейскую тоску его я ставлю внѣ сомнѣнія и не только на ряду, но несравненно выше какой-нибудь современной практической дѣятельности по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ. Любовь его къ человѣчеству я признаю за самое искреннее и глубокое чувство, безъ всякихъ фокусовъ; а любовь его къ

мамѣ за нѣчто совершенно неоспоримое, хотя, можетъ быть, немного и фантастическое. За границей, въ «тоскѣ и счастіи», и, прибавлю, въ самомъ строгомъ монашескомъ одиночествѣ (это особое свѣдѣніе я уже получилъ потомъ черезъ Татьяну Павловну), онъ вдругъ вспомнилъ о мамѣ — и именно вспомнилъ ея «впалыя щеки», и тотчасъ послалъ за нею.

— Другъ мой, — вырвалось у него, между прочимъ, — я вдругъ созналъ, что мое служеніе идеѣ вовсе не освобождаетъ меня, какъ нравственно-разумное существо, отъ обязанности сдѣлать въ продолженіе моей жизни хоть одного человѣка счастливымъ практически.

— Неужели такая книжная мысль была всему причиной? — спросилъ я съ недоумѣніемъ.

— Это — не книжная мысль. А, впрочемъ, — пожалуй. Тутъ все, однакоже, вмѣстѣ: вѣдь я же любилъ твою маму въ самомъ дѣлѣ, искренно, не книжно. Не любилъ бы такъ — не послалъ бы за нею, а «осчастливилъ» бы какого-нибудь подвернувшагося нѣмца или нѣмку, если ужъ выдумалъ эту идею. А осчастливить непремѣнно и чѣмъ-нибудь хоть одно существо въ своей жизни, но только практически, то есть въ самомъ дѣлѣ, я бы поставилъ заповѣдью для всякаго развитого человѣка; подобно тому, какъ я поставилъ бы въ законъ или въ повинность каждому мужику посадить хоть одно дерево въ своей жизни въ виду обезлѣсенія Россіи; впрочемъ, одного-то дерева мало будетъ, можно бы приказать сажать и каждый годъ по дереву. Высшій и развитой человѣкъ, преслѣдуя высшую мысль, отвлекается иногда совсѣмъ отъ насущнаго, становится смѣшонъ, капризенъ и холо-

день, даже просто скажу тебѣ — глупъ, и не только въ практической жизни, но, подъ конецъ, даже глупъ въ своихъ теоріяхъ. Такимъ образомъ, обязанность заняться практикой и осчастливить хоть одно насущное существо въ самомъ дѣлѣ все бы поправила и освѣжила бы самого благотворителя. Какъ теорія, это — очень смѣшно; но если бъ это вошло въ практику и обратилось въ обычай, то было бы вовсе не глупо. Я это испыталъ на себѣ: лишь только я началъ развивать эту идею о новой заповѣди — и сначала, разумѣется, шутя — я вдругъ началъ понимать всю степень моей, таившейся во мнѣ, любви къ твоей матери. До тѣхъ поръ я совсѣмъ не понималъ, что люблю ее. Пока жилъ съ нею, я только тѣшился ею, пока она была хороша, а потомъ капризничалъ. Я въ Германіи только понялъ, что люблю ее. Началось съ ея впалыхъ щекъ, которыхъ я никогда не могъ припоминать, а иногда такъ даже и видѣть безъ боли въ сердцѣ — буквально боли, настоящей, физической. Есть больныя воспоминанія, мой милый, причиняющія дѣйствительную боль; они есть почти у каждаго, но только люди ихъ забываютъ; но случается, что вдругъ потомъ припоминаютъ, даже только какую-нибудь черту, и ужъ потомъ отвязаться не могутъ. Я сталъ припоминать тысячу подробностей моей жизни съ Соней; подъ конецъ онѣ сами припоминались и лѣзли массами и чуть не замучили меня, пока я ее ждалъ. Пуще всего меня мучило воспоминаніе о ея вѣчной приниженности передо мной и о томъ, что она вѣчно считала себя безмѣрно ниже меня во всѣхъ отношеніяхъ — вообрази себѣ — даже въ физическомъ. Она стыдилась и вспыхивала, когда я иногда смотрѣлъ на ея руки

и пальцы, которые у ней совсѣмъ не аристократическіе. Да и не пальцевъ однихъ, — она всего стыдилась въ себѣ, несмотря на то, что я любилъ ея красоту. Она и всегда была со мной стыдлива до дикости, но то худо, что въ стыдливости этой всегда проскакивалъ какъ бы какой-то испугъ. Однимъ словомъ, она считала себя предо мной за что-то ничтожное или даже почти неприличное. Право, иной разъ, вначалѣ, я иногда подумывалъ, что она все еще считаетъ меня за своего барина и боится, но это было совсѣмъ не то. А, между тѣмъ, клянусь, она болѣе чѣмъ кто-нибудь способна понимать мои недостатки, да и въ жизни моей я не встрѣчалъ съ такимъ тонкимъ и догадливымъ сердцемъ женщины. О, какъ она была несчастна, когда я требовалъ отъ нея вначалѣ, когда она еще была такъ хороша, чтобы она рядилась. Тутъ было и самолюбіе, и еще какое-то другое оскорблявшееся чувство: она понимала, что никогда ей не быть барыней и что въ чужомъ костюмѣ она будетъ только смѣшна. Она, какъ женщина, не хотѣла быть смѣшною въ своемъ платьѣ и поняла, что каждая женщина должна имѣть *свой* костюмъ, чего тысячи и сотни тысячъ женщинъ никогда не поймутъ — только бы одѣться по модѣ. Насмѣшливаго взгляда моего она боялась — вотъ что! Но особенно грустно мнѣ было припоминать ея глубоко удивленные взгляды, которые я часто заставалъ на себѣ во все наше время: въ нихъ сказывалось совершенное пониманіе своей судьбы и ожидавшаго ее будущаго, такъ что мнѣ самому даже бывало тяжело отъ этихъ взглядовъ, хотя, признаюсь, я въ разговоры съ ней тогда не пускался и третировалъ все это какъ-то свысока. И, знаешь, вѣдь она не

всегда была такая пугливая и дикая, какъ теперь; и теперь случается, что вдругъ развеселится и похорошѣетъ, какъ двадцатилѣтняя; а тогда смолоду она очень иногда любила поболтать и посмѣяться, конечно, въ своей компаніи — съ дѣвушками, съ приживалками; и какъ вздрагивала она, когда я внезапно заставалъ ее иногда смѣющеюся, какъ быстро краснѣла и пугливо смотрѣла на меня! Разъ, уже незадолго до отъѣзда моего за границу, то есть, почти наканунѣ того, какъ я съ ней разженился, я вошелъ въ ея комнату и засталъ ее одну, за столикомъ, безъ всякой работы, облокотившуюся на столикъ рукой и въ глубокой задумчивости. Съ ней никогда почти не случалось, чтобъ она такъ сидѣла безъ работы. Въ то время я уже давно пересталъ ласкать ее. Мнѣ удалось подойти очень тихо, на цыпочкахъ, и вдругъ обнять и поцѣловать ее. Она вскочила — и никогда не забуду этого восторга, этого счастья въ лицѣ ея, и вдругъ это все смѣнилось быстрой краской, и глаза ея сверкнули. Знаешь ли, что̀ я прочелъ въ этомъ сверкнувшемъ взглядѣ? «Милостыню ты мнѣ подалъ» — вотъ что̀! Она истерически зарыдала подъ предлогомъ, что я ее испугалъ, но я даже тогда задумался. И, вообще, всѣ такія воспоминанія — претяжелая вещь, мой другъ. Это подобно, какъ у великихъ художниковъ въ ихъ поэмахъ бываютъ иногда такія *больныя* сцены, которыя всю жизнь потомъ съ болью припоминаются, — напримѣръ, послѣдній монологъ Отелло у Шекспира, Евгеній у ногъ Татьяны, или встрѣча бѣглаго каторжника съ ребенкомъ, съ дѣвочкой, въ холодную ночь, у колодца, въ «Misérables» Виктора Гюго; это разъ пронзаетъ сердце и потомъ навѣки остается рана. О,

какъ я ждалъ Соню и какъ хотѣлось мнѣ поскорѣй обнять ее! Я съ судорожнымъ нетерпѣніемъ мечталъ о цѣлой новой программѣ жизни; я мечталъ постепенно, методическимъ усиліемъ, разрушить въ душѣ ея этотъ постоянный ея страхъ передо мной, растолковать ей ея собственную цѣну и все, чѣмъ она даже выше меня. О, я слишкомъ зналъ и тогда, что я всегда начиналъ любить твою маму чуть только мы съ ней разлучались, и всегда вдругъ холодѣлъ къ ней, когда опять съ ней сходились; но тутъ было не то, тогда было не то.

Я былъ удивленъ: «А *она?*» мелькнулъ во мнѣ вопросъ.

— Ну что жъ, какъ вы встрѣтились тогда съ мамой? — спросилъ я осторожно.

— Тогда? Да я тогда съ ней вовсе и не встрѣтился. Она едва до Кенигсберга тогда доѣхала, да тамъ и осталась, а я былъ на Рейнѣ. Я не поѣхалъ къ ней, а ей велѣлъ оставаться и ждать. Мы свидѣлись уже гораздо спустя, о, долго спустя, когда я поѣхалъ къ ней просить позволенія жениться . . .

II.

Здѣсь передамъ уже сущность дѣла, то есть только то, что̀ самъ могъ усвоить; да и онъ мнѣ началъ передавать безсвязно. Рѣчь его вдругъ стала въ десять разъ безсвязнѣе и безпорядочнѣе, только что онъ дошелъ до этого мѣста.

Онъ встрѣтилъ Катерину Николаевну, внезапно, именно тогда, когда ждалъ маму, въ самую нетерпѣливую минуту ожиданія. Всѣ они были тогда на Рейнѣ, на водахъ, и всѣ лѣчились. Мужъ Катерины Николаевны уже почти умиралъ, по край-

ней мѣрѣ, уже обреченъ былъ на смерть докторами. Съ первой встрѣчи она поразила его, какъ бы заколдовала чѣмъ-то. Это былъ фатумъ. Замѣчательно, что, записывая и припоминая теперь, я не вспомню, чтобъ онъ хоть разъ употребилъ тогда въ разсказѣ своемъ слово «любовь» и то, что онъ былъ «влюбленъ». Слово «фатумъ» я помню.

И ужъ, конечно, это былъ фатумъ. Онъ *не захотѣлъ* его, «не захотѣлъ любить». Не знаю, смогу ли передать это ясно; но только вся душа его была возмущена именно отъ факта, что съ нимъ это могло случиться. Все-де, что̀ было въ немъ свободнаго, разомъ уничтожилось предъ этой встрѣчей, и человѣкъ навѣки приковывался къ женщинѣ, которой совсѣмъ до него не было дѣла. Онъ не пожелалъ этого рабства страсти. Скажу теперь прямо: Катерина Николаевна есть рѣдкій типъ свѣтской женщины — типъ, котораго въ этомъ кругу, можетъ быть, и не бываетъ. Это — типъ простой и прямодушной женщины въ высшей степени. Я слышалъ, то есть, я знаю навѣрно, что тѣмъ-то она и была неотразима въ свѣтѣ, когда въ немъ появлялась (она почасту удалялась изъ него совсѣмъ). Версиловъ, разумѣется, не повѣрилъ тогда, при первой встрѣчѣ съ нею, что она — такая, а именно повѣрилъ обратному, то есть, что она — притворщица и іезуитка. Здѣсь приведу, забѣгая впередъ, ея собственное сужденіе о немъ: она утверждала, что онъ и не могъ о ней подумать иначе, «потому что идеалистъ, стукнувшись лбомъ объ дѣйствительность, всегда, прежде другихъ, наклоненъ предположить всякую мерзость». Я не знаю, справедливо ли это вообще объ идеалистахъ, но о немъ, конечно, было справедливо вполнѣ. Впишу

здѣсь и собственное мое сужденіе, мелькнувшее у меня въ умѣ, пока я тогда его слушалъ: я подумалъ, что любилъ онъ маму болѣе, такъ сказать, гуманною и общечеловѣческою любовью, чѣмъ любовью, которою вообще любятъ женщинъ, и чуть только встрѣтилъ женщину, которую полюбилъ этою простою любовью, то тотчасъ же и не захотѣлъ этой любви — вѣроятнѣе всего съ непривычки. Впрочемъ, можетъ быть, это — мысль невѣрная; ему я, конечно, не высказалъ. Было бы неделикатно; да и клянусь, онъ былъ въ такомъ состояніи, что его почти надо было щадить: онъ былъ взволнованъ: въ иныхъ мѣстахъ разсказа иногда просто обрывалъ и молчалъ по нѣсколько минутъ, расхаживая съ злымъ лицомъ по комнатѣ.

Она скоро проникла тогда въ его тайну; о, можетъ быть, и кокетничала съ нимъ нарочно: даже самыя свѣтлыя женщины бываютъ подлы въ этихъ случаяхъ, и это — ихъ непреоборимый инстинктъ. Кончилось у нихъ ожесточительнымъ разрывомъ, и онъ, кажется, хотѣлъ убить ее; онъ испугалъ ее и убилъ бы, можетъ быть, «но все это обратилось въ ненависть». Потомъ наступилъ одинъ странный періодъ: онъ вдругъ задался одною странною мыслью: мучить себя дисциплиной, «вотъ той самой, которую употребляютъ монахи. Ты постепенно и методической практикой одолѣваешь свою волю, начиная съ самыхъ смѣшныхъ и мелкихъ вещей, а кончаешь совершеннымъ одолѣніемъ воли своей и становишься свободнымъ». Онъ прибавилъ, что у монаховъ это — дѣло серьезное, потому что тысячелѣтнимъ опытомъ возведено въ науку. Но всего замѣчательнѣе, что этой идеей о «дисциплинѣ» онъ задался тогда вовсе не для то-

го, чтобы избавиться отъ Катерины Николаевны, а въ самой полной увѣренности, что онъ не только уже не любитъ ея, но даже въ высшей степени ненавидитъ. Онъ до того повѣрилъ своей къ ней ненависти, что даже вдругъ задумалъ влюбиться и жениться на ея падчерицѣ, обманутой княземъ, совершенно увѣрилъ себя въ своей новой любви и неотразимо влюбилъ въ себя бѣдную идіотку, доставивъ ей этою любовью, въ послѣдніе мѣсяцы ея жизни, совершенное счастье. Почему онъ, вмѣсто нея, не вспомнилъ тогда о мамѣ, все ждавшей его въ Кенигсбергѣ — осталось для меня невыясненнымъ... Напротивъ, объ мамѣ онъ вдругъ и совсѣмъ забылъ, даже денегъ не выслалъ на прожитокъ, такъ что спасла ее тогда Татьяна Павловна; и вдругъ, однако, поѣхалъ къ мамѣ «спросить» ея позволенія жениться на той дѣвицѣ, подъ тѣмъ предлогомъ, что «такая невѣста — не женщина». О, можетъ быть, все это — лишь портретъ «книжнаго человѣка», какъ выразилась про него потомъ Катерина Николаевна; но почему же, однако, эти «бумажные люди» (если ужъ правда, что они — бумажные) способны, однако, столь настоящимъ образомъ мучиться и доходить до трагедій? Впрочемъ, тогда, въ тотъ вечеръ, я думалъ нѣсколько иначе, и меня потрясла одна мысль:

— Вамъ все развитіе ваше, вся душа ваша досталась страданіемъ и боемъ всей жизни вашей, а ей все ея совершенство досталось даромъ. Тутъ неравенство... Женщина этимъ возмутительна.— Я проговорилъ вовсе не съ тѣмъ, чтобъ подольститься къ нему, а съ жаромъ и даже съ негодованіемъ.

— Совершенство? Ея совершенство? Да въ ней нѣтъ никакихъ совершенствъ! — проговорилъ

онъ вдругъ, чуть не въ удивленіи на мои слова: — это — самая ординарная женщина, это даже дрянная женщина... Но она обязана имѣть всѣ совершенства!

— Почему же обязана?

— Потому что, имѣя такую власть, она обязана имѣть всѣ совершенства! — злобно вскрикнулъ онъ.

— Грустнѣе всего то, что вы и теперь такъ измучены! — вырвалось у меня вдругъ невольно.

— Теперь? Измученъ? — повторилъ онъ опять мои слова, останавливаясь передо мной, какъ бы въ какомъ-то недоумѣніи. И вотъ вдругъ тихая, длинная, вдумчивая улыбка озарила его лицо, и онъ поднялъ передъ собой палецъ, какъ бы соображая. Затѣмъ, уже совсѣмъ опомнившись, схватилъ со стола распечатанное письмо и бросилъ его передо мною:

— На, читай! Ты непремѣнно долженъ все узнать... и зачѣмъ ты такъ много далъ мнѣ перерыть въ этой старой дребедени?.. Я только осквернилъ и озлобилъ сердце!..

Не могу выразить моего удивленія. Письмо это было отъ *нея* къ нему, сегодняшнее, полученное около пяти часовъ пополудни. Я прочелъ его, почти дрожа отъ волненія. Оно было невелико, но написано до того прямо и искренно, что я, читая, какъ будто видѣлъ ее самое передъ собою и слышалъ ея слова. Она въ высшей степени правдиво (а потому почти трогательно) признавалась ему въ своемъ страхѣ и затѣмъ просто умоляла его «оставить ее въ покоѣ». Въ заключеніе увѣдомляла, что теперь положительно выходитъ за Бьоринга. До этого случая она никогда не писала къ нему.

И вотъ что я понялъ тогда изъ его объясненій:

Только что онъ, давеча, прочелъ это письмо, какъ вдругъ ощутилъ въ себѣ самое неожиданное явленіе: въ первый разъ, въ эти роковые два года, онъ не почувствовалъ ни малѣйшей къ ней ненависти и ни малѣйшаго сотрясенія, подобно тому, какъ недавно еще «сошелъ съ ума» при одномъ только слухѣ о Бьорингѣ. «Напротивъ, я ей послалъ благословеніе отъ всего сердца», проговорилъ онъ мнѣ съ глубокимъ чувствомъ. Я выслушалъ эти слова съ восхищеніемъ. Значитъ, все что было въ немъ страсти, муки, исчезло разомъ, само собою, какъ сонъ, какъ двухлѣтнее навожденіе. Еще не вѣря себѣ, онъ поспѣшилъ было давеча къ мамѣ — и что же: онъ вошелъ именно въ ту минуту, когда она стала *свободною,* и завѣщавшій ее ему вчера старикъ умеръ. Вотъ эти-то два совпаденія и потрясли его душу. Немного спустя, онъ бросился искать меня — и эту столь скорую мысль его обо мнѣ я никогда не забуду.

Да и не забуду окончанія того вечера. Этотъ человѣкъ весь и вдругъ преобразился опять. Мы просидѣли до глубокой ночи. О томъ, какъ подѣйствовало все это «извѣстіе» на меня — разскажу потомъ, въ своемъ мѣстѣ, а теперь — лишь нѣсколько заключительныхъ словъ о немъ. Соображая теперь, понимаю, что на меня всего обаятельнѣе подѣйствовало тогда его какъ бы смиреніе передо мной, его такая правдивая искренность передо мной, такимъ мальчикомъ! «Это былъ чадъ, но благословеніе и ему! — вскричалъ онъ, — безъ этого ослѣпленія я бы, можетъ, никогда не отыскалъ въ моемъ сердцѣ такъ всецѣло и навѣки единственную царицу мою, мою страдалицу — твою мать».

Эти восторженныя слова его, вырвавшіяся неудержимо, особенно отмѣчаю въ виду дальнѣйшаго. Но тогда онъ захватилъ и побѣдилъ мою душу.

Помню, мы стали подъ конецъ ужасно веселы. Онъ велѣлъ принести шампанскаго, и мы выпили за маму и за «будущее». О, онъ такъ полонъ былъ жизнью и такъ собирался жить! Но веселы мы стали вдругъ ужасно не отъ вина: мы выпили всего по два бокала. Я не знаю отчего, но подъ конецъ мы смѣялись почти неудержимо. Мы стали говорить совсѣмъ о постороннемъ; онъ пустился разсказывать анекдоты, я ему тоже. И смѣхъ, и анекдоты наши были въ высшей степени не злобны и не насмѣшливы, но намъ было весело. Онъ все не хотѣлъ меня отпускать: «Посиди, посиди еще!» повторялъ онъ, и я оставался. Даже вышелъ провожать меня; вечеръ былъ прелестный, слегка подморозило.

— Скажите: вы *ей* уже послали отвѣтъ? — спросилъ я вдругъ совсѣмъ нечаянно, въ послѣдній разъ пожимая ему руку на перекресткѣ.

— Нѣтъ еще, нѣтъ, и это все равно. Приходи завтра, приходи раньше . . . Да вотъ что еще: брось Ламберта совсѣмъ, а «документъ» разорви, и скорѣй. Прощай!

Сказавъ это, онъ вдругъ ушелъ; я же остался, стоя на мѣстѣ и до того въ смущеніи, что не рѣшился воротить его. Выраженіе «документъ» особенно потрясло меня: отъ кого же бы онъ узналъ, и въ такихъ точныхъ вараженіяхъ, какъ не отъ Ламберта? Я воротился домой въ большомъ смущеніи. Да и какъ же могло случиться, мелькнуло во мнѣ вдругъ, чтобъ такое двухлѣтнее навожденіе исчезло, какъ сонъ, какъ чадъ, какъ видѣніе?

Глава девятая.

I.

Но проснулся я на утро свѣжѣе и душевнѣе. Я даже упрекнулъ себя, невольно и сердечно, за нѣкоторую легкость и какъ бы высокомѣріе, съ которыми, какъ припоминалось мнѣ, выслушивалъ вчера нѣкоторыя мѣста его «исповѣди». Если отчасти она была въ безпорядкѣ, если нѣкоторыя откровенія были нѣсколько какъ бы чадны и даже нескладны, то развѣ онъ готовился къ ораторской рѣчи, зазвавъ меня вчера къ себѣ? Онъ только сдѣлалъ мнѣ великую честь, обратившись ко мнѣ, какъ къ единственному другу въ такое мгновеніе, и этого я никогда ему не забуду. Напротивъ, его исповѣдь была «трогательна», какъ бы ни смѣялись надо мной за это выраженіе, и, если мелькало иногда циническое или даже что̀-то какъ будто смѣшное, то я былъ слишкомъ широкъ, чтобъ не понять и не допустить реализма — не марая, впрочемъ, идеала. Главное, я, наконецъ, постигъ этого человѣка, и даже мнѣ было отчасти жаль и какъ бы досадно, что все это оказалось такъ просто: этого человѣка я всегда ставилъ въ сердцѣ моемъ на чрезвычайную высоту, въ облака, и непремѣнно одѣвалъ его судьбу во что̀-то таинственное, такъ

что естественно до сихъ поръ желалъ, чтобъ ларчикъ открывался похитрѣе. Впрочемъ, въ встрѣчѣ его *съ нею* и въ двухлѣтнихъ страданіяхъ его было много и сложнаго; «онъ не захотѣлъ фатума жизни; ему нужна была свобода, а не рабство фатума; черезъ рабство фатума онъ принужденъ былъ оскорбить маму, которая просидѣла въ Кенигсбергѣ» . . . Къ тому же, этого человѣка, во всякомъ случаѣ, я считалъ проповѣдникомъ: онъ носилъ въ сердцѣ золотой вѣкъ и зналъ будущее объ атеизмѣ; и вотъ встрѣча съ нею все надломила, все извратила! О, я ей не измѣнилъ, но все-таки я взялъ его сторону. Мама, напримѣръ, разсуждалъ я, ничему бы не помѣшала въ судьбѣ его, даже бракъ его съ мамой. Это я понималъ; это — совсѣмъ не то, что встрѣча съ *тою*. Правда, мама все равно не дала бы ему спокойствія, но это даже тѣмъ бы и лучше: такихъ людей надо судить иначе, и пусть такова и будетъ ихъ жизнь всегда; и это — вовсе не безобразіе; напротивъ, безобразіемъ было бы то, если бъ они успокоились, или, вообще, стали бы похожими на всѣхъ среднихъ людей. Похвалы его дворянству и слова его: «je mourrai gentilhomme» ни мало меня не смущали: я осмыслилъ, какой это былъ gentilhomme; это былъ типъ, отдающій все и становящійся провозвѣстникомъ всемірнаго гражданства и главной русской мысли «всесоединенія идей». И хотя бы это все было даже и вздоромъ, то есть «всесоединеніе идей» (что, конечно, немыслимо), то все-таки ужъ одно то хорошо, что онъ всю жизнь поклонялся идеѣ, а не глупому золотому тельцу. Боже мой! Да замысливъ мою «идею», я, я самъ — развѣ я поклонился золотому тельцу, развѣ мнѣ денегъ тогда надо бы-

ло? Клянусь, мнѣ надо было лишь идею! Клянусь, что ни одного стула, ни одного дивана не обилъ бы я себѣ бархатомъ и ѣлъ бы, имѣя сто милліоновъ, ту же тарелку супу съ говядиной, какъ и теперь!

Я одѣвался и спѣшилъ къ нему неудержимо. Прибавлю, насчетъ вчерашней выходки его о «документѣ» я тоже былъ впятеро спокойнѣй, чѣмъ вчера. Во-первыхъ, я надѣялся съ нимъ объясниться, а во-вторыхъ, что̀ же въ томъ, что Ламбертъ профильтровался и къ нему и объ чемъ-то тамъ поговорилъ съ нимъ? — Но главная радость моя была въ одномъ чрезвычайномъ ощущеніи: это была мысль, что онъ уже «не любилъ *ея*»; въ это я увѣровалъ ужасно и чувствовалъ, что съ сердца моего какъ бы кто-то столкнулъ страшный камень. Помню даже промелькнувшую тогда одну догадку: именно безобразіе и безсмыслица той послѣдней яростной вспышки его при извѣстіи о Бьорингѣ и отсылка оскорбительнаго тогдашняго письма; именно эта крайность и могла служить какъ бы пророчествомъ и предтечей самой радикальной перемѣны въ чувствахъ его и близкаго возвращенія его къ здравому смыслу; это должно было быть почти какъ въ болѣзни, думалъ я, и онъ именно долженъ былъ придти къ противоположной точкѣ — медицинскій эпизодъ и больше ничего! Мысль эта дѣлала меня счастливымъ.

«И пусть, пусть *она* располагаетъ, какъ хочетъ судьбой своей, пусть выходитъ за своего Бьоринга, сколько хочетъ, но только пусть онъ, мой отецъ, мой другъ, болѣе не любитъ ея», восклицалъ я. Впрочемъ, тутъ была нѣкоторая тайна моихъ собственныхъ чувствъ, но о которыхъ я здѣсь, въ запискахъ моихъ, размазывать не желаю.

Вотъ и довольно. А теперь весь послѣдовавшій ужасъ и всю махинацію фактовъ передамъ уже безо всякихъ разсужденій.

II.

Въ десять часовъ, только что я собрался уходить — къ нему, разумѣется, — появилась Дарья Онисимовна. Я радостно спросилъ ее: «не отъ него ли?» и съ досадой услышалъ, что вовсе не отъ него, а отъ Анны Андреевны, и что она, Дарья Онисимовна, «чѣмъ свѣтъ ушла съ квартиры».

— Съ какой же квартиры?

— Да съ той самой, съ вчерашней. Вѣдь квартира вчерашняя, при младенцѣ-то, на мое имя теперь взята, и платитъ Татьяна Павловна . . .

— Э, ну, мнѣ все равно! — прервалъ я съ досадой: — онъ-то, по крайней мѣрѣ, дома? Застану я его?

И, къ удивленію моему, я услышалъ отъ нея, что онъ еще раньше ея со двора ушелъ; значитъ, она — «чѣмъ свѣтъ», а онъ еще раньше.

— Ну, такъ теперь воротился?

— Нѣтъ-съ, ужъ навѣрно не воротился, да и не воротится, можетъ, и совсѣмъ, — проговорила она, смотря на меня тѣмъ самымъ вострымъ и воровatымъ глазомъ и точно такъ же не спуская его съ меня, какъ въ то уже описанное мною посѣщеніе, когда я лежалъ больной. Меня, главное, взорвало, что тутъ опять выступали ихъ какія-то тайны и глупости и что эти люди, видимо, не могли обойтись безъ тайнъ и безъ хитростей.

— Почему вы сказали: навѣрно не воротится? Что вы подразумѣваете? Онъ къ мамѣ пошелъ — вотъ и все!

— Н-не знаю-съ.

— Да вы-то сами зачѣмъ пожаловали?

Она объявила мнѣ, что теперь она отъ Анны Андреевны и что та зоветъ меня и непремѣнно ждетъ меня сей же часъ, а то «поздно будетъ». Это опять загадочное словцо вывело меня уже изъ себя:

— Почему поздно? Не хочу я идти и не пойду! Не дамъ я мной опять овладѣть! Наплевать на Ламберта — такъ и скажите ей, и что, если она пришлетъ ко мнѣ своего Ламберта, то я его выгоню, въ толчки — такъ и передайте ей!

Дарья Онисимовна испугалась ужасно.

— Ахъ, нѣтъ-съ, — шагнула она ко мнѣ, складывая руки ладошками и какъ бы умоляя меня, — вы ужъ повремените такъ спѣшить. Тутъ дѣло важное, для васъ самихъ очень важное, для нихъ тоже, и для Андрея Петровича, и для маменьки вашей — для всѣхъ . . . Вы ужъ посѣтите Анну Андреевну тотчасъ же, потому что онѣ никакъ не могутъ болѣе дожидаться . . . ужъ это я васъ увѣряю честью . . . а потомъ и рѣшеніе примете.

Я глядѣлъ на нее съ изумленіемъ и отвращеніемъ.

— Вздоръ, ничего не будетъ, не приду! — вскричалъ я упрямо и съ злорадствомъ:—теперь—все по-новому! Да и можете ли вы это понять? Прощайте, Дарья Онисимовна, нарочно не пойду, нарочно не буду васъ разспрашивать. Вы меня только сбиваете съ толку. Не хочу я проникать въ ваши загадки.

Но такъ какъ она не уходила и все стояла, то я, схвативъ шубу и шапку, вышелъ самъ, оставивъ ее среди комнаты. Въ комнатѣ же моей не было

никакихъ писемъ и бумагъ, да я и прежде никогда не запиралъ комнату, уходя. Но я не успѣлъ еще дойти до выходной двери, какъ съ лѣстницы сбѣжалъ за мною, безъ шляпы и въ вицмундирѣ, хозяинъ мой, Петръ Ипполитовичъ.

— Аркадій Макаровичъ! Аркадій Макаровичъ!

— Вамъ что̀ еще?

— А вы ничего не прикажете, уходя?

— Ничего.

Онъ смотрѣлъ на меня вонзающимся взглядомъ и съ видимымъ безпокойствомъ:

— Насчетъ квартиры, напримѣръ-съ?

— Что̀ такое насчетъ квартиры? Вѣдь я вамъ въ срокъ прислалъ деньги?

— Да нѣтъ-съ, я не про деньги,—улыбнулся онъ вдругъ длинной улыбкой и все продолжалъ вонзаться въ меня взглядомъ.

— Да что̀ съ вами со всѣми? — крикнулъ я, наконецъ, почти совсѣмъ озвѣрѣвъ, — вамъ-то еще чего?

Онъ подождалъ еще нѣсколько секундъ, все еще какъ бы чего-то отъ меня ожидая.

— Ну, значитъ, послѣ прикажете . . . коли ужъ теперь стихъ не таковъ, — пробормоталъ онъ, еще длиннѣе ухмыляясь; — ступайте-съ, а я и самъ въ должность.

Онъ убѣжалъ къ себѣ по лѣстницѣ. Конечно, все это могло навести на размышленія. Я нарочно не опускаю ни малѣйшей черты изъ всей этой тогдашней мелкой безсмыслицы, потому что каждая черточка вошла потомъ въ окончательный букетъ, гдѣ и нашла свое мѣсто, въ чемъ и увѣрится читатель. А что тогда они, дѣйствительно, сбивали меня съ толку, то это — правда. Если я былъ такъ

взволнованъ и раздраженъ, то именно заслышавъ опять въ ихъ словахъ этотъ столь надоѣвшій мнѣ тонъ интригъ и загадокъ и напоминавшій мнѣ старое. Но продолжаю.

Дома Версилова не оказалось, и ушелъ онъ, дѣйствительно, чѣмъ свѣтъ. «Конечно — къ мамѣ», стоялъ я упорно на своемъ. Няньку, довольно глупую бабу, я не разспрашивалъ, а, кромѣ нея, въ квартирѣ никого не было. Я побѣжалъ къ мамѣ и, признаюсь, въ такомъ безпокойствѣ, что на полдорогѣ схватилъ извозчика. *У мамы его со вчерашняго вечера не было.* Съ мамой были лишь Татьяна Павловна и Лиза. Лиза, только что я вошелъ, стала собираться уходить.

Онѣ всѣ сидѣли наверху, въ моемъ «гробѣ». Въ гостиной же нашей, внизу, лежалъ на столѣ Макаръ Ивановичъ, а надъ нимъ какой-то старикъ мѣрно читалъ псалтирь. Я теперь ничего уже не буду описывать изъ не прямо касающагося къ дѣлу, но замѣчу лишь, что гробъ, который уже успѣли сдѣлать, стоявшій тутъ же въ комнатѣ, былъ не простой, хотя и черный, но обитый бархатомъ, а покровъ на покойникѣ былъ изъ дорогихъ — пышность не по старцу и не по убѣжденіямъ его; но таково было настоятельное желаніе мамы и Татьяны Павловны вкупѣ.

Разумѣется, я не ожидалъ ихъ встрѣтить веселыми; но та особенная давешняя тоска, съ заботой и безпокойствомъ, которую я прочелъ въ глазахъ, сразу поразила меня, и я мигомъ заключилъ, что «тутъ вѣрно не одинъ покойникъ причиною». Все это, повторяю, я отлично запомнилъ.

Несмотря на все, я нѣжно обнялъ маму и тотчасъ спросилъ о *немъ*. Во взглядѣ мамы мигомъ

сверкнуло тревожное любопытство. Я наскоро упомянулъ, что мы съ нимъ провели вчера весь вечеръ до глубокой ночи, но что сегодня его нѣтъ дома, еще съ разсвѣта, тогда какъ онъ меня самъ приглашалъ еще вчера, разставаясь, придти сегодня, какъ можно раньше. Мама ничего не отвѣтила, а Татьяна Павловна, улучивъ минуту, погрозила мнѣ пальцемъ.

— Прощай, братъ, — вдругъ отрѣзала Лиза, быстро выходя изъ комнаты. Я, разумѣется, догналъ ее, но она остановилась у самой выходной двери.

— Я такъ и думала, что ты догадаешься сойти, — проговорила она быстрымъ шепотомъ.

— Лиза, что̀ тутъ такое?

— А я и сама не знаю, только много чего-то. Навѣрно, развязка «вѣчной исторіи». Онъ не приходилъ, а онѣ имѣютъ какія-то о немъ свѣдѣнія. Тебѣ не разскажутъ, не безпокойся, а ты не разспрашивай, коли уменъ; но мама убита. Я тоже ни о чемъ не разспрашивала. Прощай.

Она отворила дверь.

— Лиза, а у тебя у самой нѣтъ ли чего? — выскочилъ я за нею въ сѣни. Ея ужасно убитый, отчаянный видъ пронзилъ мое сердце. Она посмотрѣла не то что злобно, а даже почти какъ-то ожесточенно, желчно усмѣхнулась и махнула рукой.

— Кабы умеръ — такъ и слава бы Богу! — бросила она мнѣ съ лѣстницы и ушла. Это она сказала такъ про князя Сергѣя Петровича, а тотъ въ то время лежалъ въ горячкѣ и безпамятствѣ. «Вѣчная исторія! Какая вѣчная исторія?» съ вызовомъ подумалъ я, и вотъ мнѣ вдругъ захотѣлось непремѣнно разсказать имъ хоть часть вчерашнихъ

моихъ впечатлѣній отъ его ночной исповѣди, да и самую исповѣдь. «Онѣ что-то о немъ теперь думаютъ дурное — такъ пусть же узнаютъ все!» пролетѣло въ моей головѣ.

Я помню, что мнѣ удалось какъ-то очень ловко начать разсказывать. Мигомъ на лицахъ ихъ обнаружилось страшное любопытство. На этотъ разъ, и Татьяна Павловна такъ и впилась въ меня глазами; но мама была сдержаннѣе; она была очень серьезна, но легкая, прекрасная, хоть и совсѣмъ какая-то безнадежная улыбка промелькнула-таки въ лицѣ ея и не сходила почти во все время разсказа. Я, конечно, говорилъ хорошо, хотя и зналъ, что для нихъ почти непонятно. Къ удивленію моему, Татьяна Павловна не придиралась, не настаивала на точности, не закидывала крючковъ, по своему обыкновенію, какъ всегда, когда я начиналъ что-нибудь говорить. Она только сжимала изрѣдка губы и щурила глаза, какъ бы вникая съ усиліемъ. По временамъ, мнѣ даже казалось, что онѣ все понимаютъ, но этого почти быть не могло. Я, напримѣръ, говорилъ объ его убѣжденіяхъ, но, главное, объ его вчерашнемъ восторгѣ, о восторгѣ къ мамѣ, о любви его къ мамѣ, о томъ, что онъ цѣловалъ ея портретъ... Слушая это, онѣ быстро и молча переглядывались, мама вся вспыхнула, хотя обѣ продолжали молчать. Затѣмъ... затѣмъ я, конечно, не могъ, *при мамѣ,* коснуться до главнаго пункта, то есть, до встрѣчи съ *нею* и всего прочаго, а, главное, до ея вчерашняго письма къ нему, и о нравственномъ «воскресеніи» его послѣ письма; а это-то и было главнымъ, такъ что всѣ его вчерашнія чувства, которыми я думалъ такъ обрадовать маму, естественно остались непонятными, хотя, ко-

нечно, не по моей винѣ, потому что я все, что можно было разсказать, разсказалъ искренно. Кончилъ я совершенно въ недоумѣніи: ихъ молчаніе не прерывалось, и мнѣ стало очень вдругъ тяжело съ ними.

— Вѣрно, онъ теперь воротился, а, можетъ, сидитъ у меня и ждетъ, — сказалъ я и всталъ уходить.

— Сходи, сходи! — твердо поддакнула Татьяна Павловна.

— Внизу-то былъ? — полушепотомъ спросила меня мама, прощаясь.

— Былъ, поклонился ему и помолился о немъ. Какой спокойный, благообразный ликъ у него, мама! Спасибо вамъ, мама, что не пожалѣли ему на гробъ. Мнѣ сначала это странно показалось, но тотчасъ же подумалъ, что и самъ то же бы сдѣлалъ.

— Въ церковь-то завтра придешь? — спросила она, и у ней задрожали губы.

— Что вы, мама? — удивился я: — я и сегодня на панихиду приду и еще приду; и . . . къ тому же, завтра — день вашего рожденія, мама, милый другъ мой! Не дожилъ онъ трехъ дней только!

Я вышелъ въ болѣзненномъ удивленіи: какъ же это задавать такіе вопросы—приду я или нѣтъ на отпѣваніе въ церковь? И, значитъ, если такъ обо мнѣ — то что же онѣ о *немъ* тогда думаютъ?

Я зналъ, что за мной погонится Татьяна Павловна, и нарочно пріостановился въ выходныхъ дверяхъ; но она, догнавъ меня, протолкнула меня рукой на самую лѣстницу, вышла за мной и притворила за собою дверь.

— Татьяна Павловна, значитъ, вы Андрея Пе-

тровича ни сегодня, ни завтра даже не ждете? Я испуганъ...

— Молчи. Много важности, что ты испуганъ. Говори: чего ты тамъ не договорилъ, когда про вчерашнюю ахинею разсказывалъ?

Я не нашелъ нужнымъ скрывать и, почти въ раздраженіи на Версилова, передалъ все о вчерашнемъ письмѣ къ нему Катерины Николаевны и объ эффектѣ письма, то есть, о воскресеніи его въ новую жизнь. Къ удивленію моему, фактъ письма ея нимало не удивилъ, и я догадался, что она уже о немъ знала.

— Да ты врешь?

— Нѣтъ, не вру.

— Ишь вѣдь, — ядовито улыбнулась она, какъ бы раздумывая: — воскресъ! Станется отъ него и это! А правда, что онъ портретъ цѣловалъ?

— Правда, Татьяна Павловна.

— Съ чувствомъ цѣловалъ, не притворялся?

— Притворялся? Развѣ онъ когда притворяется? Стыдно вамъ, Татьяна Павловна; грубая у васъ душа, женская.

Я проговорилъ это съ жаромъ, но она какъ бы не слыхала меня: она что-то какъ бы опять соображала, несмотря на сильный холодъ на лѣстницѣ. Я-то былъ въ шубѣ, а она въ одномъ платьѣ.

— Поручила бы я тебѣ одно дѣло, да жаль, что ужъ очень ты глупъ, — проговорила она съ презрѣніемъ и какъ бы досадой. — Слушай, сходи-ка ты къ Аннѣ Андреевнѣ и посмотри, что у ней тамъ дѣлается... Да нѣтъ, не ходи; олухъ — такъ олухъ и есть! Ступай, маршъ, чего сталъ верстой?

— Анъ вотъ и не пойду къ Аннѣ Андреевнѣ! А Анна Андреевна и сама меня присылала звать.

— Сама? Дарью Онисимовну? — быстро повернулась она ко мнѣ; она уже было уходила и отворила даже дверь, но опять захлопнула ее.

— Ни за что не пойду къ Аннѣ Андреевнѣ! — повторилъ я съ злобнымъ наслажденіемъ; — потому не пойду, что назвали меня сейчасъ олухомъ, тогда какъ я никогда еще не былъ такъ проницателенъ, какъ сегодня. Всѣ ваши дѣла на ладонкѣ вижу; а къ Аннѣ Андревнѣ все-таки не пойду!

— Такъ я и знала! — воскликнула она, но опять-таки вовсе не на мои слова, продолжая обдумывать свое. — Оплетутъ теперь ее всю и мертвой петлей затянутъ!

— Анну Андреевну?

— Дуракъ!

— Такъ про кого же вы? Такъ ужъ не про Катерину ли Николаевну? Какой мертвой петлей? — Я ужасно испугался. Какая-то смутная, но ужасная идея прошла черезъ всю душу мою. Татьяна Павловна пронзительно поглядѣла на меня.

— Ты-то чего тамъ? — спросила она вдругъ.— Ты-то тамъ въ чемъ участвуешь? Слышала я что-то и про тебя — ой, смотри!

— Слушайте, Татьяна Павловна: я вамъ сообщу одну страшную тайну, но только не сейчасъ, теперь нѣтъ времени, а завтра наединѣ, но зато скажите мнѣ теперь всю правду, и что это за мертвая петля . . . потому что я весь дрожу . . .

— А наплевать мнѣ на твою дрожь! — воскликнула она. — Какую еще разсказать хочешь завтра тайну? Да ужъ ты впрямь не знаешь ли чего? — впилась она въ меня вопросительнымъ взглядомъ. — Вѣдь самъ же ей поклялся тогда, что письмо Крафта сжегъ.

— Татьяна Павловна, повторяю вамъ, не мучьте меня, — продолжалъ я свое, въ свою очередь не отвѣчая ей на вопросъ, потому что былъ внѣ себя: — смотрите, Татьяна Павловна, чрезъ то, что вы отъ меня скрываете, можетъ выйти еще что-нибудь хуже... вѣдь онъ вчера былъ въ полномъ, въ полнѣйшемъ воскресеніи!

— Э, убирайся, шутъ! Самъ-то небось тоже, какъ воробей, влюбленъ — отецъ съ сыномъ въ одинъ предметъ! Фу, безобразники!

Она скрылась, съ негодованіемъ хлопнувъ дверью. Въ бѣшенствѣ отъ наглаго, безстыднаго цинизма самыхъ послѣднихъ ея словъ, — цинизма, на который способна лишь женщина, я выбѣжалъ, глубоко оскорбленный. Но не буду описывать смутныхъ ощущеній моихъ, какъ уже и далъ слово; буду продолжать лишь фактами, которые теперь все разрѣшатъ. Разумѣется, я пробѣжалъ мимоходомъ опять къ нему и опять отъ няньки услышалъ, что онъ не бывалъ вовсе.

— И совсѣмъ не придетъ?

— А Богъ ихъ вѣдаетъ.

III.

Фактами, фактами!.. Но понимаетъ ли что-нибудь читатель? Помню, какъ меня самого давили тогда эти же самые факты и не давали ничего осмыслить, такъ что, подъ конецъ того дня, у меня совсѣмъ голова сбилась съ толку. А потому двумя-тремя словами забѣгу впередъ.

Всѣ муки мои состояли вотъ въ чемъ: если вчера онъ воскресъ и ее разлюбилъ, то въ такомъ случаѣ, гдѣ бы онъ долженствовалъ быть сегодня?

Отвѣтъ: прежде всего — у меня, съ которымъ вчера обнимался, а потомъ сейчасъ же у мамы, которой портретъ онъ вчера цѣловалъ. И вотъ, вмѣсто этихъ двухъ натуральныхъ шаговъ, его вдругъ «чѣмъ свѣтъ» нѣту дома и онъ куда-то пропалъ, а Дарья Онисимовна бредитъ почему-то, что «врядъ ли и воротится». Мало того: Лиза увѣряетъ о какой-то развязкѣ «вѣчной исторіи» и о томъ, что у мамы о немъ имѣются нѣкоторыя свѣдѣнія, и уже позднѣйшія; сверхъ того, тамъ несомнѣнно знаютъ и про письмо Катерины Николаевны (это я самъ примѣтилъ), и все-таки не вѣрятъ его «воскресенію въ новую жизнь», хотя и выслушали меня внимательно. Мама убита, а Татьяна Павловна надъ словомъ «воскресеніе» ехидно остритъ. Но если все это — такъ, то, значитъ, съ нимъ опять случился за ночь переворотъ, опять кризисъ, и это — послѣ вчерашняго-то восторга, умиленія, паѳоса! Значитъ, все это «воскресеніе» лопнуло, какъ надутый пузырь, и онъ, можетъ быть, теперь опять толчется гдѣ-нибудь въ томъ же бѣшенствѣ, какъ тогда послѣ извѣстія о Бьорингѣ! Спрашивается, что же будетъ съ мамой, со мной, со всѣми нами и. . . . и — что же будетъ, наконецъ, съ *нею?* Гіро какую «мертвую петлю» проболталась Татьяна, посылая меня къ Аннѣ Андреевнѣ? Значитъ, тамъ-то и есть эта «мертвая петля» — у Анны Андреевны! Почему же у Анны Андреевны? Разумѣется, я побѣгу къ Аннѣ Андреевнѣ; это я нарочно, съ досады лишь сказалъ, что не пойду; я сейчасъ побѣгу. Но что такое говорила Татьяна про «документъ»? И не онъ ли самъ сказалъ мнѣ вчера: «Сожги документъ».

Вотъ были мысли мои, вотъ что̀ давило меня

мертвой петлей; но, главное, мнѣ надо было *его*. Съ нимъ бы я тотчасъ же все порѣшилъ — я это чувствовалъ; мы поняли бы одинъ другого съ двухъ словъ! Я бы схватилъ его за руки, сжалъ ихъ; я бы нашелъ въ моемъ сердцѣ горячія слова, — мечталось мнѣ неотразимо. О, я бы покорилъ безумiе!.. Но гдѣ онъ? Гдѣ онъ? И вотъ, нужно же было въ такую минуту подвернуться Ламберту, когда я такъ былъ разгоряченъ! Не доходя нѣсколько шаговъ до моего дома, я вдругъ встрѣтилъ Ламберта; онъ радостно завопилъ, меня увидавъ, и схватилъ меня за руку:

— Я къ тебѣ уже тхэтiй разъ... Enfin! Пойдемъ завтракать!

— Стой! Ты у меня былъ? Тамъ нѣтъ Андрея Петровича?

— Нѣтъ тамъ никого. Оставь ихъ всѣхъ! Ты, духгакъ, вчера разсердился, ты былъ пьянъ, а я имѣю тебѣ говорить важное; я сегодня слышалъ прелестныя вѣсти про то, что мы вчера говорили...

— Ламбертъ, — перебилъ я, задыхаясь и торопясь и поневолѣ нѣсколько декламируя: — если я остановился съ тобою, то единственно за тѣмъ, чтобы навсегда съ тобою покончить. Я уже говорилъ тебѣ вчера, но ты все не понимаешь. Ламбертъ, ты — ребенокъ и глупъ, какъ французъ. Ты все думаешь, что ты, какъ у Тушара, и что я такъ же глупъ, какъ у Тушара... Но я не такъ же глупъ, какъ у Тушара... Я вчера былъ пьянъ, но не отъ вина, а потому, что былъ и безъ того возбужденъ; а если я поддакивалъ тому, что ты мололъ, то потому, что я хитрилъ, чтобъ вывѣдать твои мысли. Я тебя обманывалъ, а ты обрадовался, и повѣрилъ, и мололъ. — Знай, что жениться на

ней, это — такой вздоръ, которому гимназистъ приготовительнаго класса не повѣритъ. Можно ли подумать, чтобъ я повѣрилъ? А ты повѣрилъ! Ты потому повѣрилъ, что ты не принятъ въ высшемъ обществѣ и ничего не знаешь, какъ у нихъ въ высшемъ свѣтѣ дѣлается, и это невозможно, чтобъ такъ просто — взяла да и вышла замужъ... Теперь скажу тебѣ ясно, чего тебѣ хочется: тебѣ хочется зазвать меня, чтобъ опоить и чтобъ я выдалъ тебѣ документъ и пошелъ съ тобою на какое-то мошенничество противъ Катерины Николаевны! Такъ врешь же! Не приду къ тебѣ никогда, и знай тоже, что завтра же, или уже непремѣнно послѣзавтра, бумага эта будетъ въ ея собственныхъ рукахъ, потому что документъ этотъ принадлежитъ ей, потому что ею написанъ, и я самъ передамъ ей лично, и, если хочешь знать гдѣ, такъ знай, что черезъ Татьяну Павловну, ея знакомую, въ квартирѣ Татьяны Павловны, при Татьянѣ Павловнѣ — передамъ и за документъ не возьму съ нея ничего. А теперь отъ меня — маршъ навсегда, не то... не то, Ламбертъ, я обойдусь не столь учтиво...

Окончивъ это, я весь дрожалъ мелкою дрожью. Самое главное дѣло и самая скверная привычка въ жизни, вредящая всему въ каждомъ дѣлѣ, это... это, если зарисуешься. Чертъ меня дернулъ разгорячиться передъ нимъ до того, что я, кончая рѣчь и съ наслажденіемъ отчеканивая слова и возвышая все болѣе и болѣе голосъ, вошелъ вдругъ въ такой жаръ, что всунулъ совсѣмъ ненужную подробность о томъ, что передамъ документъ черезъ Татьяну Павловну и у нея на квартирѣ! Но мнѣ такъ вдругъ захотѣлось тогда его огорошить! Когда я бряк-

нулъ такъ прямо о документѣ и вдругъ увидѣлъ его глупый испугъ, мнѣ вдругъ захотѣлось еще пуще придавить его точностью подробностей. И вотъ эта-то бабья хвастливая болтовня и была потомъ причиною ужасныхъ несчастій, потому что эта подробность про Татьяну Павловну и ея квартиру тотчасъ же засѣла въ умѣ его, какъ у мошенника и практическаго человѣка на малыя дѣла; въ высшихъ и важныхъ дѣлахъ онъ ничтоженъ и ничего не смыслитъ, но на эти мелочи у него все-таки есть чутье. Умолчи я про Татьяну Павловну — не случилось бы большихъ бѣдъ. Однако, выслушавъ меня, онъ въ первую минуту потерялся ужасно.

— Слушай, — пробормоталъ онъ; — Альфонсина... Альфонсина споетъ... Альфонсина была у *ней;* слушай: я имѣю письмо, почти письмо, гдѣ Ахмакова говоритъ про тебя, мнѣ рябой досталъ, помнишь рябого — и вотъ увидишь, вотъ увидишь, пойдемъ!

— Лжешь, покажи письмо!

— Оно дома, у Альфонсины, пойдемъ!

Разумѣется, онъ вралъ и бредилъ, трепеща, чтобы я не убѣжалъ отъ него; но я вдругъ бросилъ его среди улицы, и когда онъ хотѣлъ было за мной слѣдовать, то остановился и погрозилъ ему кулакомъ. Но онъ уже стоялъ въ раздумьѣ —и далъ мнѣ уйти: у него уже, можетъ быть, замелькалъ въ головѣ новый планъ. Но для меня сюрпризы и встрѣчи не кончились... И какъ вспомню весь этотъ несчастный день, то все кажется, что всѣ эти сюрпризы и нечаянности точно тогда сговорились вмѣстѣ и такъ и посыпались разомъ на мою голову изъ какого-то проклятаго рога изобилія.

Едва я отворилъ дверь въ квартиру, какъ столкнулся, еще въ передней, съ однимъ молодымъ человѣкомъ высокаго роста, съ продолговатымъ и блѣднымъ лицомъ, важной и «изящной» наружности и въ великолѣпной шубѣ. У него былъ на носу пенснэ; но онъ тотчасъ же, какъ завидѣлъ меня, стянулъ его съ носа (очевидно, для учтивости) и, вѣжливо приподнявъ рукой свой цилиндръ, но, впрочемъ, не останавливаясь, проговорилъ мнѣ, изящно улыбаясь: «На, bonsoir», и прошелъ мимо на лѣстницу. Мы оба узнали другъ друга тотчасъ же, хотя видѣлъ я его всего только мелькомъ одинъ разъ въ моей жизни, въ Москвѣ. Это былъ братъ Анны Андреевны, камеръ-юнкеръ, молодой Версиловъ, сынъ Версилова, а, стало быть, почти и мой братъ. Его провожала хозяйка (хозяинъ все еще не возвращался со службы). Когда онъ вышелъ, я такъ на нее и накинулся:

— Что онъ тутъ дѣлаетъ? Онъ въ моей комнатѣ былъ?

— Совсѣмъ не въ вашей комнатѣ. Онъ приходилъ ко мнѣ . . . — быстро и сухо отрѣзала она и повернулась къ себѣ.

— Нѣтъ, этакъ нельзя! — закричалъ я: — извольте отвѣчать: зачѣмъ онъ приходилъ?

— Ахъ, Боже мой! Такъ вамъ все и разсказывать, зачѣмъ люди ходятъ. Мы, кажется, тоже свой расчетъ можемъ имѣть. Молодой человѣкъ, можетъ, денегъ занять хотѣлъ, у меня адресъ узналъ. Можетъ я ему еще съ прошлаго раза пообѣщала . . .

— Какъ съ прошлаго раза?

— Ахъ, Боже мой! Да, вѣдь, не впервой же онъ приходитъ!

Она ушла. Главное, я понялъ, что тутъ тонъ измѣняется: они со мной начинали говорить грубо. Ясно было, что это — опять секретъ; секреты накоплялись съ каждымъ шагомъ, съ каждымъ часомъ. Въ первый разъ молодой Версиловъ пріѣзжалъ съ сестрой, съ Анной Андреевной, когда я былъ боленъ; про это я слишкомъ хорошо помнилъ, равно и то, что Анна Андреевна уже закинула мнѣ вчера удивительное словечко, что, можетъ быть, старый князь остановится на моей квартирѣ . . . Но все это было такъ сбито и такъ уродливо, что я почти ничего не могъ на этотъ счетъ придумать. Хлопнувъ себя по лбу и даже не присѣвъ отдохнуть, я побѣжалъ къ Аннѣ Андреевнѣ: ея не оказалось дома, а отъ швейцара получилъ отвѣтъ, что «поѣхали въ Царское; завтра только развѣ около этого времени будутъ».

Она — въ Царское и ужъ, разумѣется, къ старому князю, а братъ ея осматриваетъ мою квартиру! Нѣтъ, этого не будетъ! — проскрежеталъ я: — а если тутъ, и въ самомъ дѣлѣ, какая-нибудь мертвая петля, то я защищу «бѣдную женщину»!

Отъ Анны Андреевны я домой не вернулся, потому что въ воспаленной головѣ моей вдругъ промелькнуло воспоминаніе о трактирѣ на канавѣ, въ который Андрей Петровичъ имѣлъ обыкновеніе заходить въ иные мрачные свои часы. Обрадовавшись догадкѣ, я мигомъ побѣжалъ туда; былъ уже четвертый часъ и смеркалось. Въ трактирѣ извѣстили, что онъ приходилъ: «побывали немного и ушли, а, можетъ, и еще придутъ». Я вдругъ изъ всей силы рѣшился ожидать его и велѣлъ подать себѣ обѣдать; по крайней мѣрѣ, являлась надежда.

Я съѣлъ обѣдъ, съѣлъ даже лишнее, чтобы

имѣть право какъ можно дольше оставаться, и просидѣлъ, я думаю, часа четыре. Не описываю мою грусть и лихорадочное нетерпѣніе; точно все во мнѣ внутри сотряслось и дрожало. Этотъ орга́нъ, эти посѣтители — о, вся эта тоска отпечатлѣлась въ душѣ моей, быть можетъ, на всю жизнь! Не описываю и мыслей, подымавшихся въ головѣ, какъ туча сухихъ листьевъ осенью, послѣ налетѣвшаго вихря; право, что-то было на это похоже и, признаюсь, я чувствовалъ, что, по временамъ, мнѣ начинаетъ измѣнять разсудокъ.

Но что̀ мучило меня до боли (мимоходомъ, разумѣется, сбоку, мимо главнаго мученія) — это было одно неотвязчивое, ядовитое впечатлѣніе — неотвязчивое, какъ ядовитая, осенняя муха, о которой не думаешь, но которая вертится около васъ, мѣшаетъ вамъ и вдругъ пребольно укуситъ. Это было лишь воспоминаніе, одно происшествіе, о которомъ я еще никому на свѣтѣ не сказывалъ. Вотъ въ чемъ дѣло, ибо надобно же и это гдѣ-нибудь разсказать.

IV.

Когда въ Москвѣ уже было рѣшено, что я отправлюсь въ Петербургъ, то мнѣ дано было знать чрезъ Николая Семеновича, чтобы я ожидалъ присылки денегъ на выѣздъ. Отъ кого придутъ деньги — я не справлялся; я зналъ, что отъ Версилова, а такъ какъ я день и ночь мечталъ тогда, съ замираніемъ сердца и съ высокомѣрными планами, о встрѣчѣ съ Версиловымъ, то о немъ вслухъ совсѣмъ пересталъ говорить, даже съ Марьей Ивановной. Напомню, впрочемъ, что у меня были и свои деньги на выѣздъ; но я все-таки положилъ

ждать; между прочимъ, предполагалъ, что деньги придутъ черезъ почту.

Вдругъ, однажды Николай Семеновичъ, возвратясь домой, объявилъ мнѣ (по своему обыкновенію, кратко и не размазывая), чтобы я сходилъ завтра на Мясницкую, въ одиннадцать часовъ утра, въ домъ и квартиру князя В—скаго, и что тамъ пріѣхавшій изъ Петербурга камеръ-юнкеръ Версиловъ, сынъ Андрея Петровича и остановившійся у товарища своего по лицею, князя В—скаго, вручитъ мнѣ присланную для переѣзда сумму. Казалось бы, дѣло весьма простое: Андрей Петровичъ весьма могъ поручить своему сыну эту комиссію вмѣсто отсылки черезъ почту; но извѣстіе это меня какъ-то нестественно придавило и испугало. Сомнѣній не было, что Версиловъ хотѣлъ свести меня съ своимъ сыномъ, моимъ братомъ; такимъ образомъ, обрисовывались намѣренія и чувства человѣка, о которомъ мечталъ я; но представлялся громадный для меня вопросъ: какъ же буду и какъ же долженъ я вести себя въ этой совсѣмъ неожиданной встрѣчѣ, и не потеряетъ ли въ чемъ-нибудь собственное мое достоинство?

На другой день, ровно въ одиннадцать часовъ, я явился въ квартиру князя В—скаго, холостую, но, какъ угадывалось мнѣ, пышно меблированную, съ лакеями въ ливреяхъ. Я остановился въ передней. Изъ внутреннихъ комнатъ долетали звуки громкаго разговора и смѣха: у князя, кромѣ камеръ-юнкера гостя, были и еще посѣтители. Я велѣлъ лакею о себѣ доложить и, кажется, въ немного гордыхъ выраженіяхъ: по крайней мѣрѣ, уходя докладывать, онъ посмотрѣлъ на меня странно, мнѣ показалось даже не такъ почтительно,

какъ бы слѣдовало. Къ удивленію моему, онъ что-то ужъ очень долго докладывалъ, минутъ съ пять, а между тѣмъ оттуда все раздавались тотъ же смѣхъ и тѣ же отзвуки разговора.

Я, разумѣется, ожидалъ стоя, очень хорошо зная, что мнѣ, какъ «такому же барину», неприлично и невозможно сѣсть въ передней, гдѣ были лакеи. Самъ же я, своей волей, безъ особаго приглашенія, ни за что не хотѣлъ шагнуть въ залу, изъ гордости; изъ утонченной гордости, можетъ быть, но такъ слѣдовало. Къ удивленію моему, оставшіеся лакеи (двое) осмѣлились при мнѣ сѣсть. Я отвернулся, чтобы не замѣтить этого, и, однакожъ, началъ дрожать всѣмъ тѣломъ, и вдругъ, обернувшись и шагнувъ къ одному лакею, *велѣлъ* ему «тотчасъ же» пойти доложить еще разъ. Несмотря на мой строгій взглядъ и чрезвычайное мое возбужденіе, лакей лѣниво посмотрѣлъ на меня, не вставая, и уже другой за него отвѣтилъ:

— Доложено, не безпокойтесь.

Я рѣшилъ прождать еще только одну минуту или, по возможности, даже менѣе минуты, а тамъ — *непремѣнно уйти*. Главное, я былъ одѣтъ весьма прилично: платье и пальто все-таки были новыя, а бѣлье совершенно свѣжее, о чемъ позаботилась нарочно для этого случая сама Марья Ивановна. Но про этихъ лакеевъ я уже гораздо позже и уже въ Петербургѣ *навѣрно* узналъ, что они, чрезъ пріѣхавшаго съ Версиловымъ слугу, узнали еще наканунѣ, что «придетъ, дескать, такой-то, побочный братъ и студентъ». Про это я теперь знаю навѣрное.

Минута прошла. Странное это ощущеніе, когда рѣшаешься и не можешь рѣшиться: «уйти или

нѣтъ, уйти или нѣтъ?» — повторялъ я каждую секунду почти въ ознобѣ; вдругъ показался уходившій докладывать слуга. Въ рукахъ у него, между пальцами, болтались четыре красныхъ кредитки, сорокъ рублей.

— Вотъ-съ, извольте получить сорокъ рублей!

Я вскипѣлъ. Это была такая обида! Я всю прошлую ночь мечталъ объ устроенной Версиловымъ встрѣчѣ двухъ братьевъ; я всю ночь грезилъ въ лихорадкѣ, какъ я долженъ держать себя и не уронить — не уронить всего цикла идей, которыя выжилъ въ уединеніи моемъ и которыми могъ гордиться даже въ какомъ угодно кругу. Я мечталъ, какъ я буду благороденъ, гордъ и грустенъ, можетъ быть, даже въ обществѣ князя В—скаго, и, такимъ образомъ, прямо буду введенъ въ этотъ свѣтъ — о, я не шажу себя, и пусть, и пусть: такъ и надо записать это въ такихъ точно подробностяхъ! И вдругъ сорокъ рублей черезъ лакея, въ переднюю, да еще послѣ десяти минутъ ожиданія, да еще прямо изъ рукъ, изъ лакейскихъ пальцевъ, а не на тарелкѣ, не въ конвертѣ.

Я до того закричалъ на лакея, что онъ вздрогнулъ и отшатнулся; я немедленно велѣлъ ему отнести деньги назадъ и чтобы «баринъ его самъ принесъ» — однимъ словомъ, требованіе мое было, конечно, безсвязное и ужъ, конечно, непонятное, для лакея. Однакожъ я такъ закричалъ, что онъ пошелъ. Вдобавокъ, въ залѣ, кажется, мой крикъ услышали — и говоръ, и смѣхъ вдругъ затихли.

Почти тотчасъ же я заслышалъ шаги, важные, неспѣшные, мягкіе, и высокая фигура красиваго и надменнаго молодого человѣка (тогда онъ мнѣ показался еще блѣднѣе и худощавѣе, чѣмъ въ се-

годняшнюю встрѣчу) показалась на порогѣ въ переднюю — даже на аршинъ не доходя до порога. Онъ былъ въ великолѣпномъ красномъ шелковомъ халатѣ и въ туфляхъ, и съ пенснэ на носу. Не проговоривъ ни слова, онъ направилъ на меня пенснэ и сталъ разсматривать. Я, какъ звѣрь, шагнулъ къ нему одинъ шагъ и сталъ съ вызовомъ, смотря на него въ упоръ. Но разсматривалъ онъ меня лишь мгновеніе, всего секундъ десять; вдругъ самая непримѣтная усмѣшка показалась на губахъ его, и, однакожъ, самая язвительная, тѣмъ именно и язвительная, что почти непримѣтная: онъ молча повернулся и пошелъ опять въ комнаты, такъ ке не торопясь, такъ же тихо и плавно, какъ и пришелъ. О, эти обидчики еще съ дѣтства, еще въ семействахъ своихъ, выучиваются матерями своими обижать! Разумѣется, я потерялся . . . О, зачѣмъ я тогда потерялся!

Почти въ то же мгновеніе появился опять тотъ же лакей съ тѣми же кредитками въ рукахъ:

— Извольте получить, это — вамъ изъ Петербурга, а принять васъ самихъ не могутъ; «въ другое время развѣ какъ-нибудь, когда имъ будетъ свободнѣе». — Я почувствовалъ, что эти послѣднія слова онъ уже отъ себя прибавилъ. Но потерянность моя все еще продолжалась. Я принялъ деньги и пошелъ къ дверямъ; именно отъ потерянности принялъ, потому что надо было не принять; но лакей, ужъ, конечно, желая уязвить меня, позволилъ себѣ одну самую лакейскую выходку: онъ вдругъ усиленно распахнулъ предо мною дверь и, держа ее настежь, проговорилъ важно и съ удареніемъ, когда я проходилъ мимо:

— Пожалуйте-съ!

— Подлецъ! — заревѣлъ я на него и вдругъ замахнулся, но не опустилъ руки, — и твой баринъ подлецъ! Доложи ему это сейчасъ, — прибавилъ я и быстро вышелъ на лѣстницу.

— Это вы такъ не смѣете! Это если бъ я барину тотчасъ доложилъ, то васъ сію же минуту при запискѣ можно въ участокъ препроводить. А замахиваться руками не смѣете . . .

Я спускался съ лѣстницы. Лѣстница была парадная, вся открытая, и сверху меня можно было видѣть всего, пока я спускался по красному ковру. Всѣ три лакея вышли и стали наверху, надъ перилами. Я, конечно, рѣшился молчать: браниться съ лакеями было невозможно. Я сошелъ всю лѣстницу, не прибавляя шагу и даже, кажется, замедливъ шагъ.

О, пусть есть философы (и позоръ на нихъ!), которые скажутъ, что все это — пустяки, раздраженіе молокососа — пусть, но для меня это была рана — рана, которая и до сихъ поръ не зажила, даже до самой теперешней минуты, когда я это пишу и когда уже все кончено и отомщено. О, клянусь! Я не злопамятенъ и не мстителенъ. Безъ сомнѣнія, я всегда, даже до болѣзни, желаю отмстить, когда меня обидятъ, но, клянусь, — лишь однимъ великодушіемъ. Пусть я отплачу ему великодушіемъ, но съ тѣмъ, чтобы это онъ почувствовалъ, чтобы онъ это понялъ — и я отмщенъ! Кстати прибавлю: я не мстителенъ, но я злопамятенъ, хотя и великодушенъ — бываетъ ли такъ съ другими? Тогда же, о, тогда я пришелъ съ великодушными чувствами, можетъ быть, смѣшными, но пусть: лучше пусть смѣшными, да великодушными, чѣмъ не смѣшными, да подлыми, обыденными, се-

рединными! Про эту встрѣчу съ «братомъ» я никому не открывалъ, даже Марьѣ Ивановнѣ, даже въ Петербургѣ Лизѣ; эта встрѣча была все равно что полученная позорно пощечина. И вотъ, вдругъ этотъ господинъ встрѣчается, когда я всего менѣе его ожидалъ встрѣтить; онъ улыбается мнѣ, снимаетъ шляпу и совершенно дружески говоритъ: «bonsoir». Конечно, было о чемъ подумать . . . Но рана открылась!

V.

Просидѣвъ часа четыре слишкомъ въ трактирѣ, я вдругъ выбѣжалъ, какъ въ припадкѣ — разумѣется, опять къ Версилову и, разумѣется, опять не засталъ дома, не приходилъ вовсе; нянька была скучна и вдругъ попросила меня прислать Дарью Онисимовну; о, до того ли мнѣ было! Я забѣжалъ и къ мамѣ, но не вошелъ, а вызвалъ Лукерью въ сѣни; отъ нея узналъ, что онъ не былъ и что Лизы тоже нѣтъ дома. Я видѣлъ, что Лукерья тоже хотѣла бы что-то спросить и, можетъ быть, тоже что-нибудь мнѣ поручить; но до того ли мнѣ было! Оставалась послѣдняя надежда, что онъ заходилъ ко мнѣ; но уже этому я не вѣрилъ.

Я уже предувѣдомилъ, что почти потерялъ разсудокъ. И вотъ, въ моей комнатѣ я вдругъ застаю Альфонсинку и моего хозяина. Правда, они выходили, и у Петра Ипполитовича въ рукахъ была свѣча.

— Это — что! — почти безсмысленно завопилъ я на хозяина, — какъ вы смѣли ввести эту шельму въ мою комнату?

— Tiens! — вскричала Альфонсинка, — et les amis?

— Вонъ! — заревѣлъ я.

— Mais c'est un ours! — выпорхнула она въ коридоръ, притворяясь испуганною и вмигъ скрываясь къ хозяйкѣ. Петръ Ипполитовичъ, все еще со свѣчей въ рукахъ, подошелъ ко мнѣ съ строгимъ видомъ:

— Позвольте вамъ замѣтить, Аркадій Макаровичъ, что вы слишкомъ разгорячились, какъ ни уважаемъ мы васъ, а мамзель Альфонсина не шельма, а даже совсѣмъ напротивъ, находится въ гостяхъ, и не у васъ, а у моей жены, съ которою уже нѣсколько времени какъ обоюдно знакомы.

— А какъ вы смѣли ввести ее въ мою комнату? — повторилъ я, схвативъ себя за голову, которая почти вдругъ ужасно заболѣла.

— А случайно-съ. Это я входилъ, чтобы затворить форточку, которую я же и отворилъ для свѣжаго воздуха; а такъ какъ мы продолжали съ Альфонсиной Карловной прежній разговоръ, то среди разговора она и зашла въ вашу комнату, единственно сопровождая меня.

— Неправда, Альфонсинка — шпіонъ, Ламбертъ — шпіонъ! Можетъ быть, вы сами — тоже шпіонъ! А Альфонсинка приходила у меня что-нибудь украсть.

— Это ужъ какъ вамъ будетъ угодно. Сегодня вы одно изволите говорить, а завтра другое. А квартиру мою я сдалъ на нѣкоторое время, а самъ съ женой переберусь въ каморку, такъ что Альфонсина Карловна теперь — почти такая же здѣсь жилица, какъ и вы-съ.

— Вы Ламберту сдали квартиру? — вскричалъ я въ испугѣ.

— Нѣтъ-съ, не Ламберту, — улыбнулся онъ да-

вешней длинной улыбкой, въ которой, впрочемъ, видна была уже твердость взамѣнъ утренняго недоумѣнія, — полагаю, что сами изволите знать кому, а только напрасно дѣлаете видъ, что не знаете, единственно для красы-съ, а потому и сердитесь. Покойной ночи-съ!

— Да, да, оставьте, оставьте меня въ покоѣ! — замахалъ я руками, чуть не плача, такъ что онъ вдругъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на меня; однакоже, вышелъ. Я насадилъ на дверь крючокъ и повалился на мою кровать ничкомъ въ подушку. И вотъ такъ прошелъ для меня этотъ первый ужасный день изъ этихъ трехъ роковыхъ послѣднихъ дней, которыми завершаются мои записки.

Глава десятая.

I.

Но я опять, предупреждая ходъ событій, нахожу нужнымъ разъяснить читателю хотя бы нѣчто впередъ, ибо тутъ къ логическому теченію этой исторіи примѣшалось такъ много случайностей, что, не разъяснивъ ихъ впередъ, нельзя разобрать. Тутъ дѣло состояло въ этой самой «мертвой петлѣ», о которой проговорилась Татьяна Павловна. Состояла же эта петля въ томъ, что Анна Андреевна рискнула, наконецъ, на самый дерзкій шагъ, который только можно было представить въ ея положеніи. Подлинно — характеръ! Хотя старый князь, подъ предлогомъ здоровья, и былъ тогда своевременно конфискованъ въ Царское Село, такъ что извѣстіе о его бракѣ съ Анной Андреевной не могло распространиться въ свѣтѣ и было на время потушено, такъ сказать, въ самомъ зародышѣ, но, однакоже, слабый старичокъ, съ которымъ все можно было сдѣлать, ни за что на свѣтѣ не согласился бы отстать отъ своей идеи и измѣнить Аннѣ Андреевнѣ, сдѣлавшей ему предложеніе. На этотъ счетъ онъ былъ рыцаремъ, такъ что рано или поздно онъ вдругъ могъ встать и приступить къ исполненію своего намѣренія съ неудержимой силой, что весьма и весьма случается, именно съ слабыми ха-

рактерами, ибо у нихъ есть такая черта, до которой не надобно доводить ихъ. Къ тому же онъ совершенно сознавалъ всю щекотливость положенія Анны Андреевны, которую уважалъ безмѣрно, сознавалъ возможность свѣтскихъ слуховъ, насмѣшекъ, худой на ея счетъ молвы. Смиряло и останавливало его пока лишь то, что Катерина Николаевна ни разу, ни словомъ, ни намекомъ, не позволила себѣ заикнуться въ его присутствіи объ Аннѣ Андреевнѣ съ дурной стороны или обнаружить хоть что-нибудь противъ намѣренія его вступить съ нею въ бракъ. Напротивъ, она высказывала чрезвычайное радушіе и вниманіе къ невѣстѣ отца своего. Такимъ образомъ, Анна Андреевна поставлена была въ чрезвычайно неловкое положеніе, тонко понимая своимъ женскимъ чутьемъ, что малѣйшимъ наговоромъ на Катерину Николаевну, передъ которой князь тоже благоговѣлъ, а теперь даже болѣе, чѣмъ всегда, и именно потому, что она такъ благодушно и почтительно позволила ему жениться, — малѣйшимъ наговоромъ на нее она оскорбила бы всѣ его нѣжныя чувства и возбудила бы въ немъ къ себѣ недовѣріе и даже, пожалуй, негодованіе. Такимъ образомъ, на этомъ полѣ пока и шла битва: обѣ соперницы какъ бы соперничали одна передъ другой въ деликатности и терпѣніи, и князь, въ концѣ концовъ, уже не зналъ, которой изъ нихъ болѣе удивляться, и, по обыкновенію всѣхъ слабыхъ, но нѣжныхъ сердцемъ людей, кончилъ тѣмъ, что началъ страдать и винить во всемъ одного себя. Тоска его, говорятъ, дошла до болѣзни; нервы его и впрямь разстроились, и вмѣсто поправки здоровья въ Царскомъ онъ, какъ увѣряли, готовъ уже былъ слечь въ постель.

Здѣсь замѣчу въ скобкахъ о томъ, о чемъ узналъ очень долго спустя: будто бы Бьорингъ прямо предлагалъ Катеринѣ Николаевнѣ отвезти старика за границу, склонивъ его къ тому какъ-нибудь обманомъ, объявивъ, между тѣмъ, негласно въ свѣтѣ, что онъ совершенно лишился разсудка, а за границей уже достать свидѣтельство объ этомъ отъ врачей. Но этого-то и не захотѣла Катерина Николаевна ни за что; такъ, по крайней мѣрѣ, потомъ утверждали. Она будто бы съ негодованіемъ отвергнула этотъ проектъ. Все это — только самый отдаленный слухъ, но я ему вѣрю.

И вотъ, когда дѣло, такъ сказать, дошло до послѣдней безвыходности, Анна Андреевна вдругъ, черезъ Ламберта, узнаетъ, что существуетъ такое письмо, въ которомъ дочь уже совѣтовалась съ юристомъ о средствахъ объявить отца сумасшедшимъ. Мстительный и гордый умъ ея былъ возбужденъ въ высочайшей степени. Вспоминая прежніе разговоры со мной и сообразивъ множество мельчайшихъ обстоятельствъ, она не могла усомниться въ вѣрности извѣстія. Тогда въ этомъ твердомъ, непреклонномъ женскомъ сердцѣ неотразимо созрѣлъ планъ удара. Планъ состоялъ въ томъ, чтобы вдругъ, безъ всякихъ подходовъ и наговоровъ, разомъ объявить все князю, испугать его, потрясти его, указать, что его неминуемо ожидаетъ сумасшедшій домъ, и когда онъ упрется, придетъ въ негодованіе, станетъ не вѣрить — то показать ему письмо дочери: «дескать, ужъ было разъ намѣреніе объявить сумасшедшимъ; такъ теперь, чтобъ помѣшать браку, и подавно можетъ быть». Затѣмъ, взять испуганнаго и убитаго старика и перевезти въ Петербургъ — *прямо на мою квартиру*.

Это былъ ужасный рискъ, но она твердо надѣялась на свое могущество. Здѣсь, отступая на мигъ отъ разсказа, сообщу, забѣгая очень впередъ, что она не обманулась въ эффектѣ удара; мало того, эффектъ превзошелъ всѣ ея ожиданія. Извѣстіе объ этомъ письмѣ подѣйствовало на стараго князя, можетъ быть, въ нѣсколько разъ сильнѣе, чѣмъ она сама и мы всѣ предполагали. Я и не зналъ никогда до этого времени, что князю уже было нѣчто извѣстно объ этомъ письмѣ еще прежде; но, по обычаю всѣхъ слабыхъ и робкихъ людей, онъ не повѣрилъ слуху и отмахивался отъ него изъ всѣхъ силъ, чтобы остаться спокойнымъ; мало того, винилъ себя въ неблагородствѣ своего легковѣрія. Прибавлю тоже, что фактъ существованія письма подѣйствовалъ также и на Катерину Николаевну несравненно сильнѣе, чѣмъ я самъ тогда ожидалъ... Однимъ словомъ, эта бумага оказалась гораздо важнѣе, чѣмъ я самъ, носившій ее въ карманѣ, предполагалъ. Но тутъ я уже слишкомъ забѣжалъ впередъ.

Но зачѣмъ же, спросятъ, ко мнѣ на квартиру? Зачѣмъ перевозить князя въ жалкія наши каморки и, можетъ быть, испугать его нашею жалкою обстановкой? Если ужъ нельзя было въ его домъ (такъ какъ тамъ разомъ могли всему помѣшать), то почему не на особую «богатую» квартиру, какъ предлагалъ Ламбертъ? Но тутъ-то и заключался весь рискъ чрезвычайнаго шага Анны Андреевны.

Главное состояло въ томъ, чтобы тотчасъ же, по прибытіи князя, предъявить ему документъ; но я не выдавалъ документа ни за что. А такъ какъ времени терять уже было нельзя, то, надѣясь на

свое могущество, Анна Андреевна и рѣшилась начать дѣло и безъ документа, но съ тѣмъ, чтобы князя прямо доставить ко мнѣ — для чего? А для того именно, чтобъ тѣмъ же самымъ шагомъ накрыть и меня, такъ сказать, по пословицѣ, однимъ камнемъ убить двухъ воробьевъ. Она расчитывала подѣйствовать и на меня толчкомъ, сотрясеніемъ, нечаянностью. Она размышляла, что, увидя у себя старика, увидя его испугъ, безпомощность и услышавъ ихъ общія просьбы, я сдамся и предъявлю документъ! Признаюсь — расчетъ былъ хитрый и умный, психологическій, мало того — она чуть было не добилась успѣха... что же до старика, то Анна Андреевна тѣмъ и увлекла его тогда, тѣмъ и заставила повѣрить себѣ, хотя бы на слово, что прямо объявила ему, что везетъ его *ко мнѣ*. Все это я узналъ впослѣдствіи. Даже одно только извѣстіе о томъ, что документъ этотъ у меня, уничтожило въ робкомъ сердцѣ его послѣднія сомнѣнія въ достовѣрности факта — до такой степени онъ любилъ и уважалъ меня!

Замѣчу еще, что сама Анна Андреевна ни на минуту не сомнѣвалась, что документъ еще у меня и что я его изъ рукъ еще не выпустилъ. Главное, она понимала превратно мой характеръ и цинически расчитывала на мою невинность, простосердечіе, даже на чувствительность; а съ другой стороны, полагала, что я, если бъ даже и рѣшился передать письмо, напримѣръ, Катеринѣ Николаевнѣ, то не иначе, какъ при особыхъ какихъ-нибудь обстоятельствахъ, и вотъ эти-то обстоятельства она и спѣшила предупредить нечаянностью, наскокомъ, ударомъ.

А, наконецъ, во всемъ этомъ удостовѣрилъ ее

и Ламбертъ. Я уже сказалъ, что положеніе Ламберта въ это время было самое критическое: ему, предателю, изъ всей силы желалось бы сманить меня отъ Анны Андреевны, чтобы, вмѣстѣ съ нимъ, продать документъ Ахмаковой, что онъ находилъ почему-то выгоднѣе. Но такъ какъ и я ни за что не выдавалъ документа до послѣдней минуты, то онъ и рѣшилъ, въ крайнемъ случаѣ, содѣйствовать даже и Аннѣ Андреевнѣ, чтобъ не лишиться всякой выгоды, а потому изъ всѣхъ силъ лѣзъ къ ней съ своими услугами, до самаго послѣдняго часу, и я знаю, что предлагалъ даже достать, если понадобится, и священника... Но Анна Андреевна съ презрительной усмѣшкой попросила его не упоминать объ этомъ. Ламбертъ ей казался ужасно грубымъ и возбуждалъ въ ней полное отвращеніе; но изъ осторожности она все-таки принимала его услуги, которыя состояли, напримѣръ, въ шпіонствѣ. Кстати, не знаю навѣрно даже до сего дня, подкупили они Петра Ипполитовича, моего хозяина, или нѣтъ, и получилъ ли онъ отъ нихъ сколько-нибудь тогда за услуги, или просто пошелъ въ ихъ общество для радостей интриги; но только и онъ былъ за мной шпіономъ, и жена его — это я знаю навѣрно.

Читатель пойметъ теперь, что я, хоть и былъ отчасти предувѣдомленъ, но ужъ никакъ не могъ угадать, что завтра или послѣзавтра найду стараго князя у себя на квартирѣ и въ такой обстановкѣ. Да и не могъ бы я никакъ вообразить такой дерзости отъ Анны Андреевны! На словахъ можно было говорить и намекать объ чемъ угодно, но рѣшиться, приступить и въ самомъ дѣлѣ исполнить — нѣтъ, это я вамъ скажу, характеръ!

II.

Продолжаю.

Проснулся я на утро поздно, а спалъ необыкновенно крѣпко и безъ сновъ, о чемъ припоминаю съ удивленіемъ, такъ что, проснувшись, почувствовалъ себя опять необыкновенно бодрымъ нравственно, точно и не было всего вчерашняго дня. Къ мамѣ я положилъ не заѣзжать, а прямо отправиться въ кладбищенскую церковь, съ тѣмъ, чтобы потомъ, послѣ церемоніи, возвратясь въ мамину квартиру, не отходить уже отъ нея во весь день. Я твердо былъ увѣренъ, что, во всякомъ случаѣ, встрѣчу его сегодня у мамы, рано ли, поздно ли — но непремѣнно.

Ни Альфонсинки, ни хозяина уже давно не было дома. Хозяйку я ни о чемъ не хотѣлъ разспрашивать, да и вообще положилъ прекратить съ ними всякія сношенія и даже съѣхать какъ можно скорѣй съ квартиры; а потому, только что принесли мнѣ кофей, я заперся опять на крючокъ. Но вдругъ постучали въ мою дверь; къ удивленію моему, оказался Тришатовъ.

Я тотчасъ отворилъ ему и, обрадовавшись, просилъ войти, но онъ не хотѣлъ войти.

— Я только два слова съ порогу . . . или ужъ войти, потому что, кажется, здѣсь надо говорить шепотомъ; только я у васъ не сяду. Вы смотрите на мое скверное пальто: это — Ламбертъ отобралъ шубу.

Въ самомъ дѣлѣ, онъ былъ въ дрянномъ, старомъ и не по росту длинномъ пальто. Онъ стоялъ передо мной какой-то сумрачный и грустный, руки въ карманахъ и не снимая шляпы.

— Я не сяду, я не сяду. Слушайте, Долгорукій, я не знаю ничего подробно, но знаю, что Ламберъ готовитъ противъ васъ какое-то предательство, близкое и неминуемое — и это навѣрно. А потому берегитесь. Мнѣ проговорился рябой — помните рябого? Но ничего не сказалъ въ чемъ дѣло, такъ болѣе я ничего не могу сказать. Я только пришелъ предувѣдомить — прощайте.

— Сядьте же, милый Тришатовъ! Я хоть и спѣшу, но я такъ радъ вамъ... — вскричалъ было я.

— Не сяду, не сяду; а то, что вы рады мнѣ, буду помнить. Э, Долгорукій, что другихъ обманывать: я сознательно, своей волей согласился на всякую скверность и на такую низость, что стыдно и произнести у васъ. Мы теперь у рябого... Прощайте. Я не стою, чтобъ сѣсть у васъ.

— Полноте, Тришатовъ, милый.

— Нѣтъ, видите, Долгорукій: я передъ всѣми дерзокъ и начну теперь кутить. Мнѣ скоро сошьютъ шубу еще лучше, и я буду на рысакахъ ѣздить. Но я буду знать про себя, что я все-таки у васъ не сѣлъ, потому что самъ себя такъ осудилъ, потому что передъ вами низокъ. Это все-таки мнѣ будетъ пріятно припомнить, когда я буду безчестно кутить. Прощайте, ну, прощайте. И руки вамъ не даю; вѣдь Альфонсинка же не беретъ моей руки. И, пожалуйста, не догоняйте меня, да и ко мнѣ не ходите; у насъ контрактъ.

Странный мальчикъ повернулся и вышелъ. Мнѣ только было некогда, но я положилъ непремѣнно разыскать его въ скорости, только что улажу наши дѣла.

Затѣмъ не стану описывать всего этого утра,

хотя и много бы можно было припомнить. Версилова въ церкви на похоронахъ не было, да, кажется, по ихъ виду, можно было еще до выноса заключить, что въ церковь его и не ждали. Мама благоговѣйно молилась и, повидимому, вся отдалась молитвѣ. У гроба были только Татьяна Павловна и Лиза. Но ничего, ничего не описываю. Послѣ погребенія всѣ воротились, и сѣли за столъ, и опять таки по виду ихъ я заключилъ, что и къ столу его, вѣроятно, не ждали. Когда встали изъ-за стола, я подошелъ къ мамѣ, горячо обнялъ ее и поздравилъ съ днемъ ея рожденія; за мной сдѣлала то же самое Лиза.

— Слушай, братъ, — шепнула мнѣ украдкой Лиза, — онѣ его ждутъ.

— Угадываю, Лиза, вижу.

— Онъ навѣрно придетъ.

Значитъ, имѣютъ точныя свѣдѣнія, подумалъ я, но не разспрашивалъ. Хоть не описываю чувствъ моихъ, но вся эта загадка, несмотря на всю бодрость мою, вдругъ опять навалилась камнемъ на мое сердце. Мы всѣ усѣлись въ гостиной за круглымъ столомъ вокругъ мамы. О, какъ мнѣ нравилось тогда быть съ нею и смотрѣть на нее! Мама вдругъ попросила, чтобы я прочелъ что-нибудь изъ Евангелія. Я прочелъ главу отъ Луки. Она не плакала и даже была не очень печальна, но никогда лицо ея не казалось мнѣ столь осмысленнымъ духовно. Въ тихомъ взглядѣ ея свѣтилась идея, но никакъ я не могъ замѣтить, чтобъ она чего-нибудь ждала въ тревогѣ. Разговоръ не умолкалъ; стали многое припоминать о покойномъ, много разсказывала о немъ и Татьяна Павловна, чего я совершенно не зналъ прежде. И вообще, если бъ записать, то

нашлось бы много любопытнаго. Даже Татьяна Павловна совсѣмъ какъ бы измѣнила свой обычный видъ: была очень тиха, очень ласкова, а, главное, тоже очень спокойна, хотя и много говорила, чтобы развлечь маму. Но одну подробность я слишкомъ запомнилъ: мама сидѣла на диванѣ, а влѣво отъ дивана, на особомъ кругломъ столикѣ, лежалъ какъ бы приготовленный къ чему-то образъ — древняя икона безъ ризы, но лишь съ вѣнчиками на главахъ святыхъ, которыхъ изображено было двое. Образъ этотъ принадлежалъ Макару Ивановичу — объ этомъ я зналъ и зналъ тоже, что покойникъ никогда не разставался съ этою иконою и считалъ ее чудотворною. Татьяна Павловна нѣсколько разъ на нее взглядывала.

— Слушай, Софья, — сказала она вдругъ, перемѣняя разговоръ, — чѣмъ иконѣ лежать — не поставить ли ее на столѣ же, прислоня къ стѣнѣ, и не зажечь ли предъ ней лампадку?

— Нѣтъ, лучше такъ, какъ теперь, — сказала мама.

— А и впрямь. А то много торжества покажется . . .

Я тогда ничего не понялъ, но дѣло состояло въ томъ, что этотъ образъ давно уже завѣщанъ былъ Макаромъ Ивановичемъ, на словахъ, Андрею Петровичу, и мама готовилась теперь передать его.

Было уже пять часовъ пополудни; нашъ разговоръ продолжался, и вдругъ я замѣтилъ въ лицѣ мамы какъ бы содроганіе; она быстро выпрямилась и стала прислушиваться, тогда какъ говорившая въ то время Татьяна Павловна продолжала говорить, ничего не замѣчая. Я тотчасъ обернулся къ двери и, мигъ спустя, увидѣлъ въ дверяхъ Андрея Петро-

вича. Онъ прошелъ не съ крыльца, а съ черной лѣстницы, черезъ кухню и коридоръ, и одна мама изъ всѣхъ насъ заслышала шаги его. Теперь опишу всю послѣдовавшую безумную сцену, жестъ за жестомъ, слово за словомъ; она была коротка.

Во-первыхъ, въ лицѣ его я, съ перваго взгляда, по крайней мѣрѣ, не замѣтилъ ни малѣйшей перемѣны. Одѣтъ онъ былъ, какъ всегда, то есть, почти щеголевато. Въ рукахъ его былъ небольшой, но дорогой букетъ свѣжихъ цвѣтовъ. Онъ подошелъ и съ улыбкой подалъ его мамѣ; та было посмотрѣла съ пугливымъ недоумѣніемъ, но приняла букетъ, и вдругъ краска слегка оживила ея блѣдныя щеки, а въ глазахъ сверкнула радость.

— Я такъ и зналъ, что ты такъ примешь, Соня, — проговорилъ онъ. Такъ какъ мы всѣ встали при входѣ его, то онъ, подойдя къ столу, взялъ кресло Лизы, стоявшее слѣва подлѣ мамы, и, не замѣчая, что занимаетъ чужое мѣсто, сѣлъ на него. Такимъ образомъ, прямо очутился подлѣ столика, на которомъ лежалъ образъ.

— Здравствуйте всѣ. Соня, я непремѣнно хотѣлъ принести тебѣ сегодня этотъ букетъ, въ день твоего рожденія, а потому и не явился на погребеніе, чтобъ не придти къ мертвому съ букетомъ; да ты и сама меня не ждала къ погребенію, я знаю. Старикъ вѣрно не сердится на эти цвѣты, потому что самъ же завѣщалъ намъ радость, не правда ли? Я думаю, онъ здѣсь гдѣ-нибудь въ комнатѣ.

Мама странно поглядѣла на него; Татьяну Павловну какъ будто передернуло.

— Кто это здѣсь въ комнатѣ? — спросила она.

— Покойникъ. Оставимъ. Вы знаете, что не-

вполнѣ вѣрующій человѣкъ во всѣ эти чудеса всегда наиболѣе склоненъ къ предразсудкамъ... Но я лучше буду про букетъ: какъ я его донесъ — не понимаю. Мнѣ раза три дорогой хотѣлось бросить его на снѣгъ и растоптать ногой.

Мама вздрогнула.

— Ужасно хотѣлось. Пожалѣй меня, Соня, и мою бѣдную голову. А хотѣлось потому, что слишкомъ красивъ. Что̀ красивѣе цвѣтка на свѣтѣ изъ предметовъ? Я его несу, а тутъ снѣгъ и морозъ. Нашъ морозъ и цвѣты — какая противоположность! Я, впрочемъ, не про то: просто хотѣлось измять его, потому что хорошъ. Соня, я хоть и исчезну теперь опять, но я очень скоро возвращусь, потому что, кажется, забоюсь. Забоюсь — такъ кто же будетъ лѣчить меня отъ испуга, гдѣ же взять ангела, какъ Соню?.. Что это у васъ за образъ? А, покойниковъ, помню. Онъ у него родовой, дѣдовскій; онъ весь вѣкъ съ нимъ не разставался; знаю, помню, онъ мнѣ его завѣщалъ; очень припоминаю... и, кажется, раскольничій... дайте-ка взглянуть.

Онъ взялъ икону въ руки, поднесъ къ свѣчѣ и пристально оглядѣлъ ее, но, продержавъ лишь нѣсколько секундъ, положилъ на столъ уже передъ собою. Я дивился, но всѣ эти странныя рѣчи его произнесены были такъ внезапно, что я не могъ еще ничего осмыслить. Помню только, что болѣзненный испугъ проникалъ въ мое сердце. Испугъ мамы переходилъ въ недоумѣніе и состраданіе; она, прежде всего, видѣла въ немъ лишь несчастнаго; случалось же, что и прежде онъ говорилъ иногда почти такъ же странно, какъ и теперь. Лиза стала вдругъ очень почему-то блѣдна и странно кивнула

мнѣ на него головой. Но болѣе всѣхъ испугана была Татьяна Павловна.

— Да что съ вами, голубчикъ Андрей Петровичъ? — выговорила она осторожно.

— Право, не знаю, милая Татьяна Павловна, что со мной. Не безпокойтесь, я еще помню, что вы — Татьяна Павловна и что вы — милая. Я, однако, зашелъ лишь на минуту; я хотѣлъ бы сказать Сонѣ что-нибудь хорошее и ищу такого слова, хотя сердце полно словъ, которыхъ не умѣю высказать; право, все такихъ какихъ-то странныхъ словъ. Знаете, мнѣ кажется, что я весь точно раздваиваюсь, — оглядѣлъ онъ насъ всѣхъ съ ужасно серьезнымъ лицомъ и съ самою искреннею сообщительностью. — Право, мыслению раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подлѣ васъ стоитъ вашъ двойникъ; вы сами умны и разумны, а тотъ непремѣнно хочетъ сдѣлать подлѣ васъ какую-нибудь безсмыслицу, и иногда превеселую вещь; и вдругъ вы замѣчаете, что это вы сами хотите сдѣлать эту веселую вещь, и Богъ знаетъ зачѣмъ, то есть какъ-то нехотя хотите, сопротивляясь изъ всѣхъ силъ хотите. Я зналъ, однажды, одного доктора, который на похоронахъ своего отца, въ церкви, вдругъ засвисталъ. Право, я боялся придти сегодня на похороны, потому что мнѣ съ чего-то пришло въ голову непремѣнное убѣжденіе, что я вдругъ засвищу или захохочу, какъ этотъ несчастный докторъ, который довольно нехорошо кончилъ... И, право, не знаю, почему мнѣ все припоминается сегодня этотъ докторъ; до того припоминается, что не отвязаться. Знаешь, Соня, вотъ я взялъ опять образъ (онъ взялъ его и вертѣлъ въ рукахъ), и, знаешь, мнѣ ужасно хочется теперь, вотъ сію се-

кунду, ударить его объ печку, объ этотъ самый уголъ. Я увѣренъ, что онъ разомъ расколется на двѣ половины — ни больше, ни меньше.

Главное, онъ проговорилъ все это безъ всякаго вида притворства или даже какой-нибудь выходки; онъ совсѣмъ просто говорилъ, но это было тѣмъ ужаснѣе; и, кажется, онъ дѣйствительно ужасно чего-то боялся; я вдругъ замѣтилъ, что его руки слегка дрожатъ.

— Андрей Петровичъ! — вскрикнула мама, всплеснувъ руками.

— Оставь, оставь образъ, Андрей Петровичъ, оставь, положи! — вскочила Татьяна Павловна, — раздѣнься и лягъ. Аркадій, за докторомъ!

— Однако . . . однако, какъ вы засуетились? — проговорилъ онъ тихо, обводя насъ всѣхъ пристальнымъ взглядомъ. Затѣмъ, вдругъ положилъ оба локтя на столъ и подперъ голову руками:

— Я васъ пугаю, но вотъ что, друзья мои: потѣшьте меня каплю, сядьте опять и станьте всѣ спокойнѣе — на одну хоть минуту! Соня, я вовсе не объ этомъ пришелъ говорить; я пришелъ что-то сообщить, но совсѣмъ другое. Прощай, Соня, я отправляюсь опять странствовать, какъ уже нѣсколько разъ отъ тебя отправлялся . . . Ну, конечно, когда-нибудь приду къ тебѣ опять — въ этомъ смыслѣ ты неминуема. Къ кому же мнѣ и придти, когда все кончится? Вѣрь, Соня, что я пришелъ къ тебѣ теперь, какъ къ ангелу, а вовсе не какъ къ врагу: какой ты мнѣ врагъ, какой ты мнѣ врагъ! Не подумай, что съ тѣмъ, чтобъ разбить этотъ образъ, потому что, знаешь ли что, Соня, мнѣ все-таки вѣдь хочется разбить . . .

Когда Татьяна Павловна передъ тѣмъ вскрик-

нула: «Оставь образъ!» — то выхватила изъ его рукъ и держала въ своей рукѣ. Вдругъ онъ, съ послѣднимъ словомъ своимъ, стремительно вскочилъ, мгновенно выхватилъ образъ изъ рукъ Татьяны и, свирѣпо размахнувшись, изо всѣхъ силъ ударилъ его объ уголъ изразцовой печки. Образъ раскололся ровно на два куска... Онъ вдругъ обернулся къ намъ, и его лицо вдругъ все покраснѣло, почти побагровѣло, и каждая черточка въ лицѣ его задрожала и заходила:

— Не прими за аллегорію. Соня, я не наслѣдство Макара разбилъ, я только такъ, чтобъ разбить... А все-таки къ тебѣ вернусь, къ послѣднему ангелу! А, впрочемъ, прими хоть и за аллегорію; вѣдь это непремѣнно было такъ!..

И онъ вдругъ поспѣшно вышелъ изъ комнаты, опять черезъ кухню (гдѣ оставалась шуба и шапка). Я не описываю подробно, что сталось съ мамой: смертельно испуганная, она стояла, поднявъ и сложивъ надъ собой руки, и вдругъ закричала ему вслѣдъ:

— Андрей Петровичъ, воротись хоть проститься-то, милый!

— Придетъ, Софья, придетъ! Не безпокойся! — вся дрожа въ ужасномъ припадкѣ злобы, злобы звѣрской, прокричала Татьяна. — Вѣдь слышала, самъ обѣщалъ воротиться! Дай ему, блажнику, еще послѣдній разъ погулять-то. Состарится — кто жъ его тогда, въ самомъ дѣлѣ, безногаго-то, няньчить будетъ, кромѣ тебя, старой няньки? Такъ вѣдь прямо самъ и объявляетъ, не стыдится...

Что до насъ, то Лиза была въ обморокѣ. Я было хотѣлъ бѣжать за нимъ, но бросился къ мамѣ. Я обнялъ ее и держалъ въ своихъ объятіяхъ.

Лукерья прибѣжала со стаканомъ воды для Лизы. Но мама скоро очнулась; она опустилась на диванъ, закрыла лицо руками и заплакала.

— Однако, однако . . . однако, догони-ка его! — закричала вдругъ изо всей силы Татьяна Павловна, какъ бы опомнившись. — Ступай . . . ступай . . . догони, не отставай отъ него ни шагу, ступай, ступай! — отдергивала она меня изо всѣхъ силъ отъ мамы, — ахъ, да побѣгу же я сама!

— Аркаша, ахъ, побѣги за нимъ поскорѣй! — крикнула вдругъ и мама.

Я выбѣжалъ, сломя голову, тоже черезъ кухню и черезъ дворъ, но его уже нигдѣ не было. Вдали по тротуару чернѣлись въ темнотѣ прохожіе; я пустился догонять ихъ и, нагоняя, засматривалъ каждому въ лицо, пробѣгая мимо. Такъ добѣжалъ я до перекрестка.

«На сумасшедшихъ не сердятся, мелькнуло у меня вдругъ въ головѣ, а Татьяна озвѣрѣла на него отъ злости; значитъ, онъ — вовсе не сумасшедшій» . . . О, мнѣ все казалось, что это была *аллегорія* и что ему непремѣнно хотѣлось съ чѣмъ-то покончить, какъ съ этимъ образомъ, и показать это намъ, мамѣ, всѣмъ. Но и «двойникъ» былъ тоже несомнѣнно подлѣ него; въ этомъ не было никакого сомнѣнія . . .

III.

Его, однако, нигдѣ не оказывалось, и не къ нему же было бѣжать; трудно было представить, чтобъ онъ такъ просто отправился домой. Вдругъ одна мысль заблестѣла предо мною, и я стремглавъ бросился къ Аннѣ Андреевнѣ.

Анна Андреевна уже воротилась, и меня тот-

часъ же допустили. Я вошелъ, сдерживая себя по возможности. Не садясь, я прямо разсказалъ ей сейчасъ происшедшую сцену, то есть, именно о «двойникѣ». Никогда не забуду и не прощу ей того жаднаго, но безжалостно спокойнаго и самоувѣреннаго любопытства, съ которымъ она меня выслушала, тоже не садясь.

— Гдѣ онъ? Вы, можетъ быть, знаете? — заключилъ я настойчиво. — Къ вамъ меня вчера посылала Татьяна Павловна . . .

— Я васъ призывала еще вчера. Вчера онъ былъ въ Царскомъ, былъ у меня. А теперь (она взглянула на часы), теперь семь часовъ . . . Значитъ, навѣрно у себя дома.

— Я вижу, что вы все знаете — такъ говорите, говорите! — вскричалъ я.

— Знаю много, но всего не знаю. Конечно, отъ васъ скрывать нечего . . . — обмѣрила она меня страннымъ взглядомъ, улыбаясь и какъ бы соображая. — Вчера утромъ онъ сдѣлалъ Катеринѣ Николаевнѣ, въ отвѣтъ на письмо ея, формальное предложеніе выйти за него замужъ.

— Это — неправда! — вытаращилъ я глаза.

— Письмо прошло черезъ мои руки; я сама ей и отвезла его нераспечатанное. Въ этотъ разъ онъ поступилъ «по-рыцарски» и отъ меня ничего не потаилъ.

— Анна Андреевна, я ничего не понимаю!

— Конечно, трудно понять, но это — въ родѣ игрока, который бросаетъ на столъ послѣдній червонецъ, а въ карманѣ держитъ уже приготовленный револьверъ — вотъ смыслъ его предложенія. Девять изъ десяти шансовъ, что она его предложеніе не приметъ; но на одну десятую шансовъ, стало

быть, онъ все же расчитывалъ и, признаюсь, это очень любопытно, по-моему, впрочемъ... впрочемъ, тутъ могло быть изступленіе, тотъ же «двойникъ», какъ вы сейчасъ такъ хорошо сказали.

— И вы смѣетесь? И развѣ я могу повѣрить, что письмо было передано черезъ васъ? Вѣдь вы — невѣста отца ея? Пощадите меня, Анна Андреевна!

— Онъ просилъ меня пожертвовать своей судьбой его счастью, а, впрочемъ, не просилъ, по-настоящему: это все довольно молчаливо обдѣлалось, я только въ глазахъ его все прочитала. Ахъ, Боже мой, да чего же больше: вѣдь ѣздилъ же онъ въ Кенигсбергъ, къ вашей матушкѣ, проситься у ней жениться на падчерицѣ m-me Ахмаковой? Вѣдь это очень сходно съ тѣмъ, что онъ избралъ меня вчера своимъ уполномоченнымъ и конфидентомъ.

Она была нѣсколько блѣдна. Но ея спокойствіе было только усиленіемъ сарказма. О, я простилъ ей многое въ ту минуту, когда постепенно осмыслилъ дѣло. Съ минуту я обдумывалъ; она молчала и ждала.

— Знаете ли, — усмѣхнулся я вдругъ, — вы передали письмо потому, что для васъ не было никакого риску, потому что браку не бывать, но вѣдь онъ? Она, наконецъ? Разумѣется, она отвернется отъ его предложенія, и тогда... что тогда можетъ случиться? Гдѣ онъ теперь, Анна Андреевна? — вскричалъ я, — тутъ каждая минута дорога, каждую минуту можетъ быть бѣда!

— Онъ у себя дома, я вамъ сказала. Въ своемъ вчерашнемъ письмѣ къ Катеринѣ Николаевнѣ, которое я передала, онъ просилъ у ней, *во всякомъ случаѣ,* свиданія у себя на квартирѣ, сегодня, ровно въ семь часовъ вечера. Та дала обѣщаніе.

— Она къ нему на квартиру? Какъ это можно?

— Почему же? Квартира эта принадлежитъ Дарьѣ Онисимовнѣ: они оба очень могли у ней встрѣтиться, какъ ея гости . . .

— Но она боится его . . . онъ можетъ убить ее!

Анна Андреевна только улыбнулась.

— Катерина Николаевна, несмотря на весь свой страхъ, который я въ ней сама примѣтила, всегда питала, еще съ прежняго времени, нѣкоторое благоговѣніе и удивленіе къ благородству правилъ и къ возвышенности ума Андрея Петровича. На этотъ разъ она довѣрилась ему, чтобы покончить съ нимъ навсегда. Въ письмѣ же своемъ онъ далъ ей самое торжественное, самое рыцарское слово, что опасаться ей нечего . . . Однимъ словомъ, я не помню выраженій письма, но она довѣрилась . . . такъ сказать, для послѣдняго разу . . . и, такъ сказать, отвѣчая самыми геройскими чувствами. Тутъ могла быть нѣкоторая рыцарская борьба съ обѣихъ сторонъ.

— А двойникъ, двойникъ! — воскликнулъ я, — да вѣдь онъ съ ума сошелъ!

— Давая вчера свое слово явиться на свиданіе, Катерина Николаевна, вѣроятно, не предполагала возможности такого случая.

Я вдругъ повернулся и бросился бѣжать . . . Къ нему, къ нимъ, разумѣется! Но изъ залы еще воротился на одну секунду.

— Да вамъ, можетъ быть, того и надо, чтобы онъ убилъ ее! — вскричалъ я и выбѣжалъ изъ дому.

Несмотря на то, что я весь дрожалъ, какъ въ припадкѣ, я вошелъ въ квартиру тихо, черезъ кух-

ню, и шепотомъ попросилъ вызвать ко мнѣ Дарью Онисимовну, но та сама тотчасъ же вышла и молча впилась въ меня ужасно вопросительнымъ взглядомъ.

— Они-съ, ихъ нѣтъ дома-съ.

Но я прямо и точно, быстрымъ шепотомъ изложилъ, что все знаю отъ Анны Андреевны, да и самъ сейчасъ отъ Анны Андреевны.

— Дарья Онисимовна, гдѣ они?

— Они въ залѣ-съ, тамъ же, гдѣ вы сидѣли третьяго дня, за столомъ...

— Дарья Онисимовна, пустите меня туда!

— Какъ это возможно-съ?

— Не туда, а въ комнату рядомъ. Дарья Онисимовна, Анна Андреевна, можетъ, сама того хочетъ. Кабы не хотѣла, не сказала бы мнѣ, что они здѣсь. Они меня не услышатъ... она сама того хочетъ...

— А какъ не хочетъ? — не спускала съ меня впившагося взгляда своего Дарья Онисимовна.

— Дарья Онисимовна, я вашу Олю помню... пропустите меня.

У нея вдругъ затряслись губы и подбородокъ.

— Голубчикъ, вотъ за Олю развѣ... за чувство твое... Не покинь ты Анну Андреевну, голубчикъ! Не покинешь, а? Не покинешь?

— Не покину!

— Дай же мнѣ свое великое слово, что не вбѣжишь къ нимъ и не закричишь, коли я тебя тамъ поставлю?

— Честью моей клянусь, Дарья Онисимовна!

Она взяла меня за сюртукъ, провела въ темную комнату, смежную съ той, гдѣ они сидѣли, подвела чуть слышно по мягкому ковру къ дверямъ, по-

ставила у самыхъ спущенныхъ портьеръ и, поднявъ крошечный уголокъ портьеры, показала мнѣ ихъ обоихъ.

Я остался, она ушла. Разумѣется, остался. Я понималъ, что я подслушиваю, подслушиваю чужую тайну, но я остался. Еще бы не остаться — а двойникъ? Вѣдь ужъ онъ разбилъ въ моихъ глазахъ образъ!

IV.

Они сидѣли другъ противъ друга за тѣмъ же столомъ, за которымъ мы съ нимъ вчера пили вино за его «воскресеніе»; я могъ вполнѣ видѣть ихъ лица. Она была въ простомъ черномъ платьѣ, прекрасная и, повидимому, спокойная, какъ всегда. Говорилъ онъ, а она съ чрезвычайнымъ и предупредительнымъ вниманіемъ его слушала. Можетъ быть, въ ней и видна была нѣкоторая робость. Онъ же былъ страшно возбужденъ. Я пришелъ уже къ начатому разговору, а потому нѣкоторое время ничего не понималъ. Помню, она вдругъ спросила:

— И я была причиною?

— Нѣтъ, это я былъ причиною, — отвѣтилъ онъ, — а вы только безъ вины виноваты. Вы знаете, что бываютъ безъ вины виноватыми? Это — самыя непростительныя вины и всегда почти несутъ наказаніе, — прибавилъ онъ, странно засмѣявшись. — А я и впрямь думалъ минуту, что васъ совсѣмъ забылъ и надъ глупой страстью моей совсѣмъ смѣюсь . . . но вы это знаете. А, однакоже, что̀ мнѣ до того человѣка, за котораго вы выходите? Я сдѣлалъ вамъ вчера предложеніе, простите за это, это — нелѣпость, а, между тѣмъ, замѣнить

ее совсѣмъ нечѣмъ . . . что жъ бы я могъ сдѣлать, кромѣ этой нелѣпости? Я не знаю . . .

Онъ потерянно разсмѣялся при этомъ словѣ, вдругъ поднявъ на нее глаза; до того же времени говорилъ, какъ бы смотря въ сторону. Если бъ я былъ на ея мѣстѣ, я бы испугался этого смѣха, я это почувствовалъ. Онъ вдругъ всталъ со стула:

— Скажите, какъ могли вы согласиться придти сюда? — спросилъ онъ вдругъ, какъ бы вспомнивъ о главномъ, — мое приглашеніе и мое письмо — нелѣпость . . . Постойте, я еще могу угадать, какимъ образомъ вышло, что вы согласились придти, но — зачѣмъ вы пришли — вотъ вопросъ? Неужто вы изъ одного только страху пришли?

— Я чтобъ видѣть васъ пришла, — произнесла она, присматриваясь къ нему съ робкою осторожностью. Оба съ полминуты молчали. Версиловъ опустился опять на стулъ и кроткимъ, но проникнутымъ, почти дрожавшимъ голосомъ началъ:

— Я васъ ужасно давно не видалъ, Катерина Николаевна, такъ давно, что почти ужъ и возможнымъ не считалъ когда-нибудь сидѣть, какъ теперь, подлѣ васъ, вглядываться въ ваше лицо и слушать вашъ голосъ . . . Два года мы не видались, два года не говорили. Говорить-то я съ вами ужъ никогда не думалъ. Ну, пусть, что̀ прошло — то прошло, а что̀ есть — то завтра исчезнетъ, какъ дымъ — пусть это! Я согласенъ, потому что опять-таки этого замѣнить нечѣмъ, но не уходите теперь даромъ, — вдругъ прибавилъ онъ, почти умоляя, — если ужъ подали милостыню — пришли, то не уходите даромъ: отвѣтьте мнѣ на одинъ вопросъ.

— На какой вопросъ?

— Вѣдь мы никогда не увидимся и — что̀ вамъ?

Скажите мнѣ правду разъ навѣкъ, на одинъ вопросъ, который никогда не задаютъ умные люди: любили вы меня хоть когда-нибудь, или я... ошибся?

Онъ вспыхнулъ.

— Любила, — проговорила она.

Такъ я и ждалъ, что она это скажетъ: — о, правдивая, о, искренняя, о, честная!

— А теперь? — продолжалъ онъ.

— Теперь не люблю.

— И смѣетесь?

— Нѣтъ, я потому сейчасъ усмѣхнулась, нечаянно, потому что я такъ и знала, что вы спросите: «А теперь?». А потому улыбнулась... потому что, когда что угадываешь, то всегда усмѣхнешься...

Мнѣ было даже странно; я еще никогда не видалъ ее такою осторожною, даже почти робкою и такъ конфузящеюся. Онъ пожиралъ ее глазами.

— Я знаю, что вы меня не любите... и — совсѣмъ не любите?

— Можетъ быть, совсѣмъ не люблю. Я васъ не люблю, — прибавила она твердо и уже не улыбаясь и не краснѣя. — Да, я любила васъ, но недолго. Я очень скоро васъ тогда разлюбила...

— Я знаю, знаю, вы увидали, что тутъ не то, что̀ вамъ надо, но... что̀ же вамъ надо? Объясните мнѣ это еще разъ...

— Развѣ я это уже когда-нибудь вамъ объясняла? Что̀ мнѣ надо? Да я — самая обыкновенная женщина; я — спокойная женщина, я люблю... я люблю веселыхъ людей.

— Веселыхъ?

— Видите, какъ я даже не умѣю говорить съ вами. Мнѣ кажется, если бъ вы меня могли мень-

ше любить, то я бы васъ тогда полюбила, — опять робко улыбнулась она. Самая полная искренность сверкнула въ ея отвѣтѣ, и неужели она не могла понять, что отвѣтъ ея есть самая окончательная формула ихъ отношеній, все объясняющая и разрѣшающая. О, какъ онъ долженъ былъ понять это! Но онъ смотрѣлъ на нее и странно улыбался.

— Бьорингъ — человѣкъ веселый? — продолжалъ онъ спрашивать.

— Онъ не долженъ васъ безпокоить совсѣмъ,— отвѣтила она съ нѣкоторою поспѣшностью. — Я выхожу за него потому только, что мнѣ за нимъ будетъ всего спокойнѣе. Вся душа моя останется при мнѣ.

— Вы, говорятъ, опять полюбили общество, свѣтъ?

— Не общество. Я знаю, что въ нашемъ обществѣ такой же безпорядокъ, какъ и вездѣ; но снаружи формы еще красивы, такъ что, если жить, чтобъ только проходить мимо, то ужъ лучше тутъ, чѣмъ гдѣ-нибудь.

— Я часто сталъ слышать слово «безпорядокъ»; вы тогда тоже испугались моего безпорядка, веригъ, идей, глупостей?

— Нѣтъ, это было не совсѣмъ то . . .

— Что же? Ради Бога говорите все прямо.

— Ну, я вамъ скажу это прямо, потому что считаю васъ за величайшій умъ . . . Мнѣ всегда казалось въ васъ что-то смѣшное.

Выговоривъ это, она вдругъ вспыхнула, какъ бы сознавъ, что сдѣлала чрезвычайную неосторожность.

— Вотъ за то, что вы мнѣ сказали, я вамъ много могу простить, — странно проговорилъ онъ.

— Я не договорила, — заторопилась она, все краснѣя, — это я смѣшна... ужъ тѣмъ, что говорю съ вами, какъ дура.

— Нѣтъ, вы не смѣшны, а вы — только развратная, свѣтская женщина! — поблѣднѣлъ онъ ужасно. — Я давеча тоже не договорилъ, когда васъ спрашивалъ, зачѣмъ вы пришли. Хотите — договорю? Тутъ существуетъ одно письмо, одинъ документъ, и вы ужасно его боитесь, потому что отецъ вашъ, съ этимъ письмомъ въ рукахъ, можетъ васъ проклясть при жизни и законно лишить наслѣдства въ завѣщаніи. Вы боитесь этого письма и — вы пришли за этимъ письмомъ, — проговорилъ онъ, почти весь дрожа и даже чуть не стуча зубами. Она выслушала его съ тоскливымъ и болѣзненнымъ выраженіемъ лица.

— Я знаю, что вы можете мнѣ сдѣлать множество непріятностей, — проговорила она, какъ бы отмахиваясь отъ его словъ, — но я пришла не столько за тѣмъ, чтобы уговорить васъ меня не преслѣдовать, сколько чтобъ васъ самого видѣть. Я даже очень желала васъ встрѣтить уже давно сама. Но я встрѣтила васъ такого же, какъ и прежде, — вдругъ прибавила она, какъ бы увлеченная особенною и рѣшительною мыслью и даже какимъ-то страннымъ и внезапнымъ чувствомъ.

— А вы надѣялись увидѣть другого? Это — послѣ письма-то моего о вашемъ развратѣ? Скажите, вы шли сюда безъ всякаго страху?

— Я пришла потому, что васъ прежде любила; но, знаете, прошу васъ, не угрожайте мнѣ, пожалуйста, ничѣмъ, пока мы теперь вмѣстѣ, не напоминайте мнѣ дурныхъ моихъ мыслей и чувствъ. Если бъ вы могли заговорить со мной о чемъ-ни-

будь другомъ, я бы очень была рада. Пусть угрозы — потомъ, а теперь бы другое . . . Я, право, пришла, чтобъ васъ минуту видѣть и слышать. Ну, а если не можете, то убейте меня прямо, но только не угрожайте и не терзайтесь передо мною сами,— заключила она, въ странномъ ожиданіи смотря на него, точно и впрямь предполагая, что онъ можетъ убить ее. Онъ всталъ опять со стула и, горячимъ взглядомъ смотря на нее, проговорилъ твердо:

— Вы уйдете отсюда безъ малѣйшаго оскорбленія.

— Ахъ да, ваше честное слово! — улыбнулась она.

— Нѣтъ, не потому только, что дано честное слово въ письмѣ, а потому, что я хочу и буду думать о васъ всю ночь . . .

— Мучить себя?

— Я воображаю васъ, когда я одинъ, всегда. Я только и дѣлаю, что съ вами разговариваю. Я ухожу въ трущобы и берлоги, и, какъ контрастъ, вы сейчасъ являетесь предо мною. Но вы всегда смѣетесь надо мною, какъ и теперь . . . — онъ проговорилъ это какъ бы внѣ себя . . .

— Никогда, никогда не смѣялась я надъ вами! — воскликнула она проникнутымъ голосомъ и какъ бы съ величайшимъ состраданіемъ, изобразившимся на лицѣ ея, — если я пришла, то я изъ всѣхъ силъ старалась дѣлать это такъ, чтобъ вамъ ни за что̀ не было обидно, — прибавила она вдругъ. — Я пришла сюда, чтобъ сказать вамъ, что я почти васъ люблю . . . Простите, я, можетъ, не такъ сказала, — прибавила она торопливо.

Онъ засмѣялся.

— Зачѣмъ вы не умѣете притворяться? За-

чѣмъ вы — такая простушка, зачѣмъ вы — не такая, какъ всѣ... Ну, какъ сказать человѣку, котораго прогоняешь: «почти люблю васъ»?

— Я только не умѣла выразиться, — заторопилась она, — это я не такъ сказала; это потому, что я при васъ всегда стыдилась и не умѣла говорить съ первой нашей встрѣчи. А если я не такъ сказала словами, что «почти васъ люблю», то вѣдь въ мысли это было почти такъ, — вотъ потому я и сказала, хотя и люблю я васъ такою... ну, такою *общею* любовью, которою всѣхъ любишь и въ которой всегда не стыдно признаться...

Онъ, молча, не спуская съ нее своего горячаго взгляда, прислушивался:

— Я, конечно, васъ обижаю, — продолжалъ онъ какъ бы внѣ себя. — Это, въ самомъ дѣлѣ, должно быть то, что̀ называютъ страстью... Я одно знаю, что я при васъ конченъ, безъ васъ тоже. Все равно безъ васъ или при васъ, гдѣ бы вы ни были, вы все при мнѣ. Знаю тоже, что я могу васъ очень ненавидѣть, больше, чѣмъ любить. Впрочемъ, я давно ни объ чемъ не думаю — мнѣ все равно. Мнѣ жаль только, что я полюбилъ такую, какъ вы...

Голосъ его прерывался; онъ продолжалъ, какъ бы задыхаясь.

— Чего вамъ? Вамъ дико, что я такъ говорю? — улыбнулся онъ блѣдною улыбкой. — Я думаю, что, если бъ только это могло васъ прельстить, то я бы простоялъ гдѣ-нибудь тридцать лѣтъ столпникомъ на одной ногѣ... Я вижу, вамъ меня жаль; ваше лицо говоритъ: «я бы полюбила тебя, если бъ могла, но я не могу»... Да? Ничего, у меня нѣтъ гордости. Я готовъ, какъ ни-

щій, принять отъ васъ всякую милостыню — слышите, всякую... У нищаго какая же гордость?

Она встала и подошла къ нему:

— Другъ мой! — проговорила она, прикасаясь рукой къ его плечу и съ невыразимымъ чувствомъ въ лицѣ, — я не могу слышать такихъ словъ! Я буду думать о васъ всю мою жизнь, какъ о драгоцѣннѣйшемъ человѣкѣ, какъ о величайшемъ сердцѣ, какъ о чемъ-то священномъ изъ всего, что̀ могу уважать и любить. Андрей Петровичъ, поймите мои слова: вѣдь за что-нибудь я пришла же теперь, милый, и прежде и теперь милый человѣкъ! Я никогда не забуду, какъ вы потрясли мой умъ при первыхъ нашихъ встрѣчахъ. Разстанемтесь же какъ друзья, и вы будете самою серьезнѣйшею и самою милою моею мыслью во всю мою жизнь!

— «Разстанемтесь и тогда буду любить васъ»; буду любить — только разстанемтесь. Слушайте, — произнесъ онъ, совсѣмъ блѣдный, — подайте мнѣ еще милостыню: не любите меня, не живите со мной, будемъ никогда не видаться; я буду вашъ рабъ — если позовете, и тотчасъ исчезну — если не захотите ни видѣть, ни слышать меня, только... *только не выходите ни за кого замужъ!*

У меня сердце сжалось до боли, когда я услышалъ такія слова. Эта наивно-унизительная просьба была тѣмъ жальче, тѣмъ сильнѣе пронзала сердце, что была такъ обнаженна и невозможна. Да, конечно, онъ просилъ милостыню! Ну, могъ ли онъ думать, что она согласится? Межъ тѣмъ, онъ унижался до просьбы; онъ попробовалъ попросить! Эту послѣднюю степень упадка духа было невыносимо видѣть. Всѣ черты лица ея какъ бы

исказились отъ боли; но, прежде чѣмъ она успѣла сказать слово, онъ вдругъ опомнился.

— Я васъ *истреблю!* — проговорилъ онъ вдругъ страннымъ, искаженнымъ, не своимъ какимъ-то голосомъ.

Но отвѣтила она ему тоже странно, тоже совсѣмъ какимъ-то не своимъ, неожиданнымъ голосомъ.

— Подай я вамъ милостыню, — сказала она вдругъ твердо, — и вы отомстите мнѣ за нее потомъ еще пуще, чѣмъ теперь грозите, потому что никогда не забудете, что стояли передо мною такимъ нищимъ... Не могу я слышать отъ васъ угрозъ! — заключила она почти съ негодованіемъ, чуть не съ вызовомъ посмотрѣвъ на него.

— «Отъ васъ угрозъ», то есть — отъ такого нищаго! Я пошутилъ, — проговорилъ онъ тихо, улыбаясь. — Я вамъ ничего не сдѣлаю, не бойтесь, уходите... и тотъ документъ изъ всѣхъ силъ постараюь прислать—только идите, идите! Я вамъ написалъ глупое письмо, а вы на глупое письмо отозвались и пришли—мы сквитались. Вамъ сюда,—указалъ онъ на дверь (она хотѣла было пройти черезъ ту комнату, въ которой я стоялъ за портьерой).

— Простите меня, если можете, — остановилась она въ дверяхъ.

— Ну что, если мы встрѣтимся когда-нибудь совсѣмъ друзьями и будемъ вспоминать и объ этой сценѣ съ свѣтлымъ смѣхомъ? — проговорилъ онъ вдругъ; но всѣ черты лица его дрожали, какъ у человѣка, одержимаго припадкомъ.

— О, дай Богъ! — вскричала она, сложивъ предъ собою руки, но пугливо всматриваясь въ его лицо и какъ бы угадывая, что онъ хотѣлъ сказать.

— Ступайте. Много въ насъ ума-то въ обоихъ, но вы... О, вы — моего пошиба человѣкъ! Я написалъ сумасшедшее письмо, а вы согласились придти, чтобы сказать, что «почти меня любите». Нѣтъ, мы съ вами — одного безумія люди! Будьте всегда такая безумная, не мѣняйтесь, и мы встрѣтимся друзьями — это я вамъ пророчу, клянусь вамъ!

— И вотъ тогда я васъ полюблю непремѣнно, потому что и теперь это чувствую! — не утерпѣла въ ней женщина и бросила ему съ порога эти послѣднія слова.

Она вышла. Я поспѣшно и неслышно прошелъ въ кухню и, почти не взглянувъ на Дарью Онисимовну, ожидавшую меня, пустился черезъ черную лѣстницу и дворъ на улицу. Но я успѣлъ только увидать, какъ она сѣла въ извозчичью карету, ожидавшую ее у крыльца. Я побѣжалъ по улицѣ.

Глава одинадцатая.

I.

Я прибѣжалъ къ Ламберту. О, какъ ни желалъ бы я придать логическій видъ и отыскать хоть малѣйшій здравый смыслъ въ моихъ поступкахъ въ тотъ вечеръ и во всю ту ночь, но даже и теперь, когда могу уже все сообразить, я никакъ не въ силахъ представить дѣло въ надлежащей и ясной связи. Тутъ было чувство или, лучше сказать, цѣлый хаосъ чувствъ, среди которыхъ я естественно долженъ былъ заблудиться. Правда, тутъ было одно главнѣйшее чувство, меня подавлявшее и надъ всѣмъ командовавшее, но . . . признаваться ли въ немъ? Тѣмъ болѣе, что я не увѣренъ . . .

Вбѣжалъ я къ Ламберту, разумѣется, внѣ себя. Я даже испугалъ было его и Альфонсинку. Я всегда замѣчалъ, что даже самые забулдыжные, самые потерянные французы чрезмѣрно привержены въ своемъ домашнемъ быту къ нѣкотораго рода буржуазному порядку, къ нѣкотораго рода самому прозаическому, обыденно обрядному образу разъ навсегда заведенной жизни. Впрочемъ, Ламбертъ очень скоро понялъ, что нѣчто случилось, и пришелъ въ восторгъ, видя, наконецъ, меня у себя, *обладая,* наконецъ, мною. А онъ объ этомъ толь-

ко и думалъ, день и ночь, эти дни! О, какъ я ему былъ нуженъ! И вотъ, когда уже онъ потерялъ всю надежду, я вдругъ являюсь самъ, да еще въ такомъ безумiи — именно въ томъ видѣ, въ какомъ ему было надо.

— Ламбертъ, вина! — закричалъ я, — давай пить, давай буянить. Альфонсина, гдѣ ваша гитара?

Сцену я не описываю — лишнее. Мы пили, и я все ему разсказалъ, все. Онъ выслушалъ жадно. Я прямо, и самъ первый, предложилъ ему заговоръ, пожаръ. Во-первыхъ, мы должны были зазвать Катерину Николаевну къ намъ письмомъ . . .

— Это можно, — поддакивалъ Ламбертъ, схватывая каждое мое слово.

Во-вторыхъ, для убѣдительности послать въ письмѣ всю копiю съ ея «документа», такъ, чтобы она могла прямо видѣть, что ее не обманываютъ.

— Такъ и должно, такъ и надо! — поддакивалъ Ламбертъ, безпрерывно переглядываясь съ Альфонсинкой.

Въ-третьихъ, зазвать ее долженъ былъ самъ Ламбертъ, отъ себя, въ родѣ какъ бы отъ неизвѣстнаго, пріѣхавшаго изъ Москвы, а я долженъ былъ привезти Версилова.

— И Версилова можно, — поддакивалъ Ламбертъ.

— Должно, а не можно! — вскричалъ я, — необходимо! Для него-то все и дѣлается! — объяснялъ я, прихлебывая изъ стакана глотокъ за глотькомъ. (Мы пили всѣ трое, и, кажется, я одинъ выпилъ всю бутылку шампанскаго, а они только дѣлали видъ.) — М ыбудемъ сидѣть съ Версиловымъ въ другой комнатѣ (Ламбертъ, надо достать дру-

гую комнату!) — и когда вдругъ она согласится на все — и на выкупъ деньгами, и на *другой* выкупъ, потому что онѣ всѣ — подлыя, тогда мы съ Версиловымъ выйдемъ и уличимъ ее въ томъ, какая она подлая, а Версиловъ, увидавъ, какая она мерзкая, разомъ вылѣчится, а ее выгонитъ пинками. Но тутъ надо еще Бьоринга, чтобы и тотъ посмотрѣлъ на нее! — прибавилъ я въ изступленіи.

— Нѣтъ, Бьоринга не надо, — замѣтилъ было Ламбертъ.

— Надо, надо! — завопилъ я опять, — ты ничего не понимаешь, Ламбертъ, потому что ты глупъ! Напротивъ, пусть пойдетъ скандалъ въ высшемъ свѣтѣ — этимъ мы отмстимъ и высшему свѣту, и ей, и пусть она будетъ наказана! Ламбертъ, она дастъ тебѣ вексель . . . Мнѣ денегъ не надо — я на деньги наплюю, а ты нагнешься и подберешь ихъ къ себѣ въ карманъ съ моими плевками, но зато я ее сокрушу!

— Да, да, — все поддакивалъ Ламбертъ, — это ты — такъ... — Онъ все переглядывался съ Альфонсинкой.

— Ламбертъ! Она страшно благоговѣетъ передъ Версиловымъ: я сейчасъ убѣдился, — лепеталъ я ему.

— Это хорошо, что ты все подсмотрѣлъ: я никогда не предполагалъ, что ты — такой шпіонъ и что въ тебѣ столько ума! — Онъ сказалъ это, чтобы ко мнѣ подольститься.

— Врешь, французъ, я — не шпіонъ, но во мнѣ много ума! А знаешь, Ламбертъ, она вѣдь его любитъ! — продолжалъ я, стараясь изъ всѣхъ силъ высказаться. — Но она за него не выйдетъ, потому что Бьорингъ — гвардеецъ, а Версиловъ — все-

го только великодушный человѣкъ и другъ человѣчества, по-ихнему, лицо комическое и — ничего больше! О, она понимаетъ эту страсть и наслаждается ею, кокетничаетъ, завлекаетъ, но не выйдетъ! Это — женщина, это — змѣя! Всякая женщина — змѣя и всякая змѣя — женщина! Его надо излѣчить; съ него надо сорвать пелену: пусть увидитъ, какова она, и излѣчится. Я его приведу къ тебѣ, Ламбертъ!

— Такъ и надо, — все подтверждалъ Ламбертъ, подливая мнѣ каждую минуту.

Главное, онъ такъ и трепеталъ, чтобы чѣмъ-нибудь не разсердить меня, чтобы не противорѣчить мнѣ и чтобы я больше пилъ. Это было такъ грубо и очевидно, что даже я тогда не могъ не замѣтить. Но я и самъ ни за что уже не могъ уйти; я все пилъ и говорилъ, и мнѣ страшно хотѣлось окончательно высказаться. Когда Ламбертъ пошелъ за другою бутылкой, Альфонсинка сыграла на гитарѣ какой-то испанскій мотивъ; я чуть не расплакался.

— Ламбертъ, знаешь ли ты все! — восклицалъ я въ глубокомъ чувствѣ. — Этого человѣка надо непремѣнно спасти, потому что кругомъ его... колдовство. Если бы она вышла за него, онъ бы на утро, послѣ первой ночи, прогналъ бы ее пинками... потому что это бываетъ. Потому что этакая насильственная, дикая любовь дѣйствуетъ какъ припадокъ, какъ мертвая петля, какъ болѣзнь и — чуть достигъ удовлетворенія — тотчасъ же упадетъ пелена и является противоположное чувство — отвращеніе и ненависть, желаніе истребить, раздавить. Знаешь ты исторію Ависаги, Ламбертъ, читалъ ее?

— Нѣтъ, не помню; романъ? — пробормоталъ Ламбертъ.

— О, ты ничего не знаешь, Ламбертъ! Ты страшно, страшно необразованъ... но я плюю. Все равно. О, онъ любитъ маму; онъ цѣловалъ ея портретъ; онъ прогонитъ ту на другое утро, а самъ придетъ къ мамѣ; но уже будетъ поздно, а потому надо спасти теперь...

Подъ конецъ я сталъ горько плакать; но все продолжалъ говорить и ужасно много выпилъ. Характернѣйшая черта состояла въ томъ, что Ламбертъ, во весь вечеръ, ни разу не спросилъ про «документъ», то есть: гдѣ же, дескать, онъ? То есть, чтобы я его показалъ, выложилъ на столъ. Чего бы, кажется, натуральнѣе спросить про это, уговариваясь дѣйствовать? Еще черта: мы только говорили, что надо это сдѣлать, что мы «это» непремѣнно сдѣлаемъ, но о томъ, гдѣ это будетъ, какъ и когда — объ этомъ мы не сказали тоже ни слова! Онъ только мнѣ поддакивалъ да переглядывался съ Альфонсинкой — больше ничего! Конечно, я тогда ничего не могъ сообразить, но я все-таки это запомнилъ.

Кончилъ я тѣмъ, что заснулъ у него на диванѣ, не раздѣваясь. Проспалъ я очень долго и проснулся очень поздно. Вспоминаю, что, пробудясь, я нѣкоторое время лежалъ на диванѣ, какъ ошеломленный, стараясь сообразить и припомнить и притворяясь, что все еще сплю. Но въ комнатѣ Ламберта уже не оказалось: онъ ушелъ. Былъ уже десятый часъ; трещала затопленная печка, точь-въ-точь, какъ тогда, когда я, послѣ той ночи, очутился въ первый разъ у Ламберта. Но за ширмами меня сторожила Альфонсинка: я это тотчасъ замѣ-

тилъ, потому что она раза два выглянула и приглядывалась, но я каждый разъ закрывалъ глаза и дѣлалъ видъ, что все еще сплю. Я дѣлалъ такъ оттого, что былъ придавленъ и что мнѣ надо было осмыслить мое положеніе. Я съ ужасомъ чувствовалъ всю нелѣпость и всю мерзость моей ночной исповѣди Ламберту, моего уговора съ нимъ, моей ошибки, что я прибѣжалъ къ нему! Но, слава Богу, документъ все еще оставался при мнѣ, все такъ же зашитый въ моемъ боковомъ карманѣ; я ощупалъ его рукой — тамъ! Значитъ, стоило только сейчасъ вскочить и убѣжать, а стыдиться потомъ Ламберта нечего было: Ламбертъ того не стоилъ.

Но стыдился я самъ и себя самого! Я самъ былъ судьею себѣ, и — о, Боже, что̀ было въ душѣ моей! Но не стану описывать этого адскаго, нестерпимаго чувства и этого сознанія грязи и мерзости. Но все же я долженъ признаться, потому что, кажется, пришло тому время. Въ запискахъ моихъ это должно быть отмѣчено. Итакъ, пусть же знаютъ, что не для того я хотѣлъ ее опозорить и собирался быть свидѣтелемъ того, какъ она дастъ выкупъ Ламберту (о, низость!) — не для того, чтобы спасти безумнаго Версилова и возвратить его мамѣ, а для того... что, можетъ быть, самъ былъ влюбленъ въ нее, влюбленъ и ревновалъ! Къ кому ревновалъ: къ Бьорингу, къ Версилову? Ко всѣмъ тѣмъ, на которыхъ она на балѣ будетъ смотрѣть и съ которыми будетъ говорить, тогда какъ я буду стоять въ углу, стыдясь самого себя?.. О, безобразіе!

Однимъ словомъ, я не знаю, къ кому я ее ревновалъ; но я чувствовалъ только и убѣдился во вчерашній вечеръ, какъ дважды-два, что она для меня

пропала, что эта женщина меня оттолкнетъ и осмѣетъ за фальшь и за нелѣпость! Она — правдивая и честная, а я — я шпіонъ и съ документами!

Все это я таилъ съ тѣхъ самыхъ поръ въ моемъ сердцѣ, а теперь пришло время и — я подвожу итогъ. Но, опять-таки и въ послѣдній разъ: я, можетъ быть, на цѣлую половину или даже на семьдесятъ пять процентовъ налгалъ на себя! Въ ту ночь я ненавидѣлъ ее, какъ изступленный, а потомъ какъ разбушевавшійся пьяный. Я сказалъ уже, что это былъ хаосъ чувствъ и ощущеній, въ которомъ я самъ ничего разобрать не могъ. Но, все равно, ихъ надо было высказать, потому что хоть часть этихъ чувствъ да была же навѣрно.

Съ неудержимымъ отвращеніемъ и съ неудержимымъ намѣреніемъ все загладить, я вдругъ вскочилъ съ дивана; но только что я вскочилъ, мигомъ выскочила Альфонсинка. Я схватилъ шубу и шапку и велѣлъ ей передать Ламберту, что я вчера бредилъ, что я оклеветалъ женщину, что я нарочно шутилъ, и чтобъ Ламбертъ не смѣлъ больше никогда приходить ко мнѣ... Все это я высказалъ кое-какъ, черезъ пень-колоду, торопясь, по-французски, и, разумѣется, страшно неясно, но, къ удивленію моему, Альфонсинка все поняла ужасно; но, что̀ всего удивительнѣе — даже чему-то какъ бы обрадовалась.

— Oui, oui, — поддакивала она мнѣ, — c'est une honte! Une dame... Oh, vous êtes généreux, vous! Soyez tranquille, je ferai voir raison à Lambert...

Такъ что я даже въ ту минуту долженъ былъ бы стать въ недоумѣніи, видя такой неожиданный переворотъ въ ея чувствахъ, а, стало быть, пожа-

луй, и въ Ламбертовыхъ. Я, однакоже, вышелъ молча; на душѣ моей было смутно и разсуждалъ я плохо. О, потомъ я все обсудилъ, но тогда уже было поздно! О, какая адская вышла тутъ махинація! Остановлюсь здѣсь и объясню ее всю впередъ, такъ какъ иначе читателю было бы невозможно понять.

Дѣло состояло въ томъ, что еще въ первое свиданіе мое съ Ламбертомъ, вотъ тогда, какъ я оттаивалъ у него на квартирѣ, я пробормоталъ ему, какъ дуракъ, что документъ зашитъ у меня въ карманѣ. Тогда я вдругъ на нѣкоторое время заснулъ у него на диванѣ въ углу, и Ламбертъ тогда немедленно ощупалъ мнѣ карманъ и убѣдился, что въ немъ, дѣйствительно, зашита бумажка. Потомъ онъ нѣсколько разъ убѣждался, что бумажка еще тутъ: такъ, напримѣръ, во время нашего обѣда у татаръ, я помню, какъ онъ нарочно нѣсколько разъ обнималъ меня за талію. Понявъ, наконецъ, какой важности эта бумага, онъ составилъ свой совершенно особый планъ, котораго я вовсе и не предполагалъ у него. Я, какъ дуракъ, все время воображалъ, что онъ такъ упорно зоветъ меня къ себѣ единственно, чтобъ склонить меня войти съ нимъ въ компанію и дѣйствовать не иначе, какъ вмѣстѣ. Но, увы! онъ звалъ меня совсѣмъ для другого! Онъ звалъ меня, чтобъ опоить меня замертво, и когда я растянусь безъ чувствъ и захраплю, то взрѣзать мой карманъ и овладѣть документомъ. Точь-въ-точь такимъ образомъ они съ Альфонсинкой въ ту ночь и поступили; Альфонсинка и взрѣзывала карманъ. Доставъ письмо, *ея письмо,* мой московскій документъ, они взяли такого же размѣра простую почтовую бумажку и положили въ надрѣзанное мѣсто кармана и зашили снова, какъ ни

въ чемъ не бывало, такъ что я ничего не могъ замѣтить. Альфонсинка же и зашивала. А я-то, я-то до самаго почти конца, еще цѣлыхъ полтора дня — я все еще продолжалъ думать, что я — обладатель тайны и что участь Катерины Николаевны все еще въ моихъ рукахъ.

Послѣднее слово: эта кража документа была всему причиною, всѣмъ остальнымъ несчастьямъ!

II.

Наступили послѣднія сутки моихъ записокъ и я — на концѣ конца!

Было, я думаю, около половины одиннадцатаго, когда я, возбужденный и, сколько помню, какъ-то странно разсѣянный, но съ окончательнымъ рѣшеніемъ въ сердцѣ, добрелъ до своей квартиры. Я не торопился, я зналъ уже какъ поступлю. И вдругъ, едва только я вступилъ въ нашъ коридоръ, какъ тотчасъ же понялъ, что стряслась новая бѣда и произошло необыкновенное усложненіе дѣла: старый князь, только что привезенный изъ Царскаго Села, находился въ нашей квартирѣ, а при немъ была Анна Андреевна!

Они помѣстили его не въ моей комнатѣ, а въ двухъ хозяйскихъ, рядомъ съ моей. Еще наканунѣ, какъ оказалось, произведены были въ этихъ комнатахъ нѣкоторыя измѣненія и украшенія, впрочемъ, самыя легкія. Хозяинъ перешелъ съ своей женой въ каморку капризнаго рябого жильца, о которомъ я уже упоминалъ прежде, а рябой жилецъ былъ на это время конфискованъ — ужъ не знаю куда.

Меня встрѣтилъ хозяинъ, тотчасъ же шмыгнув-

шій въ мою комнату. Онъ смотрѣлъ не такъ рѣшительно, какъ вчера, но былъ въ необыкновенно возбужденномъ состояніи, такъ сказать, на высотѣ событія. Я ничего не сказалъ ему, но, отойдя въ уголъ и взявшись за голову руками, такъ простоялъ съ минуту. Онъ сначала подумалъ было, что я «представляюсь», но подъ конецъ не вытерпѣлъ и испугался:

— Развѣ что не такъ? — пробормоталъ онъ,— я вотъ ждалъ васъ спросить, — прибавилъ онъ, видя, что я не отвѣчаю, — не прикажете ли растворить вотъ эту самую дверь, для прямого сообщенія съ княжескими покоями... чѣмъ черезъ коридоръ? — Онъ указывалъ боковую, всегда запертую дверь, сообщавшуюся съ его хозяйскими комнатами, а теперь, стало быть, съ помѣщеніями князя.

— Вотъ что, Петръ Ипполитовичъ, — обратился я къ нему съ строгимъ видомъ, — прошу васъ покорнѣйше пойти и пригласить сейчасъ сюда ко мнѣ Анну Андреевну для переговоровъ. Давно они здѣсь?

— Да уже почти что часъ будетъ.

— Такъ сходите.

Онъ сходилъ и принесъ отвѣтъ странный, что Анна Андреевна и князь Николай Ивановичъ съ нетерпѣніемъ ожидаютъ меня къ себѣ; Анна Андреевна, значитъ, не захотѣла пожаловать. Я оправилъ и почистилъ мой смявшійся за ночь сюртукъ, умылся, причесался, все это не торопясь, и, понимая, какъ надобно быть осторожнымъ, отправился къ старику.

Князь сидѣлъ на диванѣ за круглымъ столомъ, а Анна Андреевна, въ другомъ углу, у другого накрытаго скатертью стола, на которомъ кипѣлъ вы-

чищенный какъ никогда хозяйскій самоваръ, приготовляла ему чай. Я вошелъ съ тѣмъ же строгимъ видомъ въ лицѣ, и старичекъ, мигомъ замѣтивъ это, такъ и вздрогнулъ, и улыбка быстро смѣнилась въ лицѣ его рѣшительно испугомъ, но я тотчасъ же не выдержалъ, засмѣялся и протянулъ ему руки; бѣдный такъ и бросился въ мои объятія.

Безъ сомнѣнія, я тотчасъ же понялъ, съ кѣмъ имѣю дѣло. Во-первыхъ, мнѣ стало ясно, какъ дважды-два, что изъ старика, даже почти еще бодраго и все-таки хоть сколько-нибудь разумнаго и хоть съ какимъ-нибудь да характеромъ, они, за это время, пока мы съ нимъ не видѣлись, сдѣлали какую-то мумію, какого-то ребенка, пугливаго и недовѣрчиваго. Прибавлю: онъ совершенно зналъ, зачѣмъ его сюда привезли, и все случилось точно такъ, какъ я объяснилъ выше, забѣгая впередъ. Его прямо вдругъ поразили, разбили, раздавили извѣстіемъ о предательствѣ его дочери и о сумасшедшемъ домѣ. Онъ далъ себя увезти, едва сознавая отъ страха, что̀ дѣлаетъ. Ему сказали, что я — обладатель тайны и что у меня ключъ къ окончательному рѣшенію. Скажу впередъ: вотъ этого-то окончательнаго рѣшенія и ключа онъ испугался пуще всего на свѣтѣ. Онъ ждалъ, что я такъ и войду къ нему съ какимъ-то приговоромъ на лбу и съ бумагой въ рукахъ, и страшно былъ радъ, что я покамѣстъ готовъ смѣяться и болтать совсѣмъ о другомъ. Когда мы обнялись, онъ заплакалъ. Признаюсь, капельку заплакалъ и я; но мнѣ вдругъ стало его очень жалко... Маленькая Альфонсинкина собаченка заливалась тоненькимъ, какъ колокольчикъ, лаемъ и рвалась на меня съ дивана. Съ этой крошечной собачкой онъ уже не разста-

вался съ тѣхъ поръ, какъ пріобрѣлъ ее, даже спалъ вмѣстѣ съ нею.

— Oh, je disais qu'il a du coeur! — воскликнулъ онъ, указывая на меня Аннѣ Андреевнѣ.

— Но какъ же вы поздоровѣли, князь, какой у васъ прекрасный, свѣжій, здоровый видъ! — замѣтилъ я. Увы! Все было наоборотъ: это была мумія, а я такъ только сказалъ, чтобъ его ободрить.

— N'est-ce pas, n'est-ce pas? — радостно повторилъ онъ. — О, я удивительно поправился здоровьемъ.

— Однако, кушайте вашъ чай, и если дадите и мнѣ чашку, то и я выпью съ вами.

— И чудесно! «Будемъ пить и наслаждаться»... или какъ это тамъ, есть такіе стихи. Анна Андреевна, дайте ему чаю; il prend toujours par les sentiments . . . дайте намъ чаю, милая.

Анна Андреевна подала чаю, но вдругъ обратилась ко мнѣ и начала съ чрезвычайною торжественностью:

— Аркадій Макаровичъ, мы оба, я и благодѣтель мой, князь Николай Ивановичъ, пріютились у васъ. Я считаю, что мы пріѣхали къ вамъ, къ вамъ одному, и оба просимъ у васъ убѣжища. Вспомните, что почти вся судьба этого святого, этого благороднѣйшаго и обиженнаго человѣка въ рукахъ вашихъ . . . Мы ждемъ рѣшенія отъ вашего правдиваго сердца!

Но она не могла докончить; князь пришелъ въ ужасъ и почти задрожалъ отъ испуга:

— Après, après, n'est-ce pas? Chère amie! — повторялъ онъ, подымая къ ней руки.

Не могу выразить, какъ непріятно подѣйствова-

ла и на меня ея выходка. Я ничего не отвѣтилъ и удовольствовался лишь холоднымъ и важнымъ поклономъ; затѣмъ сѣлъ за столъ и даже нарочно заговорилъ о другомъ, о какихъ-то глупостяхъ, началъ смѣяться и острить... Старикъ былъ видимо мнѣ благодаренъ и восторженно развеселился. Но его веселье, хотя и восторженное, видимо было какое-то непрочное и моментально могло смѣниться совршеннымъ упадкомъ духа; это было ясно съ перваго взгляда.

— Cher enfant, я слышалъ, ты былъ боленъ... Ахъ, pardon! Ты, я слышалъ, все время занимался спиритизмомъ?

— И не думалъ, — улыбнулся я.

— Нѣтъ? А кто же мнѣ говорилъ про спи-ритизмъ?

— Это вамъ здѣшній чиновникъ, Петръ Ипполитовичъ, давеча говорилъ, — объяснила Анна Андреевна: — онъ — очень веселый человѣкъ и знаетъ множество анекдотовъ; хотите, я позову?

— Oui, oui, il est charmant... знаетъ анекдоты, но лучше позовемъ потомъ. Мы позовемъ его, и онъ намъ все разскажетъ; mais après. Представь, давеча столъ накрываютъ, а онъ и говоритъ: не безпокойтесь, не улетитъ, мы — не спириты. Неужто у спиритовъ столы летаютъ?

— Право, не знаю; говорятъ, подымаются на всѣхъ ножкахъ.

— Mais c'est terrible ce que tu dis, — поглядѣлъ онъ на меня испуганно.

— О, не безпокойтесь, это вѣдь — вздоръ.

— Я и самъ говорю. Настасья Степановна Саломеева... ты вѣдь знаешь ее... ахъ, да, ты не знаешь ея — ... представь себѣ, она тоже вѣритъ

въ спиритизмъ и, представьте себѣ, chère efant, — повернулся онъ къ Аннѣ Андреевнѣ, — я ей и говорю: въ министерствахъ вѣдь тоже столы стоятъ и на нихъ по восьми паръ чиновничьихъ рукъ лежатъ, все бумаги пишутъ — такъ отчего же тамъ столы не пляшутъ? Вообрази, вдругъ запляшутъ! Бунтъ столовъ въ министерствѣ финансовъ или народнаго просвѣщенія — этого не доставало?

— Какія вы, попрежнему, милыя вещи говорите, князь, — воскликнулъ я, стараясь искреннѣе разсмѣяться.

— N'est-ce pas? Je ne parle pas trop, mais je dis bien.

— Я приведу Петра Ипполитовича, — встала Анна Андреевна. Удовольствіе засіяло въ лицѣ ея: судя по тому, что я такъ ласковъ къ старику, она обрадовалась. Но лишь только она вышла, вдругъ все лицо старика измѣнилось мгновенно. Онъ торопливо взглянулъ на дверь, оглядѣлся кругомъ и, нагнувшись ко мнѣ съ дивана, зашепталъ мнѣ испуганнымъ голосомъ:

— Cher ami! О, если бъ я могъ видѣть ихъ обѣихъ здѣсь вмѣстѣ! О, cher enfant!

— Князь, успокойтесь . . .

— Да, да, но . . . мы ихъ помиримъ, n'est-ce pas? Тутъ пустая мелкая ссора двухъ достойнѣйшихъ женщинъ, n'est-ce pas? Я только на тебя одного и надѣюсь . . . Мы это здѣсь все приведемъ въ порядокъ; и какая здѣсь странная квартира, — оглядывался онъ почти боязливо; — и, знаешь, этотъ хозяинъ . . . у него такое лицо . . . Скажи, онъ не опасенъ?

— Хозяинъ? О, нѣтъ, чѣмъ же онъ можетъ быть опасенъ?

— C'est ça. Тѣмъ лучше. Il semble qu'il est bête, ce gentilhomme. Cher enfant, ради Христа, не говори Аннѣ Андреевнѣ, что я здѣсь всего боюсь: я все здѣсь похвалилъ съ перваго шагу, и хозяина похвалилъ. Послушай, ты знаешь исторію о фонъ-Зонѣ — помнишь?

— Такъ что̀ же?

— Rien, rien du tout... Mais je suis libre ici, n'est-ce pas? Какъ ты думаешь, здѣсь ничего не можетъ со мной случиться... въ такомъ же родѣ?

— Но увѣряю же васъ, голубчикъ... помилуйте!

— Mon ami! Mon enfant! — воскликнулъ онъ вдругъ, складывая передъ собой руки и уже вполнѣ не скрывая своего испуга, — если у тебя въ самомъ дѣлѣ что̀-то есть... документы... однимъ словомъ — если у тебя есть что̀ мнѣ сказать, то не говори; ради Бога ничего не говори совсѣмъ... какъ можно дольше не говори...

Онъ хотѣлъ броситься обнимать меня; слезы текли по его лицу; не могу выразить, какъ сжалось у меня сердце: бѣдный старикъ былъ похожъ на жалкаго, слабаго, испуганнаго ребенка, котораго выкрали изъ родного гнѣзда какіе-то цыгане и увели къ чужимъ людямъ. Но обняться намъ не дали: отворилась дверь, и вошла Анна Андреевна, но не съ хозяиномъ, а съ братомъ своимъ, камеръ-юнкеромъ. Эта новость ошеломила меня; я всталъ и направился къ двери.

— Аркадій Макаровичъ, позвольте васъ познакомить ,— громко проговорила Анна Андреевна, такъ что я невольно долженъ былъ остановиться.

— Я *слишкомъ* знакомъ уже съ вашимъ братцемъ, — отчеканилъ я, особенно ударяя на слово слишкомъ.

— Ахъ, тутъ ужасная ошибчка! И я такъ вино-ватъ, милый Анд... Андрей Макаровичъ, — началъ мямлить молодой человѣкъ, подходя ко мнѣ съ необыкновенно развязнымъ видомъ и захвативъ мою руку, которую я не въ состояніи былъ отнять: — во всемъ виноватъ мой Степанъ; онъ такъ глупо тогда доложилъ, что я принялъ васъ за другого, — это въ Москвѣ, пояснилъ онъ сестрѣ, — потомъ я стремился къ вамъ изо всей силы, чтобъ разыскать, но заболѣлъ, вотъ спросите ее. Cher prince, nous devons être amis même par droit de naissance...

И дерзкій молодой человѣкъ осмѣлился даже обхватить меня одной рукой за плечо, что было уже верхомъ фамильярности. Я остановился, но, сконфузившись, предпочелъ скорѣе уйти, не сказавъ ни слова. Войдя къ себѣ, я сѣлъ на кровать въ раздумьѣ и въ волненіи. Интрига душила меня, но не могъ же я такъ прямо огорошить и подкосить Анну Андреевну. Я вдругъ почувствовалъ, что и она мнѣ тоже дорога и что положеніе ея ужасно.

III.

Какъ я и ожидалъ того, она сама вошла въ мою комнату, оставивъ князя съ братомъ, который началъ пересказывать князю какія-то свѣтскія сплетни, самыя свѣжія и новоиспеченныя, чѣмъ мигомъ увлекъ и развеселилъ впечатлительнаго старичка. Я молча и съ вопросительнымъ видомъ приподнялся съ кровати.

— Я вамъ сказала все, Аркадій Макаровичъ, — прямо начала она, — наша судьба въ вашихъ рукахъ.

— Но вѣдь и я васъ предупредилъ, что не могу... Самыя святыя обязанности мѣшаютъ мнѣ исполнить то, на что̀ вы расчитываете...

— Да? Это — вашъ отвѣтъ? Ну, пусть я погибну, а старикъ? Какъ вы расчитываете: вѣдь онъ къ вечеру сойдетъ съ ума!

— Нѣтъ, онъ сойдетъ съ ума, если я ему покажу письмо дочери, въ которомъ та совѣтуется съ адвокатомъ о томъ, какъ объявить отца сумасшедшимъ! — воскликнулъ я съ жаромъ. — Вотъ чего онъ не вынесетъ. Знайте, что онъ не вѣритъ письму этому, онъ мнѣ уже говорилъ!

Я прилгнулъ, что онъ мнѣ говорилъ; но это было кстати.

— Говорилъ уже? Такъ я и думала! Въ такомъ случаѣ я погибла; онъ о сю пору ужъ плакалъ и просился домой.

— Сообщите мнѣ, въ чемъ собственно заключается вашъ планъ? — спросилъ я настойчиво. Она покраснѣла, такъ сказать, отъ уязвленной надменности, однако скрѣпилась:

— Съ этимъ письмомъ его дочери въ рукахъ мы оправданы въ глазахъ свѣта. Я тотчасъ же пошлю къ князю В—му и къ Борису Михайловичу Пелищеву, его друзьямъ съ дѣтства; оба — почтенныя вліятельныя въ свѣтѣ лица, и, я знаю это, они уже два года назадъ съ негодованіемъ отнеслись къ нѣкоторымъ поступкамъ его безжалостной и жадной дочери. Они, конечно, помирятъ его съ дочерью, по моей же просьбѣ, и я сама на томъ настою; но зато положеніе дѣлъ совершенно измѣнится. Кромѣ того, тогда и родственники мои, Фанаріотовы, какъ я расчитываю, рѣшатся поддержать мои права. Но для меня, прежде всего, его

счастье; пусть онъ пойметъ, наконецъ, и оцѣнитъ: кто, дѣйствительно, ему преданъ? Безъ сомнѣнія, я всего болѣе расчитываю на ваше вліяніе, Аркадій Макаровичъ: вы такъ его любите... Да кто его и любитъ-то, кромѣ насъ съ вами? Онъ только и говорилъ что̀ объ васъ въ послѣдніе дни; онъ тосковалъ объ васъ, вы — «молодой его другъ»... Само собою, что всю жизнь потомъ благодарность моя не будетъ имѣть границъ...

Это ужъ она сулила мнѣ награду, — денегъ, можетъ быть.

Я рѣзко прервалъ ее:

— Что̀ бы вы ни говорили, я не могу, — произнесъ я съ видомъ непоколебимаго рѣшенія, — я могу только заплатить вамъ такою же искренностью и объяснить вамъ мои послѣднія намѣренія: я передамъ, въ самомъ непродолжительномъ времени, это роковое письмо Катеринѣ Николаевнѣ въ руки, но съ тѣмъ, чтобъ изъ всего, теперь случившагося, не дѣлать скандала и чтобъ она дала заранѣе слово, что не помѣшаетъ вашему счастью. Вотъ все, что̀ я могу сдѣлать.

— Это невозможно! — проговорила она, вся покраснѣвъ. Одна мысль о томъ, что Катерина Николаевна будетъ ее *щадить,* привела ее въ негодованіе.

— Я не перемѣню рѣшенія, Анна Андреевна.

— Можетъ быть, перемѣните.

— Обратитесь къ Ламберту!

— Аркадій Макаровичъ, вы не знаете, какія могутъ выйти несчастья черезъ ваше упрямство, — проговорила она сурово и ожесточенно.

— Несчастья выйдутъ — это навѣрно... у меня кружится голова. Довольно мнѣ съ вами: я рѣшил-

ся — и кончено. Только, ради Бога, прошу васъ — не приводите ко мнѣ вашего брата.

— Но онъ именно желаетъ загладить . . .

— Ничего не надо заглаживать! Не нуждаюсь, не хочу, не хочу! — восклицалъ я, схвативъ себя за голову. (О, можетъ быть, я поступилъ тогда съ нею слишкомъ свысока!) Скажите, однако, гдѣ будетъ ночевать сегодня князь? Неужели здѣсь?

— Онъ будетъ ночевать здѣсь, у васъ и съ вами.

— Къ вечеру же я съѣду на другую квартиру!

И, вслѣдъ за этими безпощадными словами, я схватилъ шапку и сталъ надѣвать шубу. Анна Андреевна молча и сурово наблюдала меня. Мнѣ жаль было, — о, мнѣ жаль было эту гордую дѣвушку! Но я выбѣжалъ изъ квартиры, не оставивъ ей ни слова въ надежду.

IV.

Постараюсь сократить. Рѣшеніе мое было принято неизмѣнно, и я прямо отправился къ Татьянѣ Павловнѣ. Увы! Могло бы быть предупреждено большое несчастье, если бъ я ее засталъ тогда дома; но, какъ нарочно, въ этотъ день меня особенно преслѣдовала неудача. Я, конечно, зашелъ и къ мамѣ, во-первыхъ, чтобъ провѣдать бѣдную маму, а во-вторыхъ, расчитывая почти навѣрно встрѣтить тамъ Татьяну Павловну: но и тамъ ея не было; она только что куда-то ушла, а мама лежала больная, и съ ней оставалась одна Лиза. Лиза попросила меня не входить и не будить мамы: «всю ночь не спала, мучилась; слава Богу, что хоть теперь заснула». Я обнялъ Лизу и сказалъ ей только два слова о томъ, что принялъ огромное и роковое рѣ-

шеніе и сейчасъ его исполню. Она выслушала безъ особаго удивленія, какъ самыя обыкновенныя слова. О, они всѣ привыкли тогда къ моимъ безпрерывнымъ «послѣднимъ рѣшеніямъ» и потомъ малодушнымъ отмѣнамъ ихъ. Но теперь — теперь было дѣло другое! Я зашелъ, однакоже, въ трактиръ на канавѣ и посидѣлъ тамъ, чтобъ выждать и чтобъ ужъ навѣрно застать Татьяну Павловну. Впрочемъ, объясню, зачѣмъ мнѣ такъ вдругъ понадобилась эта женщина. Дѣло въ томъ, что я хотѣлъ ее тотчасъ послать къ Катеринѣ Николаевнѣ, чтобъ попросить ту въ ея квартиру, и при Татьянѣ же Павловнѣ возвратить документъ, объяснивъ все и разъ навсегда... Однимъ словомъ, я хотѣлъ только должнаго; я хотѣлъ оправдать себя разъ навсегда. Порѣшивъ съ этимъ пунктомъ, я непремѣнно и уже настоятельно положилъ замолвить тутъ же нѣсколько словъ въ пользу Анны Андреевны и, если возможно, взявъ Катерину Николаевну и Татьяну Павловну (какъ свидѣтельницу), привезти ихъ ко мнѣ, то есть къ князю, тамъ помирить враждующихъ женщинъ, воскресить князя и... и... однимъ словомъ, по крайней мѣрѣ, тутъ, въ этой кучкѣ, сегодня же сдѣлать всѣхъ счастливыми, такъ что оставались бы лишь одинъ Версиловъ и мама. Я не могъ сомнѣваться въ успѣхѣ: Катерина Николаевна, изъ благодарности за возвращеніе письма, за которое я не спросилъ бы съ нея ничего, не могла мнѣ отказать въ такой просьбѣ. Увы! Я все еще воображалъ, что обладаю документомъ. О, въ какомъ глупомъ и недостойномъ былъ я положеніи, самъ того не вѣдая!

Уже сильно смерклось и было уже около четырехъ часовъ, когда я опять навѣдался къ Татья-

нѣ Павловнѣ. Марья отвѣтила грубо, что «не приходила». Я очень припоминаю теперь странный взглядъ исподлобья Марьи; но, разумѣется, тогда мнѣ еще ничего не могло зайти въ голову. Напротивъ, меня вдругъ кольнула другая мысль: въ досадѣ и въ нѣкоторомъ унынiи спускаясь съ лѣстницы отъ Татьяны Павловны, я вспомнилъ бѣднаго князя, простиравшаго ко мнѣ давеча руки — и я вдругъ больно укорилъ себя за то, что я его бросилъ, можетъ быть, даже изъ личной досады. Я съ безпокойствомъ началъ представлять себѣ, что въ мое отсутствiе могло произойти у нихъ даже что-нибудь очень нехорошее, и поспѣшно направился домой. Дома, однако, произошли лишь слѣдующiя обстоятельства.

Анна Андреевна, выйдя давеча отъ меня во гнѣвѣ, еще не потеряла духа. Надобно передать, что она еще съ утра посылала къ Ламберту, затѣмъ послала къ нему еще разъ и, такъ какъ Ламберта все не оказывалось дома, то послала, наконецъ, своего брата искать его. Бѣдная, видя мое сопротивленiе, возложила на Ламберта и на вліяніе его на меня свою послѣднюю надежду. Она ждала Ламберта съ нетерпѣнiемъ и только дивилась, что онъ, не отходившiй отъ нея и юлившiй около нея до сегодня, вдругъ ее совсѣмъ бросилъ и самъ исчезъ. Увы! Ей и въ голову не могло зайти, что Ламбертъ, обладая теперь документомъ, принялъ уже совсѣмъ другiя рѣшенiя, а потому, конечно, скрывается и даже нарочно отъ нея прячется.

Такимъ образомъ, въ безпокойствѣ и съ возроставшей тревогой въ душѣ, Анна Андреевна почти не въ силахъ была развлекать старика; а, между тѣмъ, безпокойство его возросло до угрожающихъ

размѣровъ. Онъ задавалъ странные и пугливые вопросы, сталъ даже на нее посматривать подозрительно и нѣсколько разъ начиналъ плакать. Молодой Версиловъ просидѣлъ тогда недолго. Послѣ него, Анна Андреевна привела, наконецъ, Петра Ипполитовича, на котораго такъ надѣялась, но этотъ совсѣмъ не понравился, даже произвелъ отвращеніе. Вообще, на Петра Ипполитовича князь почему-то смотрѣлъ все съ болѣе и болѣе возраставшею недовѣрчивостью и подозрительностью. А хозяинъ, какъ нарочно, пустился опять толковать о спиритизмѣ и о какихъ-то фокусахъ, которые будто бы самъ видѣлъ въ представленіи, а именно, какъ одинъ пріѣзжій шарлатанъ, будто бы, при всей публикѣ отрѣзывалъ человѣческія головы, такъ что кровь лилась, и всѣ видѣли, и потомъ приставлялъ ихъ опять къ шеѣ, и что, будто бы, онѣ приростали, тоже при всей публикѣ, и что, будто бы, все это произошло въ пятьдесятъ девятомъ году. Князь такъ испугался, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, пришелъ почему-то въ такое негодованіе, что Анна Андреевна принуждена была немедленно удалить разсказчика. Къ счастью, прибылъ обѣдъ, нарочно заказанный наканунѣ гдѣ-то поблизости (черезъ Ламберта и Альфонсинку) у одного замѣчательнаго француза-повара, жившаго безъ мѣста и искавшаго помѣститься въ аристократическомъ домѣ или въ клубѣ. Обѣдъ съ шампанскимъ чрезвычайно развеселилъ старика; онъ кушалъ много и очень шутилъ. Послѣ обѣда, конечно, отяжелѣлъ, и ему захотѣлось спать, а такъ какъ онъ всегда спалъ послѣ обѣда, то Анна Андреевна и приготовила ему постель. Засыпая, онъ все цѣловалъ у ней руки, говорилъ, что она — его рай, надежда, Гурія, «Зо-

лотой цвѣтокъ» — однимъ словомъ, пустился было въ самыя восточныя выраженія. Наконецъ, заснулъ, и вотъ тутъ-то я и вернулся.

Анна Андреевна торопливо вошла ко мнѣ, сложила передо мной руки и сказала, что «уже не для нея, а для князя, умоляетъ меня не уходить и, когда онъ проснется, пойти къ нему. Безъ васъ онъ погибнетъ, съ нимъ случится нервный ударъ; я боюсь, что онъ не вынесетъ еще до ночи» . . . Она прибавила, что самой ей непремѣнно надо будетъ отлучиться, «можетъ быть, даже на два часа, и что князя, стало быть, она оставляетъ на одного меня». Я съ жаромъ далъ ей слово, что останусь до вечера и что, когда онъ проснется, употреблю всѣ усилія, чтобъ развлечь его.

— А я исполню свой долгъ! — заключила она энергически.

Она ушла. Прибавлю, забѣгая впередъ: она сама поѣхала отыскивать Ламберта; это была послѣдняя надежда ея; сверхъ того, побывала у брата и у родныхъ, Фанаріотовыхъ; понятно, въ какомъ состояніи духа должна была она вернуться.

Князь проснулся, примѣрно, черезъ часъ по ея уходѣ. Я слышалъ черезъ стѣну его стонъ и тотчасъ побѣжалъ къ нему; засталъ же его сидящимъ на кровати, въ халатѣ, но до того испуганнаго уединеніемъ, свѣтомъ одинокой лампы и чужой комнатой, что, когда я вошелъ, онъ вздрогнулъ, привскочилъ и закричалъ. Я бросился къ нему, и когда онъ разглядѣлъ, что это я, то со слезами радости началъ меня обнимать.

— А мнѣ сказали, что ты куда-то переѣхалъ на другую квартиру, испугался и убѣжалъ.

— Кто вамъ могъ сказать это?

— Кто могъ? Видишь, я, можетъ быть, это самъ выдумалъ, а, можетъ быть, кто и сказалъ. Представь, я сейчасъ сонъ видѣлъ: входитъ старикъ съ бородой и съ образомъ, съ расколотымъ надвое образомъ, и вдругъ говоритъ: «Такъ расколется жизнь твоя!»

— Ахъ, Боже мой, вы навѣрно уже слышали отъ кого-нибудь, что Версиловъ разбилъ вчера образъ?

— N'est-ce pas? Слышалъ, слышалъ! Я отъ Дарьи Онисимовны еще давеча утромъ слышалъ. Она сюда перевозила мой чемоданъ и собачку.

— Ну, вотъ и приснилось.

— Ну, все равно; и, представь, этотъ старикъ все мнѣ грозилъ пальцемъ. Гдѣ же Анна Андреевна?

— Она сейчасъ воротится.

— Откуда? Она тоже уѣхала? — болѣзненно воскликнулъ онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, она сейчасъ тутъ будетъ и просила меня у васъ посидѣть.

— Oui, придти. Итакъ, нашъ Андрей Петровичъ съ ума спятилъ, «какъ невзначай и какъ проворно!» Я всегда предрекалъ ему, что онъ этимъ самымъ кончитъ. Другъ мой, постой . . .

Онъ вдругъ схватилъ меня рукой за сюртукъ и притянулъ къ себѣ.

— Хозяинъ давеча, — зашепталъ онъ, — приноситъ вдругъ фотографіи, гадкія женскія фотографіи, все голыхъ женщинъ въ разныхъ восточныхъ видахъ, и начинаетъ вдругъ показывать мнѣ въ стекло... Я, видишь ли, хвалилъ скрѣпя сердце, но такъ вѣдь точно они гадкихъ женщинъ приводили къ тому несчастному, съ тѣмъ, чтобъ потомъ тѣмъ удобнѣе опоить его . . .

— Это вы все о фонъ-Зонѣ, да полноте же, князь! Хозяинъ — дуракъ и ничего больше!

— Дуракъ и ничего больше! C'est mon opinion! Другъ мой, если можешь, то спаси меня отсюдова! — сложилъ онъ вдругъ предо мною руки.

— Князь, все, что̀ только могу! Я весь вашъ . . . Милый князь, подождите, и я,можетъ быть, все улажу!

— N'est-ce pas? Мы возьмемъ да и убѣжимъ, а чемоданъ тутъ оставимъ для виду, такъ что онъ и подумаетъ, что мы воротимся.

— Куда убѣжимъ? А Анна Андреевна?

— Нѣтъ, нѣтъ, вмѣстѣ съ Анной Андреевной... Oh, mon cher, у меня въ головѣ какая-то каша . . . Постой: тамъ, въ сакѣ, направо, портретъ Кати; я сунулъ его давеча потихоньку, чтобъ Анна Андреевна и, особенно, чтобъ Дарья Онисимовна не примѣтили; вынь ради Бога, поскорѣе, поосторожнѣе, смотри, чтобъ насъ не застали . . . Да нельзя ли насадить на дверь крючекъ?

Дѣйствительно, я отыскалъ въ сакѣ фотографическій, въ овальной рамкѣ, портретъ Катерины Николаевны. Онъ взялъ его въ руку, поднесъ къ свѣту, и слезы вдругъ потекли по его желтымъ, худымъ щекамъ:

— C'est un ange, c'est un ange du ciel! — воскликалъ онъ, — всю жизнь я былъ передъ ней виноватъ . . . и вотъ теперь! Chère enfant, я не вѣрю ничему, ничему не вѣрю! Другъ мой, скажи мнѣ: ну, можно ли представить, что меня хотятъ засадить въ сумасшедшій домъ? Je dis des choses charmantes et tout le monde rit . . . и вдругъ этого-то человѣка — везутъ въ сумасшедшій домъ!

— Никогда этого не было! — вскричалъ я. — Это — ошибка. Я знаю ея чувства!

— И ты тоже знаешь ея чувства? Ну, и прекрасно! Другъ мой, ты воскресилъ меня. Что же они мнѣ про тебя наговорили? Другъ мой, позови сюда Катю, и пусть онѣ обѣ при мнѣ поцѣлуются, и я повезу ихъ домой, а хозяина мы прогонимъ!

Онъ всталъ, сложилъ предо мною руки и вдругъ сталъ предо мной на колѣни:

— Cher, — зашепталъ онъ въ какомъ-то безумномъ уже страхѣ, весь дрожа какъ листъ, — другъ мой, скажи мнѣ всю правду: куда меня теперь дѣнутъ?

— Боже! — вскричалъ я, подымая его и сажая на кровать, — да вы и мнѣ, наконецъ, не вѣрите; вы думаете, что и я въ заговорѣ? Да я васъ здѣсь никому тронуть пальцемъ не дамъ!

— C'est ça, не давай, — пролепеталъ онъ, крѣпко ухвативъ меня за локти обѣими руками и продолжая дрожать. — Не давай меня никому! И не лги мнѣ самъ ничего . . . потому что неужто же меня отсюда отвезутъ? Послушай, этотъ хозяинъ, Ипполитъ, или какъ его, онъ . . . не докторъ?

— Какой докторъ?

— Это . . . это — не сумасшедшій домъ, вотъ здѣсь, въ этой комнатѣ?

Но въ это мгновеніе вдругъ отворилась дверь, и вошла Анна Андреевна. Должно быть, она подслушивала у двери и, не вытерпѣвъ, отворила слишкомъ внезапно — и князь, вздрагивавшій при каждомъ скрипѣ, вскрикнулъ и бросился ничкомъ въ подушку. Съ нимъ произошло, наконецъ, что-то въ родѣ припадка, разрѣшившагося рыданіями.

— Вотъ плоды вашего дѣла, — проговорилъ я ей, указывая на старика.

— Нѣтъ, это — плоды вашего дѣла! — рѣзко возвысила она голосъ. — Въ послѣдній разъ обращаюсь къ вамъ, Аркадій Макаровичъ: хотите ли вы обнаружить адскую интригу противъ беззащитнаго старика и пожертвовать «безумными и дѣтскими любовными мечтами вашими», чтобъ спасти *родную* вашу сестру?

— Я спасу васъ всѣхъ, но только такъ, какъ я вамъ сказалъ давеча! Я бѣгу опять и, можетъ быть, черезъ часъ здѣсь будетъ сама Катерина Николаевна! Я всѣхъ примирю, и всѣ будутъ счастливы! — воскликнулъ я почти въ вдохновеніи.

— Приведи, приведи ее сюда, — встрепенулся князь. — Поведите меня къ ней! Я хочу видѣть Катю и благословить ее, — восклицалъ онъ, воздымая руки и порываясь съ постели.

— Видите, — указалъ я на него Аннѣ Андреевнѣ, — слышите, что онъ говоритъ: теперь ужъ, во всякомъ случаѣ, никакой «документъ» вамъ не поможетъ.

— Вижу, но онъ еще помогъ бы оправдать мой поступокъ во мнѣніи свѣта, а теперь — я опозорена! Довольно; совѣсть моя чиста. Я оставлена всѣми, даже роднымъ братомъ моимъ, испугавшимся неуспѣха... Но я исполню свой долгъ и останусь подлѣ этого несчастнаго, его нянькой, сидѣлкой!

Но времени терять было нечего, я выбѣжалъ изъ комнаты.

— Я возвращусь черезъ часъ и возвращусь не одинъ! — прокричалъ я съ порога.

Глава двѣнадцатая.

I.

Наконецъ-то я засталъ Татьяну Павловну! Я разомъ изложилъ ей все — все о документѣ и все, до послѣдней нитки, о томъ, что у насъ теперь на квартирѣ. Хотя она и сама слишкомъ понимала эти событія и могла бы съ двухъ словъ схватить дѣло, однако, изложеніе заняло у насъ, я думаю, минутъ десять. Говорилъ я одинъ, говорилъ всю правду и не стыдился. Она молча и неподвижно, выпрямившись, какъ спица, сидѣла на своемъ стулѣ, сжавъ губы, не спуская съ меня глазъ и слушая изъ всѣхъ силъ. Но когда я кончилъ, вдругъ вскочила со стула и до того стремительно, что вскочилъ и я.

— Ахъ, пащенокъ! Такъ это письмо, въ самомъ дѣлѣ, у тебя было зашито и зашивала дура Марья Ивановна! Ахъ, вы мерзавцы-безобразники! Такъ ты съ тѣмъ, чтобъ покорять сердца, сюда ѣхалъ, высшій свѣтъ побѣждать. Черту Ивановичу отмстить за то, что побочный сынъ, захотѣлъ?

— Татьяна Павловна, — вскричалъ я, — не смѣйте браниться! Можетъ быть, вы-то, съ вашею бранью, съ самаго начала и были причиною моего здѣшняго ожесточенія. Да, я — побочный сынъ и,

можетъ быть, дѣйствительно, хотѣлъ отмстить за то, что побочный сынъ, и дѣйствительно, можетъ быть, какому-то Черту Ивановичу, потому что самъ чертъ тутъ не найдетъ виноватаго; но вспомните, что я отвергъ союзъ съ мерзавцами и побѣдилъ свои страсти! Я молча положу передъ нею документъ и уйду, даже не дождавшись отъ нея слова; вы будете сами свидѣтельницей!

— Давай, давай письмо сейчасъ, клади сейчасъ сюда письмо на столъ! Да ты лжешь, можетъ быть?

— Оно въ моемъ карманѣ зашито; сама Марья Ивановна зашивала; а здѣсь, какъ сшили новый сюртукъ, я вынулъ изъ стараго и самъ перешилъ въ этотъ новый сюртукъ; вотъ оно здѣсь, пощупайте, не лгу-съ!

— Давай его, вынимай его! буянила Татьяна Павловна.

— Ни за что-съ, это повторяю вамъ; я положу его передъ нею при васъ и уйду, не дождавшись единаго слова; но надобно, чтобъ она знала и видѣла своими глазами, что это я, я самъ передаю ей, добровольно, безъ принужденія и безъ награды.

— Опять красоваться? Влюбленъ, пащенокъ?

— Говорите пакости сколько вамъ угодно; пусть я заслужилъ, но я не обижаюсь. О, пусть я покажусь ей мелкимъ мальчишкой, который стерегъ ее и замышлялъ заговоръ; но пусть она сознается, что я покорилъ самого себя, а счастье ея поставилъ выше всего на свѣтѣ! Ничего, Татьяна Павловна, ничего! Я кричу себѣ: куражъ и надежда! Пусть это — первый мой шагъ вступленія на поприще, но зато онъ хорошо кончился, благородно кончился! И что жъ, что я ее люблю, — про-

должалъ я вдохновенно и сверкая глазами, — я не стыжусь этого: мама — ангелъ небесный, а *она* — царица земная! Версиловъ вернется къ мамѣ, а передъ нею мнѣ стыдиться нечего; вѣдь я слышалъ же, что̀ они тамъ съ Версиловымъ говорили, я стоялъ за портьерой... О, мы всѣ трое — «одного безумія люди!» Да вы знаете ли, чье это словечко: «одного безумія люди?» Это — его словечко, Андрей Петровичево! Да знаете ли, что насъ здѣсь, можетъ быть, и больше, чѣмъ трое, одного-то безумія? Да бьюсь же объ закладъ, что и вы, четвертая — этого же безумія человѣкъ! Хотите скажу: бьюсь объ закладъ, что вы сами были влюблены всю жизнь въ Андрея Петровича, а, можетъ быть, и теперь продолжаете...

Повторяю, я былъ въ вдохновеніи и въ какомъ-то счастьѣ, но я не успѣлъ договорить: она вдругъ, какъ-то неестественно быстро схватила меня рукой за волосы и раза два качнула меня изо всей силы книзу... потомъ вдругъ бросила и ушла въ уголъ, стала лицомъ къ углу и закрыла лицо платкомъ:

— Пащенокъ! Не смѣй мнѣ больше этого никогда говорить! — проговорила она, плача.

Это все было такъ неожиданно, что я былъ естественно ошеломленъ. Я стоялъ и смотрѣлъ на нее, не зная еще что̀ сдѣлаю.

— Фу, дуракъ! Поди сюда, поцѣлуй меня, дуру! — проговорила она вдругъ, плача и смѣясь, — и не смѣй, не смѣй никогда мнѣ это повторить... А я тебя люблю и всю жизнь любила... дурака.

Я ее поцѣловалъ. Скажу въ скобкахъ: съ этихъ-то поръ я съ Татьяной Павловной и сталъ другомъ.

— Ахъ, да! Да что жъ это я! — воскликнула она вдругъ, ударяя себя по лбу, — да что ты говоришь: старикъ князь у васъ на квартирѣ? Да правда ли?

— Увѣряю васъ.

— Ахъ, Боже мой! Охъ, тошно мнѣ! — закружилась и заметалась она по комнатѣ, — и они тамъ съ нимъ распоряжаются! Эхъ, грозы-то нѣтъ на дураковъ! И съ самаго съ утра? Ай да Анна Андреевна! Ай да монашенка!! А вѣдь та-то, Милитриса-то, ничего-то вѣдь и не вѣдаетъ!

— Какая Милитриса?

— Да царица-то земная, идеалъ-то! Эхъ, да что жъ теперь дѣлать?

— Татьяна Павловна! — вскричалъ я, опомнившись, — мы говорили глупости, а забыли главное: я именно прибѣжалъ за Катериной Николаевной, и меня всѣ опять тамъ ждутъ.

И я объяснилъ, что я передамъ документъ лишь съ тѣмъ, что она дастъ слово немедленно примириться съ Анной Андреевной и даже согласится на бракъ ея...

— И прекрасно, — перебила Татьяна Павловна, — и я тоже ей сто разъ повторяла. Вѣдь онъ умретъ же до брака-то — все равно не женится, а если деньги оставитъ ей въ завѣщаніи, Аннѣ-то, такъ вѣдь онѣ же и безъ того уже вписаны туда и оставлены...

— Неужели Катеринѣ Николаевнѣ только денегъ жаль?

— Нѣтъ, она все боялась, что документъ у ней, у Анны-то, и я тоже. Мы ее и сторожили. Дочери-то не хотѣлось старика потрясти, а нѣмчуркѣ, Бьорингу, правда, и денегъ жалко было.

— И послѣ этого она можетъ выходить за Бьоринга?

— Да что жъ съ дурой подѣлаешь? Сказано — дура, такъ дура и будетъ вовѣки. Спокойствіе, видишь, какое-то онъ ей доставитъ: «надо вѣдь, говоритъ, за кого-нибудь выходить, такъ за него, будто, всего ей способнѣе будетъ»; а вотъ и увидимъ, какъ тамъ ей будетъ способнѣе. Хватитъ себя потомъ по бокамъ руками, а ужъ поздно будетъ.

— Такъ вы-то чего же допускате? Вѣдь вы любите же ее, вѣдь вы въ глаза же ей говорили, что влюблены въ нее!

— И влюблена, и больше чѣмъ васъ всѣхъ люблю, вмѣстѣ взятыхъ, а все-таки она — дура безсмысленная!

— Да сбѣгайте же за ней теперь, и мы все порѣшимъ и сами повеземъ ее къ отцу.

— Да нельзя, нельзя, дурачекъ! То-то вотъ и есть! Ахъ, что дѣлать! Ахъ, тошно мнѣ! — заметалась она опять, захвативъ, однако, рукою пледъ. — Э-эхъ, кабы ты раньше четырьмя часами пришелъ, а теперь — восьмой, и она еще давеча къ Пелищевымъ обѣдать отправилась, а потомъ съ ними въ оперу.

— Господи, такъ въ оперу нельзя ли сбѣгать... да нѣтъ, нельзя! Такъ что жъ теперь со старикомъ будетъ? Вѣдь онъ, пожалуй, ночью помретъ!

— Слушай, не ходи туда, ступай къ мамѣ, ночуй тамъ, а завтра рано...

— Нѣтъ ни за что старика не оставлю, что бы ни вышло.

— И не оставляй; это — ты хорошо. А я, знаешь... побѣгу-ка я, однако, къ ней и оставлю за-

писку... знаешь, я напишу нашими словами (она пойметъ!), что документъ тутъ, и чтобъ она завтра ровно въ десять часовъ утра была у меня — ровнешенько! Не безпокойся, явится, меня-то ужъ послушается: тутъ все разомъ и сладимъ. А ты бѣги туда и финти предъ старикомъ что есть мочи, уложи его спать, авось вытянетъ до утра-то! Анну тоже не пугай; люблю вѣдь я и ее; ты къ ней несправедливъ, потому что понимать тутъ не можешь: она обижена, она съ дѣтства была обижена; охъ, навалились вы всѣ на меня! Да не забудь, скажи ей отъ меня, что за это дѣло я сама взялась, сама, и отъ всего моего сердца, и чтобъ она была спокойна, и что гордости ея ущербу не будетъ... Вѣдь мы съ ней въ послѣдніе-то дни совсѣмъ разбранились, расплевались — изругались! Ну, бѣги... Да постой, покажи-ка опять карманъ... да правда ли? Охъ, правда ли? Да отдай ты мнѣ это письмо хоть на ночь, чего тебѣ? Оставь, не съѣмъ. Вѣдь, пожалуй, за ночь-то изъ рукъ выпустишь... мнѣнье перемѣнишь?

— Ни за что! — вскрикнулъ я: — на-те, щупайте, смотрите, а ни за что вамъ не оставлю!

— Вижу, что бумажка, — щупала она пальцами. — Э-эхъ, ну, хорошо, ступай, а я къ ней, можетъ, и въ театръ махну, это ты хорошо сказалъ! Да бѣги же бѣги!

— Татьяна Павловна, постойте, что̀ мама?

— Жива.

— А Андрей Петровичъ?

Она махнула рукой.

— Очнется!

Я побѣжалъ ободренный, обнадеженный, хоть удалось и не такъ, какъ я расчитывалъ. Но увы,

судьба опредѣлила иначе, и меня ожидало другое — подлинно, есть фатумъ на свѣтѣ!

II.

Еще съ лѣстницы я заслышалъ въ нашей квартирѣ шумъ, и дверь въ нее оказалась отпертою. Въ коридорѣ стоялъ незнакомый лакей въ ливреѣ. Петръ Ипполитовичъ и жена его, оба чѣмъ-то перепуганные, находились тоже въ коридорѣ и чего-то ждали. Дверь къ князю была отворена, и тамъ раздавался громовой голосъ, который я тотчасъ призналъ — голосъ Бьоринга. Я не успѣлъ еще шагнуть двухъ шаговъ, какъ вдругъ увидалъ, что князя, заплаканнаго, трепещущаго, выводили въ коридоръ Бьорингъ и спутникъ его, баронъ Р. — тотъ самый, который являлся къ Версилову для переговоровъ. Князь рыдалъ въ голосъ, обнималъ и цѣловалъ Бьоринга. Кричалъ же Бьорингъ на Анну Андреевну, которая вышла-было тоже въ коридоръ за княземъ; онъ ей грозилъ и, кажется, топалъ ногами — однимъ словомъ, сказался грубый солдатъ-нѣмецъ, несмотря на весь «свой высшій свѣтъ». Потомъ обнаружилось, что ему почему-то взбрело тогда въ голову, что ужъ Анна Андреевна виновата въ чемъ-то даже уголовномъ, и теперь, несомнѣнно, должна отвѣчать за свой поступокъ даже передъ судомъ. По незнанію дѣла, онъ его преувеличилъ, какъ бываетъ со многими, а потому уже сталъ считать себя въ правѣ быть въ высшей степени безцеремоннымъ. Главное, онъ не успѣлъ еще вникнуть: извѣстили его обо всемъ анонимно, какъ оказалось послѣ (и объ чемъ я упомяну потомъ), и онъ налетѣлъ еще въ томъ состоя-

ніи взбѣсившагося господина, въ которомъ даже и остроумнѣйшіе люди этой національности готовы иногда драться, какъ сапожники. Анна Андреевна встрѣтила весь этотъ наскокъ въ высшей степени съ достоинствомъ, но я не засталъ того. Я видѣлъ только, что, выведя старика въ коридоръ, Бьорингъ вдругъ оставилъ его на рукахъ барона Р. и, стремительно обернувшись къ Аннѣ Андреевнѣ, прокричалъ ей, вѣроятно, отвѣчая на какое-нибудь ея замѣчаніе:

— Вы — интриганка! Вамъ нужны его деньги! Съ этой минуты вы опозорили себя въ обществѣ и будете отвѣчать передъ судомъ...

— Это вы эксплоатируете несчастнаго больного и довели его до безумія... а кричите на меня потому, что я — женщина и меня некому защитить...

— Ахъ, да! Вы — невѣста его, невѣста! — злобно и неистово захохоталъ Бьорингъ.

— Баронъ, баронъ... Chère enfant, je vous aime, — проплакнулъ князь, простирая руки къ Аннѣ Андреевнѣ.

— Идите, князь, идите, противъ васъ былъ заговоръ и, можетъ быть, даже на жизнь вашу! — прокричалъ Бьорингъ.

— Oui, oui, je comprends, j'ai compris au commencement...

— Князь, — возвысила было голосъ Анна Андреевна: — вы меня оскорбляете и допускаете меня оскорблять!

— Прочь!—крикнулъ вдругъ на нее Бьорингъ! Этого я не могъ снести.

— Мерзавецъ! — завопилъ я на него: — Анна Андреевна, я — вашъ защитникъ.

Тутъ я подробно не стану и не могу описывать. Сцена вышла ужасная и низкая, а я вдругъ какъ бы потерялъ разсудокъ. Кажется, я подскочилъ и ударилъ его, по крайней мѣрѣ, сильно толкнулъ. Онъ тоже ударилъ меня изъ всей силы по головѣ, такъ что я упалъ на полъ. Опомнившись, я пустился уже за ними на лѣстницу; помню, что у меня изъ носу текла кровь. У подъѣзда ихъ ждала карета, и, пока князя сажали, я подбѣжалъ къ каретѣ и, несмотря на отталкивавшаго меня лакея, опять бросился на Бьоринга. Тутъ, не помню какъ, очутилась полиція. Бьорингъ схватилъ меня за шиворотъ и грозно велѣлъ городовому отвести меня въ участокъ. Я кричалъ, что и онъ долженъ идти вмѣстѣ, чтобъ вмѣстѣ составить актъ, и что меня не смѣютъ взять почти что съ моей квартиры. Но такъ какъ дѣло было на улицѣ, а не въ квартирѣ, и такъ какъ я кричалъ, бранился и дрался, какъ пьяный, и такъ какъ Бьорингъ былъ въ своемъ мундирѣ, то городовой и взялъ меня. Но тутъ ужъ я пришелъ въ полное изступленіе и, сопротивляясь изъ всѣхъ силъ, кажется, ударилъ и городового. Затѣмъ, помню, ихъ вдругъ явилось двое, и меня повели. Едва помню какъ привели меня въ какую-то дымную, закуренную комнату, со множествомъ разныхъ, разныхъ людей, стоявшихъ и сидѣвшихъ, ждавшихъ и писавшихъ; я продолжалъ и здѣсь кричать, я требовалъ акта. Но дѣло уже состояло не въ одномъ актѣ, а усложнилось буйствомъ и бунтомъ противъ полицейской власти. Да и былъ я въ слишкомъ безобразномъ видѣ. Кто-то вдругъ грозно закричалъ на меня. Городовой, межъ тѣмъ, обвинялъ меня въ дракѣ, разсказалъ о полковникѣ . . .

— Какъ фамилія? — крикнулъ мнѣ кто-то.

— Долгорукій, — проревѣлъ я.

— Князь Долгорукій?

Внѣ себя, я отвѣтилъ какимъ-то сквернымъ ругательствомъ, а затѣмъ... затѣмъ помню, что меня потащили въ какую-то темную каморку, «для вытрезвленія». О, я не протестую. Вся публика прочла еще какъ-то недавно въ газетахъ жалобу какого-то господина, просидѣвшаго всю ночь подъ арестомъ, связаннаго, и тоже въ комнатѣ для вытрезвленія, но тотъ, кажется, былъ даже и не виноватъ, я же былъ виновенъ. Я повалился на нары въ сообществѣ какихъ-то двухъ безчувственно спавшихъ людей. У меня болѣла голова, стучало въ вискахъ, стучало сердце. Должно быть, я обезпамятѣлъ и, кажется, бредилъ. Помню только, что проснулся среди глубокой ночи и присѣлъ на нарахъ. Я разомъ припомнилъ все и все осмыслилъ и, положивъ локти въ колѣни, руками подперевъ голову, погрузился въ глубокое размышленіе.

О! я не стану описывать мои чувства, да и некогда мнѣ, но отмѣчу лишь одно; можетъ быть, никогда не переживалъ я болѣе отрадныхъ мгновеній въ душѣ моей, какъ въ тѣ минуты раздумья среди глубокой ночи, на нарахъ, подъ арестомъ. Это можетъ показаться страннымъ читателю, нѣкоторымъ щелкоперствомъ, желаніемъ блеснуть оригинальностью — и, однакоже, это все было такъ, какъ я говорю. Это была одна изъ тѣхъ минутъ, которыя, можетъ быть, случаются и у каждаго, но приходятъ лишь разъ какой-нибудь въ жизни. Въ такую минуту рѣшаютъ судьбу свою, опредѣляютъ воззрѣніе и говорятъ себѣ разъ на всю жизнь: «Вотъ гдѣ правда, и вотъ куда идти,

чтобъ достать ее». Да, тѣ мгновенія были свѣтомъ души моей. Оскорбленный надменнымъ Бьорингомъ и завтра же надѣясь быть оскорбленнымъ тою великосвѣтскою женщиною, я слишкомъ зналъ, что могу имъ ужасно отмстить, но я рѣшилъ, что не буду мстить. Я рѣшилъ, несмотря на все искушеніе, что не обнаружу документа, не сдѣлаю его извѣстнымъ уже цѣлому свѣту (какъ уже и вертѣлось въ умѣ моемъ); я повторялъ себѣ, что завтра же положу передъ нею это письмо и, если надо, вмѣсто благодарности, вынесу даже насмѣшливую ея улыбку, но все-таки не скажу ни слова и уйду отъ нея навсегда . . . Впрочемъ, нечего распространяться. Обо всемъ же томъ, что произойдетъ со мной завтра здѣсь, какъ меня поставятъ передъ начальствомъ и что со мной сдѣлаютъ — я почти и думать забылъ. Я перекрестился съ любовью, легъ на нары и заснулъ яснымъ, дѣтскимъ сномъ.

Проснулся я поздно, когда уже разсвѣло. Въ комнатѣ я уже былъ одинъ. Я сѣлъ и сталъ молча дожидаться, долго, около часу; должно быть, было уже около девяти часовъ, когда меня вдругъ позвали. Я бы могъ войти въ болѣе глубокія подробности, но не стоитъ, ибо все это теперь постороннее; мнѣ же только бы досказать главное. Отмѣчу лишь, что, къ величайшему моему удивленію, со мной обошлись неожиданно вѣжливо: меня что-то спросили, я имъ что-то отвѣтилъ, и мнѣ тотчасъ же позволили уйти. Я вышелъ молча, и во взглядахъ ихъ съ удовольствіемъ прочелъ даже нѣкоторое удивленіе къ человѣку, умѣвшему даже въ такомъ положеніи не потерять своего достоинства. Если бъ я не замѣтилъ этого, то я бы не

записалъ. У выхода ждала меня Татьяна Павловна. Въ двухъ словахъ объясню, почему это такъ легко мнѣ тогда сошло съ рукъ.

Рано утромъ, еще, можетъ быть, въ семь часовъ, Татьяна Павловна прилетѣла въ мою квартиру, то есть къ Петру Ипполитовичу, все еще надѣясь застать тамъ князя, и вдругъ узнала о всѣхъ вчерашнихъ ужасахъ, а, главное, о томъ, что я былъ арестованъ. Мигомъ бросилась она къ Катеринѣ Николаевнѣ (которая еще вчера, возвратясь изъ театра, свидѣлась съ привезеннымъ къ ней отцомъ ея), разбудила ее, напугала и потребовала, чтобъ меня немедленно освободили. Съ запиской отъ нея, она тотчасъ же полетѣла къ Бьорингу и немедленно вытребовала отъ него другую записку, къ «кому слѣдуетъ», съ убѣдительнѣйшею просьбою самого Бьоринга немедленно освободить меня, «арестованнаго по недоразумѣнію». Съ этой запиской она и прибыла въ участокъ, и просьба ея была уважена.

III.

Затѣмъ, продолжаю о главномъ.

Татьяна Павловна, подхвативъ меня, посадила на извозчика и привезла къ себѣ, немедленно приказала самоваръ и сама отмыла и отчистила меня у себя въ кухнѣ. Въ кухнѣ же громко сказала мнѣ, что въ половинѣ двѣнадцатаго къ ней будетъ сама Катерина Николаевна — какъ еще давеча онѣ условились обѣ — для свиданія со мной. Вотъ тутъ-то и услышала Марья. Черезъ нѣсколько минутъ она подала самоваръ, а еще черезъ двѣ минуты, когда Татьяна Павловна вдругъ ее кликнула, она не отозвалась: оказалось, что она за чѣмъ-то

вышла. Это я прошу очень замѣтить читателя; было же тогда, я полагаю, безъ четверти десять часовъ. Хотя Татьяна Павловна и разсердилась на ея исчезновеніе безъ спросу, но подумала лишь, что она вышла въ лавочку, и тутъ же пока забыла объ этомъ. Да и не до того намъ было; мы говорили безъ умолку, потому что было о чемъ, такъ что я, напримѣръ, на исчезновеніе Марьи совсѣмъ почти и не обратилъ вниманія; прошу читателя и это запомнить.

Само собою, я былъ какъ въ чаду; я излагалъ свои чувства, а главное — мы ждали Катерину Николаевну, и мысль, что черезъ часъ я съ нею, наконецъ, встрѣчусь, и еще въ такое рѣшительное мгновеніе въ моей жизни, приводила меня въ трепетъ и дрожь. Наконецъ, когда я выпилъ двѣ чашки, Татьяна Павловна вдругъ встала, взяла со стола ножницы и сказала:

— Подавай карманъ, надо вынуть письмо — не при ней же взрѣзывать.

— Да! — воскликнулъ я и разстегнулъ сюртукъ.

— Что̀ это у тебя тутъ напутано? Кто зашивалъ?

— Самъ, самъ, Татьяна Павловна.

— Ну и видно, что самъ. Ну, вотъ оно . . .

Письмо вынули; старый пакетъ былъ тотъ же самый, а въ немъ торчала пустая бумажка.

— Это — что жъ? — воскликнула Татьяна Павловна, перевертывая ее . . . — Что съ тобой?

Но я стоялъ уже безъ языка, блѣдный . . . и вдругъ въ безсиліи опустился на стулъ; право, со мной чуть не случился обморокъ.

— Да что̀ тутъ еще! — завопила Татьяна Павловна. — Гдѣ жъ твоя записка?

— Ламбертъ! — вскочилъ я вдругъ, догадавшись и ударивъ себя по лбу!

Торопясь и задыхаясь, я ей все объяснилъ — и ночь у Ламберта, и нашъ тогдашній заговоръ; впрочемъ, я ей еще вчера признался объ этомъ заговорѣ.

— Украли! Украли! — кричалъ я, топоча по полу и схвативъ себя за волосы.

— Бѣда! — рѣшила вдругъ Татьяна Павловна, понявъ въ чемъ дѣло. — Который часъ?

Было около одиннадцати.

— Эхъ, нѣту Марьи!.. Марья, Марья!

— Что вамъ, барыня? — вдругъ отозвалась Марья изъ кухни.

— Ты здѣсь? Да что жъ теперь дѣлать! Полечу я къ ней... Эхъ ты, рохля, рохля!

— А я — къ Ламберту! — завопилъ я — и задушу его, если надо!

— Барыня! — пропищала вдругъ изъ кухни Марья: — тутъ какая-то васъ очень спрашиваетъ...

Но она еще не успѣла договорить, какъ «какая-то» стремительно, съ крикомъ и воплемъ, ворвалась сама изъ кухни. Это была Альфонсинка. Не стану описывать сцены въ полной подробности; сцена была — обманъ и поддѣлка, но должно замѣтить, что сыграла ее Альфонсинка великолѣпно. Съ плачемъ раскаянія и съ неистовыми жестами, она затрещала (по-французски, разумѣется), что письмо она тогда взрѣзала сама, что оно теперь у Ламберта и что Ламбертъ, вмѣстѣ съ «этимъ разбойникомъ», cet homme noir, хотятъ зазвать m-me la générale и застрѣлить ее, сейчасъ, черезъ часъ.. что она узнала все это отъ нихъ и что вдругъ ужасно испугалась, потому что у нихъ

увидѣла пистолетъ, le pistolet, и теперь бросилась сюда къ намъ, чтобъ мы шли, спасли, предупредили... Cet homme noir . . .

Однимъ словомъ все это было чрезвычайно правдоподобно, даже самая глупость нѣкоторыхъ Альфонсинкиныхъ разъясненій усиливала правдоподобіе.

— Какой homme noir? — прокричала Татьяна Павловна.

— Tiens, j'ai oublié son nom . . . Un homme affreux . . . Tiens, Versiloff.

— Версиловъ, быть не можетъ! — завопилъ я.

— Ахъ, нѣтъ, можетъ! — взвизгнула Татьяна Павловна: — да говори ты, матушка, не прыгая, руками-то не махай; что жъ они тамъ хотятъ? Растолкуй, матушка, толкомъ; не повѣрю же я, что они стрѣлять въ нее хотятъ?

«Матушка» растолковала такъ (NB: все была ложь, предупреждаю опять): Versiloff будетъ сидѣть за дверью, а Ламбертъ, какъ она войдетъ, покажетъ ей cette lettre, тутъ Versiloff выскочитъ, и они ее . . . Oh, ils feront leur vengeance! Что она, Альфонсинка, боится бѣды, потому что сама участвовала, а cette dame, la générale непремѣнно пріѣдетъ, «сейчасъ, сейчасъ», потому что они послали ей съ письма копію и та тотчасъ увидитъ, что у нихъ въ самомъ дѣлѣ есть это письмо и поѣдетъ къ нимъ, а написалъ ей письмо одинъ Ламбертъ, а про Версилова она не знаетъ; а Ламбертъ рекомендовался, какъ пріѣхавшій изъ Москвы, отъ одной московской дамы, une dame de Moscou (NB. Марья Ивановна!).

— Ахъ, тошно мнѣ! Ахъ, тошно мнѣ! — восклицала Татьяна Павловна.

— Sauvez la, sauvez la! — кричала Альфонсинка.

Ужъ, конечно, въ этомъ сумасшедшемъ извѣстіи даже съ перваго взгляда заключалось нѣчто несообразное, но обдумывать было некогда, потому что, въ сущности, все было ужасно правдоподобно. Можно еще было предположить, и съ чрезвычайною вѣроятностью, что Катерина Николаевна, получивъ приглашеніе Ламберта, заѣдетъ сначала къ намъ, къ Татьянѣ Павловнѣ, чтобъ разъяснить дѣло; но зато вѣдь этого могло и не случиться, и она прямо могла проѣхать къ нимъ, а ужъ тогда— она пропала! Трудно было тоже повѣрить, чтобъ она такъ и бросилась къ неизвѣстному ей Ламберту по первому зову; но опять и это могло почему-нибудь такъ случиться, напримѣръ, увидя копію и удостовѣрившись, что у нихъ въ самомъ дѣлѣ письмо ея, а тогда — все та же бѣда! Главное, времени у насъ не оставалось ни капли, даже чтобъ разсудить.

— А Версиловъ ее зарѣжетъ! Если онъ унизилъ себя до Ламберта, то онъ ее зарѣжетъ! Тутъ двойникъ! — вскричалъ я.

— Ахъ этотъ «двойникъ»! — ломала руки Татьяна Павловна. — Ну, нечего тутъ, — рѣшилась она вдругъ: — бери шапку, шубу и — вмѣстѣ маршъ! Вези насъ, матушка, прямо къ нимъ. Ахъ, далеко! Марья, Марья, если Катерина Николаевна пріѣдетъ, то скажи, что я сейчасъ буду, и чтобъ сѣла и ждала меня, а если не захочетъ ждать, то запри дверь и не выпускай ее силой. Скажи, что я такъ велѣла! Сто рублей тебѣ, Марья, если сослужишь службу.

Мы выбѣжали на лѣстницу. Безъ сомнѣнія,

лучше нельзя было и придумать, потому что, во всякомъ случаѣ, главная бѣда была въ квартирѣ Ламберта, а если въ самомъ дѣлѣ Катерина Николаевна пріѣхала бы раньше къ Татьянѣ Павловнѣ, то Марья всегда могла ее задержать. И, однако, Татьяна Павловна, уже подозвавъ извозчика, вдругъ перемѣнила рѣшеніе.

— Ступай ты съ ней! — велѣла она мнѣ, оставляя меня съ Альфонсинкой: — и тамъ умри, если надо, понимаешь? А я сейчасъ за тобой, а прежде махну-ка я къ ней, авось застану, потому что, какъ хочешь, а мнѣ подозрительно!

И она полетѣла къ Катеринѣ Николаевнѣ. Мы же съ Альфонсинкой пустились къ Ламберту. Я погонялъ извозчика и на лету продолжалъ разспрашивать Альфонсинку, но Альфонсинка больше отдѣлывалась восклицаніями, а, наконецъ, и слезами. Но насъ всѣхъ хранилъ Богъ и уберегъ, когда все уже висѣло на ниточкѣ. Мы не проѣхали еще и четверти дороги, какъ вдругъ я услышалъ за собой крикъ: меня звали по имени. Я оглянулся — насъ на извозчикѣ догонялъ Тришатовъ.

— Куда? — кричалъ онъ испуганно: — и съ ней, съ Альфонсинкой!

— Тришатовъ! — крикнулъ я ему: — правду вы сказали — бѣда! Ѣду къ подлецу Ламберту! Поѣдемъ вмѣстѣ, все больше людей!

— Воротитесь, воротитесь сейчасъ! — прокричалъ Тришатовъ: — Ламбертъ обманываетъ и Альфонсинка обманываетъ. Меня рябой послалъ; ихъ дома нѣтъ: я встрѣтилъ сейчасъ Версилова и Ламберта; они проѣхали къ Татьянѣ Павловнѣ . . . они теперь тамъ . . .

Я остановилъ извозчика и перескочилъ къ Три-

шатову. До сихъ поръ не понимаю, какимъ образомъ я могъ такъ вдругъ рѣшиться, но я вдругъ повѣрилъ и вдругъ рѣшился. Альфонсинка завопила ужасно, но мы ее бросили, и ужъ не знаю, поворотила ли она за нами или отправилась домой, но ужъ я ее больше не видалъ.

На извозчикѣ Тришатовъ, кое-какъ и задыхаясь, сообщилъ мнѣ, что есть какая-то махинація, что Ламбертъ согласился было съ рябымъ, но что рябой измѣнилъ ему въ послѣднее мгновеніе и самъ послалъ сейчасъ Тришатова къ Татьянѣ Павловнѣ увѣдомить ее, чтобъ Ламберту и Альфонсинкѣ не вѣрить. Тришатовъ прибавилъ, что больше онъ ничего не знаетъ, потому что рябой ему ничего больше не сообщилъ, потому что не успѣлъ, что онъ самъ торопился куда-то и что все было наскоро. «Я увидѣлъ, — продолжалъ Тришатовъ: — что вы ѣдете, и погнался за вами». Конечно, было ясно, что этотъ рябой тоже знаетъ все, потому что послалъ Тришатова прямо къ Татьянѣ Павловнѣ; но это ужъ была новая загадка.

Но чтобъ не вышло путаницы, я, прежде чѣмъ описывать катастрофу, объясню всю настоящую правду и уже въ послѣдній разъ забѣгу впередъ.

IV.

Укравъ тогда письмо, Ламбертъ тотчасъ же соединился съ Версиловымъ. О томъ, какъ могъ Версиловъ совокупиться съ Ламбертомъ — я пока и говорить не буду; это — потомъ; главное—тутъ былъ «двойникъ»! Но, совокупившись съ Версиловымъ, Ламберту предстояло, какъ можно хитрѣе, заманить Катерину Николаевну. Версиловъ прямо

утверждалъ ему, что она не придетъ. Но у Ламберта еще съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ я тогда, третьяго дня вечеромъ, встрѣтилъ его на улицѣ и, зарисовавшись, объявилъ ему, что возвращу ей письмо въ квартирѣ Татьяны Павловны и при Татьянѣ Павловнѣ — у Ламберта, съ той самой минуты, надъ квартирой Татьяны Павловны устроилось нѣчто въ родѣ шпіонства, а именно — подкуплена была Марья. Марьѣ онъ подарилъ двадцать рублей, и потомъ, черезъ день, когда совершилась кража документа, вторично посѣтилъ Марью и уже тутъ договорился съ нею радикально и обѣщалъ ей за услугу двѣсти рублей.

Вотъ почему Марья, какъ услышала довеча, что въ половинѣ двѣнадцатаго Катерина Николаевна будетъ у Татьяны Павловны и что буду тутъ и я, тотчасъ же бросилась изъ дому и на извозчикѣ прискакала съ этимъ извѣстіемъ къ Ламберту. Именно про это-то она и должна была сообщить Ламберту — въ томъ и заключалась услуга. Какъ разъ у Ламберта въ ту минуту находился и Версиловъ. Въ одинъ мигъ Версиловъ выдумалъ эту адскую комбинацію. Говорятъ, что сумасшедшіе въ иныя минуты ужасно бываютъ хитры.

Комбинація состояла въ томъ, чтобъ выманить насъ обоихъ, Татьяну и меня, изъ квартиры, во что бы ни стало, хоть на четверть только часа, но до пріѣзда Катерины Николаевны. Затѣмъ — ждать на улицѣ, и только что мы съ Татьяной Павловной выйдемъ, вбѣжать въ квартиру, которую отворитъ имъ Марья, и ждать Катерину Николаевну. Альфонсинка же той порой должна была изъ всѣхъ силъ задерживать насъ, гдѣ хочетъ и какъ хочетъ. Катерина же Николаевна должна была прибыть, какъ

обѣщала, въ половинѣ двѣнадцатаго, стало быть, — непремѣнно вдвое раньше, чѣмъ мы могли воротиться. (Само собою, что Катерина Николаевна такого приглашенія отъ Ламберта не получала, и что Альфонсинка налгала, и вотъ эту-то штуку и выдумалъ Версиловъ, во всѣхъ подробностяхъ, а Альфонсинка только разыграла роль испуганной предательницы.) Разумѣется, они рисковали, но разсудили они вѣрно: «Сойдется — хорошо, не сойдется — еще ничего не потеряно, потому что документъ все-таки въ рукахъ». Но оно сошлось, да и не могло не сойтись, потому что мы никакъ не могли не побѣжать за Альфонсинкой уже по одному только предположенію: «А ну, какъ это все правда!» Опять повторяю: разсудить было некогда.

V.

Мы вбѣжали съ Тришатовымъ въ кухню и застали Марью въ испугѣ. Она была поражена тѣмъ, что когда пропустила Ламберта и Версилова, то вдругъ какъ-то примѣтила въ рукахъ у Ламберта — револьверъ. Хоть она и взяла деньги, но револьверъ вовсе не входилъ въ ея расчеты. Она была въ недоумѣніи и чуть завидѣла меня, такъ ко мнѣ и бросилась:

— Генеральша пришла, а у нихъ пистолетъ!

— Тришатовъ, постойте здѣсь, въ кухнѣ, — распорядился я, — а чуть я крикну, бѣгите изо всѣхъ силъ ко мнѣ на помощь.

Марья отворила мнѣ дверь въ коридорчикъ, и я скользнулъ въ спальню Татьяны Павловны — въ ту самую каморку, въ которой могла помѣститься одна лишь только кровать Татьяны Павловны и въ

которой я уже разъ нечаянно подслушивалъ. Я сѣлъ на кровать и тотчасъ отыскалъ себѣ щелку въ портьерѣ.

Но въ комнатѣ уже былъ шумъ и говорили громко; замѣчу, что Катерина Николевна вошла въ квартиру ровно минуту спустя послѣ нихъ. Шумъ и говоръ я заслышалъ еще изъ кухни: кричалъ Ламбертъ. Она сидѣла на диванѣ, а онъ стоялъ передъ нею и кричалъ, какъ дуракъ. Теперь я знаю, почему онъ такъ глупо потерялся: онъ торопился и боялся, чтобъ ихъ не накрыли; потомъ я объясню, кого именно онъ боялся. Письмо было у него въ рукахъ. Но Версилова въ комнатѣ не было; я приготовился броситься при первой опасности. Передаю лишь смыслъ рѣчей, можетъ быть, многое и не такъ припоминаю, но тогда я былъ въ слишкомъ большомъ волненіи, чтобы запомнить до послѣдней точности.

— Это письмо стоитъ тридцать тысячъ рублей, а вы удивляетесь! Оно сто тысячъ стоитъ, а я только тридцать прошу! — громко и страшно горячась проговорилъ Ламбертъ.

Катерина Николаевна, хоть и видимо была испугана, но смотрѣла на него съ какимъ-то презрительнымъ удивленіемъ.

— Я вижу, что здѣсь устроена какая-то западня, и ничего не понимаю, — сказала она, — но если только это письмо, въ самомъ дѣлѣ, у васъ . . .

— Да вотъ оно, сами видите! Развѣ не то? Въ тридцать тысячъ вексель и — ни копейки меньше! — перебилъ ее Ламбертъ.

— У меня нѣтъ денегъ.

— Напишите вексель — вотъ бумага. Затѣмъ, пойдете и достанете денегъ, а я буду ждать, но не-

дѣлю — не больше. Деньги принесете — отдамъ вексель и тогда и письмо отдамъ.

— Вы говорите со мной такимъ страннымъ тономъ. Вы ошибаетесь. У васъ сего[дня] же отберутъ этотъ документъ, если я пойду и пожалуюсь.

— Кому? Ха-ха-ха! А скандалъ, а письмо покажемъ князю! Гдѣ отберутъ? Я не держу документовъ въ квартирѣ. Я покажу князю черезъ третье лицо. Не упрямьтесь, барыня, благодарите, что я еще немного прошу, другой бы, кромѣ того, попросилъ еще услугъ... знаете, какихъ... въ которыхъ ни одна хорошенькая женщина не отказываетъ, при стѣснительныхъ обстоятельствахъ, вотъ какихъ... Ха-ха-ха! Vous êtes belle, vous!

Катерина Николаевна стремительно встала съ мѣста, вся покраснѣла и — плюнула ему въ лицо. Затѣмъ быстро направилась было къ двери. Вотъ тутъ-то дуракъ Ламбертъ и выхватилъ револьверъ. Онъ слѣпо, какъ ограниченный дуракъ, вѣрилъ въ эффектъ документа, то есть — главное — не разглядѣлъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, именно потому, какъ я сказалъ уже, что считалъ всѣхъ съ такими же подлыми чувствами, какъ и онъ самъ. Онъ съ перваго слова раздражилъ ее грубостью, тогда какъ она, можетъ быть, и не уклонилась бы войти въ денежную сдѣлку.

— Ни съ мѣста! — завопилъ онъ, разсвирѣпѣвъ отъ плевка, схвативъ ее за плечо и показывая револьверъ, — разумѣется, для одной лишь острастки. Она вскрикнула и опустилась на диванъ. Я ринулся въ комнату; но, въ ту же минуту, изъ двери въ коридоръ выбѣжалъ и Версиловъ. (Онъ тамъ стоялъ и выжидалъ.) Не успѣлъ я мигнуть, какъ онъ выхватилъ револьверъ у Ламберта и

изъ всей силы ударилъ его револьверомъ по головѣ. Ламбертъ зашатался и упалъ безъ чувствъ; кровь хлынула изъ его головы на коверъ.

Она же, увидя Версилова, поблѣднѣла вдругъ, какъ полотно, нѣсколько мгновеній смотрѣла на него неподвижно, въ невыразимомъ ужасѣ, и вдругъ упала въ обморокъ. Онъ бросился къ ней. Все это теперь передо мной какъ бы мелькаетъ. Я помню, какъ съ испугомъ увидѣлъ я тогда его красное, почти багровое лицо и налившіеся кровью глаза. Думаю, что онъ хоть и замѣтилъ меня въ комнатѣ, но меня какъ бы не узналъ. Онъ схватилъ ее, безчувственную, съ неимовѣрною силою поднялъ ее къ себѣ на руки, какъ перышко, и безсмысленно сталъ носить ее по комнатѣ, какъ ребенка. Комната была крошечная, но онъ слонялся изъ угла въ уголъ, видимо не понимая, зачѣмъ это дѣлаетъ. Въ одинъ какой-нибудь мигъ онъ лишился тогда разсудка. Онъ все смотрѣлъ на ея лицо. Я побѣжалъ за нимъ, и, главное, боялся револьвера, который онъ такъ и забылъ въ своей правой рукѣ и держалъ его возлѣ самой ея головы. Но онъ оттолкнулъ меня разъ локтемъ, другой разъ ногой. Я хотѣлъ было крикнуть Тришатову, но боялся раздражить сумасшедшаго. Наконецъ, я вдругъ раздвинулъ портьеру и сталъ умолять его положить ее на кровать. Онъ подошелъ и положилъ, а самъ сталъ надъ нею, пристально съ минуту смотрѣлъ ей въ лицо и вдругъ, нагнувшись, поцѣловалъ ее два раза въ ея блѣдныя губы. О, я понялъ, наконецъ, что это былъ человѣкъ уже совершенно внѣ себя. Вдругъ онъ замахнулся на нее револьверомъ, но, какъ бы догадавшись, обернулъ револьверъ и навелъ его ей въ лицо. Я мгновенно, изо всей силы схватилъ его

за руку и закричалъ Тришатову. Помню, мы оба боролись съ нимъ, но онъ успѣлъ вырвать свою руку и выстрѣлилъ въ себя. Онъ хотѣлъ застрѣлить ее, а потомъ себя. Но когда мы не дали ему ея, то уткнулъ револьверъ себѣ прямо въ сердце, но я успѣлъ оттолкнуть его руку кверху, и пуля попала ему въ плечо. Въ это мгновеніе съ крикомъ ворвалась Татьяна Павловна; но онъ уже лежалъ на коврѣ безъ чувствъ, рядомъ съ Ламбертомъ.

Глава тринадцатая.

Заключеніе.

I.

Теперь этой сценѣ минуло почти уже полгода, и многое утекло съ тѣхъ поръ, многое совсѣмъ измѣнилось, а для меня давно уже наступила новая жизнь... Но развяжу и я читателя.

Для меня, по крайней мѣрѣ, первымъ вопросомъ, и тогда, и еще долго спустя, было: какъ могъ Версиловъ соединиться съ такимъ, какъ Ламбертъ и какую цѣль онъ имѣлъ тогда въ виду? Мало-помалу, я пришелъ къ нѣкоторому разъясненію: по-моему, Версиловъ, въ тѣ мгновенія, то есть въ тотъ весь послѣдній день и наканунѣ, не могъ имѣть ровно никакой твердой цѣли и даже, я думаю, совсѣмъ тутъ и не разсуждалъ, а былъ подъ вліяніемъ какого-то вихря чувствъ. Впрочемъ, настоящаго сумасшествія я не допускаю вовсе, тѣмъ болѣе, что онъ — и теперь вовсе не сумасшедшій. Но «двойника» допускаю несомнѣнно. Что такое, собственно, двойникъ? Двойникъ, по крайней мѣрѣ, по одной медицинской книгѣ одного эксперта, которую я потомъ нарочно прочелъ, двойникъ, это есть не что иное, какъ первая ступень нѣкотораго

серьезнаго уже разстройства души, которое можетъ повести къ довольно худому концу. Да и самъ Версиловъ, въ сценѣ у мамы, разъяснилъ намъ это тогдашнее «раздвоеніе» его чувствъ и воли съ страшною искренностью. Но, опять таки повторю: та сцена у мамы, тотъ расколотый образъ, хоть, безспорно, произошли подъ вліяніемъ настоящаго двойника, но мнѣ всегда съ тѣхъ поръ мерещилось, что отчасти тутъ примѣшалась и нѣкоторая злорадная аллегорія, нѣкоторая какъ бы ненависть къ ожиданіямъ этихъ женщинъ, нѣкоторая злоба къ ихъ правамъ и къ ихъ суду, и вотъ онъ, пополамъ съ двойникомъ, разбилъ этотъ образъ! «Такъ, дескать, расколются и ваши ожиданія!» Однимъ словомъ, если и былъ двойникъ, то была и просто блажь . . . Но все это — только моя догадка; рѣшить же навѣрно — трудно.

Правда, несмотря на обожаніе Катерины Николаевны, въ немъ всегда коренилось самое искреннее и глубочайшее недовѣріе въ ея нравственныя достоинства. Я навѣрно думаю, что онъ такъ и ждалъ тогда за дверью ея униженія передъ Ламбертомъ. Но хотѣлъ ли онъ того, если даже и ждалъ? Опять таки повторяю: я твердо вѣрю, что онъ ничего тогда не хотѣлъ и даже не разсуждалъ. Ему просто хотѣлось быть тутъ, выскочить потомъ, сказать ей что-нибудь, а, можетъ быть, — можетъ быть, и оскорбить, можетъ быть, и убить ее . . . Все могло случиться тогда; но только придя съ Ламбертомъ, онъ ничего не зналъ изъ того, что случится. Прибавлю, что револьверъ былъ Ламбертовъ, а самъ онъ пришелъ безоружный. Увидя же ея гордое достоинство, а, главное, не стерпѣвъ подлеца Ламберта, грозившаго ей, онъ выскочилъ — и

ужъ затѣмъ потерялъ разсудокъ. Хотѣлъ ли онъ ее застрѣлить въ то мгновеніе? По-моему, самъ не зналъ того, навѣрно бы застрѣлилъ, если бъ мы не оттолкнули его руку.

Рана его оказалась не смертельною и зажила, но пролежалъ онъ довольно долго — у мамы, разумѣется. Теперь, когда я пишу эти строки — на дворѣ весна, половина мая, день прелестный, и у насъ отворены окна. Мама сидитъ около него; онъ гладитъ рукой ея щеки и волосы и съ умиленіемъ засматриваетъ ей въ глаза. О, это — только половина прежняго Версилова; отъ мамы онъ уже не отходитъ и ужъ никогда не отойдетъ болѣе. Онъ даже получилъ «даръ слезный», какъ выразился незабвенный Макаръ Ивановичъ въ своей повѣсти о купцѣ; впрочемъ, мнѣ кажется, что Версиловъ проживетъ долго. Съ нами онъ теперь совсѣмъ простодушенъ и искрененъ, какъ дитя, не теряя, впрочемъ, ни мѣры, ни сдержанности, и не говоря лишняго. Весь умъ его и весь нравственный складъ его остались при немъ, хотя все, что было въ немъ идеальнаго, еще сильнѣе выступило впередъ. Я прямо скажу, что никогда столько не любилъ его, какъ теперь, и мнѣ жаль, что не имѣю ни времени, ни мѣста, чтобы поболѣе поговорить о немъ. Впрочемъ, разскажу одинъ недавній анекдотъ (а ихъ много): къ великому посту онъ уже выздоровѣлъ и на шестой недѣлѣ объявилъ, что будетъ говѣть. Не говѣлъ онъ лѣтъ тридцать, я думаю, или болѣе. Мама была рада; стали готовить постное кушанье, довольно, однако, дорогое и утонченное. Я слышалъ изъ другой комнаты, какъ онъ въ понедѣльникъ и во вторникъ напѣвалъ про себя: «Се женихъ грядетъ» и восторгался и напѣвомъ, и

стихомъ. Въ эти два дня онъ нѣсколько разъ прекрасно говорилъ о религіи; но въ среду говѣнье вдругъ прекратилось. Что-то его вдругъ раздражило, какой-то «забавный контрастъ», какъ онъ выразился, смѣясь. Что-то не понравилось ему въ наружности священника, въ обстановкѣ; но только онъ воротился и вдругъ сказалъ съ тихою улыбкою: «Друзья мои, я очень люблю Бога, но — я къ этому неспособенъ». Въ тотъ же день за обѣдомъ уже подали ростбифъ. Но я знаю, что мама часто и теперь садится подлѣ него и тихимъ голосомъ, съ тихой улыбкой, начинаетъ съ нимъ заговаривать иногда о самыхъ отвлеченныхъ вещахъ: теперь она вдругъ какъ-то *осмѣлилась* передъ нимъ, но какъ это случилось — не знаю. Она садится около него и говоритъ ему, все чаще шепотомъ. Онъ слушаетъ съ улыбкою, гладитъ ея волосы, цѣлуетъ ея руки, и самое полное счастье свѣтится на лицѣ его. Съ нимъ бываютъ иногда и припадки, почти истерическіе. Онъ беретъ тогда ея фотографію, ту самую, которую онъ въ тотъ вечеръ цѣловалъ, смотритъ на нее со слезами, цѣлуетъ, вспоминаетъ, подзываетъ насъ всѣхъ къ себѣ, но говоритъ въ такія минуты мало . . . О Катеринѣ Николаевнѣ онъ какъ будто совершенно забылъ и имени ея ни разу не упомянулъ. О бракѣ съ мамой тоже еще ничего у насъ не сказано. Хотѣли было на лѣто везти его за границу; но Татьяна Павловна настояла, чтобъ не возить, да и онъ самъ не захотѣлъ. Лѣтомъ они проживутъ на дачѣ, гдѣ-то въ деревнѣ, въ Петербургскомъ уѣздѣ. Кстати, мы всѣ пока живемъ на средства Татьяны Павловны. Одно прибавлю: мнѣ страшно грустно, что, въ теченіе этихъ записокъ, я часто позволялъ себѣ относить-

ся объ этомъ человѣкѣ непочтительно и свысока. Но я писалъ, слишкомъ воображая себя такимъ именно, какимъ былъ въ каждую изъ тѣхъ минутъ, которыя описывалъ. Кончивъ же записки и дописавъ послѣднюю строчку, я вдругъ почувствовалъ, что перевоспиталъ самого себя, именно процессомъ припоминанія и записыванія. Отъ многаго отрекаюсь, что написалъ, особенно отъ тона нѣкоторыхъ фразъ и страницъ, но не вычеркну и не поправлю ни единаго слова.

Я сказалъ, что о Катеринѣ Николаевнѣ онъ не говоритъ ни единаго слова; но я даже думаю, что, можетъ быть, и совсѣмъ излѣчился. О Катеринѣ Николаевнѣ говоримъ иногда лишь я да Татьяна Павловна, да и то по секрету. Теперь Катерина Николаевна за границей; я видѣлся съ нею передъ отъѣздомъ и былъ у ней нѣсколько разъ. Изъ-за границы я уже получилъ отъ нея два письма и отвѣчалъ на нихъ. Но о содержаніи нашихъ писемъ и о томъ, о чемъ мы переговорили, прощаясь передъ отъѣздомъ, я умолчу: это — уже другая исторія, совсѣмъ *новая* исторія и даже, можетъ быть, вся она еще въ будущемъ. Я даже и съ Татьяной Павловной о нѣкоторыхъ вещахъ умалчиваю; но довольно. Прибавлю лишь, что Катерина Николаевна не замужемъ и путешествуетъ съ Пелищевыми. Отецъ ея скончался, и она — богатѣйшая изъ вдовъ. Въ настоящую минуту она въ Парижѣ. Разрывъ ея съ Бьорингомъ произошелъ быстро и какъ бы самъ собой, то есть въ высшей степени натурально. Впрочемъ, разскажу объ этомъ.

Въ утро той страшной сцены, рябой, тотъ самый, къ которому перешли Тришатовъ и другъ его, успѣлъ извѣстить Бьоринга о предстоящемъ зло-

умышленіи. Это случилось такимъ образомъ: Ламбертъ все-таки склонилъ его къ участію вмѣстѣ и, овладѣвъ тогда документомъ, сообщилъ ему всѣ подробности и всѣ обстоятельства предпріятія, а, наконецъ, и самый послѣдній моментъ ихъ плана, то есть, когда Версиловъ выдумалъ комбинацію объ обманѣ Татьяны Павловны. Но въ рѣшительное мгновеніе, рябой предпочелъ измѣнить Ламберту, будучи благоразумнѣе ихъ всѣхъ и предвидя въ проектахъ ихъ возможность уголовщины. Главное же, онъ почиталъ благодарность Бьоринга гораздо вѣрнѣе фантастическаго плана неумѣлаго, но горячаго Ламберта и почти помѣшаннаго отъ страсти Версилова. Все это я узналъ потомъ отъ Тришатова. Кстати, я не знаю и не понимаю отношеній Ламберта къ рябому, и почему Ламбертъ не могъ безъ него обойтись. Но гораздо любопытнѣе для меня вопросъ: зачѣмъ нуженъ былъ Ламберту Версиловъ, тогда какъ Ламбертъ, имѣя уже въ рукахъ документъ, совершенно бы могъ обойтись безъ его помощи? Отвѣтъ мнѣ теперь ясенъ. Версиловъ нуженъ былъ ему, въ случаѣ переполоха или какой бѣды, чтобы свалить на него всю отвѣтственность. А такъ какъ денегъ Версилову было не надо, то Ламбертъ и почелъ его помощь даже весьма не лишнею. Но Бьорингъ не поспѣлъ тогда во-время. Онъ прибылъ уже черезъ часъ послѣ выстрѣла, когда квартира Татьяны Павловны представляла уже совсѣмъ другой видъ. А именно: минутъ пять спустя послѣ того, какъ Версиловъ упалъ на коверъ окровавленный, приподнялся и всталъ Ламбертъ, котораго мы считали убитымъ. Онъ съ удивленіемъ осмотрѣлся, вдругъ быстро сообразилъ и вышелъ въ кухню, не говоря ни слова, тамъ надѣлъ свою шубу

и исчезъ навсегда. «Документъ» онъ оставилъ на столѣ. Я слышалъ, что онъ даже не былъ и боленъ, а лишь немного похворалъ: ударъ револьверомъ ошеломилъ его и вызвалъ кровь, не произведя болѣе никакой бѣды. Межъ тѣмъ, Тришатовъ уже убѣжалъ за докторомъ; но еще до доктора очнулся и Версиловъ, а еще до Версилова Татьяна Павловна, приведя въ чувство Катерину Николаевну, успѣла отвезти ее къ ней домой. Такимъ образомъ, когда вбѣжалъ къ намъ Бьорингъ, то въ квартирѣ Татьяны Павловны находились лишь я, докторъ, больной Версиловъ и мама, еще больная, но прибывшая къ нему внѣ себя и за которой сбѣгалъ тотъ же Тришатовъ. Бьорингъ посмотрѣлъ съ недоумѣніемъ, и какъ только уналъ, что Катерина Николаевна уже уѣхала, тотчасъ отправился къ ней, не сказавъ у насъ ни слова.

Онъ былъ смущенъ; онъ ясно видѣлъ, что теперь скандалъ и огласка почти неминуемы. Большого скандала, однакоже, не произошло, а вышли лишь слухи. Скрыть выстрѣла не удалось — это правда; но вся главная исторія, въ главной сущности своей, осталась почти неизвѣстною. Слѣдствіе опредѣлило только, что нѣкто В., влюбленный человѣкъ, при томъ семейный и почти пятидесятилѣтній, въ изступленіи страсти и объясняя свою страсть особѣ, достойной высшаго уваженія, но совсѣмъ не раздѣлявшей его чувствъ, сдѣлалъ въ припадкѣ безумія въ себя выстрѣлъ. Ничего больше не вышло наружу, и въ такомъ видѣ извѣстіе проникло темными слухами и въ газеты, безъ собственныхъ именъ, съ начальными лишь буквами фамилій. По крайней мѣрѣ, я знаю, что Ламберта, напримѣръ, совсѣмъ не обезпокоили. Тѣмъ не ме-

нѣе, Бьорингъ, знавшій истину, испугался. Вотъ тутъ-то, какъ нарочно, ему вдругъ удалось узнать о происходившемъ свиданіи, глазъ-на-глазъ, Катерины Николаевны съ влюбленнымъ въ нее Версиловымъ, еще за два дня до той катастрофы. Это его взорвало, и онъ довольно неосторожно позволилъ себѣ замѣтить Катеринѣ Николаевнѣ, что послѣ этого его уже не удивляетъ, что съ ней могутъ происходить такія фантастическія исторіи. Катерина Николаевна тутъ же и отказала ему, безъ гнѣва, но и безъ колебаній. Все предразсудочное мнѣніе ея о какомъ-то благоразуміи брака съ этимъ человѣкомъ исчезло, какъ дымъ. Можетъ быть, она уже и давно передъ тѣмъ его разгадала, а, можетъ быть, послѣ испытаннаго потрясенія, вдругъ измѣнились нѣкоторые ея взгляды и чувства. Но тутъ я опять умолкаю. Прибавлю только, что Ламбертъ исчезъ въ Москву, и я слышалъ, что тамъ въ чемъ-то попался. А Тришатова я давно уже, почти съ тѣхъ самыхъ поръ, выпустилъ изъ виду, какъ ни стараюсь отыскать его слѣдъ даже и теперь. Онъ исчезъ послѣ смерти своего друга «le grand dadais»: тотъ застрѣлился.

II.

Я упомянулъ о смерти стараго князя Николая Ивановича. Добрый, симпатичный старикъ этотъ умеръ скоро послѣ происшествія, впрочемъ, однако, цѣлый мѣсяцъ спустя — умеръ ночью, въ постели, отъ нервнаго удара. Я, съ того самаго дня, который онъ прожилъ на моей квартирѣ, не видалъ его болѣе. Разсказывали про него, что будто бы онъ сталъ въ этотъ мѣсяцъ несравненно разумнѣе, даже суровѣе, не пугался болѣе, не плакалъ и даже

совсѣмъ ни разу не произнесъ во все это время ни единаго слова объ Аннѣ Андреевнѣ. Вся любовь его обратилась къ дочери. Катерина Николаевна какъ-то разъ, за недѣлю до его смерти, предложила было ему призвать меня, для развлеченія, но онъ даже нахмурился: фактъ этотъ сообщаю безъ всякихъ объясненій. Имѣніе его оказалось въ порядкѣ и, кромѣ того, оказался весьма значительный капиталъ. До трети этого капитала пришлось, по завѣщанію старика, раздѣлить безчисленнымъ его крестницамъ; но чрезвычайно странно показалось для всѣхъ, что объ Аннѣ Андреевнѣ въ завѣщаніи этомъ не упоминалось вовсе: ея имя было пропущено. Но вотъ что, однакоже, мнѣ извѣстно, какъ достовѣрный фактъ: за нѣсколько лишь дней до смерти, старикъ, призвавъ дочь и друзей своихъ, Пелищева и князя В—го, велѣлъ Катеринѣ Николаевнѣ, въ возможномъ случаѣ близкой кончины его, непремѣнно выдѣлить изъ этого капитала Аннѣ Андреевнѣ шестьдесятъ тысячъ рублей. Высказалъ онъ свою волю точно, ясно и кратко, не позволивъ себѣ ни единаго восклицанія и ни единаго поясненія. По смерти его и когда уже выяснились дѣла, Катерина Николаевна увѣдомила Анну Андреевну, черезъ своего повѣреннаго, о томъ, что та можетъ получить эти шестьдесятъ тысячъ, когда захочетъ; но Анна Андреевна сухо и безъ лишнихъ словъ отклонила предложеніе: она отказалась получить деньги, несмотря на всѣ увѣренія, что такова была, дѣйствительно, воля князя. Деньги и теперь еще лежатъ, ее ожидая, и теперь еще Катерина Николаевна надѣется, что она перемѣнитъ рѣшеніе; но этого не случится, и я знаю про то навѣрно, потому что я теперь одинъ изъ самыхъ близкихъ знако-

мыхъ и друзей Анны Андреевны. Отказъ ея надѣлалъ нѣкотораго шуму, и объ этомъ заговорили. Тетка ея, Фанаріотова, раздосадованная было сначала ея скандаломъ съ старымъ княземъ, вдругъ перемѣнила мнѣніе и, послѣ отказа ея отъ денегъ, торжественно заявила ей свое уваженіе. Зато братъ ея разссорился съ нею за это окончательно. Но хоть я и часто бываю у Анны Андреевны, но не скажу, чтобъ мы пускались въ большія интимности; о старомъ не упоминаемъ вовсе; она принимаетъ меня къ себѣ очень охотно, но говоритъ со мной какъ-то отвлеченно. Между прочимъ, она твердо заявила мнѣ, что непремѣнно пойдетъ въ монастырь; это было недавно; но я ей не вѣрю и считаю лишь за горькое слово.

Но горькое, настоящее горькое слово предстоитъ мнѣ сказать въ особенности о сестрѣ моей Лизѣ. Вотъ тутъ — такъ несчастье, да и что такое всѣ мои неудачи передъ ея горькой судьбой! Началось съ того, что князь Сергѣй Петровичъ не выздоровѣлъ и, не дождавшись суда, умеръ въ больницѣ. Скончался онъ еще раньше князя Николая Ивановича. Лиза осталась одна, съ будущимъ своимъ ребенкомъ. Она не плакала и съ виду была какъ бы спокойна; сдѣлалась кротка, смиренна; но вся прежняя горячность ея сердца какъ будто разомъ куда-то въ ней схоронилась. Она смиренно помогала мамѣ, ходила за больнымъ Андреемъ Петровичемъ, но стала ужасно неразговорчива, ни на кого и ни на что даже не взглядывала, какъ будто ей все равно, какъ будто она лишь проходитъ мимо. Когда Версилову сдѣлалось легче, она начала много спать. Я приносилъ было ей книги, но она не читала ихъ; она стала страшно ху-

дѣть. Я какъ-то не осмѣливался начать утѣшать ее, хотя часто приходилъ именно съ этимъ намѣреніемъ; но въ присутствіи ея мнѣ какъ-то не подходилось къ ней, да и словъ такихъ не оказывалось у меня, чтобы заговорить объ этомъ. Такъ продолжалось до одного страшнаго случая: она упала съ нашей лѣстницы не высоко, всего съ трехъ ступенекъ, но она выкинула, и болѣзнь ея продолжалась почти всю зиму. Теперь она уже встала съ постели, но здоровью ея надолго нанесенъ ударъ. Она, попрежнему, молчалива съ нами и задумчива, но съ мамой начала понемногу говорить. Всѣ эти послѣдніе дни стояло яркое высокое, весеннее солнце, и я все припоминалъ про себя то солнечное утро, когда мы, прошлою осенью, шли съ нею по улицѣ, оба радуясь и надѣясь и любя другъ друга. Увы, что сталось послѣ того? Я не жалуюсь, для меня наступила новая жизнь, но она? Ея будущее — загадка, а теперь я и взглянуть на нее не могу безъ боли.

Недѣли три назадъ, я, однакожъ, успѣлъ заинтересовать ее извѣстіемъ о Васинѣ. Онъ былъ, наконецъ, освобожденъ и выпущенъ совсѣмъ на свободу. Этотъ благоразумный человѣкъ далъ, говорятъ, самыя точныя изъясненія и самыя интересныя сообщенія, которыя вполнѣ оправдали его во мнѣніи людей, отъ которыхъ зависѣла его участь. Да и пресловутая его рукопись оказалась не болѣе какъ переводомъ съ французскаго, такъ сказать, матеріаломъ, который онъ собиралъ единственно для себя, намѣреваясь составить потомъ изъ него одну полезную статью для журнала. Онъ отправился теперь въ —ю губернію, а отчимъ его, Стебельковъ, и доселѣ продолжаетъ сидѣть въ тюрьмѣ

по своему дѣлу, которое, какъ я слышалъ, чѣмъ далѣе, разрастается и усложняется. Лиза выслушала объ Васинѣ съ странною улыбкою и замѣтила даже, что съ нимъ непремѣнно должно было такъ случиться. Но она была, видимо, довольна — конечно, тѣмъ, что вмѣшательство покойнаго князя Сергѣя Петровича не повредило Васину. Про Дергачева же и другихъ я здѣсь ничего не имѣю сообщить.

Я кончилъ. Можетъ быть, иному читателю захотѣлось бы узнать: куда жъ это дѣвалась моя «идея» и что такое та новая, начавшаяся для меня теперь жизнь, о которой я такъ загадочно возвѣщаю? Но эта новая жизнь, этотъ новый, открывшійся передо мною путь и есть моя же «идея», та самая, что и прежде, но уже совершенно въ иномъ видѣ, такъ что ее уже и узнать нельзя. Но въ «Записки» мои все это войти уже не можетъ, потому что это — уже совсѣмъ другое. Старая жизнь отошла совсѣмъ, а новая едва начинается. Но, прибавлю, однако, необходимое: Татьяна Павловна, искренній и любимый другъ мой, пристаетъ ко мнѣ чуть не каждый день съ увѣщаніями непремѣнно и какъ можно скорѣе поступить въ университетъ: «Потомъ, какъ кончишь ученіе, тогда и выдумывай, а теперь доучись». Признаюсь, я задумываюсь о ея предложеніи, но совершенно не знаю, чѣмъ рѣшу. Между прочимъ, я возразилъ ей, что я даже и не имѣю теперь права учиться, потому что долженъ трудиться, чтобы содержать маму и Лизу; но она предлагаетъ на то свои деньги и увѣряетъ, что ихъ достанетъ на все время моего университета. Я рѣшился, наконецъ, спросить совѣта у одного человѣка. Разсмотрѣвъ кругомъ меня, я выбралъ

этого человѣка тщательно и критически. Это — Николай Семеновичъ, бывшій мой воспитатель въ Москвѣ, мужъ Марьи Ивановны. Не то, чтобы я такъ нуждался въ чьемъ-нибудь совѣтѣ; но мнѣ просто и неудержимо захотѣлось услышать мнѣніе этого совершенно посторонняго и даже нѣсколько холоднаго эгоиста, но безспорно умнаго человѣка. Я послалъ ему всю мою рукопись, прося секрета, потому что я не показывалъ еще ее никому, и, въ особенности, Татьянѣ Павловнѣ. Посланная рукопись прибыла ко мнѣ обратно черезъ двѣ недѣли и при довольно длинномъ письмѣ. Изъ письма этого сдѣлаю лишь нѣсколько выдержекъ, находя въ нихъ нѣкоторый общій взглядъ и какъ бы нѣчто разъяснительное. Вотъ эти выдержки.

III.

«И никогда не могли вы, незабвенный Аркадій Макаровичъ, употребить съ бо̀льшею пользою вашъ временный досугъ, какъ теперь, написавъ эти ваши «Записки»! Вы дали себѣ, такъ сказать, сознательный отчетъ о первыхъ, бурныхъ и рискованныхъ шагахъ вашихъ на жизненномъ поприщѣ. Твердо вѣрю, что симъ изложеніемъ вы, дѣйствительно, могли во многомъ «перевоспитать себя», какъ выразились сами. Собственно критическихъ замѣтокъ, разумѣется, не позволю себѣ ни малѣйшихъ: хотя каждая страница наводитъ на размышленія... напримѣръ, то обстоятельство, что вы такъ долго и такъ упорно держали у себя «документъ» — въ высшей степени характеристично... Но это — лишь одна замѣтка изъ сотенъ, которую я разрѣшилъ себѣ. Весьма цѣню тоже, что вы рѣ-

шились мнѣ сообщить, и, повидимому, мнѣ одному, «тайну вашей идеи», по собственному вашему выраженію. Но въ просьбѣ вашей сообщить мое мнѣніе собственно объ этой «идеѣ» долженъ вамъ рѣшительно отказать: во-первыхъ, на письмѣ не умѣстится, а во-вторыхъ — и самъ не готовъ къ отвѣту, и мнѣ надо еще это переварить. Замѣчу лишь, что «идея» ваша отличается оригинальностью, тогда какъ молодые люди текущаго поколѣнія набрасываются, бо́льшею частью, на идеи не выдуманныя, а предварительно данныя, и запасъ ихъ весьма невеликъ, а часто и опасенъ. Ваша, напримѣръ, «идея» уберегла васъ, по крайней мѣрѣ, на время, отъ идей гг. Дергачева и комп., безъ сомнѣнія, не столь оригинальныхъ, какъ ваша. А, наконецъ, я въ высшей степени согласенъ съ мнѣніемъ многоуважаемѣйшей Татьяны Павловны, которую, хотя и знавалъ лично, но не въ состояніи былъ доселѣ оцѣнить въ той мѣрѣ, какъ она того заслуживаетъ. Мысль ея о поступленіи вашемъ въ университетъ въ высшей степени для васъ благотворна. Наука и жизнь несомнѣнно раскроютъ, въ три-четыре года, еще шире горизонты мыслей и стремленій вашихъ, а, если и послѣ университета пожелаете снова обратиться къ вашей «идеѣ», то ничто не помѣшаетъ тому.

«Теперь позвольте мнѣ самому, и уже безъ вашей просьбы, изложить вамъ откровенно нѣсколько мыслей и впечатлѣній, пришедшихъ мнѣ въ умъ и душу при чтеніи столь откровенныхъ «Записокъ» вашихъ. Да, я согласенъ съ Андреемъ Петровичемъ, что за васъ и за *уединенную* юность вашу, дѣйствительно, можно было опасаться. И такихъ, какъ вы, юношей немало, и способности ихъ, дѣйствительно, всегда угрожаютъ развиться къ худ-

шему — или въ молчалинское подобострастіе, или въ затаенное желаніе безпорядка. Но это желаніе безпорядка — и даже чаще всего — происходитъ, можетъ быть, отъ затаенной жажды порядка и «благообразія» — (употребляю ваше слово). Юность чиста уже потому, что она — юность. Можетъ быть, въ этихъ, столь раннихъ порывахъ безумія, заключается именно эта жажда порядка и это исканіе истины, и кто жъ виноватъ, что нѣкоторые современные молодые люди видятъ эту истину и этотъ порядокъ въ такихъ глупенькихъ и смѣшныхъ вещахъ, что не понимаешь даже, какъ могли они имъ повѣрить! Замѣчу кстати, что прежде, въ довольно недавнее прошлое, всего лишь поколѣніе назадъ, этихъ интересныхъ юношей можно было не столь жалѣть, ибо въ тѣ времена они почти всегда кончали тѣмъ, что съ успѣхомъ примыкали, впослѣдствіи, къ нашему высшему культурному слою и сливались съ нимъ въ одно цѣлое. И если, напримѣръ, и сознавали, въ началѣ дороги, всю безпорядочность и случайность свою, все отсутствіе благороднаго въ ихъ хотя бы семейной обстановкѣ, отсутствіе родового преданія и красивыхъ законченныхъ формъ, то тѣмъ даже и лучше было, ибо уже сознательно добивались того потомъ сами и тѣмъ самымъ пріучались его цѣнить. Нынѣ уже нѣсколько иначе — именно потому, что примкнуть почти не къ чему.

«Разъясню сравненіемъ или, такъ сказать, уподобленіемъ. Если бы я былъ русскимъ романистомъ и имѣлъ талантъ, то непремѣнно бралъ бы героевъ моихъ изъ русскаго родового дворянства, потому, что лишь въ одномъ этомъ типѣ культурныхъ русскихъ людей возможенъ хоть видъ красиваго по-

рядка и красиваго впечатлѣнія, столь необходимаго въ романѣ для изящнаго воздѣйствія на читателя. Говоря такъ, вовсе не шучу, хотя самъ я — совершенно не дворянинъ, что, впрочемъ, вамъ и самимъ извѣстно. Еще Пушкинъ намѣтилъ сюжеты будущихъ романовъ своихъ въ «Преданіяхъ русскаго семейства», и, повѣрьте, что тутъ, дѣйствительно, все, что у насъ было доселѣ красиваго. По крайней мѣрѣ тутъ все, что было у насъ сколько-нибудь завершеннаго. Я не потому говорю, что такт уже безусловно согласенъ съ правильностью и правдивостью красоты этой; но тутъ, напримѣръ, уже были законченныя формы чести и долга, чего, кромѣ дворянства, нигдѣ на Руси не только нѣтъ законченнаго, но даже нигдѣ и не начато. Я говорю, какъ человѣкъ спокойный и ищущій спокойствія.

«Тамъ хороша ли эта честь и вѣренъ ли долгъ — это вопросъ второй; но важнѣе для меня именно законченность формъ и хоть какой-нибудь да порядокъ, и уже не предписанный, а самими, наконецъ-то, выжитый. Боже, да у насъ именно важнѣе всего хоть какой-нибудь, да свой, наконецъ, порядокъ! Въ томъ заключалась надежда и, такъ сказать, отдыхъ глазу: хоть что-нибудь, наконецъ, построенное, а не вѣчная эта ломка, не летающія повсюду щепки, не мусоръ и соръ, изъ которыхъ вотъ уже двѣсти лѣтъ все ничего не выходитъ.

«Не обвините въ славянофильствѣ; это — я лишь такъ, отъ мизантропіи, ибо тяжело на сердцѣ! Нынѣ, съ недавняго времени, происходитъ у насъ нѣчто совсѣмъ обратное изображенному выше. Уже не соръ прирастаетъ къ высшему слою людей, а, напротивъ, отъ красиваго типа отрываются, съ веселою торопливостью, куски и комки и сбива-

ются съ безпорядствующими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самые отцы и родоначальники бывшихъ культурныхъ семействъ смѣются уже надъ тѣмъ, во что, можетъ быть, еще хотѣли бы вѣрить ихъ дѣти. Мало того, съ увлеченіемъ не скрываютъ отъ дѣтей свою алчную радость о внезапномъ правѣ на безчестье, которое они вдругъ изъ чего-то вывели цѣлою массой. Не про истинныхъ прогресистовъ я говорю, милѣйшій Аркадій Макаровичъ, а про тотъ лишь сбродъ, оказавшійся безчисленнымъ, про который сказано: Grattez le russe et vous verrez le tartare. И повѣрьте, что истинныхъ либераловъ, истинныхъ и великодушныхъ друзей человѣчества у насъ вовсе не такъ много, какъ это намъ вдругъ показалось.

«Но все это — философія; воротимся къ воображаемому романисту. Положеніе нашего романиста, въ такомъ случаѣ, было бы совершенно опредѣленное: онъ не могъ бы писать въ другомъ родѣ, какъ въ историческомъ, ибо красиваго типа уже нѣтъ въ наше время, а если и остались остатки, то, по владычествующему теперь мнѣнію, не удержали красоты за собою. О, и въ историческомъ родѣ возможно изобразить множество еще чрезвычайно пріятныхъ и отрадныхъ подробностей! Можно даже до того увлечь читателя, что онъ приметъ историческую картину за возможную еще и въ настоящемъ. Такое произведеніе, при великомъ талантѣ, уже принадлежало бы не столько къ русской литературѣ, сколько къ русской исторіи. Это была бы картина, художественно законченная, русскаго миража, но существовавшаго дѣйствительно, пока не догадались, что это — миражъ. Внукъ тѣхъ героевъ, которые была изображены въ картинѣ, из-

ображавшей русское семейство средне-высшаго культурнаго круга въ теченіе трехъ поколѣній сряду и въ связи съ исторіей русской — этотъ потомокъ предковъ своихъ уже не могъ бы быть изображенъ въ современномъ типѣ своемъ иначе, какъ въ нѣсколько мизантропическомъ, уединенномъ и несомнѣнно грустномъ видѣ. Даже долженъ явиться какимъ-нибудь чудакомъ, котораго читатель, съ перваго взгляда, могъ бы признать, какъ за сошедшаго съ поля, и убѣдиться, что не за нимъ осталось поле. Еще далѣе — и исчезнетъ даже и этотъ внукъ-мизантропъ; явятся новыя лица, еще неизвѣстныя, и новый миражъ; но какія же лица? Если некрасивыя, то невозможенъ дальнѣйшій русскій романъ. Но увы! Романъ ли только окажется тогда невозможнымъ?

«Чѣмъ далеко ходить, прибѣгну къ вашей же рукописи. Взгляните, напримѣръ, на оба семейства господина Версилова (на сей разъ позвольте ужъ мнѣ быть вполнѣ откровеннымъ). Во-первыхъ, про самого Андрея Петровича я не распространяюсь; но, однако, онъ — все же изъ родоначальниковъ. Это — дворянинъ древнѣйшаго рода и, въ то же время, парижскій коммунаръ. Онъ истинный поэтъ и любитъ Россію, но зато и отрицаетъ ее вполнѣ. Онъ безъ всякой религіи, но готовъ почти умереть за что-то неопредѣленное, чего и назвать не умѣетъ, но во что страстно вѣруетъ, по примѣру множества русскихъ европейскихъ цивилизаторовъ петербургскаго періода русской исторіи. Но довольно о немъ самомъ; вотъ, однакоже, его родовое семейство: про сына его и говорить не стану, да и не стоитъ онъ этой чести. Тѣ, у кого есть глаза, знаютъ заранѣе, до чего дойдутъ у насъ по-

добные сорванцы, а кстати и другихъ доведутъ. Но вотъ его дочь, Анна Андреевна — и чѣмъ же не съ характеромъ дѣвица? Лицо въ размѣрахъ матушки игуменьи Митрофаніи — разумѣется, не предрекая ничего уголовнаго, что было бы уже несправедливымъ съ моей стороны. Скажите мнѣ теперь, Аркадій Макаровичъ, что семейство это — явленіе случайное, и я возрадуюсь духомъ. Но, напротивъ, не будетъ ли справедливѣе выводъ, что уже множество такихъ несомнѣнно родовыхъ семействъ русскихъ съ неудержимою силою переходятъ массами въ семейства *случайныя* и сливаются съ ними въ общемъ безпорядкѣ и хаосѣ. Типъ этого случайнаго семейства указываете отчасти и вы въ вашей рукописи. Да, Аркадій Макаровичъ, вы — *членъ случайнаго семейства,* въ противоположность еще недавнимъ родовымъ нашимъ типамъ, имѣвшимъ столь различныя отъ вашихъ дѣтство и отрочество.

«Признаюсь, не желалъ бы я быть романистомъ героя изъ случайнаго семейства!

«Работа неблагодарная и безъ красивыхъ формъ. Да и типы эти, во всякомъ случаѣ — еще дѣло текущее, а потому и не могутъ быть художественно законченными. Возможны важныя ошибки, возможны преувеличенія, недосмотры. Во всякомъ случаѣ, предстояло бы слишкомъ много угадывать. Но что дѣлать, однакожъ, писателю, не желающему писать въ одномъ лишь историческомъ родѣ и одержимому тоской по текущему? Угадывать и . . . ошибаться.

«Но такія «Записки», какъ ваши, могли бы, кажется мнѣ, послужить матеріаломъ для будущаго художественнаго произведенія, для будущей карти-

ны, безпорядочной, но уже прошедшей эпохи. О, когда минетъ злоба дня и настанетъ будущее, тогда будущій художникъ отыщетъ прекрасныя формы даже для изображенія минувшаго безпорядка и хаоса. Вотъ тогда-то и понадобятся подобныя «Записки», какъ ваши, и дадутъ матеріалъ — были бы искренни, несмотря даже на всю ихъ хаотичность и случайность... Уцѣлѣютъ, по крайней мѣрѣ, хотя нѣкоторыя вѣрныя черты, чтобъ угадать по нимъ, что могло таиться въ душѣ иного подростка тогдашняго смутнаго времени — дознаніе не совсѣмъ ничтожное, ибо изъ подростковъ созидаются поколѣнія...»

PG
3325
A1
1911
t.15

Dostoevskiĭ, Fedor Mikhaĭlovich
Polnoe sobranie sochineniĭ

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY